



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 10/2012

- *Геннадий Русаков*
В своей поре
Стихи
- *Денис Гуцко*
Бета-самец
Роман
- *Грант Алексанян*
Ярмарка образов
Стихи
- *Ренат Беккин*
Русские мусульмане
- *Тамара Жирмунская*
«Не готов я к свободе...»
О Владимире Корнилове

10'2012

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

10'2012

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

К нашим читателям

3

Проза и поэзия

Геннадий РУСАКОВ. В своей поре. Стихи	4
Денис ГУЦКО. Бета-самец. Роман	8
Станислав ЛИВИНСКИЙ. История болезни. Стихи	95
Владимир ДАНИЛЕНКО. Рассказы. С украинского.	
Перевод Татьяны Мартынюк	98
Лариса МИЛЛЕР. От донца до звезды. Стихи	114
Григорий АРОСЕВ. Два рассказа	117
Грант АЛЕКСАНИЯН. Ярмарка образов. Стихи. С армянского.	
Перевод Анаит Татевосян	137
Анастасия ЕРМАКОВА. Рассказы	139
Григорий МАРК. Трёхстишия	148

Публицистика

Ренат БЕККИН. Русские мусульмане: заблудшая секта или авангард российской уммы?	152
Виктор ДЯТЛОВ. «Благовещенская трагедия»: историческая память и историческая ответственность	173

Нация и мир

ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ	
Владимир ДЕГОВЕВ. Забытый герой Кубани. Слово об Иване Федоровиче Бринке	189

Критика

Тамара ЖИРМУНСКАЯ. «Не готов я к свободе...». О Владимире Корнилове	214
--	-----

Книжный развал

Георгий КУБАТЬЯН. Поэзия как живопись	228
Владимир ШПАКОВ. Русский человек на rendez-vous с Европой	233
Зоя КОПЕЛЬМАН. Мистика творчества	235
Ольга ГЛАЗУНОВА. «Для славы, для пользы отечества»	238
Андрей ТУРКОВ. «Я не звезда...»	242

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. Длющиеся мгновения в фотографиях Виктора Ана	244
К нашей вклейке. Виктор Ан. Фотографии	
IV Международный симпозиум «Русская словесность в мировой культурной политике»	246

Эхо

Порядок. Приговор. Залп. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	247
Summary	256

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по культуре и кинематографии
и Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ,
Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Дорогие друзья!

Журнал «Дружба народов» наконец-то перебрался с чердака на задворках ресторана в удобное, светлое помещение.

Все, кто следил за перипетиями нашего выселения из исторического здания на Поварской помнят телеобращение к редколлегии журнала исполнительного директора фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова, который предложил «Дружбе народов» пристанище, чтобы пережить трудные времена.

От всей души благодарим Вячеслава Алексеевича и фонд «Русский мир» за гостеприимство.

В нашей судьбе приняли участие газеты и журналы, радио и телевидение, творческие союзы России, стран ближнего и дальнего зарубежья и, конечно, прежде всего — наши читатели. Мы не можем поименовать каждого, но с признательностью помним всех.

Именно ваша поддержка, обращение к Президенту Российской Федерации, солидарность общественности и позиция СМИ, подписи в нашу защиту на Sborgoloso.ru, отклики и комментарии в интернет-блогах и на странице «Дружбы народов» в ЖЖ www.drujba_narodov.livejournal.com, личные ходатайства за журнал в высоких инстанциях и перед влиятельными людьми проломили стену официального равнодушия.

Журнал выходит. Мы работаем.

Огромное спасибо всем нашим друзьям — всем, кто поддержал журнал в трудную минуту!

Редколлегия «ДН»

Геннадий Русаков

В своей поре

* * *

Я успел своё старенье
заложить в стихотворенье,
как тротильный заряд.
Города, события, лица...
То ли было, то ли снится
два столетия подряд.

Мы, глядишь, друг друга встретим
во втором, а может, в третьем,
потолкуем по душам.
Старость — это интересно,
хоть порою мне в ней тесно...
Да и холодно ушам.

Мне бы перекантоваться
лет пятнадцать или двадцать,
не споткнуться на строке —
чтобы жизнь трубой хрипела,
шпарил джаз и время пело...
И стекало по щеке.

* * *

Ну что, моя страна? Перед каким началом
затырилась, молчишь и не торишь дорог?
Похоже, не к добру ты нынче замолчала —
опять чего-то ждёшь, высчитываешь срок...
Откуда ты начнёшь — с востока или с юга?
Сибирью полыхнёшь — всё разом на попа?
А там пойдёшь пластать — гуляй-шуми, подруга!
Разгульна и уже от ярости слепа.
Дай, Боже, не дожить! Дай не увидеть страха —
мою страну в огне, очередной разор!

Как свой на своего, как вновь топор и плаха...
Как пляшет на тыну весёлый Стенька-вор.

* * *

Народ, который вымирает,
который боек, смел, умён,
сидит и сопли вытирает,
кляня изменчивость времён.
И повторяет те же бредни
на счёт размашистой души.
И то он первый, то последний...
Хоть все мы, в общем, хороши.
Но не из самых мы и глупых:
могли бы вспомнить, что везде
столетия строятся на трупах,
на соли, боли и беде.
Не из-за тупости расчётов
стоят, у времени в тисках,
все петербурги — на болотах,
все пирамиды — на песках.

* * *

Расти тщедушным от рожденья.
Искать на небе птичий след.
И мукой самоутвержденья
измучить сердце в двадцать лет.
Жениться рано. Жить стихами.
Любить. Учить чужой язык.
Грешить нестрашными грехами.
Ловить на стенке утлый блик.
Потом сойти с ума от боли.
Всё потерять и не найти.
Пропить друзей и их любви,
года роняя по пути.
И вдруг увидеть в небе птицу,
заплакать пьяною слезой —
и с полдороги воротиться
к столу, к работе — в мезозой,
к началу боли и созданья,
где ты со всеми наравне.
Где нет любви без состраданья
к ребёнку.
К женщине.
К стране.

* * *

Какой бедой до Бога докричаться,
какой судьбой до века дорасти,
когда касатки лапятся и мчатся,
а счастье умещается в горсти?
Когда трава торопится навстречу
на палочках подставленных лучей,
и каждый вторник галочкой помечен,
чтоб ей расти прямей и горячей?
Ещё пока ни бед, ни предсказаний,
а просто наземь рушится июль,

и я слежу горячими глазами
за тяжеленьем краснорожих дуль,
за всем, что бьётся, носится и вьётся,
что копит вес и рдеется щекой —
то на подсобный воздух обопрётся,
то станет никаким и никакой.

* * *

Стрекозы, бабочки — ремесленное чудо
(слюда и клей, и осторожный шёлк),
придуманное кем-то не отсюда,
но тем, кто в этом понимает толк.
Он кисточкой приладил три детали —
подмазал, дунул-плюнул, подогнул...
И вот они всплеснулись, залетали!
И Божий мир направо повернул.
Я в нём чего-то, видно, недопонял,
о чём-то вроде недораспросил...
Писал себе о женщинах и конях,
слегка под зоотехника косил.
А вот насчёт конструкции убогой —
всё на фуфу, ни клёпки, ни гвоздя —
совсем забыл.
Да ты её потрогай:
взлетит и канет, крылья разводя...

* * *

Отцветает красота в моих садах.
Белым пухом отлебяжила, лежит.
Погляжу вокруг — одно сплошное «ах!»
И хороший день почти прожит.
Вот опять, задев поленницу полой,
старый ангел больно низко пролетел...
Никакой не старый — пожилой.
Просто он на землю захотел.
Просто рыжим солнцем полон сад.
На закате пала крупная роса.
От забора весь проулок полосат.
Вот такие нынче с нами чудеса!
Долго я глядел на этот мир.
Постарел в такой работе — ухажу.
Но смотрю в него в упор, до самых дыр...
И дыханьем кверху в нём лежу.

* * *

Творец, запомни нас вот в эту среду,
в Медовый Спас, в четырнадцать часов:
мы тут с женой готовимся к обеду,
и я раздет, как дачник, до трусов.
Запомни без особенной причины
и ничего от этого не ждя.
Мы режем хлеб, едим рулет ветчинный
и слышим рокот раннего дождя.

Запомни нас без повода и смысла
(хотя у нас и то, и это есть),
а потому, что радуг коромысла
всё так же будут через пойму лезть.
И тот же день над нами веселится,
и то же солнце голову печёт.
...Но нет у Бога памяти на лица:
ведь он привык вести на души счёт.

★ ★ ★

Всё привычно в природе, поскольку повтор за повтором:
то дожди, то туманы, то праздничный гон января,
февралей мышкованье, апрельский раскат, за которым
в ароматах цирюльни клубится сырая заря.
Заблудившийся в памяти, август придёт ниоткуда.
Затоскует о чём-то моя беспокойная плоть.
И начнёт совершаться осеннее тихое чудо.
(Немудрёное чудо — прости за охулку, Господь...)
Ну, а мы, между делом, замесим грядущего тесто.
Запоёт у соседа живущая сольно труба.
Мир — простое и, в сущности, грустное место,
где пузырьчато небо, зато тишина голуба.

Где свеченье над садом, осевшие с хрустом сугробы,
предгриппозное горло, горячая плоть кавуна.
Или раннее утро хорошей метрической пробы,
с переполненным зреньем
летающего в лето окна.

★ ★ ★

Отрадные, как зрелище воды,
придут стихи и станут облегченьем.
В них будут жизни праздные следы
со всем её крученьем и верченьем:
приметы дней, событий суета,
работа, коммунальные расходы.
И вечно — телефонные счета
за разговоры, длящиеся годы.
Терпи, душа! Вот-вот придут стихи —
и дрогнет тюль, стекло прозвякнет в раме.
И кучу залежавшейся трухи
сквозняк протащит голыми дворами.
Тогда-то ты опять заговоришь,
тогда ты вспомнишь и зайдёшься криком!
Всех назовёшь, утетишь, одаришь —
в своей поре и даре невеликом.

Денис Гуцко

Бета-самец

Роман

Часть первая

Нелепая смерть

Оставшись один, Топилин всласть налюбовался игрой света на вишневых балках, погладил кожаные боковины кресла. Вдохнул с облегчением: отпустило. Свою влюбленность в дом Литвиновых он предпочитал не афишировать. Ничего порочного, чистая поэзия — а все-таки лучше держать при себе.

По ступеням беззвучно взлетела домработница Люда с крошечным подносом в руке — лишь ложечка, придавившая в стакане ломтик лайма, еле слышно позвякивала. Толкая дверь, Люда поглядела на ложечку пристально. Убедившись, что громче не звякнет, вошла.

— Я вам попить принесла. Как вы любите.

— Поставь.

Соседнюю комнату переполняло тревожное копошение. Вздохи, шелесты. Шорканье тапок. Открывались и закрывались дверцы шкафа, передвигались стулья, задегивались тяжелые шторы. Из угла внутренней террасы, где сидел Топилин, была видна лишь маячившая полутьма.

— Иди, Люда. Хватит уже, — простонала Елена Витальевна.

Люда вышла через другую дверь — в сторону наружной лестницы.

— Ооохматерьбожья... ооох...

Резко запахло лекарством.

— Мама, выпейте, — прошептал молодой женский голос. — Привстаньте.

Оксана принесла свекрови успокоительного.

— Давайте помогу.

— Что это? — захныкала Елена Витальевна.

— Корвалол.

— Не надо...

— Давайте, давайте!

Денис Гуцко — постоянный автор «ДН». Среднюю школу окончил в Тбилиси. В 1987 году переехал в Ростов-на-Дону, где окончил геолого-географический факультет Ростовского государственного университета по специальности «Экология и прикладная геохимия». Служил в Советской армии. Лауреат премии «Букер — Открытая Россия» (2005 г., за роман «Без пути-следа», впервые также опубликованный в «ДН»). Живет в Ростове-на-Дону.

Роман «Бета-самец» печатается в журнальном варианте. Полностью роман готовится к выходу в ближайшее время в издательстве АСТ.

Скрип дивана. Кряхтение.

— Оой... гадость...

Скрип дивана.

— Двери прикрыть? Мама, двери прикрыть?

Надсадно:

— Пусть. Пусть воздух...

В дверной проем нахлынула тень, вышла Оксана. Без косметики, в черной кофте, в длинной кофейной юбке. Будто в трауре. Молча приветствовала Топилина кивком, печально поджатыми губами. Спустилась в холл.

Снизу шарахнул топот — дети вбежали в дом — и тут же оборвался, наткнувшись на строгое шипение Люды.

— Кому сказано: не шуметь!

Детей увели на дальнюю половину дома. Стихло. Только вздохи, причитания Елены Витальевны:

— Божжемооой...

Топилин раскинул руки на подлокотники, прикрыл глаза.

Все позади. Для него все самое неприятное позади. Постепенно отдалится и забудется. Забывать не сложно. У Литвиновых, как только забился в уголок, ему сразу полегало. Как обычно. Уютная твердь ласково ткнулась в подошвы. Все эти охи-ахи, запах корвалола... послушно затихающие дети, беззвучно пролетающая домработница, скупое отцеженный сквозь задернутые шторы свет... будто нежная ладонь на застуженную грудь: «Плохо? Пройдет, пройдет, потерпи...» Так и лезла на лицо улыбка. Хотя улыбаться, конечно, нечему.

* * *

Кажется, раннее лето. Грузный шерстяной шмель висит над моей чашкой. Гудит, орудует крыльями, переваливается с боку на бок. Наводит жуткую суету, оставаясь совершенно неподвижным. Окна открыты. Наш крошечный сливовый двор оплетен кружевной тенью. Стволы в мелу — будто в рубчатых гетрах. Если зажмуриться и смотреть на них достаточно долго, стволы превращаются в девичьи ноги. Школьницы, одетые в белые гетры.

Выходной. Отец в больнице на дежурстве, у меня книжный день. Я читаю. Мама ходит на цыпочках. Бережно закрывает-открывает двери, изо всех сил старается не греметь посудой. Посуда, как водится, шарахается от нее во все стороны, и мама охотится за ней, досадливо вздыхая. Чуть позже я попрошу маму принести мне еще чаю. Принесет молча и несколько церемонно — как папе, когда он сидит вот так же над книгой или над новой пьесой. Оторвавшись от страницы, я с удовольствием ухвачу новый, еще непривычный мамин взгляд — одновременно извиняющийся (я не помешаю, я тихонько) и вопросительный (ну как, правда, здорово?). До чего же приятно наткаться на эти мамыны взгляды. Я — работаю. Как папа. Раньше, когда папа работал, мне доставался лишь укоризненный шепот мамы:

— Тише! Папа работает.

А папа в этот момент сверлит взглядом стену или месит беспокойными пальцами лоб, нависнув над растрепанными листьями, как шмель над медовым чаем. Ерзает, шевелит губами. Только что не гудит по-шмелиному.

* * *

Выйдя на балкон, располагавшийся аккуратно за спиной Топилина, Оксана разговаривала по телефону. Судя по всему, с Литвиновым-старшим.

— Нет-нет, срочно вылетать не нужно. Антоша уже занялся. Вины его никакой... Точно... Никакой, Владимир Карпович, абсолютно. Да... Плохо. С Еленой Витальевной, говорю, плохо. Переживает. Лежит вон пластом.

Внизу, в холле, кому-то звонила Люда.

— Допоздна задержусь, — говорила она строгим полусшепотом. — Так надо. Ничего. Много вопросов у тебя. Все! И не звони мне каждый час. Все равно не слышу, звонок выключен. Я сама позвоню.

Происходящее выглядело так, словно у Литвиновых кто-то умер. Или покалечился. Заболел неизлечимо. И врачи огласили приговор. Но нет. Все живы-здоровы. Как раз наоборот. Антон, муж Оксаны, убил человека. Случайно, разумеется. Случайно, нелепо. Тот выскочил в неподобающем месте. Антон, кажется, даже скорости не превысил, сразу начал тормозить... Ему бы руль покруче и на газ вместо тормоза — проскочил бы... Совсем чуть-чуть не хватило.

Стоит вспомнить, как перед Топилиным тут же всплывает вечерняя дорога, затяжной размашистый поворот на окраине Любореченска в сторону Южных дач. Дорогу недавно расширили, добавили полосу. Фонари еще не подключены, зато асфальт еще не разбит. Приоткрыли окна, вдохнуть свежего воздуха после городского чада. Покрышки монотонно шуршат, пространство набегают не по-здешнему мягко.

— Отличная машина, — похвалил Антон свой трехсот пятидесятый «лексус». — Не пожалеешь.

Точнее — бывший свой: продал его Топилину несколько часов тому назад. Вообще-то Топилину нравились компактные «паркетники» — он ездил на «тигуане», но Антон намекнул, что «фольксваген» как-то несолидно, и предложил свой годовалый «лексус»: сам он решил пересестись на «рейндж-ровер». После оформления ездили вместе, сначала по делам фирмы, после — за продуктами в «Реал»: обоим нужно было закупиться. Присели ненадолго в кофейне передохнуть. Тележки с продуктами — возле столика. Заказали по капучино и бутылке «Перье». Обеспеченные, глубоко положительные мужчины средних лет. Болтали о том о сем, как на волны морские поглядывая на посетителей торгового центра, сходявших с эскалатора, входявших на эскалатор.

После «Реала» Антон попросился за руль проданной машины — доехать домой, прокатиться напоследок. Вел спокойно.

— Смотри, Саша, тэ-о не пропусти, — напомнил Антон, перестраиваясь поближе к правой обочине, готовясь к повороту. — Эти гаврики перестали напоминать. Не звонят, как раньше.

— Еще три тыщи в запасе. Не пропущу.

— Масло лучше свое привези.

— Всегда так делаю.

— Там в последнее время бардак ужасный, мастера химичат.

На окружной было свободно. Частокот тополей проплыл мимо, распахнулось черное поле, дачный поселок рассыпался вдалеке, и тут же скрылся за долгим пологим холмом — и сразу за холмом в свет фар шагнул человек с рюкзаком и фотоаппаратом на боку. Удивленно вскрикнул: «О!» Губы бубликом. Раскинул руки, будто старого друга встретил — и через несколько секунд, наполненных пронзительным матом Антона, визгом шин и стрекотом АБС, обнял сорвавшийся в занос автомобиль, ткнулся лбом в переднюю стойку прямо перед Топилиным. За эти секунды Топилин хорошо его рассмотрел. Будто полдня разглядывал. Скуластое, с четко прорисованными чертами лицо. Низкие, плоские брови. Подбородок с глубокой ямочкой. Даже заросшие виски его, напозающие на уши волосы — и те успел высмотреть. Волосы, правда, могли впечататься в память и позже... скорей всего... но, вспоминая о нем, Топилин каждый раз представлял его живым... неотвратно приближающимся. И вроде бы боком уже, боком разворачивает, не должен боковой удар быть — насмерть... не должен — насмерть...

— Нет, — удивился Антон и резко сдал назад, вернулся в свою полосу — словно отпрянул, на ногу кому-то наступив: ой, простите.

Человек лежал в свете фар, широко разбросав руки, и не двигался.

— Нет! — заорал Антон.

Подбежав, они застали его в агонии. Лопнул кровавый пузырь в ноздре. Крови из

носа было много. Гримасничал. И вот затих, вытянулся в струнку, мгновенно посерьезнел, словно был застигнут за лицедейством, не предназначенным для посторонних глаз. Светлая бежевая туфля из нубука, дырчатая, слетела с правой ноги, обнаружив неподходящий по цвету черный носок. Брюки сползли на бедра.

— Откуда он взялся, Саша?! <...>

* * *

Еще были чтения в парке. В погожие выходные дни, ранним утром, мы с мамой отправлялись в парк имени Максима Горького читать.

Летняя сцена обнесена забором. Вечный ремонт — незаметный, беззвучный, как медитация. Лишь изредка одинокий молоток, очнувшись от забытья, принимает-ся взахлеб вколачивать в невидимые доски невидимые гвозди и замолкает так же внезапно, будто осознав тщету своего трудового порыва.

Усаживались на одну из облюбованных лавок: напротив гипсового горниста с обломанным горном или под ароматной липой с прибитой дощечкой «Туалет 200 м. Имейте совесть». Размеренные всхлипы метлы за поворотом аллеи, редкие бегуны-физкультурники, неторопливые пенсионеры, их непослушные собачки — «Капа, Капа, ты куда?! Сейчас же вернись!»

Каждая картинка будто встроена в драгоценную оправу: бери, любуйся.

Просиживали за книгами по несколько часов, пока не делалось слишкомлюдно. Мама запасалась бутербродами с маслом и сыром, сладким компотом в темно-вишневом термосе с замысловато изогнутым золотистым драконом.

— Саш, давай перекусим?

Раскладывала льняную салфетку на лавке, вынимала сверток с бутербродами. Благодаря этим чтениям в парке я рано научился игнорировать насмешливые взгляды. Быть может, мама именно этого и добивалась. А может, и нет — просто не думала о насмешниках и все. Как бы то ни было, я учился у нее этому роскошному безразличию, как когда-то учился ходить и говорить. <...>

В моем волшебном детстве я жил как за хрустальным забором — притом что никто никогда меня не запирали, не отгораживали от остального мира. Все было, было: одноклассники, одноклассницы. Учителя плохие, учителя хорошие. Оценки, каникулы. Завязывались и развивались отношения. Случались даже интересные сюжеты. Особенно когда действующие лица умудрялись зацепить меня чем-нибудь существенным. Например, подходили для того, чтобы поместить их в пространство только что прочитанной книжки, которое оборвалось, но не отпускает и окликает на каждом углу. Или обладали хотя бы одной достаточно живописной чертой, делавшей их такими же весомыми и осязаемыми, как полюбившиеся книжные персонажи. То есть нет, нет — была, разумеется, и жизнь сама по себе. В ней были люди сами по себе, которые впечатляли и отталкивали, радовали и огорчали. Было все, что бывает у всех. Ссорился, дрался, что там еще... Засматривался на девичьи талии, и ноги, и шеи с золотистым пушком. Взрослея, косился жадно на соски, темнеющие под тканью футболки на физкультуре. Говорю же — все было. Даже играл с мальчишками в футбол. А все же остальной мир то и дело оказывался скучноват и однобок, недорисован, как брошенный черновик. Я очень скоро начинал в нем скучать и сбегал обратно — к маме, папе и книгам.

* * *

<...> Навстречу появившемуся на террасе Антону наперегонки бросились дети.

— Па-а! — заголосил Вова. — Ты научить обещал! Управлять! Она у меня падает все время.

— Папа, — кричала Маша, — он со мной не играет!

Мячик вывалился у нее из рук. Антон поднял мяч, отдал дочке.

— Она не умеет! Как с ней играть?

— Сам не умеешь. Я умею!

— За забор все время выбивает. Люда сколько раз за ним ходила.

— Неправда, не «сколько», а три раза всего!

Антон стоял, скрестив руки на груди, сдвинув брови. Дети поняли и умолкли.

— Идите к маме, — пробубнил он рассеянно, отводя взгляд. — Я пока занят. Занят, понятно? И нечего орать... Вас же просили.

Вова с Машей ушли, переглядываясь: обычно отец не прогонял их от себя.

— Говорила: не надо, — отчитывала Маша брата, пока они спускались по лестнице.

— Я тоже говорил, — огрызался Вова, — не ходи за мной. А ты?

— Будешь играть? В последний раз спрашиваю.

Антон прошел к двери, ведущей в зал, позвал Топилина жестом. Топилин встал, последовал за Антоном.

Шел в нескольких шагах за его блестящим черепом, напоминающим кубоватое приплюснутое яблоко. «Покатилось яблочко», — думал Топилин, который частенько засматривался на этот смачный череп. Ему вообще нравились обнаженные мужские черепа красивой лепки.

Пересекли серебристый зал с витражами, завернули за каменный выступ с плазмой размером с половину теннисного стола и по узкому коридорчику прошли в небольшой кабинет с окнами на лесополосу.

Вдоль опушки неспешно прогуливался человек в плаще. «Счастливчик», — ни с того ни с сего подумал про него Топилин.

Устроился на угловом диване перед журнальным столиком.

Антон предложил кофе, Топилин отказался. Антон, подумав, и сам не стал. Сел напротив Топилина, ногу на ногу закинул, напустил морщины на лоб. Настроение у Топилина стремительно портилось, приходило в соответствие с ситуацией. Гипнотический уют литвиновского дома больше не действовал на него.

Все эти нелепые дни, последовавшие за нелепой гибелью нелепого человека, который разгуливал с фотоаппаратом в темноте посреди проезжей части, были тем нелепей и тем невыносимей, что Топилину перепала роль похоронного распорядителя. Антон попросил. Оплатил похороны по высшему разряду, лучший участок на кладбище — правда, на отшибе, в самом дальнем краю, еще не обжитом покойниками. Подальше от прокуроров и бизнесменов. Дабы не умножать нелепость смерти нелепым кладбищенским соседством.

Предстать лично перед вдовой и родственниками Антон не решился. «Ты же понимаешь... Зачем людей травмировать?» Топилин понимал. Как понимал и хорошо помнил другое: достатком своим, статусом второго лица в компании, кроющей плиткой тротуары в Любореченске, а также все дальше и дальше за его пределами, он всецело обязан Антону. На старом армейском приятеле и держится его нынешнее благополучие. Зыбкое весьма благополучие, дареное.

Хотелось отказать. Очень. И слова подходящие на языке вертелись: «Прости, не смогу. Найми лучше адвоката». Сдержался. Откажи он Антону — настал бы конец их дружескому партнерству. Да что там, про бизнес в Любореченске вообще пришлось бы забыть. Цветочного ларька не дадут открыть, точки на авторынке. И не оттого, что Антон обидится. Может, он и не обиделся бы вовсе — если б удалось поговорить по душам. Но доверять ему перестанут. А утративший доверие выбывает из игры. В узком кругу здешних избранных, куда Топилин когда-то так счастливо втиснулся, доверие может быть только абсолютным. Его не может быть больше или меньше, его нельзя приостановить, нельзя запастись им впрок.

Но отказать хотелось.

— Да, такие вот дела, Саша, — проговорил Антон, глядя в окно — быть может, на того же человека в плаще, прогуливающегося вдоль деревьев, которого только что рассматривал Топилин.

— Да.

— Спасибо, что помог с похоронами... — нахмурился, вспоминая имя, — Сергея. Царство ему небесное.

Нелегко дается Антону ситуация. Никак не поймет, как держаться, какое лицо делать, сидеть как, что говорить. Оно и понятно. Не приспособлен Антон к тому, чтобы сокрушаться. Как укротить эти мощные пружинистые жесты? Как одолеть избыточность, из-за которой каждый новый знакомый чувствует себя с Антоном точно в соседстве с крупным животным? Каждый блик на смуглой лысине сочтется неукротимым жизнелюбием — как потушить его? Да и нужно ли? Ради чего?

«Козел, откуда ты взялся?!» — вспомнил Топилин.

— Исповедовался вчера, — вздохнул Антон. — Два часа с батюшкой провел.

Топилин непроизвольно нашупал взглядом икону, стоявшую на дальней полке. Они тут по всем комнатам, и везде разные, со смыслом. В детской один святой — детский заступник. На входе — другой. Кажется, отвечает за достаток... или от дурного глаза... Топилину объясняли, он никак не запомнит.

— И что? — спросил Топилин и внутренне передернулся: глупо прозвучало.

— Не знаю. — Антон пожал плечами, махра в расстегнутой на груди рубашке шевельнулась черным каракулем. — Сказал молиться.

Они замолчали.

Человек в плаще, гулявший на опушке, вскинул руки вверх, потянулся. Принялся делать зарядку. Как был в плаще.

Нелепо все. Ненужно.

Нелепыш с фотокамерой убился о только что купленную Топилиным машину, за рулем которой — вот ведь нелепость! — оказался Антон. Получалось, Антону перепала роль убийцы, предназначавшаяся на самом деле Топилину. Почему — получалось — Топилину из чувства благодарности не согласиться было на роль похоронщика?

— Кофе хочешь?

— Нет, спасибо.

— А... я уже спрашивал.

С дебютом похоронного распорядителя Топилин справился. Было гаденько, но в целом сносно. Не смертельно. Вот только вдова не выходила у него из головы. Хотя не было для того никаких видимых причин. Все с ней прошло гладко. Но вспоминалась постоянно, по делу и без. Торчала черной занозой на ровном месте. Покалывала.

— Да уж, — сказал Антон так, будто долго кого-то слушал и наконец решил высказать согласие со всем услышанным. Он дотянулся до письменного стола.

— Держи. — Антон положил на стол автостраховку. — Теперь все как надо.

Важная формальность: в момент наезда Антон мог управлять «лексусом» только по доверенности — плюс страховка Топилина должна была распространяться на Антона Литвинова, либо на неограниченное количество лиц. Доверенность успели накатать прямо на трассе, дожидаясь приезда гаишников. Антон взялся переоформить страховку задним числом. Мент звонил Топилину дважды, ворчал: его, дескать, просили придержать дело, обещали представить правильную страховку, он все сделал — а страховки нет, а он не может больше тянуть, с него спросят.

Человек на опушке снова прогуливался. Руки за спину, неспешные шаги.

— Отвезешь? — полувопросительно произнес Антон.

Фигура вежливости. Что мог ответить Топилин? Нет, вези сам? Страховка-то его. И следовательно, в общем, его ждет.

— Позвонишь следаку? — попросил Топилин. — А то задержал.

— Обязательно. Ты завтра планируешь, с утра?

— Он сказал: срочно.

— Часов в девять позвоню ему.

Помолчали еще немного.

— Машину я, само собой, отремонтирую. Но тебе, может, она уже не нужна такая?

— А ты можешь обратно забрать?

— Давай тогда так. Я отремонтирую, продам — и верну тебе всю сумму. Нормально?

— Отлично.

Во время похорон тщательно держал дистанцию. Старался не смешиваться с родней. Его тошнило от мысли, что кто-то из этих, дураковато-скорбящих, пустится с ним в рассуждения о превратностях жизни и смерти. Встанет рядом, кивнет, помолчит ради приличия. Потом наклонится поближе: «Вот ведь как вышло. Жить бы и жить. Работа была — дай бог каждому, непыльная. Сиди себе, на кнопки жмакай. Зарплата. Молодой, здоровый. А оно вон как. Раз — и нет человека. Да-а-а, вон как оно...» С каждой фразой будет напирать, подступать плотней. Заскорузлыми пальцами трогать будет за руку, возбуждаясь оттого, что может беспрепятственно говорить свои благопошлости. А вокруг стоят такие же, подперли плечами. Дожидаются своей очереди. И никак от них не улизнуть.

Прощание проходило в коммуналке. Топилин накануне похорон обговорил все с Анной подробно. Приехал к ней с листком, отвел в тамбур, в сторонку от покойника, от угрюмых черных матрон, высаженных ровной грядкой вдоль гроба. Зачитал по пунктам, во сколько автобусы придут, как поедут, где отпевание, где поминки. В день похорон примчался к дому на Нижнебульварном загодя, но внутрь не пошел. Припарковался на углу, встал возле машины. Ветер со вчерашнего дня поутих, вяло теребил лужи. Но где-то над головой неустанно погромыхивал жестяной подоконник, будто пытался выпростаться из камня. Крышкой подперли одну створку двери, вторую придерживал забулдыга из местных. Умеренно пьяный, он стоял там, как часовой на посту. Даже как будто приосанивался, когда кто-нибудь входил-выходил. Надеялся, что позовут с собой на кладбище, а потом и за стол. Кажется, не позвали.

Родня покойного, съехавшаяся на похороны из полуживых шахтерских городков, одетая в китайское, сама на вид такая же фальшивая, казалась Топилину свежесобранной киношной массовой, не понимающей, как вести себя в этом кадре. Горе изображали неубедительно. Скорее, силились вспомнить, как оно должно выглядеть. Выглядело — никак. Вроде: «Ехали. Далеко, блин. Стоим, блин, хороним». Бригадир землекопов тихим поставленным голосом руководил процессом: «Кто-нибудь из родных, близких скажет последнее слово? Нет? Отходим в сторонку. Опускаем. Прощаемся, бросаем по горсти земли. Нужно говорить «пусть земля будет пухом». Цветы позже. Позже цветы, женщина!» Они делали как велено, и, отойдя от могилы, облегченно закуривали, расправляли затекшие члены.

Эта равноудаленность от обоих полюсов: толком грамоте не обучены, десятка книг не прочли — так еще и свое позабыли, исконно-посконное, и эти ритуалы темные, пахнущие сквозняком из земляной глубины, эта никчемная равноудаленность в так называемом простом народе всегда раздражала Топилина. Но в этот раз раздражала как-то особенно, с обертонами.

Неприятно взволновал шепоток, подслушанный, когда возлагал венки от имени Антона с надписью на ленте «Прости и покойся с миром».

— Прости, вишь? Прости. Это от кого? Че, сам явился?

— С них станется.

Даже несмотря на то, что его приняли в какой-то момент за Антона, все прошло тихо-мирно. Он-то готовился к ненавидящим взглядам. Старательно прятал до поры до времени ленту на венке. Не исключал и возможности мордобоя. Прихватил на этот случай травматический пистолет «Стример». Но нет. Даже не заговорил никто. Пялились, конечно, но и только.

Сын покойного Влад, мрачный шестнадцатилетний здоровяк, которого Топилин поначалу опасался больше остальных, простоял столбом. То буравил глазами землю, то облака рассматривал. Топилину показалось, что парень с матерью не в ладах: ни разу не заговорил с ней, она ни разу его не коснулась.

Коллеги покойного — в темных добротных костюмах, в измазанных рыжим кладбищенским глиноземом остроносых ботиночках — выглядели еще несуразней пролетарской родни. Один все стаптывал приставшую к подошве соломинку.

Только Анины парикмахерши, по-девичьи жавшиеся друг к другу, беспрестанно перешептывавшиеся и по очереди утиравшие слезу, вписывались в ландшафт и сюжет более-менее органично.

Когда Топилин собрался уходить с кладбища, тесть покойного схватил его за руку, испуганно уточнил: «А поминки?» — и Топилин указал ему на водителя кладбищенского автобуса: «Вон, он отвезет. Не волнуйтесь. Все будет в лучшем виде». Тот кивнул, выпуская его руку.

С Анной, вдовой, простился издали, коротким кивком. Она кивнула в ответ.

Что-то выталкивало ее из общей похоронной массы. Эта ее сдержанность, наверное. Ни растерянности, ни горя навывнос. Ничего напускного, совсем ничего.

Оглянувшись мимоходом на повороте кладбищенской аллеи, Топилин подумал с досадой: «Не похороны, порнография какая-то...» И удивился ледяной тоске, внезапно нахлынувшей и долго не отпускавшей.

* * *

<...> До моего рождения мама преподавала литературу в школе. После устроилась на должность библиотекаря — чтобы иметь больше свободного времени, которое можно было посвятить моему воспитанию.

Сколько помню себя ребенком, во мне всегда жило ощущение, что меня готовят к чему-то небывалому. Как готовят спортсменов или солдат. Или наследных принцев. То есть родители не говорили мне: тебе надлежит стремиться, ты должен добиться, ты обязан стать... смотри, сынок, не подкачай, мы на тебя рассчитываем... Ни разу даже не намекнули, кем хотели бы видеть меня во взрослой жизни — полагая, видимо, что достаточно плыть по этой реке, чтобы приплыть в правильное место. Из детского тумана сохранился обрывок родительского разговора.

Папа:

— Тебе сыночек прочитал свое стихотворение?

Мама (декламирует мое сочинение, не отрываясь от чистки картошки):

— В зоопарке есть медведи, лисы и ежи. В зоопарк я прихожу, с удовольствием смотрю. Даже страшный бегемот кажется красивым.

Папа (как бы размышляя вслух):

— Похоже на поэтический дар.

Мама (с шутливым упреком):

— Гриша! Мы же договаривались. Не мешать. Пусть сам.

Папа (обнимая маму):

— Да я так просто... предположил. Интересно же угадать.

Мама (смеясь):

— Тоже мне, угадывальщик... Кто кричал: будет двойня?

Папа:

— А вот пусть и отдувается за двоих.

Отец и сам отдувался за двоих. В моей жизни он всегда был как бы на десерт, как будто проездом. Григорий Дмитриевич работал в хирургии лор-отделения Первой городской, а свободное от работы время почти без остатка отдавал театру самодеятельности ДК «Кирпичник». В знаменитом на весь город «Кирпичике» папа значился вторым режиссером, но все вокруг знали, что именно он подбирает репертуар и ставит спектакли: старенький Шумейко, заслуженный партиец и лирический графоман, нужен лишь для прикрытия. В обеих своих ипостасях — врача и режиссера — отец трудился много (хотя и с разным запалом). За что и расплачивался глубокой, «потусторонней», по выражению мамы, усталостью. О его любви к себе я главным образом догадывался по ласковой медлительности ладони, невзначай скользнувшей по плечу, по бархатистому трепету голоса, когда, устроившись на диване, он просил: «Посиди со мной». Я садился, отец спрашивал, что у меня нового. Я принимался рассказывать: про школу, про Кроляндию — страну ученых кроликов, которую мы с мамой придумали совершенно случайно, пройдя мимо чучела в витрине охотничьего магазина. Отец частенько задремывал под мои рассказы, улыбаясь и поддакивая мне сквозь сон.

Отец был — праздник. Кипучее закулисье «Кирпичика» было полно подарков: черное чугунное колесо с деревянной ручкой, тянувшее канат, раздвигавший занавес.

вес; беременные зеркалами гримерки; разноголосые скрипы, обитавшие в досках коридора, ведущего к сцене, я помню каждый — только по-настоящему свой, посвященный — мог во время спектакля пробраться по коридору беззвучно, наступая на «немые» доски; реквизитор баба Женя, ковыляющая с охапкой парчи и рубищ, и крохотная общага за «Кирпичиком», обитатели которой то и дело обсуждали чьи-нибудь чувства: собственные, своих друзей, персонажей пьес... Каждому из отцовского окружения, кто в силу собственного обаяния или обаяния обстоятельств западал в мою прожорливую детскую душу, находилось место и в грядущем мире, где мне уготована была судьба таинственная, но неизбежно яркая. Я запросто переселял туда любого. Формовщика Степана Петровича, бессменно игравшего тень отца Гамлета, отправлял лет на десять вперед встречать меня в рядах восторженных поклонников в Любореченском аэропорту, куда я возвращался после триумфальной выставки в Париже. Огненно-рыжая, обжигающе красивая Валентина Лопухова — в «Кирпичике» Джульетта, в реальной жизни продавщица бакалеи, — которая росчерком моей фантазии вдруг назначалась художником в театр кукол, консультировалась со мной относительно цветовой гаммы будущего спектакля. Баба Женя почетной гостьей восседала на моих встречах со зрителем — это если я решал стать кинорежиссером. Ну и так далее. Мечталось мне раздольно.

Со временем обнаружилось, что мои фантазии имеют некоторое ограничение: они не распространяются на прошлое. Только на будущее. Только вперед бежала эта дорожка. Утыкаясь в прошлое, мое воображение мгновенно теряло магическую силу. Гасло и костенело. Стена оказывалась непреодолимой. Я, например, никак не мог представить себе моих родителей (точнее, на тот момент будущих родителей) подростками. В детдоме, где они выросли.

Оба они были из отказников. Секрета из этого не делали, но и говорить об этом не любили. Папа утверждал, что ФИО достались им от мамаш-дезертирш. Мама утверждала, что в «Доме малютки» всех поголовно переименовывали. Причем фантазия медперсонала начинала пробуксовывать каждые четыре года: именно с таким интервалом фамилии обитателей детдома начинали повторяться.

Родительских рассказов о детстве, о друзьях или воспитателях я не помню ни одного. Оброненное вскользь было немногочисленно. Друзей из той жизни у них не сохранилось. Друг к дружке приклеились с пятнадцати лет, поженились, как только исполнилось восемнадцать, накануне выпуска из детдома. Дом получили в наследство от одинокой старушки, работавшей в детдоме уборщицей. Когда Марина с Гришей выпускались, неприметная тучная старушка, больная диабетом и чем-то еще, как раз выходила на пенсию и предложила им досмотреть ее в обмен на дом — не тот, в котором мы жили, другой. Старушкино наследство родители продали сразу после ее смерти. Старушку звали Ольга Петровна. Ее пожелтевшая девичья фотография в толстой ореховой рамке стояла возле телевизора подпертая антикварным бронзовым ежиком и была единственной доступной мне лазейкой в родительское прошлое. Лазейка эта, однако, вела в тупик. Не многое можно было разглядеть в вытаращенных и поблекших глазах Оли (будущей Ольги Петровны) — и уж точно не видны там были Марина с Гришей. На могилу к ней мы ездили редко: согласно воле усопшей, похоронили ее в родных Пятихатках — а это пятьдесят километров от Любореченска, автобус в восемь сорок от пригородного по нечетным числам. Каждый раз, когда я наткался в книгах на имя княгини Ольги или слышал о ней на уроках истории, передо мной проплывало мутноватое лицо нашей Ольги, особы не менее мифической.

Временами я пытался слепить картинку из того, что знал о них: лучшие ученики, их ставят всем в пример, они влюблены друг в друга, а вокруг — детдом: ожесточенные сироты... воспитатели... скудная еда... Ничего не выходило. Картинки не складывались — не получалось дорисовать моим родителям прошлое. Папа с мамой появлялись из глухого ниоткуда. Выскакивали из него на ходу, как из пустого трамвая, разворачивающегося на конечной остановке, и улыбались мне: «Привет!» Сказать по правде, я не огорчился. И с расспросами не лез. Пустота за спинами родителей меня

очень даже устраивала. На этом фоне все смотрелось еще изысканней. К тому же я был свободен от общества бабушек-дедушек, с которым вынуждено было мириться большинство моих сверстников: неприятные старые люди, с обвислой кожей, со страшными пальцами и запахами, назойливо повторявшие пять-шесть банальностей, которые, казалось, заучивали когда-то хором, — взамен всего этого я получил безобидную фотографию давно умершей девушки Оли.

Как тут было не влюбиться в свое будущее, которое не могло же быть заурядной штамповкой, когда все такое особенное снаружи и внутри... И я любил его, нежно и преданно, заранее прощая любые несовпадения с эскизами.

Чувство взросления: «Ой, уже началось!» — пробудил во мне отец. Случайно. Он вообще никогда не предпринимал в отношении меня никаких специальных мер — просто позволял быть рядом, иногда говорил со мной, иногда интересовался моим мнением.

Мне было лет двенадцать-тринадцать. Он взял меня с собой в «Кирпичик». Папа только что поставил «Чайку» — впервые поставил Чехова и был ослепительно счастлив. Я отбегал куда-нибудь в уголок и любовался им.

В тот год он часто брал меня с собой в театр в дни представлений.

Мы приходили задолго до начала, отец расспрашивал у дежурного, кто из актеров на месте, и мы отправлялись на сцену, осматривать декорации. Он взбегал по лестницам и мосткам, садился на скамейки, шумно хлопал дверьми. Со сцены — снова к дежурному, уточнить список пришедших и начать волноваться: опоздают ли те, кого еще нет, или явятся с минуты на минуту. В буфете мы съедали бутерброды с икрой минтая, отложенные специально для нас. Чай нам подавали в граненых стаканах с подстаканниками — как в поезде. Отец при этом каждую минуту поглядывал на настенные часы. Чем ближе к началу представления, тем жарче раскалялся «Кирпичик». Иногда приключались скандалы, и кто-то бежал, оглушительно грохоча каблуками, и кричал, что не может работать в такой обстановке. Отец срывался на звук — и позже я находил его в компании хнычущей царицы, которой он обещал все уладить завтра же, или прогуливающимся под руку с угрюмым стражником с картонной алебардой на плече. Иногда закулисье переполняло беспечное оживление, в гримерках раздавался смех, и отца приглашали продезинфицировать инструмент. Папа неизменно отказывался — но они все зазывали его и доказывали, что без дезинфекции нельзя не только в больнице, но и в театре. Когда все актеры были на месте и над ними хлопотала баба Женя, мы с отцом перебирались за кулисы. Здесь он неизменно напоминал: «Только тихо». Впрочем, я и без того был тише воды и замороженно наблюдал, как папа управляет этой капризной машиной, выводя ее в единственно допустимую точку, в которой его актеры встретятся с его зрителями...

Мы стоим в правой кулисе, возле столика с горящей настольной лампой. Зал уже гудит, скоро начнется. Костя Маркин, актер, играющий Сорина, хлопает себя по лбу.

— Что? — оборачиваясь, отрывисто роняет отец — будто выстреливает Маркину под ноги.

— Да трость забыл, Григорий Дмитриевич. На ту сторону заходил, к Лизе, на сундуке оставил.

Костя собирается идти за тростью. Вмиг успокоившийся отец его останавливает:

— Не возвращайся, ты что! — Тянется ко мне рукой. — Сходишь, сынок?

Все во мне сжимается. Мне страшно. Отзвучал третий звонок. А если я не найду? А если его трость кто-то унес? Костя смотрит недоверчиво.

— Сходи, ты знаешь, — говорит папа спокойно, будто мы с ним дома, и он просит принести ему карандаш из спальни.

И я послушно отправляюсь за тростью.

Узкий темный проход между стеной и тонкой фанерной перегородкой, за которой — воспаленная тишина сцены. И вот уже пощелкивают, разгораются аплодисменты. С перепугу я готов припустить бегом, но тут вспоминаю, что выход Сорина — не в самом начале. Аплодисменты стихают, две тишины соприкасаются. Кто-то

пробегают за перегородкой мимо меня, страшным шепотом командуя: «Давай!» Скользя подушечками пальцев по фанере, подскакивая ими на равномерно набитых рейках, я дохожу до левой кулисы. Чьи-то пышные юбки, букли, порхнувшая на вешалку шаль. На блестящем горбатом сундуке трость. Хватаю трость, иду назад. За перегородкой только что начался спектакль.

— Отчего вы всегда ходите в черном?

— Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Засовываю трость под мышку и дальше иду так, беззвучно пританцовывая, чувствуя себя невидимкой, отколовшим невинное озорство.

Отдаю трость Маркину, он неприятно треплет меня по плечу. Отец стоит тяжелый, окаменевший.

— Принес, пап, — шепчу я, становясь чуть поодаль.

— Ммм, — отзывается он, не оборачиваясь.

Никаких тебе «молодец» или «умница» — подумаешь, за тростью сходил. Я смотрю вместе с ним на сцену и отчаянно стараюсь сохранять невозмутимый вид. Хотя кто меня может здесь разглядеть?

* * *

Охотничий клуб назывался «Логово». Открывал его некто Долгушин, из пришлох, москвич лет пятидесяти. Говорили, у него серьезные подвязки в администрации с выходом на самого губер. Какие именно, Топилин не знал. Антон не рассказывал.

Приглашение прислали задолго до ДТП, и Антон предложил визит не отменять. Дескать, прощупаем обстановку, выясним, как широко слухи расползлись. Возле губер отметимся. Самое время. Топилин рассудил, что охота на уток поможет ему развееваться. И они отправились в «Логово».

Выраженный в тирольский костюм Долгушин в окружении двух грудастых фрау встречал гостей на входе. Очень старался выглядеть простоватым и бесшабашно веселым. Метался от одного к другому, командовал: «Пива гостю!» Сбитый и округлый, в клетчатых бриджах и жилете он напоминал шутовскую лимонку, вертящуюся волчком. Тирольское радушие, очевидно, не просто ему давалось. То и дело озирается. Будто проверяя, не насмехается ли кто.

— Проходите, угощайтесь, господа! Ешьте-пейте, но рекомендую не забывать и о предстоящей охоте. Для этого и собрались. Подъем в полпятого, и это не шутка! Выдвигаемся строго в пять. Опоздавших не ждем, раненых не бросаем. Охота намечается — пальчики оближешь. Утки тут жирнющие, сам видел.

Антон с Топилиным хозяин приветствовал несколько напряженно. Заметно было — силился вспомнить, кто такие. Сказано: москвич. Прихватают по верхам, влезут — а потом всматриваются сверху вниз: ух ты-ы-ы! Всюду жизнь! И много как, и все какие разные...

— Пойдем, Саша, вольемся.

Влиться, однако, не получилось. Компания была случайная, много незнакомых. Среди знакомых большинство из категории «привет-пока». Как только пристроились к столику возле каменных кабанов, восседающих по обе стороны крыльца, так сразу и замелькали вокруг нехорошие взгляды. Подходили, здоровались. Но разговоров не затевали. Был момент, когда клочковатая компания, заполнявшая площадку перед трехэтажным корпусом «Логова», почти вся, почти одновременно зыркнула на них: на Антона, потом вскользь на Топилина. Даже как будто шепоток пробежал.

— Знают, пидоры, — процедил сквозь зубы Антон.

Простояли так, под всеобщим осмотром, недолго. Но Антон завелся не на шутку.

— И вообще, что за гондонов он здесь собрал? Знал бы, не поехал. <...>

После нескольких кружек пива Антон с недоброй улыбкой пустился курсировать от одной компании к другой. Везде перетягивал внимание на себя, шумно рассказы-

вал какие-то истории. Топилин смотрел на Антона Литвинова и невольно прислушивался к себе: что-то там происходило. Пока неразборчивое.

Прихватив блюдо с виноградом, устроился на широких качелях чуть в стороне от площадки, на которой перетаптывалось-перешучивалось вялое гуляние. Стемнело, качели были погружены в плотный сумрак. Топилин сплевывал косточки прямо перед собой. Он был знаком со многими. Когда-то любил подержать в руке тяжеленькую визитницу, набитую важными именами, — жирнющую, как обещанные назавтра утки. Каждой новой визитке подбирал подходящую ячейку, переставлял их, совершенствуя классификацию: чиновники, семьи, собратья-буржуи. Что ж, было... накрывало мелочным тщеславием с головой.

Ни с кем из них у Топилина не сложилось дружеских отношений. Не вставлялось — разъемы не подходили к выступам. Удивлялся, как легко это получается у Антона. К концу фуршета, бывало, обнимается с новеньким знакомым, анекдот неприличный расскажет, пригласит в гости со чады и домочадцы. И все это вальяжно, с незапятнанным барством. Вот и сейчас — куда только подевались косые взгляды, мелькавшие буквально час тому назад? Улыбаются, ввязываются в веселые споры.

Антон всюду представлял Топилина как своего друга — старинного, армейского. На одну-две встречи хватало. Но стоило знакомству хоть сколь-нибудь затянуться, все скатывалось к привычному результату: Топилина передвигали в дальний уголок с пометкой «человек Литвинова».

— А-а-а, какие люди!

Как бы ни довелось стоять, руку пожмут сначала Антону, потом ему — с остаточной улыбкой.

Когда-то Топилин надеялся сдружиться с Антоном по-настоящему. Не то чтобы рвался к этому, как спортсмен к медалям, — скорее, ждал. Армия, считал он, не в счет. Разве можно тамошние отношения — будь то дружба или вражда — рассматривать всерьез? Там, где никто не бывает самим собой, не смешно ли называть человека другом или врагом? Но в нормальном мире, в котором они с некоторого времени виделись почти каждый день, зарабатывали общие деньги, вращались в одних кругах — Топилин рассчитывал на душевное сближение. Так было бы нормально. Кому и дружить, как не им. И в общем-то, внешне все так и было: всюду зван, Маше крестный отец. Но Топилин чувствовал, что сам он не держит Антона за друга. Не дружится ему по-настоящему.

Ночевали в деревянном коттедже на четверых. С двухъярусными кроватями. К Антону с Топилиным подселили краснолицых большеруких фермеров. Фермеры пугливо познакомились, попытались нащупать общую тему. Разговор не клеился. Предложение раскинуться в карточки тоже не нашло у городских отклика. Первым лег Топилин, взобравшись на верхнюю койку, Антон последовал его примеру. Фермеры посидели в задумчивости на оставленных им нижних местах, заявили, что любят перед сном подышать, и канули в темноту за дверью, любезно выключив перед уходом свет.

После их ухода навалилась тишина, пренебречь которой было невозможно. Живая загородная тишина. Лягушачий концерт вдалеке, сверчки, комары. Запах свежей древесины дурманил похлеще спиртного. И что со всем этим делать?

Антон выругался.

— Вилы сейчас — домой ехать. К тому же выпили. А так рванули бы. Ммм?

— Я о том же думаю, — признался Топилин. — Никакого настроения.

— В барак какой-то заселил.

— Не говори.

— Тоже мне, хрен в штанишках. Нужно будет разузнать подробней через Карповича, кто такой... Приперся... Чего в Москве не жилось?

— Проблемы какие-нибудь.

— Стопудово, Саш. Нужно людей порасспросить.

Перебив косточки Долгушину, они выдохлись. Топилин включил сплит-систему,

но от тишины, заселенной лягушками и сверчками, шелест ее не спасал. Встать бы, закрыть окно. Лень.

— Я после армии ездил в эти края на охоту, — сказал вдруг Антон. — С отцом. Тоже — на уток.

Услышав изменившийся голос Антона, Топилин непроизвольно затаил дыхание. Замер. Будто он был лягушкой, а Антон — жутким ушастым спаниелем, вломившимся в тихую заводь.

— В первый раз он меня с собой позвал.

Никогда прежде Топилин не слышал, чтобы Антон говорил таким голосом.

— За три месяца до его смерти. Он уже свой диагноз знал тогда. Он вообще-то и перед армией меня звал пару раз. Я отказывался. Выделялся. Друзья мне его не нравились. И вот он позвал меня — мол, поехали. Будем только вдвоем, я с егерем договорился. Я-то про его болячку не знал еще. Он запретил мне рассказывать. Ну, поехали. Где-то тут и было... Неподалеку где-то. Сторожка стояла. Колодец настоящий, где, знаешь, крутить надо ручку. Долго плыли. На надувной лодке. Отец на веслах, я на корме, уток высматриваю. Вывернули на плес — а там стая. Капец! Вся река усеяна, аж глаза разбежались. Ну, я, баран, не выдержал, ойкнул во всю глотку. А отец предупреждал еще: ты, говорит, молчи главное, для них человеческий голос страшнее выстрела. В общем, утки сорвались и полетели. Отец ругается. Весла бросил, схватил двустволку. Лодка ходуном. Выстрелил, но поздно. Утки успели далеко отлететь. Не попал... Я прижух весь, нагоняя жду. Но в тот раз отец не настроен был. Как утки скрылись из виду, он только ружье опустил, головой покачал. Посмотрел на меня — грустно так, у меня аж сердце екнуло — и ни слова. Я извиняться, то-се... Отец ни слова, гребет.

Антон замолчал. Вспоминал, как все было.

Нужно как-то реагировать, поддерживать разговор, понимал Топилин. И антураж опять же. Темнота, лягушки хреновы... Но — никак, хоть ты тресни.

— Отплыли далеко, уток все нету, — продолжал Антон. — Еле-еле расслышали крикание. Отец стал грести мягче, готовился. И тут откуда-то с соседней излучины как стали лупить — один за другим. Браконьеры. Стая поднялась, на нас летит. Все небо в крыльях. Я ружье свое вскинул, говорю отцу: подлетят сейчас, давай. А он только рукой махнул. Даже не посмотрел. Головы не повернул. Я-то стрельнул. Мимо. Да... Взгляд его сейчас вспомнился. Он так на охоту больше и не выбрался...

Тишина. Вот-вот захлестнет.

— Да, печально, — только и сумел выдавить Топилин.

Антон ответил что-то себе под нос и умолк. Больше разговора не затевал. То ли вправду спал, то ли притворялся, как Топилин.

Лягушки достали.

Неужели Антон ждет от него ответной задушевности? Так сказать, алаверды...

Залаяла собака. Послышался стук двери, стремительный топот. Собака умолкла.

Топилин угрюмо присматривался к идее собраться и уехать. Сказаться больным. Прости, Антон. Съел что-то не то на фуршете. Пиво с шампанским смешал. Всего бокал, кто же знал, что оно так аукнется.

В какой-то момент он разглядел наконец это поганое словечко, выглядывающее ехидно из-за краешка каждой его мысли. Прихватил, попробовал словечко на язык — проговорил беззвучно, не раскрывая рта: «убийца». Горло лягушачье пульсировало. «Да не виноват он, — вяло напомнил себе Топилин набившую оскомину деталь. — Не виноват ведь». Прислушался... Вот оно — на месте. Крошечное, но непреодолимое. Как вросший в десну зуб. Врос — и весь ты, сложнющий микрокосм, затейливый узелок вселенной, пляшешь джигу вокруг тупой злобной костяшки. Антон убил человека. Случайно. Антон — с которым сто лет в обед... случайно, конечно. Случайно.

И лягушки тархтят из темноты. И фермеры дышат воздухом. И утки спят где-то неподалеку, завтрашние клювастые трупники.

Фермеры ввалились за полночь, оглушительно сопя и щедро разбавляя древес-

ный аромат коньячным перегаром. Легли, не раздеваясь. Четко, как инструмент в футляре. Топилин ждал, что будут храпеть. Не храпели.

С самого начала ее сдержанность не давала Топилину покоя. Из-за этой сдержанности рядом с ней было трудно. Как в инородной среде. Обыденные вещи давались с усилием.

Их первая встреча состоялась перед моргом, куда она приходила на опознание. Топилину перед этим позвонил безымянный мент — не представился, сказал только: «Просили передать — опознание Сергея Митрохина пройдет сегодня в БСМП-2 в два тридцать». Из-за пробок опоздал на десять минут. Нервничал, боялся разминуться. Было ветрено. Кружили песочные вихри. За ограду выходила женщина. Шла плечом вперед, отвернув от ветра лицо. Одной рукой прижимала к голове платок... еще не тот, из траурного ситца, еще цветастый шелковый; другая рука прятала под полу куртки свернутый в трубочку бумажный лист. Топилин Анну до этого в глаза не видел, да и вдову назавтра после трагического известия представлял себе совершенно иначе — на ватных ногах, с трясущимися руками, со всех сторон поддерживаемую родственниками. Эта шла сама, не спотыкалась.

— Анна Николаевна?

Остановилась, встала спиной к ветру.

— Да.

— Примите мои соболезнования... искренне...

— Кто вы?

— Собственно, свидетель происшествия. Александр Топилин. Я в машине сидел... под которую ваш супруг попал.

Разглядывала его сквозь прищур, ждала продолжения.

— Поверьте, все случилось совершенно случайно. Скорость не была превышена. Водитель был трезв.

Лопотал с приторной скорбью. Ветер мешал говорить. На зубах уже всю похрустывал песок. Хоть отплевывайся. Вдова перебила:

— Вам что-то от меня нужно?

— Мне... нет... То есть в некотором смысле. Позвольте помочь вам с похоронами?

Она обернулась на морг. Будто поинтересоваться мнением того, кто там остался. Из дверей вышел мент и, прикуривая на ходу, отправился в сторону больничных корпусов.

— Не отказывайте, Анна Николаевна... такое дело...

Топилину показалось, что она всхлипнула. Присмотрелся — нет, стоит как стояла, щурится. И? Дальше-то что?

— Не отказывайте... правда... Я, собственно, от имени... водителя, который в тот злополучный вечер... в общем, который совершил наезд на вашего мужа. Совершенно случайно, поверьте... Трагическое стечение обстоятельств... Антон. Антон Литвинов... Может, слышали... В общем, Анна Николаевна, Антон очень, очень переживает. Он хороший человек, семьянин... и очень переживает.

Он все ждал, что она хоть как-то ему подыграет. Напустит скорби. Разрыдается. Другая бы развернулась всю. Закатила бы истерику. Возможно, с проклятьями. Все-таки одна-одинешенька выходит из морга.

Анна слушала молча, несколько раз кивнула. Топилин напоминал себе рекламного мальчика, приставшего к проходившей мимо тетеньке с рассказом о чудесных скидках и бонусах: то, что он строчит заученной скороговоркой, ей совершенно не интересно, но она никуда не спешит, и мальчика жалко, пусть.

— Там поворот. Фонари не горят. А он переходил.

— Помочь... — произнесла Анна как припозднившееся эхо. — Да, наверное.

* * *

<...> Окончательное понимание того, что мы особенные и за это придется платить, настигло меня после проделки Кости Дивного. Такая у него была фамилия.

Сам Костя относился к ней с равнодушием мота, прожигающего неожиданно перепавшее наследство, меня же она привлекала своим сказочным благозвучием и полнейшим несоответствием Костиному содержанию. Диссонанс смысла и звучания меня завораживал. Был Костя двоечник и буян, рос под присмотром крепко пьющей бабушки и со мной, отличником и тихоней, водился из встречного интереса: я давал ему списывать домашние задания.

Он перевелся в нашу школу в шестом классе. Я только что дочитал «Республику ШКИД» и тихонько бредил стихией нерушимого товарищества и благородной бузы. Эта книга запала мне в сердце тем глубже, что ведь и мама с папой, думал я, оттуда же, из буйной шкиды, просто потом остепенились. Стали такими, как сейчас. Интеллигентными. Может, поэтому и не рассказывают ничего про свое детство?

Как бы то ни было, Дивный с его округлым лицом, с жесткими, как щетина, волосами, с насмешливым взглядом казался мне приятелем Цыгана и Янкеля. Первый мат с появлением, первый подъем на школьный чердак, первая победа в драке, одержанная благодаря своевременному появлению Кости, — и кто его знает, сколько еще дивных не книжных открытий предстояло мне сделать, если бы наше приятельство продолжилось дольше. Увы, однажды Костя устроил потоп, на котором все и закончилось.

Учитель математики опаздывал, кабинет был закрыт. Остальные классы зашли на урок, 7 «Б» оставался без присмотра в коридоре. Костя вынул из пожарного щита возле туалета шланг, под общий вздох удивления прикрутил его к крану, высунул в окно и взялся за вентиль. Облепивший окна 7 «Б» отсмеялся быстро: гигантская брезентовая змея, бешено извиваясь, мотая металлической башкой, залила фонтаном окна начальных классов, медпункта, учительской. Когда вентиль был закручен, Костя сказал с обезоруживающей грустью, обращаясь к притихшему классу: «Вы ж не сдавайте, смотрите». Математика была последним уроком, учитель так и не появился, и мы под шумок разбежались из школы по домам.

Расследованием занялся лично Полугог — наш цельнометаллический, внушавший страх даже самым отпетым старшеклассникам директор Павел Иванович Полугин. У него была непропорционально большая голова, на редкость светлые, почти прозрачные глаза — и он действительно умел быть страшным. Когда, вскинув седую бровь, Полугог нацеливался своим ледяным взглядом в лицо нарушителя порядка и говорил тихонько «так-так», казалось, какое-то высшее карающее существо нависло над несчастным и вот сейчас, потоковав для разминки, склюет его в несколько приемов, как филин мышь. Большинство смутьянов сознавались сразу. Упрямцев Полугог утаскивал в свой тихий и вечно зашторенный кабинет с потускневшим портретом вождей на стене: четыре профиля веером на фоне красного знамени. Раскалывались все.

Поскольку в момент происшествия в закутке возле пожарного щита, согласно расписанию уроков, должен был находиться лишь 7 «Б», авторство проделки со шлангом было всем очевидно. К тому же Костя Дивный на следующий день прогулял школу. Но Полугог всегда добивался, чтобы виновник был назван своими во всеуслышание — а в особо тяжких случаях заклеивал на школьной линейке. Он пришел к нам на последний урок и, прогулявшись в гробовой тишине между парт, сказал:

— Так. Кто это сделал?

Обычно во второй раз он повторял свой вопрос с нажимом, гуляя всевидящим оком по классу. Но в тот раз у Полугога был другой план.

— Кто это сделал? — спросил он тихонько, наклоняясь ко мне.

Я в ужасе молчал. Но все, на что рассчитывал, — подольше поддержать оборону. Хоть какой-то дать отпор. «Только не здесь», — думал я трусливо. И уже перенесен был мысленно в кабинет с потемневшими вождями, с кубками и грамотами в широченном шкафу и с замирающим сердцем пытался представить, как именно это происходит, что он говорит, как смотрит при этом, как головой вращает.

— А у тебя ведь такие родители, — еще тише сказал директор и вздохнул тяжело. — Странно, странно. Уж от кого другого, но от тебя не ожидал... Ты видел, что

он сделал с кабинетами на первом этаже? Ты представляешь, как трудно это отремонтировать? Ты неприятно меня удивил, мальчик... Хорошо, — сказал он громче. — Даю тебе день на раздумье. Завтра перед началом уроков жду в своем кабинете. Подумай.

Сердце то ныло, замерев, то металось, как суслик, за которым скользит, приближаясь, орлиная тень. «Зачем это? Почему именно я? Пусть бы как обычно. Я-то при чем?»

Выйдя из школы, подавленный и униженный собственной трусостью, с которой не сумел совладать, я отправился на работу к маме. Районная библиотека располагалась неподалеку. Мама приняла меня без лишних вопросов, поняв с первого взгляда, что случилось плохое. По темному проходу вдоль длинных стеллажей провела меня в тесную каморку, в которой чинились книги, усадила за наклонный верстак. Пахло столярным клеем. Книги с рваными ранами вдоль корешков были утыканы винтами, захвачены рейками. Стопка нарезанной на полоски марли дополняла ассоциацию с полевым госпиталем из фильма про войну. Я рассказал ей все, от разрушительного рейда пожарного шланга до тяжелого директорского вздоха.

— То есть потребовал, чтобы именно ты настучал?

— Да.

Мама попросила коллег отпустить ее пораньше, и мы отправились в школу на такси — по тревоге, чтобы застать Полугого. Застали. Мама оставила меня под дверью его кабинета — думаю, прекрасно понимая, что я все услышу. С того диалога мамы и Полугого начинается мой подростковый дневник — я записал тем же вечером, уединившись на веранде.

— Вы пытаетесь сделать из моего сына стукача, Павел Иванович?

— Марина Никитична, вы меня удивляете... Речь идет о хулиганстве, имевшем серьезные материальные последствия. Ваш сын был свидетелем. Он, кстати, единственный в классе, кто поддерживает отношения с виновником происшествия. Я, в общем, полагал, что мальчик, воспитанный в интеллигентной семье...

— Лучшая кандидатура на роль доносчика?

— Да что вы так, ей-богу?

— Ах, да! Вы ведь упомянули родителей. Дескать, а еще такие родители... Что вы хотели этим сказать?

— Вы как-то неадекватно реагируете.

— Боюсь, вполне адекватно. Павел Иванович, мой сын проявлял задатки доносчика?

— Извините, но вы прямо-таки заикнулись...

— Павел Иванович, мне не нравятся ваши энкавэдэшные забавы.

— Марина Никитична! — закричал Полугог. — Что вы себе позволяете?!

Дождавшись тишины, мама отчеканила:

— Надеюсь, на этом ваши попытки привить Саше любезные вашему сердцу навыки прекратятся.

И мы ушли, не оборачиваясь, а за нашими спинами хрипел и повизгивал поверженный дракон.

Запись в дневнике: «Я трус. Нужно быть начеку, чтобы с перепугу не сделать подлости».

К тому времени как Костя явился с трезвой плаксивой бабушкой в директорскую, его успел сдать весь класс. Полугог вызывал их с урока биологии одного за другим, по алфавиту. Когда я рассказал об этом маме, она лишь пожала плечом:

— А какое это имеет значение? Ты предпочел бы остаться с большинством, даже если они стукачи?

— Мам, это не все. Костя сказал, что это я его подбил...

Мама нахмурилась, но мимолетно, как от мелькнувшего слишком близко насекомого.

— Жаль, — сказала она и взяла мои руки в свои. — Но, дорогой мой, и Костина слабость не повод для того, чтобы опускаться самому. Согласен?

Получать пятерки по большинству предметов с тех пор мне стало гораздо сложнее. Об этом я маме уже не рассказывал, но она и так догадалась. Годовые оценки впервые были подпорчены четверками, причем труд мне пришлось пересдавать: выпилить лобзиком фанерный грузовик так, чтобы он устроил трудовика, никак не удавалось.

* * *

Сны у него никогда не бывали умиротворяющими. После ночей со сновидениями Топилин чувствовал себя разбитым. Вот и в этот раз — позвоночник ноет, ребра жмут. Снилось, что блуждает по незнакомому захолустью, не может найти нужный адрес.

В полпятого разбудил Долгушин.

— Дамы и господа! — раздался его голос из спрятанного за охотничьим натюрмортом динамика. — Приглашаю подкрепиться. Выступаем через полчаса.

И следом звук охотничьего рожка.

Охотники хмуро перездоровались у шведского стола. Сразу было понятно, кто сколько принял с вечера. Позавтракали наскоро и отправились в чутком предраб-светном сумраке навстречу уткам, которым как раз в это время положено было перелетать с места ночевки на место кормежки. Впереди тащили надувные лодки те, кто подготовился к охоте с основательностью. Несколько возбужденных собак натягивали поводки, жадно нюхая все подряд: воздух, сапоги, лужи. Идущие спотыкались, налетали друг на друга. Приглушенные вскрики, иногда мат, шиканье Долгушина:

— Тише, господа, тиш-ше... Что вы как дети...

В камуфляже он смотрелся руководителем военно-исторического клуба. Вывел их на излучину, велел рассредоточиться.

Проваливаясь в мясистую жижу, матерно бубня себе под нос, Топилин и Антон обошли наконец камыш и выбрались на песчаную отмель, в неверном свете зари казавшуюся такой близкой — рукой подать. Антон предложил знаком: останемся здесь, не пойдем дальше. Встали метрах в трех друг от друга, задрав головы на восток в ожидании уток.

— Смотри, там ход мягкий, — напомнил Антон, снабдивший Топилина ружьем и амуницией.

Элегантное «Голланд-Голланд» приятно волновало руку.

— Ну и где обещанные утки? — поинтересовался Топилин для поддержания беседы.

Последние звезды белесо мерцали. Солнце выкарабкалось из леса почти целиком и торчало, кровоточивое, над испачканным горизонтом. Литвинов с Топилиным стояли молча, тупо уставившись перед собой осоловелыми глазами. Слева и сзади потрескивали сучья под ногами охотников, еще не выбравших себе места. Чья-то собака мечтательно поскуливала. <...>

Река вяло обсасывала глинистую отмель, булькала тихонько. Ни единого крика, ни хлопка крыльев не раздавалось в васильковой мути над ивами и камышами. Только потрескивали время от времени сучья да слышался сдавленный смех: охотники травили анекдоты. От реки тянуло холодком. Как из погреба.

Кинув под задницу сумку, Топилин сел, Антон вскоре последовал его примеру. Ружья вставили промеж колен, стволами друг от друга.

«Лето закончилось, — подумал Топилин. — Все. Короткое затишье — и осень. Сначала красивая. Листья, вороны. Потом — дожди, слякоть. Потом зима».

— Лето закончилось, — сказал он.

— Мы с Оксаной на Сардинию собирались, — отозвался Антон.

— И что?

— Ну, что... Путевки переоформили вчера. Она с детьми съездит перед школой. А я не хочу. Настрой не тот...

— Понимаю тебя.

— Дерганный стал. Бессонница опять же.

— Понимаю.

И снова замолчали.

Последние розовые отблески растаяли в небе и на воде. Уже просматривались вдоль кромки берега космы темно-зеленой тины. Плескалась на стремнине рыба. Издалека донеслось тарахтение моторной лодки. Стихло. Егерский вертолет пронесся в сторону северных угодий. Ожидание уток выглядело все более комично.

— Можно не ждать, — сказал Антон. — У них разгрузочный день сегодня. Просто нужно вычистить все то, что несовместимо с нормальной жизнью. Нормальной — век за веком проживаемой нормальными людьми. Хорошими, но земными. Теми, кто умеет компромиссом удобрить каменистое наше бытие. Все просто. Ты же помнишь, здесь все исключительно просто. Сложности не приживаются здесь, тонкости сыплются в труху: враждебная среда, Саша, поганый климат.

— Да блин! — не выдержал кто-то в близлежащих кустах. — Где эти долбанные утки, а?!

Послышался короткий женский смех, сучья хрустнули под несколькими парами ног.

— Поздно уже для кормежки. Облом.

— Да вертолет ебучий распугал, что еще...

— Господа! Здесь же дамы!

На травянистой полянке, окруженной камышовыми зарослями, сошлись несколько охотников, загомонили — вместо уток. Решали, как быть. Ждать смысла нет. Не прилетят. Нужно плыть, искать.

— Нужно пересчитаться! — скомандовал Долгушин. — Здесь лодок на всех не хватит. Придется из клуба тащить. Пересчитаться нужно.

Начали звать всех на поляну. Пересчитываться.

— Саша, у меня еще есть к тебе просьба небольшая, — сказал Антон, разворачиваясь бочком. — Можно?

— Конечно, — ответил Топилин, не ожидая ничего хорошего от этого угрюмого тона, от взгляда, устремленного ему за спину.

Топилин знал эту привычку Антона смотреть пристально мимо собеседника. Так и ждешь, что скажет: «Вы что-то уронили». Вероятно, чтобы собеседник не мешал своим ответным взглядом. Не сбивал с мысли. Сторонние люди поначалу озирались. Или пытались перехватить взгляд.

— Хочу заглядеть свою вину. Хотя и не виноват. — Антон вывалил две куцые фразы и развел руками. — Не виноват, да... Но тут такое дело... короче... Вдове его квартиру хочу подарить. У меня как раз есть одна, стройвариант. Брал на продажу.

— Помню.

— Ну вот...

Топилин уже понял, к чему клонит Антон. Старался просчитать, насколько обременительным окажется для него неожиданный довесок. Утомительно. Неприятное продолжение похоронной истории. Но большим осложнением, кажется, не грозит. Пойдет по накатанной: созвониться, встретиться, передать предложение. Да — да, нет — нет. Не уламывать же ее в самом деле.

— Не могу никак себя заставить. В смысле к его вдове сходить. Ну не могу... — Антон откашлялся. — То есть я пойду, обязательно. Прощения попрошу. Обязательно. На девять дней, например. Но сейчас... непонятно, как говорить, что... — опять развел руками. — Короче, мрак.

Антон поднял камешек, запустил в камыши.

— Ты — другое дело. Интеллигент. Слова подберешь.

— Антон, только мне уговаривать ее...

— А не надо уговаривать. — Антон оживился, пристроил ружье на сгиб бедер. — Не надо. Если что, я уже сам тогда... Ты главное... подай все правильно. Убедительно, как ты умеешь. А уговаривать не надо. Нет, это не надо... Сделаешь?

— Сделаю... да...

— Спасибо, Саш. Выручаешь меня здорово.

Раздался близкий хруст валежника.

— А, вот вы где!

На отмель вышел Долгушин, остановился в отдалении, запрыгнув на ствол поваленного дерева.

— А мы вас потеряли. Мы тут собираемся плыть...

— Плывите, — оборвал его Антон, мотнув бритой головой. — Мы уезжаем.

Долгушин протянул к ним руки.

— Да что вы, господа! Все только начинается!

Антон не настроен был затягивать беседу.

— Слушай, отвали. Сказали тебе — уезжаем. Срочное дело.

Долгушин постоял, растерянный. Молча ушел. Антон поднялся, пересел поближе к Топилину.

— И вот еще что... по ходу... Ну, просто одно за другое, знаешь... цепляется... Короче, нам бы дело это закрыть. Не доводить до суда. Попроси ее... За примирением сторон в нашем случае закрывается на раз-два. Я уже проконсультировался. Я стопроцентно невиновен, все говорят. Суда не боюсь, не о том речь. Но... не хотелось бы до суда доводить, понимаешь?

Антон стлал не то чтобы гладко, но довольно споро. Торопился. Видно было: боится, не помешал бы кто снова. Наверное, долго готовился к разговору. Настроивался.

— Пока что обошлось без огласки. Но если в суд... Журналиги по-любому разнюхают, поднимут вой. Видел, как пидоры эти на нас зыркали. — Антон кивнул в сторону охотников, выстроившихся в нестройную шеренгу. — Оно и это, конечно, можно пережить — насчет огласки. Поверещат и заткнутся. Но, блин, неприятно. Полезут, как мухи на говно... Зачем нам лишний шум, Саша? Нужно все тихо уладить. Ты предложи ей — и все. Вот что ответит, так пусть и будет. А? <...>

Позвонила Мила, милая дырочка Мила, с которой он спал по предварительному созвону.

— Алло, Саша.

— Да, Милочка.

— Ну, ты забыл?

Топилин забыл, но не признаваться же.

— Нет, конечно.

— Помнишь?

— А то.

— Так когда тебя ждать? Очень без денги плох.

А! Точно! Обещал подкинуть денжат.

Всегда коверкает «деньги», когда их просит, ломает язык: «Денги нет, денги сильно-сильно». В прошлый раз у Топилина не оказалось наличности. Обещал завезти и не завез. Все забывает оформить Миле пластиковую карточку, чтобы можно было перебрасывать со своей.

— Милочка, я сейчас в одно место по делам заскочу — и сразу к тебе.

— Сначала в банкомат!

* * *

Когда после смерти Шумейко папа не стал главным режиссером «Кирпичика» — на эту должность спустили сверху немолодого комсомольца Суroveгина — мама сказала: если они не назначили папу из-за того, что он не умеет перед ними угодничать, она гордится им еще больше. И ей не стыдно смотреть людям в глаза.

Папа очень переживал.

Случилось это зимой, январь в том году был холодный. Отец приходил домой с мороза, здоровался, старательно избегая наших с мамой взглядов. Да мы и сами старались не попадаться ему на глаза. Мыл руки, отказывался от ужина и поднимался в мансарду. Морозный запах, исходивший от отца, от висевших в прихожей пальто

и ондатровой шапки, навевал мне фантазии о тяжелом отступлении, о мужественном командире, выполняющем свой долг, несмотря на серьезное ранение. Несколько вечеров отец пролежал пластом. Я нарисовал плакат, чтобы его взбодрить: «Папа, мы с тобой!» Но мама, поглядев, скептически покачала головой: «Не нужно пока. Рано».

Отец пришел в себя после первого же ночного дежурства: отиты, аденоиды и сломанные носы привели его в чувство. Вернувшись наутро — была суббота, слепившая снегом и солнечным светом, — отец гаркнул с порога:

— Семья! Строиться на завтрак!

Мама принялась метаться по комнате, громко топая пятками, — изображала переполох. Я вытащил из-за шкафа свой плакат, выскочил с ним в прихожую. Увидев его, папа улыбнулся, весело пробурчал:

— Вот и здорово. Пробьемся.

Притопала мама, бормоча себе под нос: «Ура-ура, наши в городе». Мы обнялись втроем.

— Конечно, пробьемся, дорогой. Иначе и быть не может.

В какой-то момент пришло осознание приобщенности к некоему сообществу, растворенному во времени и пространстве — кругу людей нашего уровня, перед которыми может быть стыдно или не стыдно, на которых только и можно равняться. Лев Николаевич, чья борода белела на стене нашей гостиной, дядюшка Хэм в толстенной водолазке за стеклом книжного шкафа напротив...

Из отрочества в юность я пробирался, чрезвычайно воодушевленный догадкой о нашей исключительности.

Высматривал тех, кого можно было почитать за ровню, среди родительских друзей. Первым номером шла баба Женя. Она выучила по самоучителям французский и перепечатывала на машинке запрещенные рукописи — из тех, которые родительские друзья передавали друг другу замотанными в плотную оберточную бумагу (здесь и проходила моя возрастная граница: мне не разрешалось не только читать, трогать — но даже замечать эти свертки). С очаровательным стариковским пофигизмом баба Женя, произносила: «хренов совок», «кремлевские пердуны» и ходила в застиранных вьетнамских кедах «Два мяча». Всюду, даже на гастроли столичной оперы.

— Вчера комсорг наш прокисший ко мне приставал, — рассказывала баба Женя, комично изображая деревенские интонации, то упирая руки в боки, то прижимая к груди. — Афиши ему нужны. В кабинет себе повесить. Шумейко покойный, тот ведь стены фотографиями собственными увесил — с разными шишками в обнимку. У директора, конечно, Сыроветкин ничего не нашедши, какие там афиши! А к Григорию Дмитриевичу ему обращаться, конечно — как серпом... Решил старушку попытать. Ну, я возьми да скажи, по простоте-то душевной: «Принято собственными афишами кабинетики заклеивать. Чужими-то какой смысл?» И пошла. А он стоит. — Баба Женя делала наивное лицо. — Эх, бабушка старенькая, бабушке все равно.

Я мысленно награждал бабу Женю медалью «За храбрость перед драконом» и рисовал ее благородный профиль с обвислым подбородком на последних страницах школьных тетрадей, когда нечем было заняться на уроке.

К слову, несмотря на активное распространение самиздата, оголтелой антисоветчиной в родительском окружении и не пахло. Кто-нибудь отпустит мимоходом шпильку, расскажет анекдот — не более того. Всем все было ясно, на это попросту не тратили лишних слов. Политикой как таковой в доме вообще интересовались слабо (думаю, и она была отнесена к разряду «не тот уровень»).

Принадлежность к тайному ордену героев, участники которого обязаны жить, соблюдая опасные правила, непосильные и не обязательные для остальных, не породила во мне снобизма. Одно из правил ордена, кстати, прямо запрещало высокомерие к остальным.

Запись в дневнике: «Многие слабые слабы по незнанию. Узнав, как сладко быть сильным, они наверняка переменялись бы». Чуть ниже: «В нашей семье не принято

подчиняться обстоятельствам. Обстоятельства либо хороши, либо плохи, но никогда не решают за нас».

Зимние шашлыки в тот год были особенно многолюдны.

Мясо мариновалось в пластиковом тазу, в котором я запросто уместился бы калачиком. Два ящика коньяка папа добывал каким-то затейливым способом через «людей в порту». Дом набился до треска — в буквальном смысле: шашлыки ели на веранде, принимая шампур в открытое окно, фанерная стенка потрескивала под напором спин и локтей. Пришли, кажется, все. Кочевавшая из рук в руки гитара не умолкала, из-за нее то и дело вспыхивали шуточные стычки. Одним хотелось петь дворовый шансон и Высоцкого, другим — Окуджаву и томные романсы.

— Дайте ж вы пролетариату спеть, захребетники!

— Да погодите вы! Сейчас интеллигенция жажнет. Сидите, слушайте.

Гитарных спорщиков время от времени вразумляла мама:

— Ребята, сейчас Пете гитару отдам.

Формовщик и поэт Петя Бородулин, недавно уличенный в полнейшем отсутствии слуха, обводил собравшихся важным взглядом палача, ожидающего королевской отмашки.

К мангалу, возле которого колдовал отец, подходил то один, то другой, порой туда вываливались целые компании — крикливые, с рюмками, с песнями, с криками «Мяса и зрелищ!». Отец встречал всех со сдержанной светлой улыбкой. Присматривая за углями, выслушивал хохмы, благодарственные тосты, семейные истории. Они подходили, уходили, приходили снова. Отец был немногословен. Он жарил шашлык — и посреди всеобщего разгула был погружен в уютное уединение, которое прерывал легко и возобновлял радостно.

Какой там Суrowегин! Собака лает, караван идет.

Позже мама как-то обронила, что тогда же, в тот безоблачный звонкий день, в доме впервые появилась Зинаида. В тот день я совсем ее не запомнил. Да мыслимое ли дело запомнить бледную молчунью в кипучей феерии подпитых, наперебой говорливых и певучих родительских гостей! Мой взгляд пролистывал ее, спеша к чему-нибудь поинтересней. Но она там была. Кто-то из «кирпичников» притащил ее, новенькую статистку, только что затесавшуюся в компанию — стеснительную, готовую ждать и ждать, когда можно будет мелькнуть на сцене с графином воды или с роковым письмом, или рухнуть вместе с другими под пулеметной очередью, в третьем ряду слева. Она там была, точно. Забившись в какой-нибудь неудобный закуток, зажав рюмку коньяка, которую цедила весь день. Просилась время от времени выпустить ее в туалет. Возвращалась, рассыпая тихие извинения. Близоруко щурилась: не решалась надеть очки в малознакомой компании. Заигрывания штатных ловеласов наверняка вгоняли ее в краску, так что от нее очень скоро отстали, оставили ее в покое: сиди, деточка, грей свой коньяк. Устав сидеть на веранде, вышла во двор — бочком, предусмотрительно забирая подальше от кого-нибудь из особо проникшихся, размахивающих во все стороны руками, расплескивающих на сугробы коньячную кровь. Скорей всего устроилась за старой сливой. Спряталась от смеха и шампуров, проплывающих через весь двор в густом ароматном пару. Стояла себе с рюмкой в кулаке, с застывшей улыбкой на пресном лице. На голове, наверное, вязаная шапка с длинными висячими ушами — я потом видел на ней такую. Голубая с салатным узором шапка: макушка круглая, к ушам приделаны веревки с кисточками.

— Бальмонт?! Бальмонт?! — кричал беспокойный во хмелю Каракозов так, будто пытался докричаться до самого Бальмонта, запримеченного на другом конце стола. — Вы называете мне Бальмонта?! Да вы шутите, дружище! Вы, знаете ли, пользуетесь моим нетрезвым, знаете ли, состоянием!

Оппонент его что-то возражал.

— Нет, ребята, это ж черт знает что такое! Бальмонт!

И Каракозов принимался читать своего любимого Гумилева:

— Когда, изнемоги от муки, я больше ее не люблю...

А Зинаида смотрела на отца. На кого ей было смотреть еще? Смотрела на него,

на хозяина дома, на всеобщего любимца, на истинного хозяина знаменитого «Кирпичика», все с той же мышинной осторожностью. Собирала по крошкам: как он говорит, молчит, смеется, как обмахивает угли облезлым испанским веером, как стряхивает машинально чешуйки золы, как насаживает мясо на шампуры, как выслушивает тосты... (Я знаю, как она смотрела. Точно так же я смотрел на него в театре в день премьеры «Чайки».) Все высмотрела и утащила в свою однокомнатную норку возле завода, на котором работала контролером в отделе качества, и принялась там перебирать картинку за картинкой, слово за словом. Кто именно ее привел в театр, а потом и в наш дом, неизвестно. Такие, в общем, прибывают сами. А что им остается? Пришла, встала в уголке...

* * *

<...> Занять бы себя работой, мечтал Топилин. Так, чтобы зашиваться, потеть, как грузчик, за день несколько сорочек менять. Было ведь так в девяностые, здесь же, в ООО «Плита», когда все только налаживалось и утрясалось. Теперь это невозможно. Теперь компания работает сама по себе, как космический спутник. Один из недавних авралов: Тома забыла приложить к заявке на тендер копии учредительных документов. А все из-за того, что каменногорский муниципалитет решил пооригинальничать и затребовал описание технологии. Возможно, новый глава не знал, что такое мозаичная плитка и зачем мостить ею весьма условные каменногорские тротуары. Перед тем как запечатать конверт, Тома, по своему обыкновению, посчитала количество отдельных листов и скрепленных стопок. Количество сошлось. Копии учредительных так и остались лежать в сторонке. Каменногорский глава позвонил в день проведения тендера: «Извините, у вас тут не комплект. Нам объявить конкурс не состоявшимся или вы подвезете?» Пришлось Топилину гнать в Каменногорск — сто десять километров. С тех пор Антон подтрунивает над Томочкой: «Ты бумажки посчитала?» А Топилин сам проверяет комплект документов, перед тем как отдать Томе на отправку.

Промышленную территорию «Плиты», через которую лежал путь от крытой стоянки к офису, Топилин обычно пересекал не глядя. Но сегодня рассматривал с тихой радостью. Словно знакомое местечко, на которое выбрал после долгих блужданий по лесу. Хотя здесь покой и никаких происшествий. Распахнутые ворота цехов, побеленные вкривь и вкось бордюры, пристройка бассейна с силуэтами разноцветных пловцов, синхронно высунувших голову и правую руку из синей, местами осыпавшейся волны, даже дылды-гладиолусы, высаженные в две шеренги заботливыми руками немолодых бухгалтерш, — все излучало надежность и покой. Внешний вид бывшего КСМ, который когда-то был поглощен кооперативом «Плита», остался нетронут с тех самых пор.

Пройдя через приемную в свой кабинет, застал Тамару как раз за этим: раскладывала веером на его столе документы, подготовленные к очередному тендеру. На этот раз в Разъезде.

— Здравствуйте.

Частенько обходится без имени-отчества. Не балует. На ней новый пиджачный костюм. Винного цвета. Ее пристрастие к красному неистребимо. Зато от ядреного кумача добрались наконец до оттенков.

Старательно отводит взгляд. Зажата больше обычного.

«Узнала, — догадался Топилин. — Стало быть, тихо не получится».

— Здравствуйте, Тамара.

— Кофе?

— Чай с лимоном. Два. Есть разговор.

Решил обсудить с ней сразу. Чтобы не болтала. Хотя, наверное, толку от ее молчания — чуть. Коль скоро слухи поползли, противостоять этому бессмысленно.

— Я без лимона буду. Можно?

Выложила последнюю стопку бумаг на стол, пошла заваривать чай.

Тома — как переходное красное знамя — досталась им в начале года от обанкротившегося банка «Люборецковский торговый». Позвонил человек от Белова, того

самого, с которым когда-то неплохо наварились в обменниках, попросил пристроить хорошую девочку. Девочку пристроили. Бывшего секретаря, толковую Таню Бычкову, пришлось уволить. Сам протеже Белова, некто Леонид Филиппов, остро переживая банкротство «Любореченского торгового», уехал залечивать душевную рану в Москву.

С первого дня работы в «Плите» Тамара выглядела потерянной. Тоскующей. Впечатление производила тягостное. Переспрашивала, искала намеков там, где их не было. Названивала Лёне по межгороду, перестукивалась с ним в аське, когда у того случалось настроение и время ей отвечать. Топилин ловил на себе ее унылые взгляды, в которых читал: эх, не тот человек...

В почтовике письмо, пришло на общий адрес — запрос из газеты «Вечерний Любореченск»: а правда ли, что учредитель и руководитель ООО «Плита» сбил на смерть человека?

Что ж, деловые авралы, может, и в прошлом — но забот с проклятым ДТП будет предостаточно. Не хватало еще, чтобы в газетах началась свистопляска.

После армии не сразу пришел к Антону. Поначалу пытался вскарабкаться сам. Схватился за первое, что подвернулось — начал работать сапожником в кооперативе. Никто из тогдашних его коллег, впрочем, не называл себя сапожником, а свою продукцию — обувью. Клеили кроссовки, звались «затяжчики» — по ключевому действию производимой операции, заключавшейся в натягивании обувного верха на испод смазанной клеем стельки. Скверно обутый и много ходивший постсоветский народ сметал подобные кроссовки сотнями пар за выходной.

Топилин на всем экономил, копил. Но примерно раз в две недели предпринимал вылазку в бар «Интуриста», присматривался к тем, кто успел схватить за хвост удачу в многообещающем бедламе, в котором сам он пока довольствовался статусом затяжчика. В «Интуристе» заметил однажды Антона, но не подошел. Подглядывал издали, как размашисто гуляла бойкая блатная компания. Азартно сорили деньгами, смеха ради поглумились над залетными командировочными, которые спустились из номеров, чтобы поужинать, но ушли не солоно хлебавши ввиду несовместимости интуристовских цен с командировочными бюджетами.

Судьба лоха, осмеянного и несытого, с которой у него на глазах смирялись миллионы, Топилина не устраивала. Работал на износ. К вечеру от паров ацетона — смазанный клеем верх нужно было размягчать, разогревая над рефлектором, — голова превращалась в булжик, глаза переключались в режим «тоннельного» зрения. В какой-то момент Топилин вызвался еще и торговать кроссовками по выходным. Брал под расписку несколько десятков кроссовок, отправлялся автобусом в какую-нибудь областную дыру. Каждый выезд приносил до месячного заработка. Неоперившийся местный рэкет — вчерашние пэтэушники с запахом самогона и семечек — довольствовался малым.

Изготовить первую партию собственных кроссовок оказалось несложно. Скопил деньги на рулон кожзама, потом — на клей и подошвы. За хорошую плату, тайком от общего работодателя, раскройщик вырезал заготовки, швея их сострочила. Двое суток ударного труда, окончившихся рвотой от отравления ацетоновыми парами, и Саша Топилин отправился торговать собственным товаром. Через месяц он снял помещение, через три нанял закройщика и затяжчика, а через четыре к нему пришли серьезные мальчики в дорогих спортивных костюмах (и в настоящих кроссовках «Адидас»).

— Работаешь на нашей территории? — сказали они. — Это стоит денег.

Он попросил неделю для ответа. Один из гостей сходу предложил ускорить его мыслительный процесс паяльником. Но другой, самый из них большой и веселый, остановил своего горячего товарища.

— Ладно, — улыбнулся он. — Через неделю найдешь нас в «Якоре».

В тот же вечер позвонил Антону — по номеру из армейской записной книжки, с виньетками из автоматных патронов.

— Вы замучили звонить, — проворчала тетка на том конце трубки. — Не живут они здесь больше, не живут. И куда переехали, не знаю.

Антон еще в части предупреждал, что родители собрались продавать квартиру, решили строить дом — благо, теперь можно развернуться. Слушая гудки после теткиной тирады, двадцатилетний Топилин чувствовал себя так, будто только что узнал: его любимая девушка уехала в неизвестном направлении, он ее больше никогда не увидит, его судьба решена. Он караулил Антона в «Интуристе», выискивал по значным местам Любореченска. При мысли о том, что придется платить дань тупорылому быдлу в адидасах, Топилин запаниковал. С ног сбился, с трудом дожидаясь вечера, чтобы продолжить поиски Антона. Неделя стремительно истекла. И когда он отчаялся и начал готовиться к визиту в «Якорь», встретил Антона возле нового ресторана «Версаль».

Объять, крики: «Зема! Корешок!» После долгих армейских воспоминаний под водку «Кеглевич» и звучавшую в сотый раз песню «Серый дождь» у обувного кооператива Топилина появилась солидная ментовская крыша. Сколько она будет стоить, Антон обещал уточнить в ближайшие дни, но обещал договориться на минимум, процентов двадцать-тридцать. Антон успел здорово вжиться в новый образ. Держался так, будто после армии прошло лет десять. Занимался он в ту пору всем понемногу с любым, кто предложит приличный куш: лес, цемент, металлолом или черепица — Антону было все равно. Он специализировался на посредничестве, кратчайшим путем и тишайшим образом переселяя деньги коммерсанта в карман чиновника или бандита — в зависимости от того, кто контролировал вопрос. Бандитам Антон также оказывал ценные услуги. Со всех он имел процент, который и позволял ему порхать по кабакам, меняя заодно и компании: менялись проекты — менялись и приятели.

— Я, Саша, типа талисмана, — захмелев, Антон разоткровенничался. — Ниче не делаю. Все имею. Бля, перед отцом покойным стыдно, ей-богу! Дядька говорит: главное чувство меры. А я, прикинь, иногда забываю за деньгами своими заехать. Мне вон уже в кабак завозить стали. Такие дела... Сам в шоке.

К середине второй бутылки Топилин понял так ясно, будто прожектор в голове включили: дураком будешь, если не завяжешься с Антоном всерьез. Стать для него одним из многих — все равно, что испросить у золотой рыбки новое корыто.

— Антоха! — сказал Топилин, разливая то ли дынного, то ли грушевого «Кеглевича». — А давай с тобой вместе дело поднимать. Сейчас кроссовки, потом еще что-нибудь. Давай. Не понравится — свалишь.

Антон рассмеялся.

— Да какой из меня обувщик, Саня!

— А такой же. Талисманый.

И они зашлись в таком разгульном хохоте, что «Версаль» дрогнул и притих, и несколько молодцев с перезрелой грудной клеткой наклонились к столикам, стали спрашивать у своих товарищей: кто это, кто такие, пусть ржут — или можно в бубен?

В «Якорь» к «адидасовцам» наведалься ОМОН, больше они Топилина не тревожили. <...>

Вернулась Тома, принесла чай.

— Садитесь, Тамара. Поговорим за жизнь. Скорей, за смерть. И немножко коснемся праздного человеческого любопытства. В его печатном варианте.

С некоторой возней, сложно пристроив длинные ноги под стол, она уселась перед начальником.

— Там письмо пришло...

— Я видел, Тома. Так вот... Все, что вам нужно знать: Антон Степанович ни в чем не виноват. Произошел печальный инцидент. Случается. С прессой мы не общаемся. Вы отвечаете журналистам, что ничего не знаете, пусть направляют запросы по факсу. В общем, обычное дело, грузите апельсины бочками.

— Что?

— А? Нет, ничего... так, из книжки.

— Я тогда пойду? Я чай пила недавно.

Проверив за Томой комплект документов на тендер, Топилин пролистал новости — что-то снова утонуло, пенсии повысили, скандал с какой-то неизвестной ему звездой — и задумался. <...>

* * *

Я окружен новыми людьми: начал заниматься в художественной студии при училище имени Грекова. Собираюсь туда поступать. Думаю стать художником, живописцем. Или художником-иллюстратором. Или по костюмам, тоже интересно. Талант? Преподаватели, друзья отцовских друзей, говорят, что пока определить сложно. Говорят, что рассуждать о таланте применительно к моему возрасту вообще не стоит: все так изменчиво... Хотя нескольких моих однокашников открыто называют одаренными. Нет, меня это не задевает. Возможно, самую малость. В любом случае я научен не мерить свои успехи относительно чужих, и уж тем более не завидовать.

Запись в дневнике: «Завидовать и соревноваться — разные способы упустить собственную судьбу».

Хотя само наличие тех, кто лучше — ситуация для меня новая: привык быть лучшим учеником в классе. Вроде бы справляюсь: не завидую.

Мне четырнадцать, скоро пятнадцать, и лихорадка беспричинного счастья больше меня не тревожит. Зато теперь я умею упиваться грустью. Проснуться рано, сесть у окна, уставившись в пустой переулок. Ждать первого прохожего. Родители ушли на работу. Дом затих. Только ходики в гостиной трудятся, перекачивают плотные увесистые секунды. Прохожего непременно нужно дожждаться, иначе мне шагу от окна не ступить, не разорвать колдовские пути мной же придуманной игры. Переулок наш пустынный, и ожидание, бывает, затягивается надолго. Иногда я даже опаздываю из-за этого на первый урок. Но сладчайшая утренняя меланхолия, которой я предаюсь, рассматривая пустоту, очерченную соседскими заборами, столбами, мятой лентой грунтовок, ветками, крышами, громадиной неба, то синей, то серой, — моя меланхолия не отпускает меня, пока не завершится сбивчивым многоточием — звуком шагов по горбатому тротуару. Сам прохожий мне безразличен. Дождлся — можно умыться и завтракать или хватать портфель и бежать в школу, если припозднился. Многое аккомпанирует моей грусти. Толстяки-голуби, вяло воркующие во дворе. Подергивающиеся на веревочной привязи — чтобы не оторвало при сильном ветре — покрхтывающие, покашливающие качели. И потом, каждую осень все клены в округе тянутся ко мне растопыренными золотыми ладонями. По некоторым, дотянувшимся достаточно низко, я осторожно скольжу ладонью.

— Привет, золотой.

— Шша, — отвечает клен: не любит сентиментальности.

Скоро пятнадцать. Не знаю, жду ли я этого. Три года до совершеннолетия. Три года до взрослой жизни — а что там, с чего начать-то?

В художке я сторонюсь своих новых товарищей. Недавняя попытка дружбы с Костей Дивным закончилась странно и обидно. Он меня побил.

Полугог отчислил его из школы. О том, что я был единственным из класса, кто не настучал на него в директорской, Костя наверняка знал. Я рассчитывал на благодарность и прочее — но вышло совсем иначе. Весь месяц, проведенный в школе до отчисления, Костя со мной не разговаривал. Я не набивался, ждал, полагая, что Костя таким манером переживает собственное предательство: все-таки он назвал меня подстрекателем. «Пусть, — думал я. — Обдумает, выслушает свою совесть. В конце концов, я и сам был в шаге от предательства, и если бы не мама...» За несколько дней до начала каникул, возвращаясь из школы, я завернул за угол «Промтоваров» и увидел Костю. Он был с парнями постарше. Сидели на высокой газовой трубе, покачивались, постукивали металлом о металл. Известный в районе аттракцион: дожждаться, когда хозяева близлежащего дома выскочат с руганью и обещанием вызвать милицию, обложить их с головы до ног и сбежать — или сбежать сразу, в зависимости от габаритов и оснащенности выскочившего. Заметив меня, Костя прыг-

нул с трубы. Я сбавил шаг, заулыбался. Думал — снова дружба... он извинится, я извинюсь... Дивный подошел, сказал:

— Че, бля, ништяк тебе? — и саданул ногой в промежность.

Под хохот сидевших на трубе я рухнул на землю, да так неудачно, что расшиб подбородок.

Потом я каждое утро понедельника видел Костю на автобусной остановке, где он ждал автобуса, чтобы добраться после выходных в свой интернат для трудновоспитуемых. Он делал вид, что не замечает меня. Я мечтал его побить.

Когда я заявился домой с побитым лицом и рассказал маме финал истории с Дивным, она поцеловала меня в лоб:

— Держись, боец.

Папа, с которым мы увиделись на следующий день, увел меня в сад и разразился долгим взволнованным монологом о том, что добро должно быть с кулаками и нужно уметь дать отпор, и никому не позволено унижать тебя рукоприкладством, нужно этому противостоять. Он, помнится, так кипятился, что мне становилось неловко за него.

Через несколько дней на любимую мамину сливу папой был водружен боксерский мешок, дабы я учился противостоять рукоприкладству. Я долго прогуливался мимо, пробовал плечом вес диковинного плода, выросшего в нашем саду. Присматривался. Почти как к Косте на остановке. Пока однажды в художке не получил свежий стимул: мой одноклассник из одаренных, Дима Богуш, грубо меня пихнул, сгоняя с места, которое он провозгласил своим. По возвращении домой я исколошматил мешок так, что кожа на кулаках полопалась.

— Давай, давай, — азартно подбадривал папа в окно, собираясь после больницы дежурства в театр. — Это тоже нужно. А как же.

Со временем он и сам стал хаживать к мешку — «спустить пар».

Отец тоже был бит. И его экзекуция затягивалась.

Прошло несколько месяцев после того, как в «Кирпичике» сменился главреж. Отношения между отцом и Суровегиным оставались натянутыми. Эпоха неформального лидерства в «Кирпичике» для отца, похоже, прошла безвозвратно. В отличие от Шумейко Суровегин не желал довольствоваться статусом английской королевы. Он начал прибирать власть в свои руки, и новые спектакли с патриотическими песнями и хоровыми клятвами у знамен, которые папа называл агитводевилями, ставил сам. Спектаклям из папиного репертуара — Шекспир, Чехов, Вампилов — пришлось потесниться.

— Ничего, прорвемся, — повторял отец. — Делай что должно, и будь что будет.

Слова эти звучали тоскливо и необедительно. В них попросту невозможно было поверить, глядя в потускневшие папины глаза. И я не мог обсуждать это с мамой: я понимал, что она мучается едва ли не больше отца, хотя не подает вида. <...>

Многоречивые утешения в нашей семье были не приняты. Казалось само собой разумеющимся, что слова поддержки отмеряются скупой — как лекарство. Но вдруг обнаружилось, что сочувствие может быть действием основательным, долгим — как концерт или вечер поэзии. Отцовские друзья приходили по одному и небольшими компаниями, кто со спиртным, кто с новой книжкой, кто с коробкой конфет — и утешали папу пространно и вдохновенно, необычайно складно переходя от сарказма к панегирикам, от сплетен к философии. Отец, казалось, решил дослушать все то, что они ему не договорили сразу после назначения Суровегина.

Маму сострадающие бесили.

— Как грифы над захромавшей кобылой, — ворчала она. — Вот уж не предполагала в них таких рефлексов.

Но — никаких сцен. Встретив приветливо отцовских друзей, накрыв на стол, мама обычно уходила в мансарду, а если ее просили остаться, отвечала, что не научилась пока смаковать Гришину невезуху, боится испортить сугубо мужскую беседу.

— Второй номер будто приклеился к тебе, — вздыхал папин друг Ваня Самой-

лов, бард и геолого-географический доцент. — Что за карма хреновая? В больнице-то тебе что-нибудь светит, нет? Завотделением, к примеру...

Но карьера врача отцу, кажется, никогда не была интересна. Он пропускал больничную тему мимо ушей.

— Старик хотя бы работать давал, — вспоминал он Шумейко. — Ну, придет на репетицию, посмотрит, поумничает. Что-то сделаешь, что-то нет. Он к следующему разу и забудет.

— Да уж, ты при нем развернулся! Гигант.

— У старика хотя бы вкус проклеивался, уважение к высокому искусству.

А этот...

— Хотя казалось бы, да? Этот же моложе.

— Что ты! Мастодонт... В гримерках Высоцкого велел снимать. А как увидел Мерилин Монро в буфете, аж взвыл от горя.

— Вот и получается, что где-то Перестройка, а у нас тут...

— Ладно... главное — дело, — заключал, как обычно, папа. — Переживем.

— Ты звони, если нужно, — приглашали они, уходя.

И папа звонил. Все чаще и чаще. Уединяясь от нас с мамой на веранде или на кухне — для чего тащил телефонный шнур из прихожей через весь дом.

— Теперь, видишь ли, главная цель театра — дать комсомольскому павлину повод покрасоваться в своих отчетах. Нет, но как тебе наше любореченское болото? Театр как инструмент карьеры! Дожили! Любительский театр! Где люди бесплатно, по зову сердца...

Я чувствовал, как холодок вползает в отношения моих родителей. Ничто другое не могло так удивить и напугать меня. Я не мог поверить, что причиной их разлада мог стать какой-то там карьерист Суровегин, которого я представлял лысоватым и обрюзгшим, с презрительно сложенными губами.

Вот бы папе поступить с ним так же, как мы с мамой поступили с Полугогом. И все дела.

Увы. Становилось очевидно, что прорыва никакого не будет. Отец смирился со своим новым положением — с реальным статусом второго номера в «Кирпичике».

Вот теперь я скучал по нему. Или это было какое-то другое чувство? Оно не покидало меня и тогда, когда мы были вместе. Грековское училище располагалось в том же районе, что и ДК Кирпичного завода, мой автобус шел мимо, и если отец был в театре, я почти всегда его там проводывал. Впрочем, большую часть своего театрального времени он проводил теперь в общаге, где у него с актерами-любителями, недовольными креном театра в сторону осточертевшей победы коммунизма, образовалась фронда против Суровекина. Население общаги, определенно желавшее возвращения отца к художественному руководству, несколько побаивалось репрессий: общага существовала на птичьих правах — коллективный самострой, которому так и не дарован был официальный статус, — а как далеко мог зайти комсомолец-переросток в подавлении бунта, никто не знал.

— Вот он же загубит, загубит «Кирпичик»! На весь город гремели — и нате, явился! Герострат чертов!

— Ведь все Григорий Дмитриевич наладил. Лично. Собрал нас.

— Да что «собрал»! Вырастил, можно сказать.

— Так бы взял комсу поганую за жабры, приподнял над землей, заглянул ему в глазки его блудливые...

— Прикроют в два счета. Увы и ах. Общежитие вообще нигде не значит. Строиться начинало как склад. Сам строил, так что знаю.

— Эх!

— И не говори.

Зинаида в общагу навевалась часто. Очень хотела со всеми дружить. Приходила с пирогами. Поедаемые в общаге пироги — яблочные, грушевые, с черносливом — первое, чем запомнилась Зинаида. Впрочем, запомнилась она и другим: глубоким вырезом на вязаной лиловой блузке, молчаливым перемещением по комнате. Она,

помню, никогда не сидела подолгу. Не сиделось ей. Вид у нее был такой, будто она только что была разбужена будильником и теперь тщетно пытается вспомнить, зачем заводила его на такую рань. Веснушки, соломенная челка. Серебряное колечко в виде дельфина, прыгающего поперек фаланги. «Ой, какое кольцо интересное», — дельфин то и дело подхватывал, удерживал на плаву внимание собеседника. Что-то детское было в ее лице, младенческая червоточинка. Вообще формы, составлявшие в совокупности Зинаиду Квас, могли быть симпатичны. Если бы не жили такой бесцветной непривлекательной жизнью. Все она делала как бы украдкой, как бы стесняясь собственной никчемности. Когда она смеялась, мне хотелось отвернуться.

Потом говорили, что всем с самого начала было понятно, ради кого она ходит в общагу, ради чего прибилась к «Кирпичику». Что невозможно было не заметить, как Зина поедает глазами моего отца, как вспыхивает под его ответным взглядом. Наиболее приобщенные — те, кто бывали у нее в гостях в угловой квартирке с видом на завод и, подкармливаемые сладким, рассказывали о «Кирпичике», вспоминали, как жадно она слушала все, что касалось становления театра, — о вечерах театральных чтений, которые отец проводил в одиночку... о том, как, сидя в луче настольной лампы, ни разу не встав, не сделав ни одного случайного жеста, хриловатым своим голосом он разворачивал перед зрителями ярчайшие драматические миры, молва о которых кругами разбегалась по Люборецкенску... как после полугода аншлагов отец устроился наконец к Шумейко, как по городу пробежал первый слух о любительском театре, в котором начали ставить настоящие, потрясающе талантливые спектакли... Говорили, у Зинаиды тряслись руки, когда она слушала про отца. Ей было совершенно не важно, что эти истории были сплошь из славного прошлого, завершившегося столь печально вместе с уходом Шумейко.

Она зубрила один монолог за другим и ждала, когда отец предложит ей любой, самый мелкий эпизод в своем спектакле. <...>

Мои однокашники в художественной студии — народ для меня загадочный. Будучи такими же книжными выкормышами, как я, они корчат из себя Костю Дивного. Ругаются матом, когда их не слышат преподаватели. Курят в туалетах. Обмениваются неприличными шуточками. Поверить в их прожженную распущенность невозможно. Многих из них после занятий встречают мамы или бабушки. Непонятно, зачем все они решили играть в плохих. Но поскольку ничего настоящего за этим нет, я могу преспокойно оставаться белой вороной в компании со страшненькими подружками Ниной и Златой.

Положение добровольного изгоя, обживаемое мной в художке, добровольно лишь отчасти. Но шел я к нему долго и последовательно. В школе, так и не выстроив ни с кем основательной дружбы, я все-таки водился понемногу со всеми. Вступал в разговоры. Которые бывали достаточно поверхностными, для того чтобы казаться приятельскими. Здесь же я принялся плести вокруг себя герметичный кокон, в котором собирался укрыться от любых покушений извне.

* * *

Позвонила Мила.

— Да, Милочка.

— Ты про меня все-таки забыл.

Голос обиженный. Не кокетливо-хнычущий — такого в их деловых отношениях не предусмотрено, — а обиженный.

Ну, да, забыл. Денги.

— Я просто сейчас, как белка в колесе. Извини.

— Я так скоро ноги протяну, Саш...

— Извини.

— Сегодня можешь?

— Обязательно.

— А можешь сразу заехать куда-нибудь и купить всего? А то у меня вообще... И нездоровится к тому же.

— Куплю всего и приеду. Жди.

Ближайший гипермаркет на Фрунзе.

Как не стыдно, Саша! Для того ли она честно раздвигает ноги, чтобы их протянуть? <...>

В «Окее» на Фрунзе набрал полную тележку. Ни один стеллаж не пропустил. Ощутил себя порядочным и обязательным — таким, каким хотела видеть его милая Мила.

Так и писала в своем объявлении, попавшемся ему на глаза в ворохе спама: «Стану любовницей за содержание порядочному и обязательному человеку. Гарантирую ответную порядочность и хорошее настроение».

А все-таки хорошо, что Мила есть. Кто кроме нее сумел бы вот так, в один щелчок, его взбодрить...

Но когда доехал до кольца на Космической, руль сам собой повернулся направо, в сторону Северного рынка. Туда, где уже много лет стоит за потрескавшимся овощным прилавком, сама такая же треснувшая, пронзительно жалкая, с перепачканными руками и калькулятором, торчащим из кармана замызганного фартука, та, с которой отец провел последние несколько лет своей жизни.

Топилину тяжело с ней встречаться. Ничего не меняется от того, что они постоят друг против друга, бережно перебрасываясь пустыми фразами через свеклу и картошку, прерываясь каждый раз, когда Валюша отпускает очередного покупателя. Взгляд равнодушный. У стареющей Валюши других не бывает. Возможно, это лучшее, что могло с ней случиться — равнодушно стареть.

От прилавка они не отходят, а раньше хаживали в близлежащие кафешки, где вечный гвалт и роится рыночная пьянь. Брали кофе в пластиковых стаканах, сидели за столик. Минут через пять, когда они замолкали, обменявшись первыми обязательными вопросами «Как дела? Как бизнес?» (Топилин каждый раз давал понять, что Валюшина овощная торговля в его глазах хоть и небольшой, но бизнес), кто-нибудь из шатких мычащих мужичков подходил стрелкнуть сигаретку или червончик. Иногда прогуливались вдоль общепитовского ряда, вдыхая густую вонь, настоящую на пиве и укропном отваре, в котором варили раков. Самая мерзкая вонь на свете. Валюша ее уже не замечает. Отвар выливают в зарешеченную ливневку, но ливневка безнадежно закупорена. В щели торчат ветки укропа и раковая шелуха. Можно идти, растягивая любезную беседу — как дела, как бизнес, — и ловить взглядом высунувшийся навстречу тебе кончик клешни, рачью ножку, ощерившийся лепестками хвост.

— Какие люди. — Валюша заметила его издали.

Она почему-то не любила здороваться. Возможно, отсутствие приветствия означало для нее особую степень близости.

— Мимо проезжал, — пояснил Топилин, становясь у прилавка.

— Всю область замостили? Или еще остались куски?

— Еще остались. Но мы стараемся. Как у вас?

— Да коптим помаленьку. Картошка, гад, подорожала. Стали меньше брать.

— Может, временно? Пока к новым ценам не привыкли.

— Может, временно, — согласилась Валюша. — Посмотрим. Как сам?

— Да в норме.

— Как мама?

— Тоже. Спасибо.

Мимо них под крики «Ноги! Ноги!» прокатилась тележка со свинными головами. Одна из голов показала Топилину язык.

Откачнувшись от прилавка, Валюша прислонилась к нему боком.

— Я слышала, ты человека насмерть сбил.

Топилин скривил губу.

— Да нет. Не сбивал.

— Брешут?

— Да, брешут.

— А-а-а, — протянула Валюша. — Побрехать у нас любят. Но вроде не первое апреля...

— Это вы брехунам скажите.

— Скажу, скажу.

Ему тяжело с ней встречаться. Но это необходимо. Как необходимо принимать мерзкое лекарство хронически больному. И Топилин, всегда спонтанно, наведывается время от времени на Северный рынок, к потрескавшемуся овощному прилавку, чтобы переброситься с расплывшейся базарной теткой короткими бессмысленными фразами, словно шифровками: «Как все паршиво для тебя повернулось, Валюша». — «Да и ты, Санек, как я погляжу, не шибко счастлив». С кем еще обменяться такими шифровками? Больше не с кем, как ни крути.

— Вам вроде крытый павильон обещали построить?

— Обещали. Даже деньги собрали. В счет будущей аренды.

— И что?

— Обещают. Может, даже построят когда. Экскаватор вон пригнали. За мясным стоит. Плиткой мостить, я так понимаю, вы будете?

— Да, наверное. Кто ж еще?

Обмен информацией, ради которого он сюда пришел, состоялся: все по-прежнему, ничего не изменилось. Но приличия ради нужно хоть немного продлить беседу. На сей раз это особенно сложно. Собравшись с силами, Топилин расспросил Валюшу о стоимости аренды, о том, насколько рентабельней торговать самой, чем нанимать. И, случайно покрутив головой, понял, что следует торопиться. От рыбного ряда со стопкой пластмассовых ящиков в вытянутых руках к ним направлялся Руслан, Валюшин сын. «Считай, твой сводный брат», — познакомила она их пятнадцать лет тому назад. С тех пор Руслан почти не изменился. В отличие от своей матери, сложен он был великолепно: кряжист, разнузданно плечист. В жаркую погоду любил ходить по пояс голый — весь такой бугристый, шишकाстый какой-то... Стриженная русая голова с остренькой макушкой, загорелое лицо. При виде «считай, сводного брата» Топилину каждый раз лезло в голову слово «эрегированный».

Вообще-то Валюшин сын на рынке не работал. До сих пор, по крайней мере. Собирал в магазине электроники компьютеры. Видимо, не заладилось у него там.

— Ла-а-адно, — протянул Топилин, все еще не двигаясь с места, чтобы не выдать своей реакции на Руслана. — Мимо проезжал. Дай, думаю, заскочу.

Валюша кивнула.

Справа от Топилина, спрятавшись за покачивающейся башенкой, рос, разбухал приближающийся Ростик.

Неожиданно для себя Топилин вытащил из кармана бумажник, выхватил две пятитысячные, проворно сунул в сдобный кулак.

— У меня лишние, — сказал он ошалевшей Валюше и отправился к выходу.

Нет, дело не в позициях. Положение второго человека при Антоне Литвинове нисколько не тяготило Топилина. Это место он занял сознательно и расчетливо, без трагического заламывания рук. В отличие от многих, прогнувшихся позднее и против собственной воли.

С самого начала, с судьбоносных посиделок в «Версале», он понимал, что рано или поздно первым номером в их тандеме станет Антон Литвинов, у которого вся родня при портфелях, дальняя — при портфельчиках. Выбор все равно был — нулевой. Страну будто посадили в тюрьму пожизненно: городами правили вчерашние карманники, народонаселение — кто скрипя зубами, кто с огоньком неофитов — осваивало азбуку понятий. Кооператоры откупались от братвы. Власть изображала власть. И всех, казалось, устраивало. Но все же Топилин догадался сразу — правление урок будет кратким. Не наблюдалось в этих людях страсти к порядку, без которой долго ведь не поцарствуешь. Гнушались они плести прихотливые административные

кружева, вырождались на воле. Кооператор Топилин понимал: в силу своего босяцкого буйства братва пожрет самое себя, а тихие кабинетные карлики, которых для оптимизации бизнес-процессов подкармливают такие, как он, вырастут в вальяжных великанов. Брататься с будущей — подлинной — властью следует как можно раньше. И Антон Литвинов — человек нормальный, не хам и не подонок, не дурак, кабинетами не придушенный — на роль побратима подходил идеально. Все было ясно тогда, в самом начале. Как дважды два. Теперь вот — не ясно ни хрена. В такую темь погрузилось — хоть глаз коли. <...>

Вызванный к ресторану таксист предложил поехать по Пушкинской: путь длинней, зато пробки короче. Поехали по Пушкинской. Бронзовый Александр Сергеевич, который у любореченского скульптора вышел несколько пучеглаз, разглядывал запруженный перекресток, словно остолбенев от ужаса. Окна в «Рено» были опущены: таксист сэкономил бензин, не включал кондиционер. Топилин ленился попросить его закрыть окна и включить кондиционер. В открытые окна вливались автомобильный чад и гул работающих двигателей. Пространство мелко вибрировало, машина проползала за раз метров пять-десять и замирала.

Один из пятачков Пушкинской, долго дремавший под невидящим взглядом Топилина, вдруг дернулся и ожил, кинулся совать ему в глаза старинные потертые виды. Офисной высоты здесь тогда не было. Извилистым проходным двором можно было пройти от автобусной остановки на площадь Зои Космодемьянской, к автодорожному техникуму. Двор, на край которого наступила распухшая окнами коробка, был перекрыт воротами с магнитным замком. Из-за вечных пробок дворы, которые можно проехать насквозь, в городе давным-давно перекрыты. Где-то проезды наглухо заложены кирпичом, где-то, как здесь, жильцы скинулись на ворота.

— Я выйду.

— Полчаса назад проезжал, такого не было. Видно, авария впереди.

— Ничего, я как раз про дело одно вспомнил.

— Ну, если дело... А мне, бывает, хочется выйти, хлопнуть дверью и... гори оно все. Достало! Лучше на велике, ей-богу. У меня вон сосед...

— В другой раз доскажешь, ладно?

Расплатился и вышел.

Когда-то спортзал Автодора был элитным — «центровым» тогда говорили — местом, чем-то вроде клуба делового общения. Уже достаточно деловые, но еще не отягощенные деловым этикетом любореченцы общались, присев на длинные крашенные лавки до или после тренировки, а то и между подходами к снарядам; или в раздевалках душевых, обмотавшись полотенцами; или в вестибюле у широченных подоконников, под фотопортретами корифеев и передовиков. Ходили туда и братки, и простые граждане — честные фраера и начинающие бизнесмены, к числу которых принадлежал тогда и Саша Топилин, обувщик. Функционировал клуб по принципу «свои здесь не платят». На вопрос какого-нибудь простоватого новичка «А сколько здесь стоит в месяц?» ответить небрежно: «Нет, брат, не знаю... Я так хожу... Пацаны пускают», — дорогого стоило. По нынешним меркам — все равно что, выходя из «майбаха», въехавшего под «кирпич» на виду у гаишника, подмигнуть водителю, отчаянно высматривающему, куда бы припарковать свою «шоху»: «Да тут везде запрещено».

Хаживал в Автодор Георгий Иванович Макаркин, бывший чемпион в весе пера, скромный миниатюрный пенсионер в обвислых штанишках. Приходил, садился на лавку возле ринга. Ни с кем не заговаривал первым. Но через какое-то время кто-нибудь просил его:

— Иваныч, посмотри у меня боковой.

Или:

— Иваныч, посмотри, как у меня ноги.

И Иваныч смотрел, морщил размазанный по лицу нос, показывал, как надо.

Топилина, припавшего к открытому окну после очередного нокдауна, сам однажды окликнул:

— Тебе, парень, защиту нужно ставить.

Почему защиту, Топилину было ясно (кончик языка во рту хлопотливо теребил лохмотья разбитой щеки). Но чем он, спортивно обделенный переросток, вызвал симпатию Иваныча, Топилин не спросил, а старый тренер объяснить не удосужился. За полгода, пока не пропал из Автодора, неплохо его поднатаскал.

— Чего ты встал?! Чего встал?! Вроде я ударил — теперь его очередь?.. Двигайся давай! Не спи! Пойми ты своей башкой, защита — такая же активность, как и нападение. Запомни, все твои неприятности — из-за того, что ты не успел сделать что-то, что должен был. Вот и все. Сам — понимаешь? — не сделал то, что должен был. Противник — дело двадцатое.

Ни одна из прочитанных в юности книжек, самых восхитительных, после которых в распаленной душе стоял долгий привкус красоты и полета, не принесла и сотой доли той практической пользы, которую принесли советы Макаркина. Посредством нескольких десятков слов он будто перевернул Сашу Топилина с головы на ноги: «Так-то оно удобней будет». Тогда, на ринге Автодора, Топилин не понял даже — в буквальном смысле *почувствовал* своей башкой, насколько безопасней двигаться, чем стоять. И радостно употребил новые навыки вне ринга. Начал искать спасения в действии. Под окрик «Чего ты встал?! Чего встал?» решение любых проблем давалось намного проще. Так он одним из первых в Любореченске свернул кроссовочный бизнес. Антон сомневался, стоило ли. Но вскоре в городе наладилась продажа настоящей обуви, а там и цены на фирменные кроссовки поползли вниз. Выгодно продал кооператив молодому армянину, купил магазинчик на Малороссийской, возле которого потом открылся кинотеатр. <...>

* * *

С первой любовью не задалось. Мерещилось много раз, но так и не разгорелось. Каждая при внимательном рассмотрении оказывалась не та, не такая, недостаточно прекрасная. В девятом классе, когда вокруг меня толкались пары и разбитые сердца, так ни разу и не влюбившись, но далеко продвинувшись в теории нежных чувств, я украшал дневник записями вроде: «Первая любовь — зарисовки рая. Камертон, по которому вымерять чистоту чувства всю оставшуюся жизнь». Теория мешала мне, как природа мешает плохому танцору.

Завозился, упустил — а потом нагрязнула Нинка. То, что происходило между нами, любовью никак не назовешь. Все было, в общем, довольно несуразно, как сама Нина.

Сначала мы были соседи по отщепенству. В художке Нина, как и я, держалась особняком, притянув на свою орбиту исполинский спутник — рослую толстушку Злату, которую насильно запихнули в художку родители, портные, много лет обшивавшие артистов любореченского цирка. Нина была сложно некрасива и непоколебимо жизнерадостна. Несмотря на ворохи карикатур, кочевавших по группе. Она их не замечала в упор. Казалось, не узнавала в носатых и губастых страшилищах себя.

Мы с Ниной здоровались. Перебрасывались несколькими фразами за день. Одалживали друг у друга точилки и карандаши. В начале нашей путаной дружбы она конечно же отметилась банальностью, преследовавшей меня все мое детство: «А! Твой папа почти как Чехов! Врач и театрал». Но от банальности этой редко кто удерживался, это было — как закончить поговорку, когда ваш собеседник запнулся и не договорил.

Вот, собственно, и все. Но взгляды ее меня смущали.

На одном из первых пленэров Нина перешла в наступление. Преподаватель графики и композиции, добрейший и вечно осмеянный Виктор Юсупович, привел нас на лесистый холм за ботаническим садом, с которого открывался вид на восточную окраину Любореченска, и велел рассаживаться. Группа рванула выбирать места на пологом травянистом пятачке за зарослями орешника. Мне же сразу приглянулся

каменистый выступ слева от тропинки. Если смотреть оттуда, три кирпичные трубы — ликероводочного завода, деревообрабатывающего комбината и самая дальняя труба районной котельной — собирались в тесный пучок. Достаточно было правильно сыграть оттенком, размыв и утопив ненужные края — и низкорослый заводской Любореченск превратился бы в трехтрубный пароход, поставленный к пятнистым ботаническим зарослям на вечный прикол.

Я пристроил папку на колени и стал набрасывать.

Из-за кустов доносились шуточки-смешки одноклассников, призывы Виктора Юсуповича работать, а не хохмить.

Минут через пять ко мне перебралась Нина.

— Тоже здесь хочу, — сказала она, располагаясь левее и ниже по склону. — Отсюда хорошо. А там ничего особенного. К тому же вся толпа.

Она могла бы говорить что угодно. Слова были не важны. Нина источала то, что на моем тогдашнем языке называлось «похоть». Та самая похоть, о которой я читал у Толстого и Бунина, которую с опаской и предвкушением высматривал внутри себя. Возле Нины я ощущал похоть всем своим неопытным естеством, как язык — электрические укусы батареек.

— Ты много успел? — Нина разворачивалась ко мне вполборота, широко отводя ногу и покачивая ею туда-сюда.

— Нет.

— Покажешь?

— Потом.

Она задрала юбку до бедер: «Жарко, да?» — и развернулась ко мне лицом. Нина была моей ровесницей. Но выглядела зрелой женщиной, по какому-то недоразумению задержавшейся среди мелюзги. Даже в ее наброске любореченской промзоны мне виделось неприличное.

— Неплохо-неплохо, — похвалил Виктор Юсупович своей обычной скороговоркой крючочки и квадратики, рассыпанные Ниной вокруг кочерыжек труб. — Я, правда, ждал от вас простого реалистичного рисунка, но... совсем даже неплохо.

Моего трехтрубного парохода, который я умудрился-таки закончить, невзирая на парализующие флюиды Нины, Виктор Юсупович не разглядел, ограничившись похвалой моей уверенной штриховке и точности контуров.

Когда после занятия мы спускались с холма и впереди сквозь деревья показались брусчатка и заборы, а группа кинулась в ближайший магазинчик за мороженым, Нина отделилась от Златы и дождалась меня на перекрестке тропинки.

— Прогуляемся? — кивнула она в глубь рощи. — Если что, Златка скажет, что мы на троллейбус пошли.

— В смысле — прогуляемся? — пролепетал я и, кажется, покраснел.

Нина удивленно вскинула брови. Будто мы с ней давным-давно договорились и я в последний момент пытаюсь все испортить.

— Ладно... Если недолго...

И я пошел.

— Я все смотрю на тебя. Один нормальный человек во всей группе. А эти...

Она вцепилась в меня, как клещ, ведомый голодом и рефлексом, я же не знал, как от этой напасти избавиться. Происходившее заворачивало. «Нина?! Бред! Полный бред!» Было интересно пройти еще немного, еще шажок, посмотреть, что там дальше. <...>

В конце весны Суровегин впервые дал отцу спектакль. Пока лишь новогоднюю сказку «Двенадцать месяцев» — и непонятно, кто будет играть: большинство «кирипичников» готовят с Суровегиным «На дне». Но — полная самостоятельность, никаких советов, никакого контроля. Отец воодушевлен необычайно. Суровегин даже деньги на костюмы раздобыл.

Мало о чем я сожалел больше, чем о затянувшейся своей заоблачности. Правы были мамы библиотекари — не от мира сего, но тогда и отгораживаться от здешне-

го мира нужно было надежней. Вне крепких стен вышло то, что вышло: прекрасный пшик.

Роман отца с Зинаидой, начинавшийся на моих же глазах, я проглядел. Слишком поздно, когда ничего уже нельзя было изменить, я понял, какую филигранную игру вела судьба поверх наших голов. Что-то она хотела этим сказать? Каких прозрений от меня добивалась? Или запросто, без всякой задней мысли, забавлялась на досуге своим умением плести парные кружева? Две истории — Зинаида и отец, я и Нина — разворачивались одновременно. И в Зинаиде, и в Нине был свой надлом... да что там, ущербность: Нина некрасива, Зина пуста и зажата. И обе они шли к намеченной цели, четко зная, чего хотят. Хищницы-инвалиды. Они даже рифмовались: Нина-Зина. Если бы я догадался, кто таится в угловатой тихоне из «Кирпичика», я наверняка понял бы и остальное. Перетерпев первую боль, решил бы, возможно, на разговор с отцом. Поговорил бы с ним раньше, чем все полетело в тартарары. Все могло бы сложиться иначе.

Спектаклям в «Кирпичике» отвели два воскресенья в месяц, остальное время там грохотали рок-концерты и дискотеки, да любореченские художники-концептуалисты вывешивали свои загадочные, на что-то намекающие полотна.

Лето еще в разгаре, но отец уже вовсю занят работой над «Двенадцатью месяцами». Выпросил отпуск в больнице, нырнул с головой. Актеров на спектакль кое-как наскребли. С Падчерицей проблемы. Лопухина отказалась наотрез. Она как раз собралась замуж, и будущий супруг, выдавший виды речной капитан с буденновскими усами, запретил ей играть малолетних девиц, в том числе Джульетту: «И так разница в возрасте. Перед людьми неудобно». Другие актрисы «Кирпичика» не подходили кто по возрасту, кто по габаритам. Отцу предлагали пригласить кого-нибудь из профессионалов любореченского драмтеатра — они охотно соглашались подшабашить в «Кирпичике» за ставку дворника или буфетчицы, — но папа ко всеобщему удивлению отдал роль Зинаиде.

К тому моменту они вряд ли были любовниками. Не думаю.

Мамина директриса Клара Евгеньевна сломала ногу. Они сдружились в последнее время. И мама потащила меня с собой в больницу. На обратном пути заехали в «Кирпичик».

Во всем районе нет света. Веерное отключение. Горят только уличные фонари. Отца в театре могло и не быть. Помялись, но решили проверить.

— Здесь, как же, — скрипит вахтерша (они менялись часто, я их имен не запоминал). — Вон он, слышите? Голос.

Пропускает нас внутрь за такую же скрипучую грузную дверь, держа у плеча керосинку, которая мажет шаткую темноту желтым маслянистым светом.

Из глубины «Кирпичика» доносится размеренный гул.

— Что за удовольствие в потемках-то? — Вахтерша делает глубокий сиплый вдох и кричит в самую гущу: — Горррий Дмич-ч! К вам пришли!

Стоим втроем вокруг керосинки, ждем ответа. Керосинка дразнится, пощелкивает желтеньким язычком. Гул в глубине здания затихает ненадолго, но вскоре возобновляется.

— Не слышит, — ворчит вахтерша. — Надо идти.

— Уже иду, — говорю я и ныряю в душную темноту коридора.

— Лампу-то возьми!

Лампа ни к чему. Я желаю удивить маму умением ходить по «Кирпичику» в кромешной темноте. «Да он как свои пять пальцев... с завязанными глазами...» Вытягиваю перед собой руки. Глаза таращу так, будто пытаюсь вытолкнуть их вровень с руками — тоже что-нибудь ощупать, если понадобится. Развилка, поворот, тесная лестничная спираль. Снова коридор, музыкальные доски, по которым я прохожу почти без промахов, почти беззвучно. Впереди качается свет. Сцена близко.

— Ты должна прямо сейчас взять и отбросить все это к черту! Взять и отбросить! — кричит отец. — Хочешь играть — играй, Зина. Играй! У тебя все для этого есть! Ясно? Я вижу. Сама себе мешаешь, Зина! Мешаешь сама себе! Ты, когда

забываешься, и говоришь как надо, и двигаешься. А потом — рраз! — вся окаменела, захлопнулась. Бе-бе-бе, — гнусавит отец. — Ауу! Зина! Нету Зины! Ты себе хозяйка или нет?!

— Хозяйка, Григорий Дмитриевич, — всхлипывает Зина.

— Тогда бери себя в руки!

— Да, Григорий Дмитриевич. Я что хотите... я все, я на все готова, только не прогоняйте...

— Да не прогоняю я...

— Пожалуйста.

— Да не прогоняю, сказал! Но нужен прорыв, Зина. Пора уже.

Мимо сундука, на котором когда-то лежала трость, героически переправленная мной Сорину в правую кулису, прохожу на сцену. Зинаида стоит, вытирая глаза уголком платка. Отец смотрит на нее хмуро. Между ними табурет со свечой, вставленной в граненый стакан. Пламя свечи мечется от одного к другому, будто старается их помирить.

— Пап, — зову я.

Зинаида вскрикивает истерично. Отец молчит.

— Мы с мамой за тобой заехали, — и запоздало извиняюсь: — Простите, напугал.

Он бросается ко мне гигантскими шагами, хватает за руку и тащит за кулису, откуда я только что вышел.

— Да-да, заработался. Идем, поздно уже. — В кулисе он оборачивается. — До свиданья, Зина, — бросает смущенно.

У них скорей всего и случилось в театре. Немного погода. В какой-нибудь из гримерок? В кулисах? За фанерной перегородкой? В костюмерной, среди ворохов платьев, задиравших подолы вместе с рвущейся на волю Зинаидой? Вряд ли отец бывал в комнатке возле завода: тащиться через весь город с пересадкой — к тому же могли заметить. По крайней мере, часто там бывать он определенно не мог. <...>

У Нины персональная выставка в фойе училища. Там иногда вывешивают картины лучших из лучших. Незадолго до этого там красовались натюрморты и графика Димы Богуша. Нина выставила тематические серии: акварельную «Коты и крыша» и карандашную «Двое». В первой — коты, обитающие на крыше дома, который Нина видит из своего окна, во второй — силуэты, он и она: идут рядышком по парку, лепят снеговика, пьют чай.

Ах да! Времена вокруг — непростые.

Родителям стали задерживать зарплату. Для семьи нашей, привыкшей к довольно сытой жизни, настала голодная пора. Бывало, по несколько месяцев обедали исключительно «Анакомом». На завтраки — хлеб, посыпанный сахаром.

Мама пробовала продавать книги. Простаивала на толкучке дни напролет, покупали редко.

«Из каждого угла несет упадком, — записал я за мамой в дневник. — Жизнь настала балаганная, крикливая. Свобода оказалась не призом, а всего лишь лотерейным билетом. Не похоже, что наш выиграл». <...>

Понимать происходящее было трудно. Будто взялся читать книгу, в которой страницы перемешаны и номера их зачем-то замазаны. О чем это, где фабула, кто герой?

Мне представлялось, что в той жизни, к которой меня готовят, я буду сходитья в вечном поединке с такими, как Полугог, как Суровегин... благородно их побеждать, благородно страдать за правое дело (которое я представлял себе смутно — нечто, чем можно было бы гордиться перед людьми нашего круга, что-то полезное, скорей всего, жертвенное). Но вот пришли совсем другие люди, проще и гнусней Полугога. Если Полугог тянул на дракона, эти смотрелись прыткими крысами. Они пришли — и разобрались с ним в полминуты, не заморачиваясь на благородство.

В ожидании разъяснений я еще тесней жался к родительскому кругу. Увы, здесь было не лучше. Пожалуй, хуже: сказывалась амплитуда. Люди обесцвечивались. Будто невидимые волны потопа, в которых они бултыхались, смывали с них краски. Разговоры папиных знакомых сделались полны обиды и ненависти и очень скоро — скучны. В их проклятиях, адресованных то Горбачеву, то Ельцину, не было и тени того щеголеватого сарказма, с которым они совсем еще недавно высмеивали осточертевший совок. Они приходили такие обыкновенные, такие мелочные. Возвышенные спорщики, лирики и вольнодумцы перевоплощались в тех самых мещан, которыми мама всегда так меня страшила.

— Ничего, сыночек, это не навсегда.

Когда-то мама пела под гитару. Давно забросила — но вот решила вспомнить. По вечерам, усадив нас в кресла и запалив свечи, она пела «Осенний вальс», «Здесь птицы не поют...», «Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели». Наша семья как будто разворачивала подпольное сопротивление — и мама была лидером этого подполья.

Поначалу, кстати, меня удивляло молчание, которым мама реагировала на политические штормы, гудевшие в стране. Точнее сказать, в телевизоре. Внимательно следила, но отмалчивалась. Схватка Ельцина с Горбачевым, уличные демонстрации, верховные прения и потасовки — чем шибче раскручивалась московская политическая карусель, тем меньше говорила об этом мама. Все вокруг было насквозь пропитано политикой, из открытых окон рвались голоса заседающих в Верховном Совете. Соседи, дружившие годами, ругались насмерть. Да еще неоказки, колоритные и наглые, ходили по Люберецкому то с хоругвями, то с плакатами и провозглашали себя хозяевами края.

Один важный, не сразу осознанный до конца эпизод врезался в память — был бережливо отложен впрок для последующей расшифровки, как осколок глиняной таблички с загадочными знаками. Когда Ельцин, подойдя к стоявшему на трибуне Верховного Совета Горбачеву, ткнул пальцем в листок и, буровя его взглядом под хихиканье зала, велел: «А вот почитайте!», мама вскочила и выключила телевизор — будто с экрана только что слетела площадная похабщина. Сказала, опуская глаза: «Как же он управлять будет? Он же перед ним — как тряпка».

Постепенно я начал догадываться, что роль утонченного нытика маме претит — а другой она себе не находит.

На время подготовки спектакля отец запретил нам с мамой появляться в «Кирпичике». Сам он пропадал там дни напролет. Похудел, брился редко и небрежно. Однажды заявился в одном носке.

И вдруг, за две недели до премьеры, Суровегин предложил отменить «Двенадцать месяцев». Падчерица, еще недавно удивлявшая всех неожиданно живою игрой, вдруг начала заикаться, рыдать на сцене. Отец упросил Суровегина сказку не отменять и обещал, что к премьере все будет как надо.

— Как надо, — повторял он на разные лады, бродя из угла в угол, в те редкие дни, когда ночевал дома. — Как надо.

Весь он был там, в своем «Кирпичике», где вот-вот на волшебной полянке с зимними ландышами решится вся его дальнейшая судьба.

Незадолго до первой генеральной репетиции «Двенадцати месяцев» маме доложили, что Зинаида-Падчерица, оказывается, не промах и вовсе увивается за ее мужем. Уже срывался с запинками снег, и в лужах плавали ледяные корки. То ли баба Женя не удержалась, то ли кто-то из общаги. Знаю точно, что мама с отцом об этом не говорила. Ну увивается и увивается. На то он и режиссер, чтобы в него молоденькие простушки влюблялись. Казалось, мама даже была растрогана известием о влюбленности Зиночки в своего мужа.

На премьеру «Двенадцати месяцев» напросилась Нинка.

* * *

Одинокий фонарь. Далеко, в конце квартала. Не светит почти. Так... тлеет кошачьим зрачком из-за угла. Растрескавшиеся фасады, мусор, черные провалы дворов. Редкие прохожие, неотрывно глядящие в разбитый тротуар у себя под ногами: не угодить бы в яму. «Дохлый мерзавец!» — думал Топилин, стараясь взбодриться.

Впервые в жизни, кажется, он ненавидел кого-то без стеснения и душевных ужимок, и надо же — это был покойник. Совершенно незнакомый ему покойник. Случайный прохожий. Мертвый случайный прохожий. Совершенно случайный в его жизни мертвец.

«Сволочь! Пришел, скопытился. А ты — давай расхлебывай». <...>

Весь день злость на не к месту усопшего, которой Топилин позволил полахать вволю, помогала держать себя в тонусе. В какой-то момент он даже ощутил в себе вожденный холодок безразличия. Он был воздушен и мускулист, как молодой демон. И разумом ловок, и радостно-циничен. И уладить это дело для него казалось не сложнее, чем уволить проворовавшегося прораба. Но вот он стоит под подъездом новоиспеченной вдовы, курит вторую подряд, и его знобит от предвкушения непоправимого.

«Готовься, уже скоро. Прямо сейчас. Готов?»

«Нет!»

Страх, черт возьми. Тот самый страх, с которым выскакивал из машины, выискивая в разрушенной фарами тьме силуэт человека: «Живой, пусть останется живой!»

Тогда, на трассе, со страхом справился быстро: как только нащупал взглядом распластанное на щебенке тело, сразу и легло. «Не жилец, — подумал, и тут же следом, вздохнув: — Не я убил, не я!» И узел распустился, сердце перестало скулить. Траурную возню на виду у бывших шахтеров и ту осилил. А пятиминутного разговора с глазу на глаз со спокойной покладистой женщиной боялся.

Что за блажь, Саша?

Из-под фонаря вышла молодая пара. Девушку догоняла связка воздушных шаров, бодаясь друг с другом и с ее плечом. Держа ниточку рукой, спрятанной в карман куртки, другой рукой девушка колотила по спине своего спутника — похоже, тот только что отпустил едкую шутку.

Не ожидал. По пути сюда спокойно продумывал, подбирая слова — чтобы коротко и ясно, по возможности с достоинством. «Позволите? Я ненадолго». Уверенно войдет, аккуратно изложит. Скорбный излом в плечах. Чуть-чуть. Чтобы обозначить уважение к горю — но и статус свой соблюсти. В этой истории он выполняет функции посредника. Гражданин А, неумышленно причинивший смерть гражданину Б, имеет что предложить гражданке В, вдове гражданина Б. Состоящий в приятельстве с гражданином А гражданин Г это предложение излагает. Только и всего. Проблема? Нет проблемы.

«Лучше использовать латинские литеры, — посмеивался он. — А то «гражданин гэ» звучит... с неуместным намеком, да. «Гэ» достается как раз тому, кто тащит из говна облажавшегося товарища».

Как бы то ни было, он изложит — ей решать. Откуда паника, Саша?

Топилин затоптал окурок, покосился на щербатую, будто оспой изъеденную дверь подъезда — и со злостью отвернулся. Как трусливая девственница, сжимался и просил немного подождать. Казалось, попросту не сумеет войти. Сунется — и упрется лбом, шаг не сможет ступить: натурально — стена, куда ж ты прешь?

Позвонить Антону: «Слушай, здесь стена. Не могу. Ты лучше сам?»

Парочка с шарами прошла мимо. Парень смеялся, энергично мотая головой. Девушка, улыбаясь, говорила жеманно: «Фу-у-у. Переста-а-ань».

«Нужно бы проще, Саша, проще. Мир пасет простота. Давай-ка, Саша, левой-правой, бодро и оптимистично».

Переглянулся с далеким фонарем. В кармане пиджака заиграл мобильник. Топилин как раз снова затягивался, поперхнулся дымом. Вытащил мобильник: Анна.

— Саша, вы собирались прийти...

— Да-да, я подхожу уже, — ответил Топилин. — Рядом.

— Алло? Саша, вы меня слышите?

— Анна Николаевна, я возле подъезда, буду через минуту.

— Хорошо.

За оспяной дверью распахнулось настоящее дореволюционное парадное. Каменный гулкий пол. Свет еле-еле сочится в слуховые окошки. Лестница широкой спиралью уходит вверх, к черной глазнице купола. Смертельно разит мочой.

«Позволите? Всего на пару слов», — мысленно повторял Топилин, вдыхая трущобный аммиак.

На втором этаже свернул с лестничной площадки в коридор. В который раз за эти дни — унылая, набившая оскомину картина. Тусклая лампа размазывает по стенам длинные тени — будто уличный фонарь выпустил здесь свою почку. Возле дверей квартир выставлены коробки, санки, обрезки плитусов, ведра, веники, всевозможные шкафы, буфеты, горки: двухметровые амбалы и пигмеи-пузанчики с клеенкой вместо стекол, с навешенными на врезанные «ушки» замочками. Весь этот разномастный хлам, тянувшийся унылыми шеренгами по обе стороны коридора, смотрелся как разбитое ополчение, которому почему-то именно он, Топилин, проводит последний смотр. Сейчас дойдет до конца строя, даже не утруждая себя командирским рыком, махнет: «Разойдись!» — и все это, гремя и поскрипывая, уковыляет в небытие.

Нужная квартира, двадцать седьмая, под самой лампочкой. Возле двери тумбочка с замком, лыжи, укутанный тряпкой таз. Топилин потянулся к кнопке звонка. Нажать не успел.

— Саша, вы? — послышалось из-за двери; видимо, прислушивалась к шагам в коридоре.

— Я. Просите за опоздание. Пробки. И за беспокойство еще раз простите.

Дверь открылась. Последние слова договаривал, стоя перед Анной лицом к лицу.

Скулы тяжеловаты для таких тонких губ. Глаза чуть раскосые, остренький нос. В такое лицо можно долго всматриваться, разгадывая: красивое — нет? Антон, к примеру, всматриваться не любит. Его женщины — галерея эталонов. Разные, но считаются с первого взгляда.

«Тьфу ты! Лезет этот Антон, чтоб его! Достал!»

— Может, все-таки пройдете? — повернувшись к Топилину спиной, она двинулась в глубь квартиры.

— Извините. Замотался.

Повесил плащ на крючок возле занавешенного зеркала. В лежбище пыльной женской обуви поискал глазами тапки.

— Разуваться не стоит. Полы не мыла. — Добавила совсем тихо, видимо, самой себе: — Завтра вымою.

Заведя руки за шею, она подтянула узел платка. Топилин последовал за Анной через обшитый мореной доской проход шириной с вагонный тамбур. Высоченный потолок с закругленными углами и посеревшей от пыли лепниной. По-над тамбуром к боковой стене лепится дощатая веранда. От края веранды, вдоль стены спускается лестница.

Указала подбородком на стул возле массивного антикварного стола с резными ножками: присаживайтесь. Сама прислонилась к комоду, на котором стояла фотография мужа. Два угла рамки перетянуты траурной лентой.

«Привет, Серега. Снова я. Зачастил. Что есть, то есть...»

Топилин сел. Спohватившись, что пауза затянулась, брякнул:

— Много воздуха тут...

Обвел взглядом комнату — будто демонстрируя хозяйке: вон сколько у вас тут воздуха. Анна уселась напротив. Сложила руки одна на другую. Узкие ладони, ногти короткие.

В комнате повсюду черно-белые фотографии: на стенах, на полках книжного

шкафа. Советский пленочный фотоаппарат «Практика» на стенной вешалке возле входа в тамбур. Фотоувеличитель вытянул из угла стальную суставчатую шею. Рассмотрел два ближайших снимка: букет осенних кленовых листьев на краю парковой скамейки; растрескавшаяся мельничная лопасть, валяющаяся у основания стены.

Никаких следов присутствия взрослого сына.

— Ваши фотографии?

— Серезины.

— Ах, да, вы говорили, простите, — протянул Топилин, машинально опуская глаза.

— Саша, спасибо вам еще раз за помощь.

— Не стоит...

— Вы говорили, что у вас ко мне вопрос.

— Да-да. Простите.

Выложил руки на стол. Теперь они сидели, зеркально повторяя позы друг друга. С комодом его взгляд настырно ловил господин покойник: ему тоже было интересно.

«Э, нет, брат, ты бы уже не лез».

— А сын с вами не живет? — брякнул вдруг.

— Нет, — ответила Анна. — Он в общежитии. Влад спортсмен... В общежитии при Академии футбола.

— Ясно.

Снимок над диваном: грязная кирпичная стена, грязное выбитое окно — в звездообразной дыре остроугольная звезда солнечного света.

— Не столько вопрос... У меня к вам предложение, Анна Николаевна. От Антона. От Антона Степановича. — Говорил позорно сбивчиво, только что не заикался. — Антон... Степанович хотел бы как-то загладить свою вину... Понятно, что... это трудно. Невозможно... Жизнь человека... но... Такое стечение обстоятельств. Так вышло... и...

Анна смотрела на него с прежней своей невозмутимостью.

— Предложение, Аня, состоит в том, что Антон... хотел бы подарить вам... предоставить... двухкомнатную квартиру. В новом доме. Отличное место! Центр, возле Пионерского сквера... Чтобы загладить вину... хоть как-то...

Поползла опасная тишина. Эту тишину нужно было разогнать поскорее, пока не залепила все отверстия, каждую пору, не склеила руки-ноги. Как капля древесной смолы, падающая на муху: кап — и точка. Была муха — теперь артефакт. Можно любоваться, рассматривать все ее прожилки-ворсинки, выпученные бутончики глазок. Тараканы прибежали, все стаканы выпивали. А букашки — по три чашки, с молоком, с крендельком: нынче муха-цокотуха артефакнулась.

Нет, лучше продолжить говорить. Пусть даже сбивчиво. Пусть даже банально.

— Сергея все равно не вернуть. — Топилин печально поднял брови. — А у Антона, как вы понимаете, могут быть серьезные неприятности. Он очень переживает, очень. А квартира отличная, не сомневайтесь... В элитном доме.

Пока говорил, не заметил, как опустил взгляд с солнца в выбитом окне на траурное фото. Сергей — причина возможных неприятностей Антона — всматривался куда-то над плечом Топилина и, казалось, напряженно обдумывал поступившее предложение.

Анна поднялась, медленно прошла по комнате. Черная ткань льнула к спине. Позвоночник аккуратной ложбинкой. Тонкая щиколотка. Утопив руки в плотных складках занавески, прикрыла балконную дверь. В комнате, отсеченной от уличного шума, стало слышно, как за стеной ругаются дети — два мальчика. Лет по семь-восемь.

— Девяносто метров общая. Две лоджии. Большие. На разные стороны. Вид из окон чудесный. Семнадцатый этаж. Лифты на отдельной ветке. Даже если в районе авария, они не отключаются. В общем, элитный дом. Во всех отношениях.

Обхватив себя руками, она медленно дошла до кресла. Сняла висевшее на спинке полотенце. Убрала полотенце в шкаф.

Профиль у нее четкий, но не резкий, уверенным мягким росчерком. «У вас красивый профиль», — непременно говорил Топилин женщинам с красивым профи-

лем, за которыми начинал ухаживать. Если к профилю прилагался интеллект — высказывался более пространно. Про Венеру Милосскую, на которую противопоказано смотреть сбоку, про рисунки Нади Рушевой, в которых идеальное чувство этого коварного ракурса.

Анна вернулась к комоду. К мужу.

По накатанной не получится, мог бы сразу догадаться. Другой рубеж, трудный. Сложней предыдущего.

— Еще меня просили передать... Только вы поймите правильно, Аня... вопрос щекотливый... Антон надеется, что вы согласитесь прекратить дело за примирением сторон. Это несложно. И вполне законно. Абсолютно законно.

Она по-прежнему молчала. Топилин заметил легкий изгиб улыбки на ее губах. Сначала решил: почудилось. Присмотрелся: так и есть, улыбается. Грустно. Или желчно — не разобрать. Не мимика, а какие-то блики на маске... Но что-то в этих бликах и штрихах угадывалось такое, что настораживало Топилина, заставляло поежиться.

В дверь вкрадчиво постучали.

Анна обернулась на стук.

— Открою, — будто подумала вслух.

Она скрылась в тамбуре, Топилин принялся рассматривать веранду. Краешек кровати, над кроватью еще одна фотография, самая большая: две соприкоснувшиеся кончиками пальцев ладони, женская и мужская. Ее и Сергея?

Анна вернулась с пожилой соседкой в цветастом байковом халате, появление которой Топилин решил проигнорировать. Гостя, впрочем, тоже Топилина не замечала.

— Как ты? — спросила Анну с приторным сочувствием.

Та ответила с прохладцей:

— Как полагается, Софья Петровна.

— Хотела спросить, это... может, че надо?

— Нет, спасибо.

— А то это... не стесняйся...

Разговор натушный, как на экспресс-курсах иностранного языка между двумя новичками.

— Ты ела сегодня, нет?

— Я ела, Софья Петровна, — ответила совсем уж ледяным тоном.

Пауза. Стоят столбами, смотрят друг на дружку колюче. Явно не в подругах.

— Если что нужно, ты говори смотри. Не стесняйся, — завела по новой Софья Петровна.

— Спасибо.

— Что — «спасибо»? — мягко укорила Софья Петровна. — «Спасибо, спасибо». Соседи все-таки...

— Спасибо, Софья Петровна.

На этот раз в голосе Анны звякнул металл. Соседка упрямо продолжала любезничать.

— А хочешь супчика? А? Свежий. Принести?

Женщины играли в какую-то свою игру, смысла которой Топилин не улавливал. Он, собственно, и не пытался. Еще несколько бессмысленных реплик, и Софья Петровна ушла.

— Супчика она мне принесет, — глухо проворчала Анна, возвращаясь в комнату из тамбура.

Топилину показалось: перед тем как вернуться, она ждала, пока за дверью стихнут шаги.

Пожалуй, довольно. Все сказал, что нужно.

— Я пойду, извините. — Топилин бочком скользнул от стола в сторону тамбура. — Так будет лучше. Вы обдумаете. Завтра созвонимся, лучше встретимся. Все обговорим.

Оборванно вышло. Но дольше он не высидит. Она его услышала, все поняла. Все ясно как божий день. Закрываем дело — получаем квартиру, живем дальше. Не девочка, обойдется без уговоров.

— Мы собирались разводиться, — сказала Анна и посмотрела через плечо на фото Сергея.

— Что, извините?

— Незадолго до его смерти договорились окончательно. Он на даче жил. Давно. С прошлой весны.

— Да, вы говорили.

— За день до его гибели договорились о разводе.

— Ясно.

Нет, с него довольно. Даже вдумываться не станет. Пропустит мимо ушей. Как болтовню прохожего. О разводе они договорились...

— Аня, я пойду. Спокойно обдумайте. Я вам позвоню завтра.

Никак не отреагировав на его слова, она обняла себя за локти.

— Все твердил, что новую жизнь начал.

— До завтра. Извините.

Пересек комнату, нырнул в тамбур.

Откажется, конечно. Тогда суд — и тут уж адвокат всем займется.

— Созвонимся.

Мимо шкафов, по скрипучим доскам. РазминулсЯ с толстым задумчивым котом, выскочил в вонючее парадное. <...>

* * *

Нина явилась в бордовом бархатном платье с вырезом на один бок. К закрытому плечу приколотая небольшая крахмальная роза с лепестками всех цветов радуги.

— Что, плохо? — дрогнувшим голосом спросила она, встретив мой взгляд. — Сама сделала.

Роза на самом деле была хороша. Нина выглядела дамой. На мне же был школьный костюм и отцовский галстук, ввиду чрезмерной длины незаметно подколотый снизу маминой булавкой. Я многозначительно пожал плечами и сказал:

— Торжественно очень. Но сойдет.

— После спектакля за кулисы пойдем. Если хочешь.

— Конечно!

— Там будут премьеру отмечать.

— Здорово.

Мама была предупреждена заранее, что Нина никакая не моя девочка, что мы с ней просто дружим.

— Хорошо, хорошо, успокойся, — сказала мне мама. — Я поняла. Просто дружите.

Я познакомил маму с Нинкой в зале «Кирпичика»: «Мама, это Нина», — и мама повторила нараспев, ласково при этом улыбаясь: «Я так и поняла» — мол, теперь я поняла, сынок, почему ты так на дружбу напирал.

Сражаясь с предательской зевотой — поздно лег, зачитался, — я сидел между Ниной и мамой в первом ряду. Нина осторожно придвинула свой локоть к моему.

Когда сцена повернулась и хижину с пакостной Мачехой сменила зимняя чаща, где в поисках подснежников должна была замерзнуть несчастная Падчерица, пришедшие на свидание со сказкой ребятишки и сопровождавшие их взрослые увидели задумчивую голую тетю, на которую сыпался торопливый бутафорский снег. «Ох-р-ренеть!» — разорвал тишину голос невидимого осветителя, и луна, скрипнув, из тускло-апельсиновой сделалась ярко-белой. В зале испуганно загомонили мамыши. Нина выпилась в мое запястье. У Зинаиды были широкие бедра с остро выпирающими костями крестца и мясистая пологая грудь. Кружочки бумажных снежинок, помедлив, соскальзывали с нее набок, в стороны от сосков. <...>

Часть вторая

Анна нужна

- Антон, она сегодня ничего не ответила.
- Что? Как это?
- Ничего не ответила. Завтра будет ответ. Потерпи до завтра.
- Слушай, может, я подскочу к тебе? Расскажешь подробно. Ты где?
- Антон, я сейчас не в кондиции. Спать хочу, не могу. И рассказывать нечего.

Правда.

- Не ответила?
- Ни слова.
- Совсем? Так, может, типа нет?
- Что?
- Говорю, может, нет? Может, она откажется?
- Не думаю.
- Что?
- Не откажется, не должна. Все хорошо будет.
- Думаешь?
- Да. Жди звонка. <...>

Напротив — уже порядком поднабравшаяся Катя в занятой маечке: на майке кот, на каждой сиське — по глазу. Катя наклоняется к столу — глаза прищуриваются. Наклоняется набок — кот подмигивает. Откидывается на спинку стула — выпучивает глаза так, что кажется: вот-вот вылезут из орбит.

- Катя, ты любишь котов?
- Обожаю.

Делает вид, что не улавливает хода его мыслей. Выпрямляет спину, смотрит в сторону, давая ему возможность спокойно поиграть в гляделки с котом.

— У меня дома ангорский. И они не лезут, кстати. Нет, лезут, конечно. Но пылесосом прошлась — и чисто. Я ангорских люблю. И персов еще. А у тебя есть? Какой?

- А у меня нету. Никакого.

Опьянеть не получилось. Сначала показалось, все идет как надо. Вроде бы захмелел даже. Но теперь — чем больше пьет, тем дальше от хмеля. Глупо. Да и кот на самом деле не радуется.

- Ты учишься, Катя?
- Уже отучилась. На мерчандайзера.

Катя при теле. Пожалуй, даже с некоторым перебором. Наверняка быстро и обильно вспотеет, будет источать тот сладковатый сдобный запах, который делает всех пышек такими похожими на вкус. Бывает, везешь в гостиницу — порошок. Перед таксистом неловко. Заведешь в номер — нимфа, только успевай. А в постели вдохнешь поглубже — булочка, сытная булочка.

- Я вообще-то сестру жду. Задерживается что-то.
- Как сестру зовут?
- Лола.
- Лолита, что ли? — уточнил Топилин, слегка заинтригованный.
- Да не.
- А кто? Если Лола?
- Ну, Оля. Но она не любит.
- А-а-а... И где же наша Ло-Ля?

— Пиздец! Не поверишь! — Катя будто все время ждала этого вопроса. — В пробке стоит. На мосту авария. Прикинь, фура с цветами перевернулась.

- С цветами?

— Ну! Полмоста, блядь, в гвоздиках. Может, поехали, глянем? А? По приколу. Не поехал. Катя немного поуживалась и пустилась в подробный рассказ о том, как в прошлые выходные потеряла мобильник в маршрутке, но потом нашла.

«Хорошо, что болтливая, — мимоходом отметил Топилин. — Слова сейчас не помешают. Особенно такие. Вот какие-нибудь такие».

Вообще в часы мимолетных депрессий Топилин любил припасть к сисястым, которые глупей. Они тонизировали и примиряли с окружающей средой. В то время как глупые без сисек обостряли ощущение бессмысленности.

— А еще я в последнее время стала замечать, что цифры забываю. Это вообще засада. Например, к подружке потусить пришла, а номер квартиры забыла. Капец. То ли двадцать два, то ли тридцать три. Наугад набираю, они, козлы, меня не впускают. Ваще! Потом на работе забыла номер ряда, в котором бакалея выложена. Потом день рождения сестры. Не этой, а другой, двоюродной. Пятого мая или седьмого?

Из Катиных цифр в голове сооткался и ошетинился темно-бурой бородой математик Перельман, который сначала доказал неведомо что, а потом учудил неведомо что.

— Катерина, — перебил Топилин очередную сагу о забытых цифрах, переходя вдруг на «вы». — А давайте-ка выпьем за Перельмана.

— За кого?

— За Перельмана. Который математик.

— О! Я один анекдот знаю про математика. Короче, встречаются две подружки. Одна такая: «Как твой парень? Все еще занимается математикой?» Другая: «Не хочу больше слышать об этом мерзавце. Вчера позвонила ему, а он сказал, что приехать не может, потому что трахается с тремя неизвестными».

С удовольствием посмеялся глупому анекдоту. Но пить за Перельмана расхотелось.

Откуда он только взялся? И хватило же ума заговорить с Катей о Перельмане.

— Так что за Перельман? — спросила она.

— Да сотрудник мой. У него вчера как раз день рождения был.

— Ты что, математик?

— Почти. Инвестор.

Задумавшись над услышанным, Катя пожала плечом, отчего кот на ее майке удивленно шевельнул бровью.

Выпили.

— Я говорю, вылетит что-нибудь — и хоть ты лопни, — сказала Катя, ставя фужер на стол и облизывая губы. — В последний раз, когда... неделю тому назад... забыла, прикинь, пароль на пластике. И бумажку, где записывала, потеряла. Не могу вспомнить и все. Неделю мучилась.

И тут Топилин вспомнил про Милу. И про полный багажник еды, купленной позавчера.

— Бли-и-ин! Почапала я в банк. Вышла на остановке — и вспомнила. Вот, блин, как будто на стене передо мной циферки написались: девяносто восемь... — она осеклась и огляделась. — Короче, вспомнила.

Через полчаса Катя отправилась в туалет, Топилин расплатился и вышел из бара. Было начало первого, но казалось — глубокая ночь. Тишина, машин не слышно. «Ничего, — решил Топилин. — Разбужу, извинюсь».

Телефон милой Милы был отключен, и что-то подсказывало Топилину, что для него он отключен навсегда. Внесен в черный список, отлучен и предан анафеме. А ехать и просить прощения не хочется ни в коем случае. Да и как знать, вдруг кто-то другой уже занял его место в этом гнездышке гарантированного позитива.

— Мэйл pošлю: «Женюсь. Не поминай лихом».

Ватное небо свесилось низко, на самые крыши. В широком клочковатом разрыве желтела луна. На лавочке возле автобусной остановки развалился человек и, уронив голову на грудь, могуче икал.

Топилин сел за руль и медленно, на черепашьей скорости, отправился на набережную. Уже и не припомнит, когда садился за руль под мухой. Боязно. Есть мнение,

что беда не ходит одна. Мало ли... А что, подсунет ему костлявая Сережиного товарища. Одного из тех — в туфлях, измазанных рыжим глиноземом. Выйдет такой на середину дороги, галстук по ветру, чело в лунном отливе, прокричит на весь ночной Любореченск: «От Сереги, дружка моего незабвенного, пламенный привет!» — и шлеп под колеса... А все же нужно рискнуть. Устроиться с бутылкой у реки, пустить себя корабликом по течению. Интересно, что из этого получится. Вдруг подумалось: давно не оставался наедине с собой. Странное наваждение. Холостой, бездетный, разумеется, он часто оставался в одиночестве. Но будто не с собой, а с кем-то другим.

Стал подальше от моста, вышел. Вокруг густые тени. За каменным парапетом тлеет река. Противоположный берег, застроенный складами и причалами, растянулся черно-белой фотопленкой: кадр светлее, кадр темнее. В районе грузового порта заломлены к небу остроугольные конечности кранов.

В багажнике пованивало протухшим мясом. Ухватив пакеты, Топилин пересек аллею и выложил ношу на лавку. Устроился с бутылкой бурбона над бормочущей зыбкой водой, облокотившись на широкий парапет. Бутылку выставил на возвышение опоры. Вокруг не было ни души, но время от времени откуда-то из темноты доносился истошный дурашливый смех, напоминавший визгливый лай гиены. Подростки: помечают ночную территорию.

Под эти шальные звуки Топилин отпил — и обреченно подумал, что вряд ли вылазка на набережную принесет ему что-то кроме очередного приступа любореченского неуют.

У Анны с мужем все было кончено еще до того, как он шагнул Антону под колеса. Зря она об этом заговорила. Прицепилась как банный лист.

Вот делать тебе, Саша, больше нечего, как думать о ее отношениях с покойным мужем.

Пространство реки дышало угрозой. Голодная пустота, придвинувшаяся вплотную. Зубки, губки, кружочек лунной глотки. Даже визги нечеловеческие — для пущего правдоподобия.

Снова маячили перед глазами траурный платок, полоска шеи под обрезом платка.

Отпил еще. Алкоголь наотрез отказывался входить в контакт с организмом.

На западе, на далеком изгибе реки, вырос луч прожектора, поднялся, лизнул один, другой берег, установился посреди фарватера. Топилин терпеливо вглядывался, как в приближающемся мареве отраженного света медленно тяжелеет контур баржи. Смотрелось в общем умиротворяюще, но тут баржа коротко взвизгнула сиреной — и в ответ ей со стороны набережной грянули многоголосый визг и хохот. От их переключки с баржей в промозглой осенней темноте у Топилина заныло сердце.

Боже, какая тоска.

Заткнув бутылку, спихнул ее в воду. Она поплыла, призывно виляя и посверкивая горлышком. Сюрприз какому-нибудь внимательному рыбаку.

Прошелся под сырыми деревьями, уселся на лавку, запрокинув голову.

Плоскость. То ли борт баржи, то ли пасмурное небо. Луна. Или прожектор. Не важно.

Топилин выругался и быстрым шагом пошел к машине. Он знал, чего хочет.

Желание было таким сильным, что сердце выскакивало в горло. Его приходилось сглатывать через силу, как не прожеванный кусок мяса.

Если не ухватиться за Анну — пустота дотянется до него своими каменными губами, похожими на парапет набережной, подцепит и всосет, как подсолнечное семечко.

Пусть хоть ментов вызывает. Пусть ножиком режет.

Взять ее, взять любой ценой. Трахнуть. Отыметь светлоглазую сучку.

Спасться, выжить в этой проклятой дыре.

Завертелось в голове — как это будет.

«Пусти». Она непременно бросит ему: «Пусти». Холодно, с ненавистью. Будет

сопротивляться. Ногти гвоздями впились в горло, поверх кадыка. Знает, куда. Больно. Давай-давай. Положено.

Зубами оттянул халат с плеча. Вжался губами в ложбинку над ключицей. Засопела, слегка опустила плечо, ослабив хватку.

Возня. Ее ладони. «Пусти, тварь!» — Именно так: тварь. Пусти, тварь. — «Не пущу».

Дернулась. Ждал этого, успел перехватить под поясницу. Дышит глубоко, но ровно. Не задыхается. Крепкая одинокая самка. Не кричит, не зовет на помощь. Все по-честному: кто кого.

«Я не отпущу, — прошептал, смеясь. — Ни за что». Легонько прикусил мочку уха. Забилась с силой, с которой он не смог уже совладать. Вырвалась. Вполоборота к нему. Ухватил обеими руками за ворот халата, рванул вниз, до сгиба локтей...

Шаги в коридоре звучали предательски гулко.

Не спала, открыла сразу. Окинула его быстрым взглядом с головы до ног.

— Говорят, к удаче.

Топилин проследил за ее взглядом, оглядел вслед за ней себя. Плащ на животе вымазан птичьим пометом. Испачкался, когда стоял у парапета.

Анна была без платка. Из-под халата белели лодыжки.

— Да нет, это не в счет, наверное. Это я сам влез.

Прислушивался к себе: от испуга не осталось и следа. Растекается по ноющему телу насаженная нежность. Куда, куда делось? Что за подстава?

Развернулась и пошла в комнату.

Узкие голые пятки. Ухоженные, как и ожидалось, беленькие.

Топилин закрыл за собой дверь, повесил изгвазданный плащ на вешалку и прошел следом.

Она действовала на него, как волнорез: мчался, предвкушая, как обрушится и сомнет, но вот добрался — и сам не заметил, как утих.

— Решил не звонить. По старинке. Я тут задержался неподалеку.

— Я у окна стояла, когда ты подъехал, видела... Вино будешь? Хорошее вино.

На столе стояла полупустая бутылка красного.

— А я виски хлестал.

— Тогда не надо, наверное, вина. Голова будет болеть.

— Ну нет. Не жмись. Раз уж предложила. — Она улыбнулась. — Не берет сегодня, — сказал он. — Но я бы не прочь за компанию.

— Соседей не встретил?

— Нет, никого.

— За компанию, — повторила она, как бы обдумывая его слова, и махнула рукой в сторону кухонного закутка: — Бокал возьми.

Он пошел и взял бокал в настенном шкафчике. Бокал не натерт, заметил, весь в кальциевых разводах после мытья.

Все шло не так, как представлял.

Возвращаясь, поискал глазами Сережу. Не нашел.

— Убрала, — сказала Анна. — Хотя бы до утра. Хотелось одной побыть.

— Не ладили с ним?

— Нет. Особенно в последние годы. Трудно жили.

Стоя у стола, Анна допила, поставила бокал. Топилин подошел, поставил свой бокал рядом, налил обоим. Они отпили по глотку, поглядели друг на друга вопросительно.

— Садись, — кивнула она. — Что стоим? — Они сели. — Какой-то ты другой пришел.

— Так ведь пил всю ночь.

— Так ведь не берет...

Улыбнулись. Анна покачала головой. Смотрела на него и качала головой.

— Сережа работу сначала бросил, — сказала она, как будто продолжила недав-

но прерванный разговор. — Говорил, надоело чужую тупость опылять. Говорил, что сам тупеет, опустошается... Журнал затеялся выпускать. Поиграл, одним словом, в издателя... Все, что мы на квартиру копили, вбухал, меня не спросил... Вообще-то он всегда был в семье добытчик. Пока не надоело ему...

«Нет, не сейчас, — взмолился Топилин. — Пожалуйста, не сейчас».

Поднялся, подошел к ней. Она посмотрела на него снизу вверх — все так же спокойно, будто и теперь не происходило ничего необычного.

Топилин наклонился, потянулся к ней руками. Анна поставила бокал на стол.

— Да-да, конечно, — сказала она и поднялась навстречу.

Целовал ее тонкие, устрично-скользящие губы и думал: нужно будет время, чтобы ужиться с этими верткими губами. Никогда у него не было женщины с такими губами. Нужно будет время.

Распустил пояс, медленно завел большие пальцы за резинку трусов. Грудь маленькая, как у девочки. Соски затвердели у него на глазах. Будто лед к ним приложили. Присела, навалившись плечом, спустила трусы. По очереди подкидывая колени, сняла и застыла.

— Аня... Анечка...

Разжав пальцы, выронила свернувшиеся жгутом трусы на пол. Они упали с тихим, но плотным звуком — как небольшой мягкий плод. Следом соскользнул халат.

Никогда до этого не испытывал Топилин такого отчаяния и блаженства одновременно. Рвался из горящего дома, не мог найти выхода. Ткнулся в случайную дверь — свет, воздух. Жизнь. Вот же она! Жизнь, мать твою так, жизнь! А на доньшке еще плещется ужас.

Притянул ее к себе, пробежал руками по спине, по кругленьким крепким ягодичкам. Когда начал ее разворачивать, она неожиданно уперлась, пробормотала что-то невнятное, но в следующую секунду уже поддалась, встала послушно к нему спиной, расставив ноги. Он положил руку ей между лопаток, надавил. Легла локтями на стол.

— Только не грубо.

Родная. Родная. Сколько нежности. Куда деть ее? Куда деть ее всю? Как избавиться? Помогите. <...>

Проснулся оттого, что Анна села в постели.

Приподнялся на локтях. В голове приключился короткий обвал, будто повернулся неловко в темном чулане и опрокинул несколько предметов, которые мгновенно угадал по звуку: ведро, коробка, стакан.

Тихо. Горит неяркий свет где-то внизу. Анна сидела к нему боком, глядя в близкий потолок. Растер ладонями лицо, сдирая шелковую шелуху сна.

— Сейчас, сейчас, — бормотал он. — Задремал, прости. Ухожу.

Сгреб ворох одежды со стоящего рядом стула, бросил возле себя на кровать. Как водится, не сразу отыскались носки. Один вдавился в щелку между седушкой и спинкой, второй уполз на пол.

Последний час, два... или сколько там это заняло... боже, оно того стоило.

Вывернуло наизнанку — скрупулезно, как выворачивает педант промокшую перчатку: каждый палец, до самого кончика.

Вспомнил, как мир возвращался по крупичкам. Ее глубокий вздох. Стук трамвайных колес издали, цокот голубиных коготков по жестяному козырьку... А потом этот дурацкий сон.

— Ухожу.

Что еще забыл сказать? «Спасибо? Увидимся? Созвонимся? Чмоки-чмоки?»

Второй раз за ночь Топилин спускался по этой лестнице. Спросонья и от выпитого бил озноб. Вдруг представил, что идет по ступеням и никак не дойдет до конца. Виток, еще виток и еще... Что-то там заело в пространстве, он угодил в ловушку — так и будет теперь вечно гулять вверх-вниз по стертой каменной спирали. На всякий случай ускорил шаг.

На улице двинул напрямик к дереву, справил нужду и — к машине. Плюхнулся на сиденье, заводить не стал.

Как хорошо... Почему так хорошо? Ну да, ну да — сладость греха и так далее... Все то, что они только что проделали друг с другом, не втиснуть в футляр греха. Думать сегодня, к счастью, не обязательно. Завтра.

Опустил окно, закурил. Вспомнилось вдруг, как в юности натолкнулся на парочку — согрешившую, видимо, недавно. То есть совсем недавно. Была зима. Поздний морозный вечер. Припозднился в городе, долго ждал трамвая. Шел домой с остановки, слушая, как поскрипывает под подошвами снег, и, зайдя за угол, натолкнулся на них. Шарахнулся от неожиданности. Мужчина и женщина. Молодые. Он уходил, она вышла его проводить, стояла в проеме приоткрытых ворот. Он был одет по-зимнему: меховая шапка, толстая куртка. Она — в легком махровом халате, в розовых тапочках с помпонами, придерживает под горлом ворот. Согнула одну ногу так, что внутренняя часть ляжки светлеет под приподнявшейся полой — и пар от нее струится. Мужчина явно смущен — тем, как она стоит открыто в проеме ворот. И тут еще какой-то отрок ночной из-за угла. Только что поцеловались, сожрали друг друга поцелуем, он сказал: иди, холодно. И сам сделал несколько шагов, уходя. А она осталась стоять. И тогда он вернулся и вот стоит, мнетя, пускает носом пар. Ей не холодно. Она улыбается, и в лице у нее такое, что юный Саша Топилин не может оторвать глаз... Скорей всего, они были любовниками. Она, скорей всего, изменяла мужу. Он наведалься к ней, пока муж в отъезде. До утра остаться нельзя. А прощаться на улице тем паче. Соседи увидят. Но радость животная так велика, что невозможно вернуться в постылую реальность.

В окнах у Анны свет стал ярче. Включила торшер. Скоро появилась сама с сигаретой. Дымок повалил из открытой форточки. Топилину показалось, что он даже запах улавливает. Анна наверняка его видела. Покурили так, на расстоянии, но вместе. Разглядывая силуэты друг друга.

Пусто. Все осталось там, наверху. Растеклось, размазалось по молочной коже. Нечем ему закончить эту ночь, как только пылким воспоминанием из юности. За долгие годы черты их стерлись. Но главное: выражение губ, глаз, пар от приоткрытой ляжки — сохранилось нетронутым... Топилин без труда переместился туда, в морозную ночь. Стоял в меховой шапке, чуть разведя в стороны руки — в легком недоумении: «Почему не уходишь? Иди». Но Анна лишь запахивала под горлом легкий халат и улыбалась ему хитро и счастливо...

В ее окне погас сигаретный огонек. Топилин вдавил окурок в забитую пепельницу. А теперь бежать, бежать отсюда. Пока темно, пока никто не видит. Сейчас хорошо. Остальное завтра.

* * *

Я видел Суровегина только однажды — когда он вышел на сцену, чтобы увести Зинаиду. Я совсем иначе его представлял. Он был живчик. Подвижный такой, летучий, как волан. Шел быстрым уверенным шагом, невольно перетягивая к себе внимание от голой Зинаиды. В руках разворачивал шумный черный плащ. Обернув Зинаиду плащом, махнул кому-то за кулисами, потом погрозил кулаком вверх. Луна погасла, на сцену выскочило несколько Месяцев. Они подходили к Зинаиде с опаской, будто боялись, что она ощерится и прыгнет на них, выпустив клыки и когти.

— Уважаемые зрители! — сказал Суровегин, передав Зинаиду актерам, которые так же осторожно, едва касаясь плаща вытянутыми руками, повели ее прочь со сцены. — Примите мои глубочайшие извинения. Нервный срыв. Простите великодушно.

Он замахал снова, куда-то через весь зал, и тут же грянула мазурка.

На третий день после конфуза с Зинаидой Суровегин позвонил и попросил отца уйти из «Кирпичика».

С Нинкой все закончилось вскоре после этого. На субботнике, когда мы украшали училище к Новому году, я собрался с духом и нагрубил ей подло, при свидетелях — по случаю решился даже на мат. Она сказала, опуская глаза:

— Зря ты, Саша, — но с тех пор ко мне не подходила.

Зинаиду поместили в психиатрическое отделение Первой городской больницы.

Баба Женя была осведомлена о том, как развивались события. Она рассказала маме по телефону. Телефон у нас был старый и громкий. И баба Женя была — старая и громкая. Я подслушал, затаившись на лестнице, впадая в липкий потливый ужас от мысли, что мама может меня услышать или заметить мой силуэт в темном зеркале прихожей (такие подслушивания, к слову, стали моим первым осознанным отступлением от маминых заповедей).

Баба Женя рассказала так. После того как слухи о папе и Падчерице доползли до мамы и папа об этом догадался, он решил прекратить свой производственный левак. Объяснение состоялось в кабинете Суровегина, куда на время постановки «Двенадцати месяцев» отец получил допуск. Зинаида реагировала бурно. Рыдала. После этого спектакль покатился под откос и едва не был отменен. Зина караулила отца возле «Кирпичика», добивалась с ним встречи. В конце концов они о чем-то договорились.

— Видимо, у нее, — многозначительно повторила баба Женя дважды, тщетно дожидаясь маминой реакции. — Или еще где. Потому что в «Кирпиче» держались на расстоянии, как корабли в нейтральных водах.

— Дальше.

— А дальше, Марина Никитична, ты сама все видела. Ты прости, что я вот так... доношу... Наверное, потом буду казниться. Но ведь особый случай... мы с тобой подруги... и... ну, не знаю, женская солидарность... и...

— Как она?

— Зина? Ну, как... шизофрения.

— К ней никто не ходил?

— К Зине?

— К Зине, да.

— Нет. А что к ней сейчас ходить? Она не в себе, на лекарствах...

— Гриша узнавал, из кататонии ее сразу вывели. Первый раз у нее.

— Ну... не знаю... думаешь, надо к ней сходить?

— Я сама. <...>

* * *

Министр Литвинов расположился на мощеной пегим плитняком площадке метрах в ста от реки. От площадки вниз, к привозной нежно-бежевой гальке, спускались широкие каменные ступени. Вдоль реки гуляли дочка с внуком. Малыш тянул женщину поближе к кромке воды, похныкивая от нетерпения.

— Смотри, солнышко, сколько там лягушек. — Алла пыталась отговорить его от путешествия к пляжу. — Они как прыгнут.

Человек, сгребавший вилами мусор, прибившийся к сеточному заграждению у берега, шутиливо квакнул.

В здоровенном кресле из массивных, как шпалы, брусков дуба, укрытый по пояс пледом, Литвинов смотрелся колоритно. Серебрилась седина на аккуратно подстриженных висках, загоревшая кисть расслабленно свешивалась с дубового подлокотника. На столе пузатый коньячный бокал, наполненный на два пальца. Топилин с удовольствием признавал во Владимире Литвинове человека, умеющего пользоваться своим положением со вкусом — в отличие от большинства окружавших его в администрации высокопоставленных колхозников.

— Нальешь себе чего-нибудь? — Литвинов вместо приветствия кивнул на бутылки, спрятавшиеся в красноватой тени.

— Спасибо, Владимир Карпович, чуть позже.

— Что так?

— Я бы кофейку.

— А-а-а... Safe, cognac, cigare? Блудешь? Ну-ну.

Литвинов несколько раз отрывисто нажал на кнопку радио. «Слушаю», — откликнулось радио.

— Нам бы кофе.

— Большую чашку черного, — подсказал Топилин.

— Большую чашку черного, — повторил Литвинов в радио.

«Большая чашка черного, — согласилось радио. — Через пять минут будет. Это все, Владимир Карпович?»

— Пока все.

Топилин поискал глазами, куда присесть.

— Да вон. — Литвинов указал на невысокий стол из таких же толстенных, как его кресло, дубовых брусков.

Топилин сел. Солнце клонилось к западным холмам Любореченска, у ног Литвинова в шарообразной керамической жаровне плавно спаривались голубоватые и красные языки пламени. На широком столике бочком улеглась докуренная трубка. Загорелый Литвинов в таком свете и сам смотрелся тлеющим угольком.

— Да уж, хоть человека нанимай — чтоб зонт от солнца таскал.

Кожа у Литвинова феноменально восприимчива к загару. Какая-нибудь неделя в жарких странах — а выглядит так, будто провел там все лето. Однажды, когда Любореченск принимал на конных скачках Медведева, тот, проходя в свою ложу мимо Литвинова, улыбнулся: «Загорать любите?» Литвинов ответить не успел, Медведев отвлекся на чью-то шляпку. А губернатор после скачек Литвинова пожурил. И распорядился передать по инстанциям, чтобы в отпусках старались поменьше загорать, сохраняли приличие.

Вздохнув о зонте, министр приятельски подмигнул Топилину — дескать, ты же понимаешь, что я думаю про всю эту антизагарную хрень.

— Вам лучше б дайвинг осваивать, Владимир Карпович. Костюм, маска. Нырять — и никакого загара.

— Оно, конечно, неплохо. Но у меня уши потом болят после ныряний. Ты лучше скажи, придумал ты мне фишку для отчета?

Образцово-показательная «Плита», неуклонно наращивающая объемы производства при минимальной цене на свои услуги, упоминалась в каждом отчете Литвинова-старшего как социально ответственное предприятие. Но в последнее время Владимир Карпович просил придумать что-нибудь новенькое, желательно — с упоминанием нанотехнологий.

Топилин собрался было поделиться соображениями, но Карпович неожиданно сменил тему:

— Как же так вышло, Саша? На трассе...

Пожав плечами, Топилин ответил привычно:

— Тот выскочил под колеса. Невозможно было среагировать.

Ах, ты ж... мать сыра земля! Почему-то каждому из Литвиновых важно, улучшить минутку, расспросить его лично, с глазу на глаз. Хотя знают наперед все, что он скажет. Пересказывают же друг другу. Но словно обязательную церемонию исполняют: спросить должен каждый.

— Антон пьяный был? — осторожно продолжил Литвинов, глядя в огонь жаровни.

— Ни грамма.

— Так он же тебе машину эту продал в тот день. Не обмывали, нет?

— Нет.

— А то люди разное болтают.

— Зря. Антон, кстати, тест после ДТП проходил.

— Ну... тест. — Теперь Литвинов пожал плечами.

— Нет, Владимир Карпович, тест реальный. Точно. Без дураков.

— Ладно, раз так. — Литвинов повысил голос, подводя черту под разговором, и поднял со стола бокал. — На месте Антона любой мог оказаться.

— Вот именно.

— Антон говорит, ты ему помогаешь дело уладить? Вдова там осталась.

— Да.

— Нужно ей помочь, это правильно, — одобрил Литвинов.

Принесли кофе, Топилин выпил его не спеша, любясь закатом под рассуждения министра о том, построят ли когда-нибудь в Любореченске метро.

Подъехал Антон с семейством. Вова и Маша бросились наперегонки к малышу Вите. Тот радостно загоготал, затопал ножками по хрусткой гальке. Издалека помахаив рукой сидящим у жаровни мужчинам, Оксана не спеша отправилась следом за детьми к Алле.

— Поддай руку, Тоша.

— Сейчас, мам, секунду.

Елена Витальевна, со строгой укладкой и на шпильках, в шарфике поверх темно-серого плаща, подошла к деверю. Литвинов поднялся ей навстречу, они молча чмокнулись. Поднялся и Топилин.

— Здравствуй, Саша. — Елена Витальевна, сопровождала приветствие печальным взглядом.

— Здравствуйте, Елена Витальевна. Как ваша невралгия?

— Спасибо, полегче.

Здороваясь с Топилиным за руку, Антон немного оттер его боком в сторонку.

— Чего она тянет? — поинтересовался нервным шепотом.

— Обдумывает. — Топилин стойко демонстрировал спокойствие, пока сердце бодало грудину.

— Больше ждать не могу. — Каждое слово Антон выщелкнул четко, как патроны из магазина. — Мне уехать нужно.

— Уехать? — насторожился Топилин. — Сейчас?

— Позже обсудим.

Литвинов с Еленой Витальевной тем временем уселись за стол. Елена Витальевна протяжно вздохнула.

— Такая неприятность, Вова. Я прямо места себе не нахожу.

Владимир Карпович молча отпил коньяка, как бы приглашая Елену Витальевну выговориться. Насколько успел разобраться Топилин, к жене покойного брата Литвинов-старший относился тепло, но несколько иронично. И приласкать успеет, и подколоть. Рядом с ним Елена Витальевна неизменно выглядела немного непутевой, слегка блондинкой за рулем.

— И в городе, Вова, знаешь, как говорить станут... Никому же не интересно, как на самом деле было. Публика у нас какая... Скажут: еще один гонял как сумасшедший, человека сбил ни за что. — Она вытянула озябшие в открытой обуви ноги к жаровне. — Сколько раз ему говорила, ездь аккуратно, ездь аккуратно. И вот...

— Да, Лена. Ни прибавить, ни убавить.

— Ох, Вова, — Елена Витальевна пожала его запястье, — ты не представляешь... Как меня эта история измучила.

— Но Антон вроде не виноват. Вон и Саша говорит. И гаишники, кстати.

— Ох, Матерь Божья! Не виноват. Но как же неприятно все это, Вова! Все равно! Как тяжело!

Антон толкнул Топилина локтем в бок, показал глазами: пойдём, уже можно. Они двинулись по аллее, ведущей вдоль гостиницы к березовой посадке. Под ноги бросились длиннющие синие тени, шагавшие будто на ходулях — отвесно вверх-вниз.

— Коньяка тебе налить? — предложил Литвинов-старший Елене Витальевне. — Вина? Джина? Что будешь, говори.

— Коньяка, наверное... Давай коньяка. И ведь молодой был этот... который... Тридцать шесть всего. Ребенок остался, мальчик. Я уж думала, если б совсем сиротой остался, мы б его тогда усыновили.

— Это само собой.

— Антон решил им квартиру подарить. Знаешь?

— Угу.

— Вов, налей мне лучше вина. Красного.

Из гостиничного ресторана повар нес унизанные шампурь. В полумраке был похож на Зевса с охапками молний. В березах черно-белыми всполохами мелькала сорока.

— Документы на квартиру я в твой сейф положил, — сказал Антон, как только стихли голоса Владимира Карповича и Елены Витальевны.

— Хорошо.

— Все на мази, Саша. Вопрос только в ней. Чего она тянет?

— Обдумывает.

— Что тут обдумывать? Да — да, нет — нет! — Они подошли достаточно близко к березам, чтобы разглядеть причину сорочьего переполоха. В сухой траве сидела белка и грызла обрубок кукурузы. Белок здесь подкармливали. Не доходя до берез, Антон остановился. — Очень меня выручаешь, Саша. Спасибо.

— Да ладно.

— Не скажи. Одно дело партнер. Другое дело в такой вот ситуации не скурвиться, плечо подставить. Рад, что в тебе не ошибся.

Дети Антона затеялись играть в ловитки с малышом, но Алла им запретила: Витюше скоро спать, не нужно его разгуливать.

Солнце повисло над окраинными высотками, они чешуйчато засверкали окнами, сделались похожи на гребенки рептилий — туповерхие, покрасневшие от притока крови.

Нельзя думать про Анну. Только не здесь.

Со стороны ворот в сопровождении охранника направлялась женщина в длинной однотонной юбке, в платке. Охранник указал ей на Антона и, развернувшись, возвратился обратно. Женщина свернула к боковой аллее, на которой стояли Антон с Топилиным.

— Это ко мне, — сказал Антон. — Как раз собирался. В общем, я в четверг уеду, — помолчал, глядя на приближающуюся гостью. В тенистой каштановой аллее ее сложно было разглядеть. Только силуэт — весь какой-то покатым, устремленный книзу. Будто готовый ввинтиться в землю. — В Озерцы уеду. При монастыре поживу Свято-Успенском... исповедаюсь, поговорю со старцами... На недельку. Пожертвование сделаю. В общем, поеду. Так надо. Здесь все тебе можно доверить. — Он уже отвлёкся на подхихившую к ним женщину. — Я сейчас, минутку.

Сделал несколько шагов ей навстречу. Встали в метре друг от друга на открытой площадке. Сочно посверкивающий череп — и простенький платок, светлеющий матовой каплей.

— Батюшка велел билеты вам отдать.

— Да-да. Спасибо.

— Это вот на поезд.

— Спасибо.

— Первый класс, как просили.

— Спасибо.

— На вокзале ищите человека с табличкой «Паломник». Не пропустите. Телефон мобильный водителя вот, на листке. Вы просили, чтобы вас проконсультировали, как там вести себя.

— Хотелось бы. В общих чертах. А то, знаете, чтобы маху не дать.

Красиво смотрелись. Красно-синие закатные мазки, склоненные друг к другу головы, неспешные руки передают и принимают. Живописно.

Топилин спустился к берегу, уселся на выдолбленную в цельном стволе скамью, расположившуюся посреди газона. <...>

Это не должно было повториться. Приключилось — и забыли. Затмение нашло. Нервы, стресс — и не такое случается. Приличные люди в подобных ситуациях не поминают произошедшее ни единым словом. Держатся, будто ничего не было.

Они так и держались. Два дня. Что было совсем несложно: Топилин позвонил, спросил, приняла ли она решение, готова ли дать ответ относительно предложенной

мировой. Анна бесцветным своим голосом — раскрашивай как хочешь — ответила, что не готова. Топилин обещал перезвонить. На том и распрощались. А на следующий день столкнулись возле следственной управы.

Топилин подходил к ней с тыльной стороны: от Грибоедовской пешком по лестнице, дальше через сквер. Решил не «светиться» лишний раз перед ментовкой.

Анна стояла в том углу сквера, который обрывается заросшим склоном вдогонку карликовому горбу Базарного переулка. Смотрелась необычно: потерянной. Шла-шла и вдруг остановилась — забыла куда идти. Над ней пышно желтела липа. На встречу Топилину пробежал мальчишка в толстенных наушниках. Кто-то, смеясь, кричал парню вдогонку:

— Куда ты, Василек? Куда же ты?

Анна заметила Топилина. Поздоровались взглядами. Двадцать неспешных шагов — у Топилина было время обдумать сложившееся положение. Поздороваться и пройти мимо он не мог. Это было бы явным перебором. Перебор тем и плох, что глуп. Анна не Катя. С такими, как она, выглядеть дураком — себе дороже.

Смотрела на него устало. И, показалось, рада была встрече. Топилин встал рядом, чуть наискосок: уйти — или поговорим? Все, чего он хотел, — сохранить лицо перед женщиной, с которой так хорошо переспал в таких нехороших обстоятельствах.

— От Тарасова? — спросил он.

Кивнула.

Нужно, разумеется, спросить насчет мировой. Но лучше бы дожидаться, пока заговорит сама. Для чего еще нужны эти случайные встречи?

— Целый час мурзил, — сказала Анна слабо, как гриппозная. — Достал совсем.

— О чем расспрашивал?

— Да он не спрашивал ни о чем. Объяснял, что дело ему в суд передавать не резон. Литвинов невиновен, а шума будет много. И он окажется крайним. И у них реформа... и что-то еще...

— Ясно.

— Нервничал очень. Вот стою, в себя прихожу после разговора.

— Я, стало быть, вслед за тобой? Разъяснения какие-то буду давать. Как ехали, куда смотрели. В общем, из пустого в порожнее.

Посмотрел на часы. Мягко, без нажима. Чуть оттянул краешек рукава. Не всматривался, но и не так чтоб исподтишка. Скользнул бегло взглядом. Дескать, сверился просто. Стоим, беседуем, двое приличных людей. Тарасов подождет.

— Спасибо тебе, — сказала Анна, не глядя на Топилина.

— Ты про что это?

Она пошла к выходу, но он ее догнал.

Через секунду все схлопнулось в крошечные островки — тайный архипелаг на виду у всех: губы, поцелуй которых легок и уклончив, плотные бедра под его ладонями, ее холодный нос.

Девчонки-старшеклассницы закричали им из глубины сквера: «Ай-ай-ай!» — а потом тянули ободряющим хором: «Ооо-ооо» — как если бы наблюдали за сложным понравившимся трюком.

— Пойдем, — потянула Анна. — Скорее.

— Сегодня моя очередь, — сказал она, толкнув его на постель. И, усевшись ему на грудь, завела руки за голову, чтобы собрать волосы в хвост.

Сережа, перечеркнутый черной ленточкой над ухом — вон он, внизу, на подоконнике. Тут как тут. Выглядывает из-за гардины.

«Такие дела, чувак... Не знаю, как оно тебе оттуда. Думай что хочешь. Может, и грех. Дикость. Но я такой чистоты звенящей давно не испытывал...»

* * *

Отец трусливо отрицал. Утверждал, что адюльтер хоть и близился, но не состоялся. Что он вовремя одумался. Из-за чего у Зинаиды и случилось помрачение. Он так испугался, так не хотел, чтобы все рухнуло. Из-за нескладной выскочки.

Мама делала вид, что ему верит.

Отец:

— Мариша, этого не было. Клянусь.

Мама:

— Хорошо. Не было. Не клянись ежеминутно.

Отец:

— Да, я... чуть было не поддался, признаюсь... Такое давление, Марина! На грани! Сволочь Суровегин... Не помню, ну, может, мы поцеловались несколько раз...

Мама:

— С Суровегиным?

Папа:

— Марина! Пожалуйста, не надо втирать меня в асфальт. Втирай, если хочешь, но... Это все, Марина, больше не было ничего. Ни разу.

Мама:

— Я же сказала, Гриша, я тебе верю.

Отец:

— Но тогда зачем?! Зачем ты теперь тащишь ее в нашу жизнь? Зачем ты едешь к ней?

Мама молча идет к двери.

Папа (хватая ее за руки):

— Давай я выйду на людей, попрошу, чтобы к ней было особое отношение.

Мама:

— Ты выходил. На людей. Просил.

Папа:

— Давай я попробую перевести ее в лучшее место.

Мама:

— Ты пробовал.

Папа:

— Слушай! Но это...

Мама, еле слышно:

— Гриша, я, кажется, все тебе объяснила. Дело не в тебе. И не в ней. Дело во мне. Я — понимаю, я — не могу бросить живого человека в таком состоянии. В таком месте. Ты бы видел...

Отец (отпуская мамины руки):

— Но это невозможно! Это же черт знает что! Ведь каждого не вытащишь... Ты каждого не вытащишь, Марина!

Мама:

— Каждого — нет, конечно. Так она и не каждая. Я знаю ее. Понимаешь? Знаю. Как она пришепetyвает, когда волнуется. Как наблюдает за своей рукой, когда режет ножом: достаточно ли элегантно она его держит. Любит все делать красиво. Поэтому — жуткая копуша. Как разглядывает пяточек возле себя, прежде чем выйти из-за стола... будто боится в яму ступить...

Отец (поднимая ладонь к маминым губам):

— Марина! Подумай хорошенько...

Мама (опуская его руку):

— Это то, через что я не могу переступить, Гриша. Я понимаю цену.

Продолжения разговора я не слышал и не видел. Кто-то из них прикрыл дверь в гостиную.

Я долгое время верил, что мама сделала это исключительно из жалости к недотепе Зине, которая столь неудачливо влюбилась в ее мужа. Да еще шизофреничкой оказалась. Искушение жалостью наверняка было мучительно для мамы. Но,

повзрослев и освоив полутона, я стал осторожно допускать, что мамой могла руководить еще и месть. Изошренная. Так ведь мама и не опустилась бы до другой. Вот тебе твоя любовница-калека под бок — живи и мучайся, гад.

В соседнем переулке жил Петя, мой ровесник. Петя не ходил и не говорил, только мычал. Инвалид детства. Летом его вывозили в каталке во двор, под навес, и он сидел там часами, а вокруг прогуливались куры, время от времени поклевывая блики на спицах колес. Изредка Светлана, Петина мать, катала его по близлежащим переулкам, стирая платком слюну с обнесенного красными прыщами подбородка. В каждый его день рождения, пятого сентября, она одевала его в костюм и везла к соседскому дому, через дорогу наискосок. Ставила каталку, садилась рядом на лавку и просиживала так несколько часов, лузгая семечки. В этом доме жила врач, которая приехала по вызову, когда она рожала Петю. Ехала «скорая» долго, роды уже начались. Это была одна из первых рабочих смен молодой врачихи Насти. Только после училища, а старшего в смену не дали: штат не укомплектован. Одна. Сказали: если что, вызывай другую бригаду. Но она не вызвала. Поздно было вызывать. Роженица орала: «Помоги, что пялишься?» Настя стала помогать и повредила ребенку позвоночник. У самой Насти через несколько лет родились погодки, Саша и Ксюша. Занимались бальными танцами. А в доме наискосок жил Петя, и каждое пятое сентября мать одевала его в костюм и привозила к ее дому.

Но, может быть, это все-таки неправда, нездоровые мои придумки, и мама вовсе не думала о мести. Какая месть, когда так плохо тихоне Зиночке, которую она так подробно изучила, помогая заговорить в полный голос? Пожалуй, я надумал лишнего. Маме все-таки было не до мести. Предстояло разворотить вселенную, спасая бедную мышку-норушку.

Однажды — Зинаиду только что перевели из психиатрического отделения ЦГБ в Долгопрудненский диспансер — я ездил к ней с мамой, помогал тащить баулы. Мама отвозила Зинаиде теплое одеяло и постельное белье, своего в диспансере не хватало, и родных просили помочь кто чем может. К слову, родные Зинаиды, отчим и сестра, которым мама — чтобы дать людям шанс, как она говорила — написала в самостийный Донецк, телеграфировали, что приехать зпт выслать посылку не могут связи полным отсутствием денег тчк.

Тогда мама еще не собиралась забирать Зинаиду в наш дом. Начальный план был намного мягче. Навещать, следить, чтобы ее не обижали, снабжать лекарствами. Вполне гуманный и уравновешенный подход. Земной. Очевидно, я плохо знал маму, если мог предположить, что этим все ограничится.

До нашей совместной поездки мама навещалась в Долгопрудный несколько раз на автобусе. Теперь, из-за обилия вещей, решила ехать на электричке. Мы долго стояли посреди разбитого перрона, на который прибывали плохо одетые, крепко пахнущие люди, окружавшие себя потрепанными спортивными сумками или плетеными корзинками, полными яблок, лука, редиса. Многие курили. Молодежь густо материлась, доставляя мне нестерпимые мучения: их было много, они были старше меня, я не решался их одернуть — и презирал себя за это. Мама делала вид, что их не слышит. Когда электричка наконец подошла, начался ее штурм, сопровождаемый многоголосой руганью и безжалостной работой локтей. Благовоспитанным и робким — таким, как мы с мамой, не было места в этом поезде. Мы стояли, растерянно наблюдая, как наполняются вагоны. Мы были обречены остаться. Но тут какой-то человек в форме, машинист или кондуктор, проходивший мимо, остановился, посмотрел на нас, скомандовал: «А ну-ка!» — и, подобрав самый большой баул, хватая на ходу меня за руку, ринулся в самую гущу. Мама бросилась за нами.

— Ну-ка! — кричал человек в форме. — Посторонись! Спецконтингент! Кому сказал, пропускаем! Сейчас всех высажу! Пропускаем спецконтингент!

Скоро он впихнул нас в тамбур, сунул маме в охапку развязавшийся баул и, буркнув: «Так вы до второго пришествия стоять тут будете», — потрусил дальше по своим делам.

Поездка запомнилась на всю жизнь. Когда кто-нибудь в тамбуре решал сменить место или позу и людской брикет приходил в движение, мне казалось, что ребра мои вот-вот треснут. Наш багаж крайне раздражал попутчиков. Его пинали, требовали убрать, грозились выкинуть на ближайшей станции. Концентрация хамства была столь неизмеримо велика, что я уже никак на него не реагировал — наблюдал, притаившись, как наблюдают за выходками стихии.

Доехали. Дошли от станции до диспансера. У мамы перепачканный узел с простынями и полотенцами, у меня — подушка, пуховое одеяло поделено на двоих.

Когда проходили под вязами, высаженными перед входом в диспансер, мама принялась читать вполголоса вступление из «Мцыри»:

— «Немного лет тому назад, там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод...»

От торжественности происходящего у меня щипало в носу.

Встретил нас хмурый заспанный сторож. Велел идти в главный корпус и ждать главврача. Снизу синие, сверху беленые стены — как у папы в театре. План пожарной эвакуации. Плакаты о пользе гигиены. Мухи. Пришел главврач, разрешил маме отнести Зинаиде Квас белье и гостинцы. Мне в больничный корпус заходить запретил. В помощь маме отрядили пожилую коренастую медсестру. Я остался дожидаться возвращения мамы в коридоре главного корпуса. Жужжали мухи. В глубине здания оптимистично бубнило радио. По двору ходили бледные нечесанные женщины в толстых зеленоватых халатах поверх полосатых пижам. Даже в молодых угадывались старухи. Возле одного из корпусов сидели на длинной лавочке женщины в таких же халатах и неспешно что-то обсуждали. Они были другие — отличались от своих товарок четкими, тяжеловесными жестами, выглядели более ухоженными, но при этом мужеподобными. Зэчки. Оседают здесь после тюремных сроков: идти некуда, жить негде, с головой нестабильно — им выправляют бумаги на принудительное лечение и прописывают в Долгопрудном. Мама рассказывала об этих зэчках папе, стараясь втолковать ему, в каком нехорошем месте очутилась со своим диагнозом его недавняя Падчерица.

— Ты понимаешь, как это ужасно? Она хрупкая натура, это место окончательно ее погубит. Мы не можем ее там бросить.

Зэчки чешут у себя между ног, курят «Беломор», сплевывают сквозь зубы. В общем, впечатляют. Но я думаю не о них. Я думаю о том, что у нас с мамой в этом пропащем месте — особое дело. Мы здесь для того, чтобы спасти человека. Зинаиду. И вроде бы не за что ее спасать. Но почему-то так нужно. Я не знаю достоверно почему, но в тот момент я еще весь, с потрохами, маменькин сынок, я доверяю ей беспрекословно и хочу сделать все правильно.

Мне сейчас удивительно вспоминать о том, что я был готов последовать за мамой в ее убийственный подвиг. Но так было.

* * *

К ее плечу прилипла пушинка.

— Я в душ, — роняет она. — Дождешься?

Топилин молча улыбается ей в спину, наблюдая, как капля пота сползает по ложбинке позвоночника — короткими рывками, огибая каждый позвонок. Он только что поднял с пола и повесил на перила веранды брюки. Рылся в карманах в поисках зажигалки. Анна решила, что он собрался уходить. Она хочет, чтобы остался, но просить не станет.

У нее крепкое тело. Мускулистое даже. Плечи и бедра тугие, почти неприятно жесткие. Наверное, спортом занималась. Надевает халат, размашисто захлопывает его на себе, как распашную дверь.

— Дождись, — говорит она, поднявшись с кровати и шагая к лестнице. — Позавтракаем.

Уходит, оставив Топилина лежать с неприкуренной сигаретой в руке. Зажигалки

нигде не видно. В доме напротив тараторит русский рэп, слышится перекрывающий его крик разбуженной соседки.

Он разминает в пальцах сигарету и представляет, как Аня идет по коридору. В халате на голое тело. Мимо разнообразной рухляди, тут и там торчащей в припадке вещевого эксгибиционизма. Бесхвостый кот смотрит ей вслед осведомленным взглядом. Она несет свою слабо защищенную наготу, прилипшую к спине пушинку мимо исцарапанных, исписанных стен — в затхлую душевую, где ей придется сторониться оставленных этими людьми следов: мыльных пучков волос, плевков, раскисших ватных дисков, бутылок, пакетиков, окурков, вдавленных в трещины стен. Странно: воображая детали коммунального паскудства, начинающегося сразу за дверью, Топилин не испытывает ни малейшей брезгливости.

Бабочка на левом бедре. Простенькая, наколотая простой синей тушью. Наверняка давно, сейчас такие не колют. На лицевой стороне бедра, на самой мякоти. Вспорхнула и летит. Перелетает с места на место.

Когда Анна вернется, им предстоит самое сложное: «после постели». Пока лежишь голый в белом прямоугольнике — все хорошо, все правильно. Ничего не нужно делать. Все сделано только что. Можно молчать. Можно и говорить, конечно. Каждое сказанное слово — такое же голое, как ты сам. Без вранья. Но за пределами белого прямоугольника без вранья не обойтись.

Позавтракаем... Что ж, тоже вариант.

«Утро с одноклассником», — думает Топилин.

В школе дружбу дружили, никаких амуров. Потом встреча выпускников. Оркестр, выпивка. Атмосфера. Разговор по душам в темном школьном коридоре. «Помнишь, какие мы были?» — «Да ты и сейчас такая». Как-то само собой случилось, а теперь непонятно, как все закончить.

Собирался подумать желчно — вышла обычная грусть. Болючая, между прочим.

Медленно угасают отголоски ее тела. Пойманного в ладонь, скользящего по коже, тающего на языке.

До сих пор он был капризен. Любой дефект женского тела расправлялся с его либидо, как гвоздь с воздушным шаром. Однажды сбежал от красоти, взглянув на ее голые ступни с выпученным над большим пальцем суставом — будто шайбы в них вдавили. Несовершенства Аниного тела несколько его не отталкивали. Не нужно было учиться не замечать их. Будто это собственные изъяны, с которыми давным-давно свыкся. Прожилка хрящика на копчике — тонкий рубец под кожей, не заметный, но отчетливо играющий под пальцем... когда он впервые нащупал его, Аня произнесла извиняющимся шепотом: «Особенность организма, Саша»... — даже этот хрящ умилял и распалял Топилина.

Если бы можно было просто отвернуться, закрыть глаза — и открыть их в другом месте. В своей постели, например. В своей жизни. В своей отдельной, тщательно огороженной жизни.

Каким бы ни вышел этот послепостельный постскриптум, обязательно выйдет натянутым. «Все нормально. Взрослые люди. Только не рассказывай никому».

Топилин не хотел слушать про Сергея. Но когда, истерзанные, насыщенные друг другом до отвала, они распластались на вспотевшей вместе с ними простыне, она все-таки ему рассказала.

Сергей окончил любореченский архитектурный, по специальности не работал. Сначала места не нашел, потом увлекся рекламой. Проработал десять лет в рекламном агентстве. Дизайнером. Придумывал рекламу. От билбордов до рекламных кампаний. Любил свое дело. Увлекался, горел. Особенно вначале. Всегда старался придумать что-нибудь остроумное. Небывалое. Дома был скучноват, обидчив, зато на работе — креативный, светлый человек. Клиенты со вкусом очень его ценили. Вначале. Очень не любил дубоголовых заказчиков, которым, как ни втолковывай — ни за что не поймут. Таких, для которых придуман закадровый смех. Когда-то он мог от них отказываться. Начальство позволяло ему такие вольности. Он был — звезда. Мог сам решать, брать ли ему заказ. Много зарабатывал вначале. Мечтали скопить на

квартиру. Постепенно все изменилось. Платить стали меньше. Рекламное остроумие Сергея как-то вдруг оказалось не ко двору. Все хотели теперь попроще, на дурака. Даже многие из старых любимых клиентов просили: только попроще. Начальство стало строже. От звездности не осталось и следа. Сергей переживал. Сменил несколько агентств. Везде скандалил, начал грубить клиентам, потом начальству. Дома начался ужас. Постоянные обиды. Мелочные вспышки. Невнятные примирения. Сын устал и переехал в общежитие при Академии футбола. Пять тысяч коменданту в карман ежемесячно. Владике нужна спокойная обстановка. У него режим. Владик с девяти лет занимается футболом, собирается стать профессионалом. Вдвоем с Сергеем стало совсем уж мертво. Если бы он просил помочь... Но он не просил. Только смотрел тоскливо. Часто в чем-нибудь обвинял. Ссоры затевал охотно. Потом, не посоветовавшись, тайком, снял со счета все, что было, что копили на ипотечный взнос — за дачу давали копейки — и запустил собственный журнал. Назвал его «Купон». Вышел один номер. На второй рекламы уже не набралось. Полтора года как Сергей перебрался жить на дачу. Не объявлялся подолгу, не звонил. Да и она не искала встреч. Приходил иногда. Похудевший, мрачный. С обугленным взглядом. Говорил, что начал новую жизнь. С ней ругался все реже. Тупорылые времена ругал. Дурацкий Любореченск. Дурацкую страну. А потом попал под машину.

— И еще эти психи вокруг.

— Психи?

— Соседи. — Анна округло повела рукой. — Софья Петровна...

— А как же супчик? Сю-сю-мусю...

— А так. Наверде водяного перемирия. Думаю, пока сорок дней не прошли. Я ее как свои пять пальцев... Ненавидит меня. А Сергея любила. Сорок дней пройдет, закончится перемирие, Софочка мне задаст.

Рассказывала основательно — и куда подевалась ее обычная молчаливость? Прямо лилось из нее. Долго ждала, когда можно будет выговориться. Дождалась вот.

— Он тут у многих в любимчиках ходил. Умел с ними ладить. Не знаю... я не умею...

Топилин слушал ее вполуха. Время от времени ронял короткие реплики: чувствовал, что ей это нужно. Но слушал больше голос ее, не слова. Ему было о чем подумать и без Сережи.

Все повернулось удивительным образом в эти дни. Обычное тело обычной женщины стало главным занятием его жизни. В мыслях о ее теле, в предвкушении ее тела, в томительном единении с ее телом проходили дни и ночи, и он не хотел ничего менять. Такого Топилин не переживал даже в ранней молодости, когда азартно расправлялся с затянувшейся девственностью, в любую свободную минуту готовый кинуться голодной трусцой по городу добывать новую неиспробованную плоть.

В какой-то момент слова у Анны исчерпались.

— Почему так долго не разводились?

Пожала плечами. Лежа, это движение сопровождалось коротким шорохом простыни. Будто жучок в спичечной коробке крутанул лапками.

— У него ведь и так было... повсюду провал. Сбежал. Мучился. А тут еще последнюю ниточку оборвать?

— Надо же...

— Что?

— Этим разве еще живут?

— Чем?

— Жалостью.

Помолчала, подумала.

— Ну, как — живут... перебиваются...

Выкурили по сигарете. Она приподнялась, чтобы затушить окурочек в пепельнице, взять жвачку. Ее хлипкая, с детскую ладошку грудь качнулась у него перед глазами — и все снова завертелось, и они влипли друг в друга, торопясь так неистово, будто их вот-вот растащат по углам: не смей!

— В следующий раз в гостинице, — договариваются они.

Но и в следующий раз Топилин является в коммуналку на Нижнебульварном, ничуть не утруждая себя придумыванием предлога: почему все-таки не в номерах.

Здесь хорошо. А как будет в гостинице — неизвестно. <...>

Зажигалка нашлась. Лежит на ступеньке лестницы. На самом краешке. Вывалилась, когда раздевался. Вставить лень.

Укусила его за плечо, когда кончала. Плечо теперь сладко ноет. Две дуги друг над другом, восемь красноватых впадинок. Топилин проводит по ним пальцем.

«Спутались», — вспоминалось ему темное словечко, которым наверняка отметят их здешние психи, когда пронюхают. Точнее ведь не скажешь: спутались. Так бы и жить — спутавшись.

Заверещал мобильник. Антон. Никогда не звонил в такое время, черт бы его побрал. Вставал обычно поздно, не раньше десяти. Надо же было именно сейчас. Что еще? Поколебавшись, Топилин решил ответить. Все равно будет перезванивать, не отделаешься. Лучше уж сейчас, пока Анна не вернулась.

— Привет.

— Саша, а ты где?

В животе екнуло. Интересное начало.

— А что?

— Да ничего. Ты говорил — на работе будешь с утра. Я заскочил, хотел поговорить. Порасспросить кой-че...

— Нет, я в лицей хочу заехать. Посмотреть, как там.

— Ясно. Говорить можешь?

— Могу.

— Ну, так говори, не томи. Ты же знаешь, о чем я. Как? Что она? Что так долго думает?

Топилин пожалел, что взял трубку. Но было уже поздно.

— Антон, слушай. Ты просил меня этим заняться, я занялся. Но сейчас мне сказать тебе все еще нечего. Пока не ответила. Ответит — я тебе сообщу. Как только ответит, так сразу и сообщу.

— Ты же меня знаешь, мне такие туманы-растуманы — хуже некуда.

— Антон, ты меня тоже знаешь. Сделаю. Обещать, что она согласится, не могу. Но сделаю все, что от меня зависит.

— Ты хотя бы скажи, как она, на твой взгляд?

— В смысле?

— Ну... Расположена?

Топилин помолчал. Гадко. Но нужно же как-то и это закончить.

— Расположена.

— Ладно, — сказал Антон. — Жду, — и отключился.

Внизу раздалось кухонное грюканье. Не слышал, как Анна вошла.

— Ты чай будешь? — спросила она, зажигая плиту.

— А кофе?

— Кофе закончился.

— Тогда чай буду.

Топилин лежал, слушая, как она расставляла чашки, вытряхивала в ведро старую заварку из чайника.

— Ань, который час? — спросил он, чтобы что-то спросить.

— Передай ему, что я согласна.

* * *

К моему поступлению в Грековское приступы у Зинаиды не повторялись, и ее

бы, наверное, выписали из диспансера на амбулаторное лечение. Но выписывать было некуда. С завода ее уволили за профнепригодность, ведомственную квартиру возле завода отобрали. Точнее, перевели в нежилой фонд и продали под магазин, подделав, где было нужно, подпись Зинаиды Квас — справедливо предположив, что сумасшедшая вряд ли осилит судебную тяжбу с кирпичным заводом. Мама продолжала ездить в Долгопрудный. Не исключено, что она и уговорила тамошних врачей не выгонять бедную Зину на улицу. С папой они обходили эту тему гробовым молчанием.

* * *

Позвонил Антону, припарковавшись на углу Соляного спуска и Ефимовской.

— Антон, все нормально, она согласна.

— Ну, слава богу. Наконец-то. Я уже думал, она отказываться хочет.

— Договаривайся со следователем. — Топилин торопился закончить разговор. — Вам нужно будет вместе к нему явиться.

— Да следователь как бы на больничном, — усмехнулся Антон.

— Надолго?

— Я просил на неделю, — хохотнул Антон, очевидно, от нервов: слишком долго пришлось ждать разрешения ситуации.

— В смысле?

— Да занервничал, попросил, чтобы парня уговорили больничный взять.

— Ладно, ждем следователя.

— Не передумает она, нет?

— Мне почем знать?

— Ладно, действительно. Спасибо тебе, дружище. Спасибо огромное.

Злость, да. Злость чиста так же, как жаркий секс. Сила с ней приходит и — к чему лукавить — способность к произволу. Произвол — симптом творчества. Творить свое пространство — чем не задача? Свое, устроенное себе во благо. Другие пусть творят свое, мать их так. Победит сильнейший. Зрители оплатят шоу.

На углу Ефимовской и Маяковского нарвался на свежий затор. Гудки и мат, моргающие фары. Обычное дело. Кто-то застрял поперек перекрестка, упершись в хвост колонны, вставшей на красный. Пока его объезжали, светофор сменился. Те уткнулись в этих, эти — в тех. Пропускать — дураков нет.

Подпереть Топилина не успели. Резко вывернув перед мордой какого-то «рава», он нырнул во дворы. Этой дорогой он ходил к Анне, для конспирации оставляя машину подальше от Нижнебульварного. Если обогнуть дворами старую АТС, протиснуться в щель между детским садом и трансформаторной будкой, можно выскочить прямо на Горького, далеко обогнув гудящий и звереющий затор.

За телефонкой въехал во двор. Медленно, сантиметр за сантиметром, вертя головой от одного зеркала к другому, чтобы не поцарапать бока, Топилин протискивался между забором детсада и бетонной будкой электрической подстанции. На выезде слегка придавил газ — и в последний момент успел наступить на педаль тормоза. Покрышки взвизгнули. Перед машиной торчали металлические столбики. Жильцы вкопали, сволочи. В сердцах Топилин надавил на сигнал.

Делать нечего: включил заднюю, принялся пятиться прочь из тесной щели, в которую влез. Долго возился: забор садика, как назло, в этом месте изгибался — то левый, то правый угол заднего бампера норовили упереться в преграду. Выбрался, развернулся, поехал обратно.

Нутро дрожало, как замерзший щенок. Бочком по тротуару, потом по скверу, под раздраженными пивными взглядами. Смотрят — будто глазами плюют. Дескать, что, придурок, прокатился?

Съехал с бордюра, двинул на выезд.

Зря, Саша, зря. Размениваешь зря, мелочишься.

Въехал в следующий двор, проехал его насквозь. Впереди открылся переулок и знак «только направо». Снова остановка. Вспомнил — однажды уже попадал впросак

с этим переулком. С него ни одного левого поворота. Придется ехать до самого моста, и только после моста можно будет взять в сторону Третьего поселка коммунаров.

— Да черт бы вас всех побрал! Не город, а загон!

Стал разворачиваться. Обратно — туда, откуда начал поиск объезда.

Выехать на перекресток со двора не так-то просто. Затор вызрел. Прорываются уже, не глядя на светофор. Истериčno сигналият. Слышен залиvistый крик: «Левой возьми, мудака! Левее!» То тут, то там машины приходят в движение — толчками, с пугающим ревом движков, который нередко заканчивается воем сигнала. Между машинами перебегают пешеходы.

Топилин несколько минут постоял, моргая просительно фарами. Желающих дать ему вклиниться в поток не нашлось. Синяя «камри» проворно заткнула образовавшийся зазор между топилинским «тигуаном» и «семеркой».

И внутри что-то лопнуло.

Он подкатился к «камри» на расстояние полуметра и, время от времени грозно порывкая двигателем на холостых, продолжал надвигаться рывками. Водитель истериčno сигналил, вертел у виска и что-то кричал в опущенное окно. Наконец за его машиной появилось свободное место. Водитель сдал назад, выбросил руки над рулем: «На, проезжай!»

В тот же момент в зад «камри», не успев притормозить, уперся старенький коробкообразный «фиат».

— Тебе что, пропустить было жалко? — процедил сквозь зубы Топилин, проезжая мимо моргающих аварийных огней.

Злость, свобода, зрители, победители... Эх, Саша!..

В тот же день Антон отправлялся в Озерцы. Ехал поездом. Собирался в купе почитать духовную литературу. Позвонил, попросил встретиться с ним на вокзале: нужно по работе кое-что передать, не телефонный разговор, а до вокзала у него все расписано, никак не пересечься.

— Подскочишь?

— Какие вопросы.

Топилин был уверен, что никакой необходимости в этой встрече нет. По телефону они что только, но не обсуждали. Нужно было Антону, чтобы он на вокзал к нему притащился, проводил, на перроне постоял. Но открыто попросить об этом Антон не может — мол, проводи, тоска гложет, в одиночку тяжело. Впрочем, так даже лучше. Иначе опять — как в охотничьем коттедже. Попрет из него исповедальное — и что? Только отмалчиваться, но отмалчиваться уже неприлично. Он и в церковь ходил — шутка ли, два часа исповедовался! — и в монастырь едет, а все ему нейдет. Подайте ему Топилина, человека «два в одном», дружка сердешного и порученца не за страх, а за совесть.

У входа в вокзал рамка и полицейский взвод. Недавно в Москве снова рвануло. Теперь всюду рамки. «Кто-то неслабо наварился на этих рамках», — автоматически подумал Топилин, потом подумал, что подумал пошлость, и раздраженно поморщился второй своей мысли — мол, хватит умничать, все свои.

Рамка верещала, не переставая. Проносимый через нее багаж никто и не думал проверять. Полицейские курили на воздухе, негромко переговаривались о своем.

Набрал Антона.

— Саш, я на втором, в ВИП-зале. Подходи.

Нашел его сидящим в кожаном кресле с початой бутылкой пива. Вторая стояла рядом. На большой плазме, по неистребимой совковой привычке подвешенной под самый потолок, мелькали видеоклипы. Перед Антоном на столе — раскрытый ноутбук.

— Пива не предлагаю. Ты за рулем.

Топилин устроился сбоку от стола на краешек неудобного кресла.

— Я и сам за рулем никогда не пью.

Что-то резануло в голосе Антона. Что-то инородное, напряженность какая-то.

Думал, застанет его радостным — каким он был, когда услышал, что Анна согласилась на мировую.

— Самое обидное — живешь по-людски, никого не гнешь, не пакостишь, — продолжил он тем же незнакомым голосом. — За руль пьяным не сядишься, как некоторые. И вот на тебе... за что?

Ситуация прояснилась. Антон готовится к встрече с монастырским старцем. Настраивается. А «некоторый», только что им упомянутый, — здешний депутат Леня Каширин. По пьяной лавочке устроил гонку с пацанвой на Большой Садовой, смял несколько такси в гармошку, одного таксиста убил. Посадить не посадили, но в депутатах не удержался.

«И это пройдет», — напомнил он себе Соломоновой цитатой и на этот раз рассмеялся вслух.

— Ты чего?

— Извини, так... мысли свои ... нервы, нервы. Мне тоже как бы...

— Да, Саш, спасибо тебе. Спасибо сто тысяч раз. — Антон повернул ноутбук так, чтобы Топилин мог видеть экран. — Шестнадцать тыщ за восемь месяцев. Понял? Шестнадцать тыщ!

— Что это?

— Число погибших в ДТП на дорогах. Ты понял? Ты прочувствовал масштаб? Шестнадцать, Саша! Я раньше думал, только отморозки конченные людей давят. Как Леня-депутат. А оказалось вон что. Сам теперь в статистику угодил... То есть... Хотел сказать... в общем, ты понял. А мог просто развернуться и уехать. И никто бы не нашел. Камеры там не работают.

— Так ты чего звал? — поторопил Топилин Антона. — Что за разговор?

Антон сказал:

— Да все то же. Как там наша вдова?

Топилина передернуло от этих слов.

— Ты же говорил, у тебя разговор по работе.

Антон отпил пива.

— И по работе тоже. Как она?

— Тебя что интересует? Ты же все знаешь. Согласилась.

Снова хлебнул из бутылки, пожал плечами:

— Согласилась... Хотелось бы узнать подробности. Как согласилась, что сказала. Это важно, Саша. Ты же понимаешь. — Забыл совсем о старце. Сделался почти таким же пружинно-подвижным, каким бывал обычно. Не сдержал натуру. Еще немного, и начнет давить — как плита бетонная. — Все интересует. Это важно, правда. Я от всей души... И мне важно... Что тут непонятного?

Если бы не было утром устричных губ ее, тела, рвущегося навстречу... Топилин чувствовал себя так, будто Антон не то что в постель к нему — в трусы полез. И еще недоумевает, почему он ерзает.

Заговорил глухо, с трудом сдерживая агрессию:

— Антон, мне нечего тебе рассказывать.

Не ожидал от себя такой реакции. Но остановиться, похоже, не мог.

— Да ладно, ладно, — отступил Антон. — Нечего так нечего. Я-то понимаю. Тебе тоже непросто... да... всем непросто.

— Почему же, Сереге очень даже просто. Проще некуда.

Антон, услышав эти слова, покосился на него настороженным взглядом. Допил первую бутылку, откупорил вторую. Сделал три больших глотка.

— А по работе вот что, — сказал как ни в чем не бывало. — Пока я буду отсутствовать, нужно будет тиснуть в местные газеты рекламу. Самую дорогую давай. Сегодня в одну газету, завтра в другую. Закинь им какую-нибудь новость. Типа, рассматриваем возможность переоснащения и расширения, планируем, прогнозируем, уверенно смотрим в будущее. Ты лучше моего знаешь. Хорошо?

— Хорошо.

— А то мне тут маякнули, что они там продолжают копать. Ментам звонят, запросы запрашивают.

— Сделаю.

Все-таки пришлось провожать его до вагона.

Дорожная сумка мягко строчила колесиками по мелкой пенобетонной плитке, уложенной ООО «Плита». Шли молча. Антон снова настраивался на монастырь.

Проводницы в красивой строгой форме стояли возле дверей. Кто-то из провожающих, задрав голову, уже махал с перрона кому-то из отъезжающих — улыбаясь, читая по губам, пытаясь незатейливой пантомимой досказать что-то недосказанное. Одни требовали звонить почаще, другие обещали звонить. Курильщики жадно тянули последние перед отправкой сигареты — последние, которые будут выкурены на свежем воздухе, а не в задраенном дергающемся тамбуре, где сквозь кислый клочковатый туман проступают лица нескольких собратьев по вредной привычке, которым нужно покурить непременно сейчас, вместе с тобой, будто нельзя подождать пять минут.

«Тоже мне, Лев Толстой, — усмехнулся Топилин в мясистый антоновский затылок. — А я доктор Маковицкий». <...>

* * *

Вечером вернулся с занятий домой и впервые увидел, как выглядит взбешенный отец. Стремительно расхаживая по гостиной, подергивая низко наклоненной головой — будто бодал сгустки воздуха, мешавшие пройти, он даже не ответил на мое приветствие.

— Что-то случилось?

Отец остановился, навел на меня лихорадочный взгляд. Видно было, что изо всех сил старается держать себя в руках. Открыл рот с таким видом, будто собирался рассказать мне все спокойно и подробно, и застыл так, с открытым ртом, немой, меняющийся в лице.

— Нет, это же черт знает что! — закричал наконец. — Это же... беспредел!

Он убежал в мансарду, а я — огорошенный, укушенный нехорошим предчувствием — уселся на диван и раскрыл попавшийся под руку сборник рубаи. Отец вышагивал наверху, я цеплялся за Омара Хайяма. Примерно через час слепого блуждания по строчкам, проголодавшись, я отправился на кухню. На столе лежала записка, написанная маминной рукой: «Уехала в Долгопрудное. Диспансер горел. Пожар. Зину не брошу. В морозилке сосиски». Почему-то именно ритм этой записки — рвано-ступенчатый, навевающий ассоциации с циклично работающим грубым механизмом, — передал мне отцовский испуг. С изумлением я почувствовал, что боюсь и не желаю маминого возвращения.

«Смесил-слепил меня Господь. А я при чем?» — завертелась в голове единственная запомнившаяся строчка.

— И что теперь? — спросил я записку, стол, стул, темное окно, баночки с крупами, шкафчики на стенах, холодильник «ЗИЛ».

Пришел отец. Одетый, со щекастым рыжим портфелем в руке. Портфель ему подарила мама несколько лет назад. Для законченности образа. Папа одно время носил в портфеле обеды в больницу, но потом стал обедать в столовой. Меня так и распирало спросить, что у него в портфеле теперь. Не решился.

Папа подошел ко мне и остановился рывком, будто в последний момент заметив яму. Не глядя мне в глаза, деревянно погладил мое плечо — я тупо проследил за его рукой.

— Это невозможно, — брякнул он куда-то в пол и пошел к выходу. В дверях, застегивая пиджак, сказал: — Я в больнице. Не знаю, когда буду, — пожал плечами, добавил тоном скорей вопросительным: — Завтра... — и снова сорвался на крик: — Не знаю!

Я впервые остался один дома в столь позднее время. Стал ждать. Единственное, что я понял, — дело было в Зинаиде.

До сих пор все как-то улаживалось, уладится и теперь, уговаривал я себя.

Ждать пришлось долго. Спящий переулочек словно ворочался во сне, то потрескивая сучьями, то покашливая из темноты. Я успел доделать одно из скучных заданий — карандашный рисунок греческих колонн. Читать больше не пытался. Уселся на диване, потом прилег. Слушая бесконечную считалку ходиков, уснул, а когда проснулся, в открытых окнах сверкало и щебетало утро. Я полежал немного, покрутил в памяти не вполне понятную вчерашнюю новость и услышал, как во дворе отрывисто крикнули ворота.

Выскочил во двор и увидел ее. Поддерживаемая под руку мамой, она только что шагнула во двор. Образ Зинаиды, который подсовывала мне застигнутая врасплох память, не совпадал с реальностью. В бесцеремонном утреннем свете перемены, произошедшие с ней после приступа и жизни в Долгопрудном, резали глаз. Она была как разорванная на клочки и неумело склеенная фотография. Правая ступня Зинаиды была уложена на гипсовую лангету. Она стояла, перенесла вес на здоровую ногу, и внимательно оглядывала дом. Мне показалось, что делала она это с грустью, но я не уверен.

— Здравствуйте, — сказал я.

Зинаида несколько раз кивнула. Мама почему-то со мной не поздоровалась, совсем как папа вечером.

— Проходи, — сказала мама и повела ее к дому.

Они оказались в точности одного роста. Зинаида тяжело заваливалась на загипсованную ногу, мама пыталась подпереть ее плечом, отчего их головы при каждом шаге почти смыкались и через мгновение расходились — размеренно, как бы повторяя и продолжая механический текст записки: «Приехала из Долгопрудного. Диспансер горел. Пожар. Зину не брошу. Сосиски нашли?»

Они проследовали мимо меня в дом, на меня даже не взглянув. Будто я не успел еще проявиться в этой новой реальности, переехавшей в наш дом из Долгопрудного. Какое-то время я оставался стоять в прихожей, слушая, как в глубине дома затихает распарованный звук Зинаидиных шагов: стук левой, шарк правой, стук левой, шарк правой. На рыжем линолеуме после нее оставался гипсовый пунктир.

Мама с Зинаидой зашли в каморку между моей комнатой и кухней. До сих пор каморка оставалась не обжитой ввиду своей явной ненужности. Она и располагалась сбоку припека, и пахла так, будто не была полноценной частью жилища — камнем, деревом. Там стояла лишь старая металлическая кровать с облезлыми золочеными шпешечками, под которой пылились пустые трехлитровые банки. Даже Зинаиде, когда та оставалась ночевать у нас во время подготовки к злосчастному спектаклю, мама стелила не в этом закутке, а на диване в гостиной.

Ушел на кухню, поставил на огонь чайник. Нужно заварить чаю: в доме гости.

Мама вышла ко мне через минуту. Достала из стенного шкафа бутылку ореховой наливки, подаренную кем-то из гостей. Налила рюмку, села напротив.

— Диспансер сгорел, — сказала она, указав на записку и как бы предъявляя ее в качестве доказательства. — Тяжелых распихают по больницам, остальных будут подселать к уголовникам.

Мама молчала, я тоже молчал.

— Зинаида Аркадьевна чуть не погибла. Выпрыгнула из окна.

Я наконец кивнул. Собирался сказать что-то одобрительно-бравое. Но в ушах вдруг взорвался крик отца: «Невозможно!»

— Папа ушел на работу, — сказал я.

Вращая приподнятую над столом рюмку так, что бурая жидкость ползла вдоль самого края, мама сказала в ответ:

— Я не могу ее бросить.

Она добавляла понемногу к уже сказанному — какие-то детали. Говорила сбивчиво. Будто выискивала нужный кусок в обломках, от которых только что приехала: а, вот, еще нашла.

— Родным на Украине Зинаида Аркадьевна не нужна. В Долгопрудном теперь

нет электричества. Когда восстановят, неизвестно. Не скоро. Легких больных собираются поселить вместе с зэчками. Больше некуда. Тот корпус только и уцелел. Саша, Зинаида Аркадьевна будет жить у нас.

— Ясно, — отозвался я поспешно.

Мама отпила наливки и скривилась.

— Черт. Прогоркла.

* * *

Следователь сам его нашел. Позвонил с незнакомого телефона на мобильник «для своих»:

— Нам нужно встретиться, поговорить.

— О чем?

— Ну, о чем мы можем говорить? Сами понимаете. — Говорил осторожно. Каждому слову, казалось, проведен полный досмотр, прежде чем оно выпущено наружу. — Где-нибудь на стороне надо бы.

Топилина вдруг пронзила догадка, от которой он чуть не прыснул от смеха: капитан Тарасов хочет денег. Тут же усомнился: да нет, вряд ли, не стал бы он лезть на рожон — с ним начальник ГУВД говорил лично.

— Вы уверены, что я вам нужен? — уточнил Топилин, стараясь потянуть время, прислушаться.

— Уверен.

— Как свидетель происшествия? Но я ведь уже дал показания.

После паузы, которая тянулась гораздо длиннее, чем предполагал ритм беседы, молодой капитан перешел на «ты».

— Слушай, есть что обсудить, — заявил он. — Приезжай. <...>

Пока строилось новое здание следственного управления, следователи квартировали в городской прокуратуре. Остановившись на противоположной стороне, Топилин набрал Тарасова.

— Сиди в машине, — велел тот. — Иду.

Ждать пришлось минут десять. Не исключено, что и эта пауза была тактической.

На широкой лестнице прокуратуры было оживленно. Топилин попал в приемные часы. Принялся разглядывать людей, выходящих из здания с витиеватыми орлами на фасаде. Те, кто появлялся на лестнице в сопровождении адвокатов, переговаривались с ними — оживленно или заторможенно, иные — перешептывались. К кому-то подбегали близкие с вопросами. Кто-то, едва оказавшись снаружи, принимался звонить. В развертывающейся перед ним галерее лиц особенно притягательны были те, что выражали контрастные — и равно глубокие — эмоции: подавленность либо торжество.

От стука в водительское окно Топилин вздрогнул. Тарасов подкрался незаметно, как опереточный сыщик.

Достал, однако.

Показал ему небрежным жестом: садись. Следователь был в пиджаке и джинсах.

— О чем будем говорить?

Тарасов вяло пожал плечами:

— Сам как думаешь?

— Лучше тебе не знать, как я думаю, — заверил его Топилин. — Обидишься.

Потянулась очередная ментовская пауза, которая оказалась настолько неприятной, что Топилин сам ее прервал.

— Поправь меня, если я что-то упускаю. Стороны договорились о мировой. Закон разрешает. Подписываем соглашение, закрываем дело.

В ответ — гнусавое эхо:

— Оформим.

— Ну? — Топилин начинал заводится. — О чем нам с тобой говорить?

— Ты не дергайся, не дергайся, — бубнил Тарасов. — Нервы — последнее дело.

— Какие проблемы, ты объясни.

— Никаких проблем.

Верно догадался, мент хочет денег. За просто так. На свой страх и риск — хочет. Оно бы и ладно. Но Топилину не нравится тон.

— Ты это хотел мне сообщить? Что никаких проблем? ОК, я тебя понял.

Счет сравнялся: один — один.

— Слушай, не все так просто, понимаешь? — примирительным тоном заговорил Тарасов.

— Ты мог бы не темнить, а? — почти по-дружески попросил Топилин: он устал бодаться.

— Никто не темнит.

Капитан все-таки предпочитал, чтобы слова из него тащили, как на допросе.

— Что именно не так просто?

— Оформить примирение, вот что.

— Почему?

— Все по закону. Никто и не спорит. Но есть установка, чтобы такие дела за примирением сторон больше не закрывать, передавать в суд.

— Установка?

— Да, установка. — Тарасов говорил, глядя прямо перед собой в лобовое стекло. — И установочка идет оттуда. — Он ткнул пальцем у себя над головой и насулился. — Потому что слишком много случаев, понимаешь? А наше начальство... я с тобой буду прямо говорить... наше начальство привыкло шашкой в поле, — заговорив прямо, Тарасов стал сбивчив и полон недомолвок. — Сами же они и доводили до нас после того, как озвучено было. Уже давно у нас не закрывалось по примирению. А тут — нате. Давай, Тарасов, оформляй. И оформим, оформим, я же ничего против не говорю. Оформим. Но ты пойми меня тоже, — слегка наклонил голову в сторону Топилина. — Ты же понимаешь... Им-то что... распорядились — я сделаю. Но бывает же по-разному. По-разному, понимаешь, карты, бывает, ложатся. Что-нибудь повернется по-новому — хоп, и начнется: а иди-ка сюда, капитан Тарасов, раздвигай-ка булки, рассказывай, что да как. И там уже не объяснишь, что никак и ничего. Что сверху попросили, и вообще все как бы по закону. У нас сейчас такая чехарда, пипец... кручу-верчу, запутать хочу. Понимаешь? Не все так просто.

— Так ведь все и вправду по закону, — устало пытался возразить Топилин.

— Саша! — вздохнул следователь уже без всякого гонора. — Я тебя умоляю!

Замолчали. Картина прояснилась: капитан не хотел нарушать установку аж оттуда, не получив свои бонусы за риск. Что ж, дальше тянуть было себе во вред.

— Ладно, — сказал Топилин. — Антон сейчас в отъезде.

— Приспичило ему!

— Да уж, — отозвался Топилин задумчиво. — Уехал, будет через десять дней... девять уже. Но я ему сообщу.

— Ты подходчивей только объясни. Я не вымораживаю. Но мне просто так тоже, согласись... Они там договорятся, а мне...

— Объясню. Мне-то что. Так сколько?

Следователь нырнул в карман и вынул желтый бумажный квадратик, на котором значилось: «100 000».

— Всего-то? — отозвался Топилин.

— Я же говорю: я не вымораживаю!

— Все. Жди, перезвоню на тот же номер.

— Другое дело. Мужской разговор.

— Ага. Скажи еще: «Давай краба».

— Давай краба, — улыбнулся во весь рот капитан Тарасов, поднимая ладонь с растопыренными пальцами.

Он проснулся и смотрел на дождь.

В сыром воздухе запах пыли окреп, сделался плотен. Пыль заштукатурила

скулы, веки, стенки ноздрей. Приступила к гортани. Никак от нее не спастись. Ремонт на втором этаже окончен, последний строительный мусор вывезли неделю назад. Сто раз пожалел, что затеял: с приглянувшейся ему штукатуркой мастера провозились около месяца. Но теперь все позади. Расставляй мебель и живи. Если бы не пыль. Пыль никак не хочет покинуть его светлый уютный дом. Придется еще подождать. Не отдавать же под мерзкую пыль новенькие гарнитуры, гардины, люстры. Забьется в каждую щель, расползется по кухонным тарелкам.

Купил толстенный матрас в «Икее», постелил прямо на пол в спальне. Сойдет. Пока пыль осядет. Есть своя прелесть в такой бивуачной жизни.

Если встать и выглянуть направо, можно разглядеть угол Литвиновского особняка. Южные дачи, бывшее СХ «Дачник» — в последние годы лучшее место в Любореченске: до города десять минут, дорожки асфальтированы. Публика сплошь приличная, случайные люди здесь не строятся. А он — прямо на полу ночует, на матрасе из «Икеи».

Пахнет, кстати, так же, как в Анином стройварианте. Пыль она и есть пыль.

Дотянулся до пачки «Парламента» на полу, выудил сигарету, следом зажигалку, прикурил. Служившая пепельницей пивная банка нашлась с другого боку.

Обошлось без похмелья, но это его ничуть не радовало. Похмелье предопределило бы дальнейшее развитие утра: встать, умыться, отправиться в аптеку. Никогда не любивший эпилогов, Топилин отвергал опохмел, а с утренней мезью алкоголя привык справляться посредством таблеток. Бездушно, зато и без сюрпризов. Аптека далеко. Пришлось бы ехать на машине. От поселка три километра до первого светофора, направо, дальше пешком: вниз по лестнице, квартал по загаженной корявой улочке, под чересчур широким зонтом, цепляющим то столбы, то деревья. Возле пивной «Ставки на спорт» — аптека с обнадеживающей вывеской «Просто аптека». Вернулся бы в машину в грязнувших ботинках, в заляпанных по колено брюках, потом вошел бы так в свой свежотремонтированный дом. Проглотил бы таблетку и ждал — покуривая, разглядывая ворон, деловито ковыряющих клювами в поплеванной траве. Приобщаясь к ландшафту, страдая смиренно...

Схватка с похмельем заняла бы его по крайней мере на час. Целый час. Немало.

Да уж, с похмельем не задалось. Лежал, бодрый, слегка голодный, смотрел в витражные окна на дождь — на далекий край Любореченска. Мерцающие стежки размерно пришивали холщовое небо к бетонным крышам. Соседская жучка погавкивала уныло, порываясь сбиться на вой. Этот дождь ненадолго. Выльется и забудется. Но скоро затаившийся в зазоре между летом и осенью Любореченск начнут утешить настоящие дожди, долгие и плотные, никогда не уходящие до конца, остающиеся в лужах, за ночь прорастающие из луж новым унылым ливнем.

Прислушивался к тому, как сознание медленно, но неотвратимо расправляет свои беспокойные крылышки.

Анна.

Словно в лифте застрял. Как выбраться, где здесь кнопка?

В ближайшем будущем предстоит заняться ее новой квартирой.

Кто он ей? Кто она ему? И что дальше?

Жениться на Анне.

Что бы там дальше ни было.

Сейчас это — лучший выход. Потом будет видно, куда приведет.

Развестись с Анной, если все рассыплется. Разводиться не сложно.

Или стать счастливым — если не ошибся. Мало ли... Побывать счастливым, сколько бы это ни длилось и чего бы ни стоило. Спокойно побывать счастливым.

Сел на матрасе, подогнув ноги по-турецки.

— Где хребет оставил, Саша? Где просрал хребет свой?

Чтобы хоть чем-то себя отвлечь, Топилин принялся складывать стихи: «Рваные нити дождя соткали мою печаль...» Но дальше первой строчки не продвинулся, увяз и вскоре бросил.

На дне бутылки золотилось martini. Дотянулся, глотнул. Липко. Выдохлось. Привкус пыли, куда без него.

Вчера был День учителя. Вчера в качестве почетного гостя Топилин ходил в лицей литвиновских детей. Вместо Антона. Антон все еще не вернулся из Озерцов. Прислал Топилину электронное письмо — теперь они поддерживали связь посредством электронной почты:

«Санечек, понимаю, что загрузил тебя просьбами. После сочтемся, ладно? С меня причитается. У меня еще одна просьба к тебе. Меня достали из лицей, просят, чтобы я пришел на День учителя. У них будет торжественная линейка, они хотят поблагодарить всех своих спонсоров. Мы им площадку делали, помнишь? В общем, просят. Говорят, готовились. Там, кстати, Ромчик будет. Он в последнее время обиду клеет. Считает, мы перегибаем, слишком много объектов берем. Намекал, что хочет повидаться. Не звонит. Значит, что-то серьезное. Не придем — решит, что от него прячемся. Сходишь, Санечек?

Я по-прежнему провожу время в труде и молитве. Стал поститься. Это уже сам себе добавил, мне не назначали. Надеюсь завтра встретиться со старцем. Святой человек. Волнуюсь.

Обнимаю, Сашка. Сходи, пожалуйста, в лицей».

Сходил в лицей.

По дороге без всякого предупреждения, без предварительного созвона завез Тарасову оговоренную сумму. Поскольку пропуск заказан не был, позвонил, вызвал его на проходную. Наслаждался его испугом, бесцеремонно протянув белый почтовый конвертик с деньгами. Взял, куда он денется.

Когда-нибудь все это закончится. Пыль осядет, он расставит мебель, докупит новую, будет жить... Новая мебель — всегда хорошо... в новой мебели... жить с новой мебелью... комод, диван, тумба... тумба, диван, комод...

Шеренги учеников были выстроены «покоем» во двореке лицей. Директриса Наталья Ильинична встретила жутковато-счастливой улыбкой в облаке сложно уложенных упругих от лака кудрей. Кудрей было много, они танцевали вокруг смеющегося лица Натальи Ильиничны и, кажется, обрубали ей боковое зрение: она постоянно вертела головой.

Топилина определили на правый фланг, в шеренгу почетных гостей. Слева от входа расцвели бантами и шариками первоклашки. Машинально отыскал взглядом литвиновских детей. Оксана кивнула ему с противоположной стороны двора. Протиснулся поближе к Роману Ступину, мэру Любореченска — в своем круге его звали Ромчик. Был он в начале своей мэрской карьеры пай-мальчиком: младенческие щечки, аллергия на любой конфликт. Теперь, конечно, заматерел. Но уменьшительное прозвище сохранилось.

Ромчик кивнул Топилину, подумал и поздоровался за руку. Быстро огляделся, не увидел позади себя никого подозрительного. На всякий случай сделал шаг в сторону, к стволу каштана. Прочитав его взгляд, Топилин как бы ненароком притиснулся ближе.

— Что же вы, олигархи хреновы, гребете все подряд? — негромкой скороговоркой произнес Ромчик, когда директриса, дунув в микрофон, начала торжественную речь.

— Почему все подряд, Роман Евгеньевич? — такой же скороговоркой ответил Топилин.

— Как «почему»? Тебе статистику показать? Итоги муниципальных торгов по области? Больше семидесяти процентов.

— Ну, не знаю... побеждаем... у нас же условия, сами понимаете, Роман Евгеньевич.

— Саша! Ты это знаешь кому расскажешь... Побеждают они... условия у них...

— Роман Евгеньевич, а у вас интерес?

Довольно коряво получилось. Можно сказать, грубо. Но было лень исправляться. С Ромчиком, конечно, и расшаркаться не грех. Не убудет. Хотя бы по старой памяти: когда-то «Плита» немалые деньги сделала на его негласном распоряжении: всем офисам-магазинам в городе замостить плиткой тротуар не меньше чем на пятнадцать метров по обе стороны от входа. Имел с этого всего десять процентов, не жадничал. Теперь Ромчик из схемы выпал, все и без него обходится. Однако и он не пустое место.

Пока Ромчик обдумывал, стоит ли осадить Топилина или лучше не обострять — все-таки литвиновский человек, директриса объявила номер второклашек: «Песня о школе! Похлопаем».

— Я в том смысле, что нам бы разобраться, что к чему, — добавил Топилин обтекаемо и мягко.

— У меня, Саша, ребенок институт окончил, — сказал Ромчик таким тоном, будто перед этим подумал: а, хрен с тобой, недоумок. — В строительстве уже год.

— Да-да, я слышал. Он в «Строй-Паласе» у вас?

— Совершенно верно.

— Так они же тротуарными покрытиями никогда не занимались...

— А теперь занимаются. Вы вообще газеты читаете? Я ж специально для вас... на первых полосах...

— Да как-то пропустили.

— Пропустили они.

Поаплодировали певцам. После песни о школе две пары из шестых-седьмых классов станцевали фокстрот.

— Сейчас Антон в отъезде. Как только вернется, я ему все передам. Думаю, придем к консенсусу. Всем места хватит. Нам бы с вашим сыном...

— С Димой.

— ...с Дмитрием Романычем встретиться.

— В чем проблема? Приедет Антон — телефоны «Строй-Паласа» на каждом углу. Звоните. Встречайтесь.

После детского концерта приступили к чествованию благотворителей. Топилин получил рисунок гуашью в дубовой рамке: детвора играет в баскетбол на площадке, застеленной прорезиненным желтоватым покрытием, мяч летит в корзину, поперек синего неба — «Спасибо, ООО «Плита»!».

— Повесите в кабинете. Пусть все знают, какие хорошие люди у вас работают, — подсказала Наталья Ильинична и улыбнулась жутковато-счастливо.

Мэр выделил лицу из собственных средств деньги на призы для лучших учеников, за что и был презентован собственным скульптурным портретом из пластилина — в полный рост, размером с настольную лампу, с раскрытой книжкой в вытянутых руках. Выглядел пластилиновый Ромчик монументально: хоть сейчас отливай в бронзе и — третьим к Кириллу с Мефодием.

— Это я сделал! — крикнул парнишка из шеренги напротив и отчаянно замахал руками. — Леша Пеков.

Ромчик улыбнулся ему, подняв над головой скульптуру, словно это был «Оскар».

— А иди, сфоткаемся! — махнул он Леше, и тот припустил со всех ног через двор.

Топилина сфотографировали посреди спортплощадки, на фоне турника, с подаренным рисунком в обнимку. Из окон нависающих над лицеем девятиэтажек глядели унылые блеклые люди. Курили, сморкались, пуляли окурками.

— Вот бы нам еще дворик замостить, — шепнула Наталья Ильинична. — А то асфальт как-то... бедно. Ммм, — мечтательно мыкнула она, — цены б вам тогда не было.

Затолкав окурки в пивную банку, Топилин поднялся. Было прохладно в комнате.

Укутался в махровую простыню. Сунул ноги в резиновые шлепки, ощутив, как под ступнями скользнула пыль. Подошел к приоткрытому окну.

Дождь казался бутафорским. Сыпался беззвучно. Не оставлял ряби на поверхности луж. Смазанное пятно солнца смотрелось, как голое плечо, приклеившееся к шторе душевой.

Вернулся к коробке, временно служившей ему прикроватной тумбочкой, достал оттуда сигарету, зажигалку. Прикурил. Уселся на пластиковую дорожную сумку.

Рисунок в рамке «Спасибо, ООО «Плита»!» стоял на полу напротив.

Чужая жизнь. Чужие дети ходят в лучший лицей, окруженный серыми обшарпанными панельками, в окна которых на них смотрят обшарпанные серые люди — провожают недобрыми взглядами утром, когда их высаживают из больших красивых машин, провожают недобрыми взглядами днем, когда они бегут к большим красивым машинам. Серые люди курят, молча уходят от окон. Директриса мечтает замостить лицейский дворик. Чужие дети окончат лицей и уедут учиться дальше, в Германию или Швейцарию. Не исключена Англия, если их папа будет по-прежнему на коне.

Преуспел ты в чужой жизни, Топилин, поднаторел.

Нужна Анна.

Что бы их ни связывало, оборвать это страшно. Все остальное — чужое. Как жить чужим? В чужом? Для чужого? Зачем?

Встал, подошел к стулу. На спинке куртка, накрытая газетой. Несчастный Дмитрий Анатольевич кому-то натушно улыбается. Нашупал мобильник в кармане, выудил осторожно, чтобы газету не спихнуть.

Анна нужна.

Бабочка ее, вспорхнувшая с бедра. Губы. Хрящик.

Скажи ей, что любишь. И будь что будет. Разберешься, не маленький.

И тут она позвонила сама.

— Привет, Ань.

— Привет. — Родной спокойный голос, тягучий немного. — Саш, ты что делаешь?

— В окно смотрю. О тебе думаю.

— Саша, я хочу с тобой встретиться. Сейчас. В городе. Ты можешь?

Что-то случилось. Влад?

— Конечно. Могу. У тебя с Владом неприятности?

— А? Нет. Почему с Владом? С Владом, слава богу, ничего. Ты можешь подъехать в центр, на Пушкинскую? Знаешь, здесь есть кафе «Няшка»? Пожалуйста.

Улыбался.

— Алло, Саш?

— Да. Кафе «Няшка». На Пушкинской. Только у меня лучше предложение. Давай за город махнем. Есть отличное место. Я, кстати, ни разу там не останавливался. «Old Place» называется. Тебе понравится. Дождь, камин...

— Нет. Давай в «Няшке». Я уже здесь, жду тебя.

— Давай в «Няшке», а потом поедem в «Old Place».

— Саш...

— Все, выезжаю.

Кафе тихое, без громкой, монотонной музыки, отметил Топилин, входя. Что-то журчит еле слышно из колонок. В самый раз, чтобы посидеть, поговорить неспешно — и махнуть под обложным дождем за город, в первоклассную гостиницу.

Никак не привыкнет видеть ее без траура. Одета в джинсы, в толстый зимний свитер. Мерзлячка. На тыльной стороне запястья — свежий синяк.

— Откуда?

— А, ерунда.

— Влад?

— Да что ж это такое! — искренне возмутилась она. — Что ты его во всем нехорошем подозреваешь?

— А кто?

Топилин уселся за столик.

— Ты прям как ревнивый кавалер, «кто» да «кто», — она улынулась. — Это Софочка, кто еще. Не выдержала водяного перемирия. Но тебе в это не нужно лезть. Я сама.

Пока Анна просматривала сладкое меню — а она всегда внимательно просматривала от начала до конца, прежде чем выбрать, — Топилин представил, как они отправятся в «Old Place». «Тигуан» будет мягко лететь по полупустой трассе, в разлетающихся фонтанах брызг. Анна заберется на сиденье с ногами. Скинутые кроссовки на резиновом коврике будут легонько покачиваться, толкаться носами. <...>

За поворотом всплывут яркие охряные крыши по-над простыми черепичными и шиферными, густые кедровые кроны, небольшой электрический ветряк. Дождь, конечно, подыграет: в «Old Place» не будет ни души. Номера пустуют, весь персонал за исключением метрдотеля — совершенно городской с виду женщины лет пятидесяти — распушен по домам.

Оглядевшись, Анна прижимается к его локтю:

— Здоорово, Саш...

Стены, сложенные из подкрашенного, в обхват, кругляка. Столбы, балки. Старинные охотничьи ружья, натюрморты в золоченых рамах, патефон, надраенный медный самовар. Камин чернеет из дальнего угла квадратным зевком. Холл освещается одним лишь зеленым абажуром, свисающим низко над стойкой. Абажур слегка покачивается: входя, они впустили ветер. По углам разлеглись живые мохнатые тени. Так и кажется, что сейчас выйдут навстречу — подслеповато оглядеть гостей, потереться о ноги. Пахнет деревом сухим и душистыми травами. Душа урчит от удовольствия. Уже и не припомнить, когда так размякал в последний раз. Тихий сыпучий дождик, толстый свитер Анны, запах, свет, тени — из каких простых вещей все сложилось.

— Ой, а вы бы позвонили, — суетится хозяйка. — А я всех отпустила. И повара, и горничную...

— Мы обедать не будем, — успокоила ее Анна. — Да, Саш?

— Не будем, — соглашается Топилин, хотя только что успел подумать, как вкусно, наверное, будет съесть что-нибудь горячее, расположившись у мокрого окна. — Вот только поужинать бы, если можно.

— А к ужину повар поспеет. Это не волнуйтесь.

— Есть у вас номер с камином? Настоящим?

Разумеется, у них есть номер с настоящим камином.

— Называется «Медвежий», — поясняет хозяйка.

Кровать с балдахином. Медвежьи шкуры: на полу, на стенах. Множество всевозможного антиквариата, от выцветших дагерротипов с котелками и кринолинами до чугунных щипцов для колки сахара. По бокам от камина — плотно уложенные поленицы. Хозяйка предлагает разжечь.

— Спасибо, мы сами, — отвечает Анна.

Дождь шелестит. Будет хорошо.

— Саш, я тебе хотела кое-что сказать. Важное.

— Я так и понял, — ответил Топилин, поспешно возвращаясь за столик в «Няшке».

Спины тех двоих, стоящих между камином и кроватью в «Медвежьем» номере, настойчиво притягивали его внимание. Скорей бы закончить здесь и перебраться туда.

— Мы, — начала она и тут же себя оборвала. — Нет, не так. Когда ты появился, Саша, я знала, что все у нас закончится постелью. Я хотела тебя с первой минуты, — сказала Анна ровно и уверенно. — Как только ты подошел там, на ветру, возле морга. Хотела так, что все ныло внутри... и потом больше и больше. Смотри, рукав намочишь.

Топилин сморщился, тщетно пытаясь уловить смысл последних слов.

— Рукав, — указала пальцем на обшлаг его рукава, опасно нависший над чашкой. Он послушно отодвинул руку.

— В ту ночь, когда мы в первый раз трахнулись, перед тем как ты приехал, я тоже

думала о тебе. Пила вино, смотрела в окно и думала о тебе. Дождя, правда, не было. И тут ты, — улыбнулась такой нежной улыбкой, каких он не получал, кажется, даже в постели.

— Ты не представляешь, как это приятно, — подался Топилин к этой улыбке. — Слышать, что тебя хотели с первой минуты...

— Мы расстаемся, Саша. Я не могу это продолжать. Все стало очень, очень серьезно. Я прикипела. Кажется, я люблю тебя, Саша. И не могу больше продолжать наши отношения. Дальше будет только хуже. Я думала вначале: ничего такого. Случалось, Сереже живому изменяла, изменю мертвому. Мужчина такой приятный, и я так хочу его... Но нет, мой хороший, — снова улыбнулась. — Хочу, но не могу. Такая вот неженская ситуевина.

Топилин сидел раздавленный. Ему совершенно нечем было ответить. Он, конечно, испытывает к ней большое глубокое чувство, но...

Медвежья шкура свалилась со стены и улеглась зубастым меховым комом.

— Все серьезно и, кажется, безвыходно.

Анна убрала со стола руки, и Топилин подумал: «Наверное, боится, что я стану хватать».

— Как скажешь, — поспешил он согласиться — это было намного короче фразы: «Не бойся, я не стану тебя хватать».

Она кивнула.

— Да. Так.

Официант принес заказ: фруктовый салат и бисквит для Анны. Все было очень, очень серьезно — но она собиралась жить дальше. И прямо сейчас собиралась съесть бисквит с фруктовым салатом. Это по-детски укололо Топилина: он предпочел бы нечто более нервическое, с мокрыми глазами и ломкими пальцами. Повертев десертной ложкой с массивной округлой ручкой, Анна отломил крошечный уголок бисквита.

* * *

Время от времени я возвращаюсь к бестолковым своим попыткам объяснить, а лучше бы оправдать мамин поступок. Каждый раз, выложив по ранжиру все, что имеется, с особой осторожностью, как самую крохотную и хрупкую — но, как знать, быть может, самую взрывчатую — деталь, я выживаю из памяти тот ничем, в общем, не примечательный вечер.

Мама сидит на кухне, разговаривает по телефону с бабой Женей. Я мою посуду: сегодня моя очередь. Баба Женя кричит так громко, что мама держит трубку на отлете. Я слышу весь разговор. Баба Женя только что вернулась из Петербурга (она произносила новое старое название города полностью, смакуя каждый слог: из Санкт-Петербурга). Съездила туда на деньги, вырученные от продажи ваучера. Специально, чтобы побродить по Эрмитажу: «Когда еще получится, времена-то какие». А ее пускать не хотели. Из-за кед. Сказали, в кедах нельзя.

— Иностранцы, видите ли. Французы! А вы, пардоньте, в кедах.

Вредная смотрительница попалась бабе Жене. Тогда баба Женя протянула руку к заграничному мужику в костюме и завопила на весь Эрмитаж по-французски — мсье, мол, не смутят ли вас мои колониальные кеды марки «Два мяча»? Смотрительница опешила, баба Женя прорвалась к Ренуару.

Покончив с Эрмитажем, Марина Никитична с бабой Женей только что принялись обсуждать, вернется ли в страну Солженицын, когда зашел папа и положил под хлебницу деньги. Деньги в семье хранили под хлебницей. Зарплаты тогда задерживали по несколько месяцев. Папа стал приносить деньги с дежурств. Иногда в конвертах. Так, в конвертах, и совал под хлебницу. В общем, папа кладет под хлебницу принесенные из больницы купюры — мама смотрит на него так, что я краснею и утыкаю взгляд в мокрую тарелку. Папа поворачивается к маме, нервно дернув плечами.

— А я при чем? — бросает он хмуро и выходит из кухни. — С голоду сдохнуть, что ли? — добавляет в дверях.

Мама сворачивает телефонный разговор, кладет трубку и долго смотрит в темное окно тоскливым ищущим взглядом. Я расставляю посуду в сушилке. Вставая в металлические пазы, тарелки скрипят, хрустят и цокают.

Мамин мир осыпается разнокалиберными кусками, как застигнутая дождем бутафория. Нерадивые грузчики ушли на обед, бросив декорации под открытым небом, — тут как раз и хлынуло. Сейчас ливень размочит клей, просочится в щели, побежит по разбухшим стенам, слизывая картон, как сливочное мороженое. И тарелки из шкафчика посыплутся на болотистый пол с такими же робкими невнятными звуками, с какими сейчас туда становятся, — и тут же сами начнут оплывать.

Что ей оставалось?

Зинаида была едва ли не единственным выходом.

* * *

Однажды Топилин перестал верить в сумасшествие Зинаиды. Что она всерьез и неизлечимо больна. Что любой припадок может стать последним — и она не вернется оттуда, куда уходит. Не верил и все. Как не верил, к примеру, в полтергейст, фэн-шуй и всеобщее равенство. Неизлечимая болезнь — так он рассуждал — подобна вражеской армии, которой некому дать отпор. Все совершается быстро: ранил, ранил, убил. А Зинаида живее всех живых. Сериалы смотрит, за новостями следит. От гибели откупилась — да и то не за свой счет. Невелик труд дважды в год в течение двух недель, пока длится курс лечения, потерпеть соседство настоящих психов в клинике доктора Хорватова. В палате «люкс», в компании своей спасительницы Марины Никитичны. Утром птички, вечером ароматерапия. Лафа полнейшая: круглосуточный присмотр, рацион отменный, каждый год курорт. На такую жизнь несложно найти желающих среди самых что ни на есть здоровых. То есть Топилин допускал, что в самом начале психические проблемы имели место быть (бутафорские снежинки в памяти монотонно заматали молодую голую Зинаиду в косичках падчерицы). Допускал. С кем не бывает. Короткое замыкание. Психоз. Его самого, случилось, нервы заставляли выделять презанятнейшие кульбиты.

— Запаситесь терпением, — отрезал доктор Хорватов, когда Топилин поинтересовался, может ли эта болезнь длиться так долго, проявляясь так редко.

«Запаситесь терпением»... Решил, что Топилин пытается выяснить, сколько проживет Зинаида. Не пожелал развивать тему. А мог бы, учитывая величину гонимых. Впрочем, не в интересах Дмитрия Владимировича правильно понять этот вопрос — именно ввиду размера выплачиваемых ему сумм. «Вы правы, Зинаида симулянт. Она совершенно здорова. Я не буду ее больше наблюдать» — глупо было рассчитывать, что он так скажет.

Но Топилин и без его признаний не верил. Довольно долго.

Наведываясь к маме, тайком присматривался к Зинаиде. Шпионил, ища несоответствий между ее поведением и вызубренными в психиатрических учебниках пассажами о шизофрении. Даже успел отловить несколько проколов: мимика не та, никакой рассеянности. Собирался показать ее каким-нибудь незаинтересованным нездешним светилам...

А потом звонит мама и произносит эту гадкую ненавистную фразу, которую он распознает еще по первому зудящему звуку: «Зине плохо, Саша». И Саша, случилось, бросал все, и мчался — ни одна «скорая» не угонится — сначала к маме, потом к Хорватову. А вчерашняя симулянтка, которую он чуть было не вывел на чистую воду, торчала из своего небытия, как морковка из грядки, покачивалась в маминых объятьях. Фантастический Зиноовощ — с морщинистым лицом, с маникюром, с аккуратно собранными в хвостик жиденькими волосами. И кажется, что мчатся они не в психиатрическую клинику, а на выставку достижений народного хозяйства, где ждут их салют и медали.

Сегодня подходящий день, чтобы вновь перестать верить в ее болезнь. Мама с Зинаидой возвращаются из Греции.

Топилин уже бы и рад отменить их ежегодные вояжи: накладно. Одна только

медицинская страховка для Зиночки каждый раз обходится чуть дешевле билета туда-обратно. Будто летают вдвоем — что с учетом диагноза Зинаиды добавляет этой детали пикантности. Но как отменить то, что позволяет выглядеть в собственных глазах заботливым сыном — и вообще человеком сугубо правильным и щедрым?

Взгляд мгновенно выхватил парочку из потрепанной стаи туристов, тянувшейся к транспортеру для получения багажа. На этот раз хитоны. Вернуться из турпоездки без небольшого маскарада Марина Никитична не могла. Не могла нарушить традицию. Обычно обходилась головными уборами: из Турции они приехали в фесках, из Израиля — в кипах, из Египта — в клетчатых арафатках, а посохи фараоновские забыли в каирском аэропорту. Из Греции явились в хитонах. Поверх джинсов и кофт.

Две состоятельные дамы на склоне лет. Ухоженные. Склонные пошутить.

— Ничего, что мы в исподнем? — Марина Никитична скользнула тыльной стороной ладони по белоснежным складкам. — Все равно никто не понимает.

Зинаида тихонько улыбнулась Топилину из-за спины Марины Никитичны.

— Там холодно, — напугал он, кивнув в сторону выхода.

— А мы сейчас куртки получим. В багаж сдали, чтобы не таскать.

Марина Никитична подошла к сыну. Приобняла, привстав на цыпочки, едва коснувшись его кончиками пальцев.

— Привет, дорогой.

Чмокнул ее в щеку.

Встала в полушаге, глядя сквозь него — снизу вверх, с рассеянной улыбкой. Всегда возвращается осторожно, мелкими шажками. Будто тяжело ей сразу — тронуть, рассмотреть.

Соскучился.

— Здравствуй, мама.

Кивнул мельком ей за плечо. Зинаида пошевелила в ответ губами. Топилин иногда перебрасывается с ней короткими фразами при крайней необходимости. Сейчас не тот случай.

— Как там Греция?

— Великолепно. И с погодой повезло. Два дождика всего. Да, Зин? В остальные дни штиль и благодать.

— Ну и замечательно.

— И не жарко было. Да, Зин?

Вот если бы то же самое, только без Зинотавра, улыбочиво притаившегося за ее спиной. Нормальная человеческая история: мама вернулась из Греции, довольная, посвежевшая, на парковке хорошая машина, можно заехать в ресторан перекусить... Великолепно.

Но Зинотавр прилагается обязательным пунктом. И Топилин с этим смирился. Давным-давно сознался себе в том, что, не будь Зинаиды Аркадьевны Квас, в девяностые он вряд ли выбрал бы кооператорскую дорожку — а стало быть, никакой Греции, хороших машин и ресторанов. Схоронился бы от озверевшей страны в интеллигентских катакомбах. Закончил бы Грековское. Вряд ли были шансы добиться большого творческого успеха. Не было талантов, как ни крути. Померещилось. Жил бы с родителями. Эрудит и книголюб. Зачитанный до дыр переросток. Мама — библиотекарь, отец — врач. Скорей всего, рядовой врач: вряд ли он мог рассчитывать на продвижение — и время упустил, и характер не тот.

Бедность, печать второсортности. Заштопанные носки. Библиотекарем бы стал — потомственным. Опухал бы от собственной бесполезности. Рисовальщиком мог бы стать, переквалифицировался бы со временем в дизайнеры. Газетные, например. Есть же такие? Или рекламные. Чем черт не шутит. Сдружился бы в свое время с великим Сережей, был бы у него на подхвате... ну, потому что зачем себя обманывать: второй номер — это судьба, всюду, куда бы ни подался, суждено было Александру Топилину сделаться вторым. С женой Сережиной, Анной, пили бы в коммуналке портвейн и жигулевское, по праздникам — поддельное французское вино. В компании с Сережей, разумеется. Много лет подряд.

Тепло, уютно. Обсуждают кино, смеются над ошалевшей властью. Сын его Влад называет его дядей Сашей, просит рассудить свои споры с родоками — пока не

становится достаточно взрослым, чтобы его перестали занимать любые второсортные умники в штопанных носках. Топилин стремительно стареет. Вернее, нет, не стареет — тухнет, как рыба, забытая в герметичном пакете. Словосочетание «смысл жизни» вызывает у него приступ ипохондрии.

Однажды без звонка — по старинке — появился в гости к другу. Проходил мимо, решил покалякать за бутылочкой. А Сережа третьи сутки как домой не показывался. Семейная ссора. У них это часто. И Владик зависает на дне рождения какой-нибудь Светы или Нади. И тот, другой, Топилин не спешит уходить. Такое настроение... одиноко и вообще... И Анна, понятно, грустит... Они садятся с ней за стол, пьют вино. В тот раз что-нибудь полусладкое — покупая, вспомнил про Анну: она ведь полусладкое любит. О Сереже не говорят. Вообще мало говорят, не клеится разговор. Когда бутылка допита и тот, другой, Топилин поднимается, чтобы уйти, Анна подходит к нему и, плотно обхватив руками его небритые скулы, целует в губы. Он сначала пугается — тот, другой, Топилин. Думает суетливо: не пахнет ли у него изо рта — справа сверху кариес, давно нужно было сходить к стоматологу — и о том, что Сергей его друг, и закрыта ли все-таки дверь... обычно она закрывает, но мало ли...

Все заканчивается отвратительно быстро. Анна курит, отрешенно глядя в потолок.

— Ты прости, я...

— Все, Саш, проехали.

— Все-таки не каждый день...

— Саша, пожалуйста! — и через некоторое время, бесцветным голосом: — Все было как нужно.

Он лежит еще какое-то время рядом с ней, раздавленный стыдом — за свой пугливый второсортный организм, за то, что Сергея все-таки предал... да и Анну подвел... за чертовы, будь они прокляты, носки!

По залу разливается перезвон, диктор объявляет, что московский рейс задерживается. Девочка с куклой в обнимку внимательно разглядывает парочку в мультяшной одежде.

— Мы вчера на лодке прокатились, — говорит мама, не замечая девочку. — Довольно далеко отплыли. Метров на сто, да Зин? Вода чистейшая. Видно, как рыбки плавают.

— На моторной?

— А нет. — Марина Никитична кокетливо подбоченилась. — На весельной. Я на одном весле, Зина на другом. Так-то.

— Ты что, мам? А если бы перевернулись?

Она отмахнулась:

— Ну, не перевернулись же. И потом, на нас жилеты были. Мы проверяли: захочешь — не утонешь. А на вышке грек дежурил, спасатель. Огромный такой — мышцы и усы. Да, Зин?

— Прямо как Аякс. — Зина наконец решилась подать голос.

Марина Никитична глянула на нее одобрительно.

На транспорте появилась сначала сумка Зинаиды, потом Марины Никитичны. Топилин подхватил их одну за другой, водрузил на тележку, и они отправились к выходу мимо любореченских бомбил, вопрошавших мрачно и, казалось, без всякого желания получить утвердительный ответ: «Такси не нужно?» Перед милицеским постом остановились, Марина Никитична достала куртки. Оделись, двинулись к машине.

После того как у Зинаиды случился приступ в машине, Марина Никитична всегда садится с ней на заднее сиденье. Стоило ей включить телефон, тот заверещал вразлоб: эсэмэски приходили одна за другой.

— Соня звонила, — комментировала Марина Никитична сообщения. — И Варя. И Федор Алексеевич еще... Случилось что? Как с цепи сорвались.

Вскоре ей позвонили. Не вдаваясь в подробности, Марина Никитична объяснила звонившему, что телефон был отключен на время авиаперелета и что она едет из аэропорта домой. Потом раз десять произнесла: «Да», каждый раз прибавляя градус заинтересованности.

— Отлично, успеем. — Закончив разговор, Марина Никитична покачала телефоном, будто в руке у нее оказался счастливый билет. — Нечаев в городе, — сказала она, улыбаясь. — Сидит в гостях у Воропаевых.

Зинаида радостно пискнула. Топилин принялся хмурить лоб, вспоминая, кто таков Нечаев и почему мать рада его появлению в Любореченске.

— Саш, — с упреком потянула Марина Никитична. — Забыл, что ли? Нечаев Петр Николаевич. Второй могильщик в «Гамлете». Балагур такой. В Москву уехал. Играл сначала в каком-то театрике, потом в кино стал сниматься. Ну вот сериал про адвокатов...

— «Трудное дело», — подсказала Зинаида.

— Да! «Трудное дело».

Топилин уже вспомнил, но Марина Никитична продолжала перечислять достоинства Петра Нечаева, будто считала несправедливым упустить хотя бы одно.

— Галантный такой был, иногда до смешного. Стихи писал. Такие... забористые. Одно время даже из Москвы присылал. Как там? Начало не помню... что-то там про образ лирический... Уснет под дождем златоглавая. А где-то, пронзенное негой, в обнимку с нездешней шалавою проснется мое альтер эго. <...>

У Воропаевых Топилин до этого не бывал. Марина Никитична познакомилась с ними сравнительно недавно, на театральном фестивале. По дороге она аттестовала их как людей культурных, но умышленно провинциальных.

— Любопытный парадокс. Да, Зин? Я хочу сказать, что в наши дни это необычно: трудно быть вполне культурным человеком, оставаясь при этом провинциалом. И странно к тому же. Когда столько всего доступно и... В общем, ты понимаешь.

Марина Никитична успела с головой погрузиться в свою любореченскую жизнь. Будто не было еще утром, вот только что, Греции, лазури, душистых олив и мускулистых усачей Аясков на спасательных вышках.

— Я, Саша, после знакомства с ними кинулась Тургенева и Лескова перечитывать. Смотрю, так и есть. Оттуда люди, оттуда.

Чувствовалось, что Марина Никитична взбудоражена: сын впервые за много лет отправился с ней в гости.

— Классика родная проштудирована от корки до корки, иностранные шедевры из обязательного списка, а дальше — стоп, — она хлопнула себя по колену. — Отгородили себе территорию, обжили. Остальное не пригодилось, ну и ладно. Есть в этом, знаешь, что-то мещанское. Когда себя культурой окружают для комфорта. Вот как будто мебель выбрал, купил, расставил — и все, дело сделано. И, что интересно, с какого-то момента их перестало интересовать то, что делается за пределами Любореченска. Ни проза современная, ни спектакли, которые москвичи сюда привозят. Даже кино не смотрят. Зато местное все знают досконально. Каждого графомана, каждого барда с тремя песенками, всех. Чуть кто пяток картин нарисовал, они бросаются ему квартирник организовывать. Да, Зин?

— Так ведь все понятно, мам, — видя воодушевление матери, Топилин решил поддержать разговор. — Лучше быть большой рыбой в тесном пруду, чем мелюзгой в океане.

— Это конечно, — мимоходом согласилась Марина Никитична с предложенным трюизмом. Поддерживать с ней разговор поговорками и расхожими фразами всегда было затруднительно. Как прогуливаться вдоль реки с тем, кто плывет по реке в лодке. — Мне как раз интересно, как там Нечаев себя покажет. Его ведь не просто так Воропаевым позвали. А на заклатие. Ох, они его потравят!

В словах Марины Никитичны было столько азарта, что Топилин даже усмехнулся про себя: быть может, и вправду зря отгородился от маминого мира — вон сколько в нем коллизий.

Сидевшая позади него Зинаида позевывала, не раскрывая рта. Скрываясь от Марины Никитичны, отворачивалась вплотную к окну и даже зачем-то наклонялась, так что распираемая зевотой челюсть хрустела прямо над Топилинским ухом.

Открыли сами хозяева. Стоя посреди обшарпанного подъезда, прямо под ут-

верждением «Танчик — лох», Марина Никитична представила Воропаевых по полному параду:

— Евгений Юрьевич, доцент кафедры общей физики в любореченском университете. Ольга Вадимовна, преподаватель химии в любореченском университете, кандидат наук. — И коротко: — Саша, мой сын.

— Проходите, давно ждем, — сказала Ольга Дмитриевна, одаривая каждого сиятельной улыбкой, и самой сиятельной — Зинаиду. — С гостями в процессе пере-знакомитесь, хорошо? Там сейчас все в самом разгаре.

Топилин вошел — и будто в детство провалился, в один из тех бурливых вечеров, когда гитара и шутки оттеснены неожиданно разразившимся спором, который раскручивается все яростней и, кажется, вот-вот сорвется в скандал, в рукопашную, закончится перевернутым столом и звоном посуды. А потом настает время расходиться, слышны умиротворяющие любезности, и спорщики подают друг другу в прихожей пальто, раскланиваются, обещают приходить еще. Когда-то мальчик Саша обожал такие вечера.

Комната обросла книжными шкафами, словно многоцветной слоистой корой. Только в дальнем углу равномерно темнел платяной шкаф. Стараясь никому не помешать — не вспугнуть мираж из детства — Топилин юркнул в забитую до отказа комнату и пристроился на ручку кресла, в котором двое мужчин, его ровесники, рассматривали альбом с черно-белыми фотографиями, сопровождая некоторые из них негромкими отрывистыми комментариями. Спор их почему-то не интересовал.

— А ты не готов допустить, что люди оттого оскотинились, что не увидели альтернативы?

— Слушай! Стадо не может оскотиниться. Это тавтология.

— Ах, какие мы баре! А я настаиваю, что революция общественного сознания возможна! И мы к ней как никогда близки.

Спорили двое. Оба выглядели чуть старше Топилина. Костя в растянутом коричневом свитере, с искристым взглядом пророка. И человек в дорогом пиджаке, взглядом и жестом расплескивающий вокруг себя ледяную иронию. Судя по всему, это и был Петр Нечаев собственной персоной, второй сезон подряд играющий героического адвоката в популярном сериале, приглашенный на заклание компанией культурных провинциалов. А Костя-пророк, видимо, пришел произвести ритуальную казнь беглеца-в-столицу.

— Ну перестань, ей-богу. Какая такая революция? Да еще сознания?

— Посмотри на арабов! Еще вчера никто не верил.

Костялый зад пророка то и дело сползал с краешка кресла, столичный господин в своем кресле сидел неподвижно — впрочем, несколько переигрывал: видно было, что хочется ему и ногами потопать, и руками взмахнуть.

— Да что ты мне арабами все тычешь?! Вот придумал себе новую тыкалку! Арабы молодые, еще не наигрались. Не распробовали. И потом, положи руку на сердце, что ты там такого уж нового нашел? Оголодавшая босота ищет нового пахана. Плюс мусульманская специфика, да. А мы нация старенькая. Не побоюсь этого слова, смиренно вымирающая. И на революции после Бори Ельцина у нас устойчивый рвотный рефлекс.

— И что, этот путинский лохотрон, по-твоему, навсегда?! Вот то есть навсегда? Как ты живешь с таким тотальным, беспросветным пессимизмом?

— Здорово, Костя, здорово. А ты в своих розовых очках как поживаешь? Ты, помнится, при дяде Боре захлебывался от радости: швабода, швабода! А теперь — нате, лохотрон ему не нравится.

Марина Никитична с Зинаидой тем временем протиснулись поближе к спорщикам, уселись на стулья, которые специально для них передали через головы гостей.

— Тогда все нормальные люди радовались, — успел вставить один из них, воспользовавшись возникшей паузой. — Кто ж знал.

Поднявшись, Нечаев поздоровался и обнялся с Мариной Никитичной, с Зинаидой. Попытался завязать с ними светский разговор. Похоже, он был не прочь прервать дуэль. Но зрители были явно настроены на продолжение. Марина Никитична, насколько могла быстро, свернула неуместную болтовню.

— Ты ведь не был таким! — продолжил Костя, обжигая Нечаева огромными голубыми глазами. — Я помню.

— Мало ли кто каким не был, — с плохо скрываемой неохотой ответил Нечаев. — А сейчас я понимаю, что все здесь безнадежно, и все, что получили мы, любимчики и баловни, напоследок от Господа, так это тихую, сравнительно безболезненную смерть. <...>

Топилин нашел взглядом мать. Марина Никитична выглядела заинтересованной. Напоминала исследователя, наблюдающего за предсказанным некогда явлением. Глаза горели. Зинаида, как какой-нибудь лаборант, время от времени посматривала на нее, как бы сверяясь, правильно ли оценивает происходящее.

Самого Топилина спор увлекал несильно. Ужасные слова Нечаева были ему, разумеется, близки, хоть и страдали, на его вкус, избытком школьного пафоса. Но, произнесенные в кругу ранимых и верящих, слова эти задевали вопиющей бестактностью. Ему виделось в этом грубейшее нарушение правил игры. В Большом лохотроне каждый волен запустить свой собственный маленький лохотрончик — и жить интересной насыщенной жизнью. Что и делал сноб Нечаев, изображая в сериале пылкого защитника униженных и осужденных. Но зачем же об этом кричать? Моветон, ешкин свет.

— Да толку-то, Костя, от того, что ты себя этой вселенской болью пичкаешь? — Нечаев не удержался, дал волю эмоциям. — Толку-то чуть!

На лице у хозяйки читалась озабоченность. Видимо, столичный гость нанес удар ниже пояса.

— Полагаю, не стоит мерить пользой категории, относящиеся к духовной сфере, — заметила Ольга Вадимовна с несколько ехидной полуулыбкой. — А сопереживание своему народу, безусловно, проходит по духовному ведомству. И, думаю, для большинства здесь присутствующих это естественное состояние. Если хотите, потребность.

«О как!», — порадовался Топилин. Весьма неожиданно сочеталось высказывание Ольги Вадимовны, в котором угадывалась привычка к вселенским масштабам, с ее провинциальной автономностью, о которой рассказывала Топилину мать. Впрочем, какой же местечковый интеллигент не скорбит о судьбах мира? Именно эта высокая скорбь дарит ему устойчивое ощущение избранности: это вы в столицах своих поганых осквернились и продались, а мы тут храним чистоту.

— Оленька, Петр Николаевич и не сводит все исключительно к шкурной пользе, — галантно заступился за Нечаева хозяин. — Скорее, настаивает на пользе индивидуалистического подхода, так сказать, для всех. К здоровому обществу через здоровый эгоизм. Я правильно понял, Петр Николаевич?

— Возможно, — осторожно согласился Нечаев. — Хотя общество меня, честное слово, мало волнует.

— Простите, нас не познакомили, — поднялся Топилин навстречу отчаянно некрасивой молодой женщине в черно-голубом с горохами жилете. — Александр Топилин, для вас готов быть просто Сашей.

— Виолетта. Готова остаться Виолеттой.

В умных ее глазах мелькнула искренняя благодарность: Виолетта, видимо, скучала. Глаза... да, глаза. Извинялись за все остальное. Деликатно настаивали: это все не важно.

Со времен несостоявшегося юношеского романа с Ниной Топилин безропотно переживал приступ вины в отношении каждой умной, но некрасивой, с которой сводила его жизнь. Далеко никогда не заходил, но чувствовал себя обязанным полюбезничать хотя бы вскользь.

— Заскучали? — доверительно шепнул он.

Виолетта смутилась:

— Нет, я... покурить, — и добавила зачем-то: — Я с Евгением Михайловичем работаю.

Они вышли на балкон. Виолетта сразу начала дрожать, но от Топилинского пиджака отказывалась:

— Проветрюсь.

Топилин принялся рассказывать о том, как однажды, заблудившись в центре Москвы возле Большого театра (и ведь сто раз бывал, а вот пришлось идти пешком — и заблудился), он решил выпросить дорогу у людей, расположившихся покурить возле театральной тумбы.

— Дмитровский переулок мне был нужен. Смотрю, несколько парней стоят, такие плечистые, фактурные. Две дамы. Стоят, о чем-то переговариваются, курят. Я двинулся к дамочке, которая стояла ближе ко мне: извините, мол, не подскажете... Один из парней меня чуть грудью своей не зашиб — хотел оттеснить. Но дамочка развернулась вполоборота и ответила низким голосом, дирижируя сигареткой: пойдете, дескать, прямо, потом направо. Поблагодарил, отошел. Парень, помню, усмехнулся мне вдогонку. Шагов через десять понимаю: это ведь Майя Плисецкая. Обернулся — да, она... Дорогу, кстати, правильно объяснила.

— Любопытно, — удивилась Виолетта. — А она точно была с сигаретой? Я смотрела передачу о ней, где Майя Михайловна сказала, что никогда не курила.

— Точно. Это была Плисецкая. Не сойти мне с этого места.

— Странно, — заключила Виолетта.

Ее интерес к Топилину угас. Брехуны ее не интересовали.

— Нет, правда, — сдерживая смех, попытался спасти репутацию Топилин. — Я не мог ошибиться. Родинка, лицо запоминающееся.

— То есть она врала, когда говорила на камеру, что не курила никогда?

— Не знаю, — растерялся Топилин.

Виолетта смерила его недоброжелательным взглядом. Топилин не удержался от смеха.

— Извините. Давайте я лучше расскажу вам, как в Дрездене с Андреем Вознесенским в ресторане столкнулся.

— Ой, спасибо, — отказалась Виолетта, кидая окурки вниз. — Холодно.

И ушла.

Когда, докурив, Топилин вернулся в комнату, спор успел сменить тему и охватить широкие массы. Гости обсуждали, была ли выставка любореченских художников-авангардистов «Отбросы», прошедшая в восемьдесят восьмом под забором скотобойни, антисоветским выступлением или сугубо аполитичным протуберанцем мятежного духа. Вроде бы сходились на том, что любое проявление духа, тем паче столь мощный его протуберанец, неизбежно становилось антисоветским выступлением — в силу антидуховности всего советского.

— Так уж и всего?! Протестую.

— Уточни.

— А Юрий Гагарин?

— Ну-у-у...

Двое, рассматривавшие альбом с фотографиями, по-прежнему не вступали в общую беседу.

— Или возьмите вот этот последний его хит — «Сердцебиение» — это ведь черт знает что!

— Чистейшей воды мошенничество. Согласен.

Топилин вернулся на балкон, закурил еще одну.

Под домом, в тупике между гаражей, трое мальчишек играли в футбол: один на воротах, двое в поле друг против друга. С балкона открывался вид на самую середку Муравьиной балки: крыши «частного сектора» ввиду рельефа разбросаны беспорядочно, будто костяшки домино перед тем, как их начнут разбирать игроки. Развернулся лицом к балконной двери. Отсюда Топилину хорошо была видна вся комната. Наклонившись, мама что-то спросила у Зинаиды, та отрицательно покачала головой. На лоб съехала прядь волос, Зинаида машинально заправила ее за ухо.

Незадолго до скандала с Зинаидой-Падчерицей, в дни августовского путча девяносто первого, они с мамой отправились в центр Любореченска защищать молодую российскую демократию. Был второй день путча. Марина Никитична бегала от радио к телевизору, следила за новостями. Саша следил за матерью. До сих пор он считал, что политика мало ее интересует. Губы поджаты, руки то и дело сцеплены — все выдавало в ней крайнюю степень взволнованности. Как назло, в районе отключилась

телефонная связь. Позже выяснилось: экскаваторщик кабель зацепил. Но в тот вечер этого не знали. Один из телерепоражей от стен Белого дома спустил наконец взведенный курок. Живое кольцо, живые взволнованные лица. Люди дежурили всю ночь и не собираются расходиться...

— Все! — сказала она, кладя ладонь на стол. — Нужно ехать в центр. Наверняка там сейчас... — помолчала, глядя на сына, добавила коротко: — И ты со мной.

Пятнадцатилетний Топилин, привыкший к тому, что мать держится в стороне от политической истерики, захлестнувшей всех и вся, в тот вечер впервые до конца осознал причины ее сдержанности. Орать и плевать на телевизор, как делали соседи? Воевать друг с другом? Совать в равнодушные руки прохожих пафосные листовки, как делала баба Женя? Втягиваться с друзьями отца в нескончаемые дискуссии о судьбах родины, проклинать и строить прожекты? Учитель, библиотекарь, всю жизнь она провела в окружении слов. И вдруг оказалось, что довольствоваться словами не желает. И тут — баррикады...

Отец пришел после полутора суток работы: ночное дежурство, потом отработал за очередного уволившегося. Из его отделения тогда часто увольнялись. У Марины Никитичны к тому времени уже были приготовлены бутерброды, чай в термосе. Они с Сашей ждали, одетые, в гостиной. Как только отец вошел, она сказала:

— Мы к обкому. Возможно, на всю ночь. Ты с нами?

— Зачем? — удивился Григорий Дмитриевич, застыв с задранной локтем, наполовину вынутым из рукава.

— Как зачем? — удивилась в ответ Марина Никитична. — В стране военный переворот. Люди выходят на площади. Ты видел, что в Москве творится? Телевизоры включали?

— Да, да, — пробормотал Григорий Дмитриевич, снимая куртку. — Знаю. А точно выходят?

— Ты едешь, нет? Мы тебя ждали.

Григорий Дмитриевич взялся за края шарфа, легонько их потянул и сделал страдальческое лицо.

— Мариш, всю ночь, как белка в колесе. Пятерых приняли. Двое тяжелых. Потом целый день еще... еле на ногах стою.

— Ясно.

Марина Никитична шагнула к двери, Саша поспешил за ней, хватая с пола приготовленную авоську с термосом и бутербродами и стараясь не встретиться взглядом с отцом. Он понимал, что отец очень устал. Но ведь случай особый, история творится за окном, течет расплавленной лавой, и крепкие руки героев могут лепить из нее новый свободный мир. В общем, пришло время быть героем — а папа на диван...

Долго ждали автобуса. На остановке толпились молчаливые нервные люди. В те годы с транспортом в Люберецке было плохо. Вечер был теплый и ветреный. Как раз подходящий. Саша даже успел представить, как на ветру полощатся и гулко хлопают флаги и транспаранты. Пришел автобус. Влезли, слушая вялую перебранку пассажиров с водителем. Ехали молча. Саша смотрел на пустоглазых людей, которые окружали его в вечернем автобусе, и предвкушал встречу с другими — с благодарными защитниками демократии, с цветом Люберецка, с храбрецами, останавливающими танки.

Они вышли на остановке перед обкомом. Пустая улица. Редкие прохожие. Люберецк тогда рано затихал по вечерам. Ветер гнал обрывки газет и брошенные пакеты. Из парка доносились блатные аккорды. Под памятником стоял бомж, закутавшийся в матрас.

— Идем, — решительно кивнула Марина Никитична. — Значит, возле горкома стоят.

Быстро прошли квартал, отделявший обком от горкома и, выйдя к мохнатым елочкам, окружавшим серую многооконную глыбу, замедлили шаг. И здесь — ни души. Тишина. Фонари включены только у входа. Те же обрывки газет вперемешку с пакетами, черные тени.

Марина Никитична какое-то время стояла, задрав голову на помпезно-топорный фасад — а спящий горком смотрел на нее, мутно поблескивая оконными стеклами.

ми. И не был этот блеск тревожен или зловещ. Даже как будто наоборот — кроток был и добродушен. Будто сонные очкарики уставились вопросительно на Марину Никитичну с Сашей: чего прибежали, что за переполох?

— Никого, — выдавил Саша.

Из сумрака к ногам Марины Никитичны вразвалочку вышла толстая флегматичная болонка. Остановилась, подняла голову.

Марина Никитична перевела взгляд на болонку, порывисто развернулась и пошла на остановку. Саша еле за ней поспевал. Чай в термосе тихонько булькал.

Опыт площадной пустоты — уже в одиночку, для верности — бизнесмен Топилин повторил в 2004-м, когда случился Беслан. Потрясенный и напуганный, он не спал двое суток. По телевизору тогда тоже показывали тысячи людей, собравшихся вместе. Они стояли на площадях западных городов — со свечами, в траурном молчании. Минута памяти была объявлена и в Любереченске. Обаятельный губернатор выступил по местному телевидению, машины с громкоговорителями проехали по городу. Предполагалось, что любереченцы, взявшись за руки, образуют цепь, которая протянется по всей Садовой. Приехал ровно в полдень — время начала акции. Припарковался недалеко от здания бывшего горкома — как раз там, где стоял когда-то с матерью, явившись на защиту юной демократии. Из машины выходить не стал. Прохожие спешили мимо, ныряли в переход, выныривали из перехода. Прикрикивая и грозясь пожаловаться директору, преподаватели пригнали жиденькую группу старшеклассников. Те постояли с минуту, поплевали себе под ноги и разбрелись кто куда. И Топилин — постоял еще немного и уехал на работу.

— Все это тонко продумано! — доносилось из комнаты на балкон, где стоял Топилин.

— Обратите внимание, они в любом случае в выигрыше. Не пройдет национализм — будут нас с вами пугать: дескать, сидите, не вякайте. Пройдет — закатают всех в асфальт и заживут спокойно.

— Жаль, что это мало кто понимает.

— Да, жаль. Но мы-то с вами понимаем.

— Это да.

Марина Никитична рассказывала о чем-то устроившейся напротив хозяйке, время от времени привычно окликая Зинаиду: «Да, Зина?» Схватка здешнего Кости и заезжего Петра закончилась. Костя откинулся в своем кресле, утонул в нелегких мыслях. Нечаев тоже не выглядел триумфатором. Прихлебывая из большой красной чашки, он прислушивался то к одной, то к другой беседе, которые завязывались вокруг него. Скорей всего жалеет, что принял приглашение на казнь... вообще, что приехал в Любереченск. Прилепят ярлык столичного барина — да и хрен бы с ними, но вот с Костей рассорился, видимо, окончательно. И было б из-за чего... Марина Никитична поглядывала на Нечаева. Видимо, собиралась при первом удобном случае завести с ним беседу.

Все эти говорящие и слушающие люди напоминали Топилину присяжных заседателей, много лет назад запертых в комнате для вынесения вердикта по делу и забытых судом ввиду смерти подсудимого или судьи или из-за какого-нибудь бюрократического казуса. Пристав регулярно приносит им еду, выпускает в туалет — а они утешают друг друга почему зря, ссорятся насмерть и сходятся во мнении.

Он вдруг нутром ощутил, насколько второстепенно — непоправимо, унижительно второстепенно — все, что здесь происходит. Как одинаково бессмысленны и просроченная горячность, и продвинутый сарказм, сцепившиеся за человеческие судьбы в комнате, заросшей книжными шкафами. Насколько вся эта словолюбивая братия не влияет ни на что, равным счетом ни на что за пределами собственной, не вполне удавшейся жизни. Особенно же не влияют они на то, о чем говорят. Им, собственно, и не нужно. В голове вертелось забавное словечко «периферийность»: периферия, периферийное...

«Как же они периферийны, — нащупал наконец Топилин. — Отмирающий край. Тонкие отбросы. Вначале было слово, в конце — болтовня».

Марина Никитична разглядела сына на балконе. Конспиративно помахала ему

рукой. Сдвинула брови, показала: тут такое было... Топилин понимал, что и она все понимает. Она-то знает достоверно, что жизнь равна поступкам. Или поступку — одному, большому, — если он достаточно тверд и устойчив, чтобы выдержать целую жизнь. Она поняла это вовремя. Ее приятели не поймут никогда. И продолжают высококультурное свое существование. Потребляя прекрасное, выделяя слова. Очевидно, Марине Никитичне компания приятна. Но ведь они ей совсем не ровня. Не тот это круг, не тот. Вон она, Зинаида — убогий заморыш, спасенный из Долгопрудненского чистилища. Цена, уплаченная за это спасение, ни одному из присутствующих не по карману.

Вскоре Марина Никитична вышла к сыну на балкон.

— Нечаев отчалил, — доложила она. — Нечаев отчалил печальный. Правда, дамочку с собой прихватил. В горошистом жилете. Им по пути.

— Ты еще долго собираешься здесь пробыть?

— Не знаю. А что? Уже заскучал? С непривычки... Не всегда так, — заверила Марина Никитична. — Просто сегодня публика такая собралась. Ну, и Костя Булыгин, поэт, художник, драматург и вообще... здешнее «наше все».

Топилин полез за сигаретой. Прикурил.

— Мы, пожалуй, побудем еще. Ольга Вадимовна может обидеться, если рано уйти. Тем более сразу вслед за Нечаевым.

— Как все сложно.

— Чрезвычайно.

— Я все же слиняю. Скажу, зуб разболелся. Подойдет?

— Подойдет.

— Не дуйся только.

— Брось, о чем ты. Делай как хочешь.

— Мам, — сказал он, поколебавшись. — Зачем они тебе?

Она посмотрела на сына с грустной улыбкой.

— Для компании. Зачем еще.

Зинаида клевала носом, досадливо пощипывая себя за мочку уха. На некоторое время помогало.

— Мужики! Я все царапины на этом столе запротоколировал, учтите, — бросает Антон в каменный мешок подъезда. — Каждая новая царапина — минус десять процентов от чаевых. Так что, стараемся, несем аккуратно.

Грузчики что-то гудят в ответ. Антон весело оглядывает обшарпанную расселину переулка и, сунув руки в карманы, щурится на плавные пушистые снежинки, плавающие в ноябрьском небе. Шальной ранний снег, обреченный прожить недолго. Но красивый, пока летит.

Утро субботы. Тишина. Где-то жарят рыбу. По округе разносится не только рыбный запах, но и звук шипящего масла. Мать ругает хнычущего ребенка. Мурлычет радио в забравшейся на тротуар «газели». В лице Антона читается отчетливо: ах, как все славно устроилось.

— Э! — оборачивается он в подъезд. — Что там за стук?! Стол задели? Устали — отдохните.

Антон сказал: «Надо, чтобы ты тоже был. Мало ли что ей понадобится. Чтобы уже на уровне все сделать». Ясное дело. Надо так надо. Так и ответил. Повторил для верности, будто сам хотел расслышать получше, как звучит: «Надо так надо, Антон».

Ему безумно интересно наблюдать за собой сейчас. За тем, как парит в глухом своем затишье, опускаясь в ожидании дна.

Здесь?

Нет еще, не здесь, погоди. Еще немного.

В присутствии Антона они с Анной непринужденно переходят на «вы». Будто Антон ей муж. И каждый из недавних любовников держит в голове одно и то же: знает или нет? Тогда знал или нет? А тогда? Тот нелепый покойник, с которого все начиналось, — его будто и не было. Покойника все трое ловко обходят стороной. Сережа? Сережа... ммм... Погоди, дай вспомнить...

Уродливый треугольник. Вообще заканчивается все исключительно трудно и

мерзко. Но Анна и с этим справляется без видимых усилий. Приняла игру в посторонних легко — как все, что она делает. Тебе все это нужно, Саш? Не проблема. Щелк — и становится пренебрежительно-церемонной, чуть не по слогам выговаривает «Александр».

«Александр, спасибо, я вам завтра позвоню... Александр, у вас не найдется зажигалки?»

Ее самообладание начинает раздражать Топилина. Хочется увидеть Анну растерянной. Чтобы сломалась наконец, сдалась. Осыпала слезливыми проклятиями и его, и Антона — вообще всех и вся, как принято... Идиота Сергея — а как же! — который сначала бросил ее на съедение трущобе, потом придумал погибнуть под машиной любореченского блатного — будь он проклят со своей мировой, с этой квартирой, со своим помощником, затащившим ее в постель... Могла бы и себя для полноты присовокупить к проклятому списку. Растерянность, а того лучше отчаяние женщины, по которой он сох, как мальчишка, которая порвала с ним потому, что «все очень серьезно», облегчили бы его существование. По крайней мере, вывели бы из беспросветного сонного морока, не прекращающегося ни на один день. Но ждать от нее истерик бессмысленно. Будет плохо — забьется в угол, перетерпит. И Топилин загоняет свое раздражение поглубже, ему не привыкать утрамбовывать лишние эмоции.

Скорей бы закончилось. Устал. Скорей бы выпутаться из всего этого, из самого себя. Так или иначе. Да, Анна нужна бы. Хорошо бы. Если бы... вот бы... Но нету сил. Ну нету. Закончились. И потом, как все будет выглядеть?

Пожалуй, главная причина этой финальной апатии, из тех внутренних — вбитых гвоздем — причин, которых всю жизнь так боялся Топилин, состояла в том, что он завидовал Анне. Теперь, когда они перестали быть любовниками и рассыпалась иллюзия обладания, спрятаться от зависти было негде. Завидовал страшно. Неизлечимо. Мало того, что без ее тела он жестоко голодал, Анна сполна владела тем, о чем Топилин мечтал всю свою взрослую жизнь. Простота, понятая им столь кондово, простота, к которой он стремился с таким надрывом и отвращением, в исполнении Анны принимала совершенно иное содержание. Не простота, которая пустота. А простота, которая легкость. Легкость, Саша, от нее же ясность и цельность — и та неразменная жизнеобильность, которая так тебя заводит. Терять, терпеть, грешить, смиряться, любить и говорить «прощай», хоронить и ломать комедию — все дается светлоглазой сучке легко. И при этом получается так искренне и полновесно, что завораживает: «Как ты это делаешь? И я хочу».

Особенность организма, Саш. Не пытайся повторить. У тебя не получится.

Грузчики выволокли стол из подъезда, возбужденно поругиваясь и обливаясь потом.

— Сейчас царапины пересчитаю!

— Ни одной новой! Даже не сомневайтесь! — старается попасть в тон щедрому барину бригадир грузчиков.

— Ладно, ладно. Мы еще на месте поглядим.

И стол отплывает к распахнутой дверце «газели». В таком виде — толстобокий, с задранными к снежному небу мускулистыми ножками — он похож на погибшего в битве коня, которого несут почетно похоронить. А кожаная макушка героя победно сверкает ему вслед. Таков он, Антон Литвинов: куда ни встанет, делается центром композиции.

Он выглядит посвежевшим после монастыря. Бывает несколько забавен, когда принимается изображать Антона Преображенного, «человека, вкусившего правды целебной, реально воцерковившегося наконец-то, хотя и немалой ценой».

Антоновы имейлы, выглядевшие как отчеты о проделанном и писавшиеся кому-то другому, взыскательному постороннему, Топилин перечитывал по несколько раз. Случалось, под «Remy Martin» и органную музыку.

«Ты не представляешь, Саша, как благотворна для меня эта поездка. К сожалению, со старцем встретиться не получается. Старец Никодим болеет. Каждый день «скорая». А Феофан и Петр (другие старцы) в отъезде. Срочно уехали в столицу, на конференцию. Жаль, нужно было заранее про старцев выяснить. Ну, ничего. Зато я с игуменом много общаюсь. Эти беседы тоже — такая польза для души, если бы ты знал! Не представляю, что бы я сейчас делал, если бы не приехал сюда! Страшно

подумать. Перед отъездом, не поверишь, не спал ночами. Лягу, вроде в сон проважусь, а посреди ночи глаза открою и лежу. И мысли в голове. Чуть не закурил опять. На домашних срывался. Доходило до того, что детей не мог видеть. А теперь чувствую — отпустило. Я тут и руками поработал — уже забыл, когда такое было в последний раз. Стенку кирпичную клал. И даже ровно получилось! Раствор месил, песок таскал. Так-то. Труд, знаешь, тоже лечит. Вот, думаю, что бы такое дома себе придумать, какую-нибудь ручную работу. Может, на погрузках иногда шабашить :))) Работнички обалдеют. А игумен, кстати, наш человек. Дело тут наладил — мама не горюй. Пасека у него. Травы растут, мази всякие делают. Восемь видов. Стенку, кстати, для нового цеха клали. Развиваются мощно. Он тут хозяйство держит крепко. И в районе все у него схвачено, всем здешним на мобильники звонит. Кирпич не довели, так он прямиком главе здешнему на телефон. Наш человек, да».

Как выяснилось по возвращении, преобразование, о котором Антон докладывал в пространных имейлах, не нарушило привычного образа. Прежний Антон Литвинов: сыплет рваными тирадами, то и дело ощупывает цепкими жестами близлежащее пространство, давит на собеседника, теснит. Правда, креститься часто стал, пытается цитировать из Библии. После подписания мирового соглашения, прямо в кабинете следователя, проникновенно зажмурившись и отвернувшись от всех — получилось аккуратно к выцветшему плакатику тандема, — перекрестился и пробормотал молитву. Капитан Тарасов сидел очумелый и, кажется, не дышал. Анна вышла, не попрощавшись.

Еще одна новость об Антоне: отслеживает в прессе случаи ДТП со смертельным исходом. Коллекция набралась немалая. Особенно примечательными случаями делится с Топилиным.

— Представь, на скорости за сто км в час она сносит на хрен остановку. У самой шишка на лбу и каблук сломался. И что ты думаешь? Эта ебанько опускает стекло. Пострадавшие, спрашивает, есть? А там четыре трупа. Четыре, Саша! Понимаешь? Позвонила кому-то. Он ей что-то там сказал. Она подходит к чувакам за остановкой. Говорит: помогите, пожалуйста, номера с машины открутить, я хорошо заплачу. И вот тут — слушай, я в ауте — какой-то штрих берет и скручивает ей номера. Она их кладет в багажник и ждет ментов.

После стола грузчики снесли в «газель» обернутые в плотную бумагу фотоплотна, украшавшие стены коммуналки. Больше Анна ничего перевозить не собиралась. Топилин двинулся вразвалочку к подъезду.

Снег запорошил обледенелый тротуар. Вчера моросило, ночью подморозило. В воздухе снег пушист. На асфальте сер. И не скрипит. Нужен настоящий мороз, покрепче, чтобы скрипел и не таял.

Антон тем временем деликатно позвонил Анне по телефону.

— Они закончили, Анна Николаевна. Можно отправляться.

Послушав трубку, он обернулся к Топилину, замахал рукой: иди сюда.

— Просит тебя подняться, — сказал Антон, и добавил, головой качнув шутливо: — Вы тут сроднились, смотрю...

— А то.

Еще недавно и ему бывало легко. Перепадало от Анны. Стоило представить, как будет в постели, вспомнить ее кожей своей — все делалось ясно и хорошо. Халява кончилась. Дальше — сам. Но легкости не дано ему, хоть убей.

Разве что давным-давно, мимолетно: радость первых предпринимательских побед, уроки Макарина... Теперь и вспоминается-то с трудом.

— Как ты на все это смотришь? Мне важно, — не удержался он, спросил недавно, когда они стояли по разным концам холла в ее красивой новой квартире (воцерковленный Антон оплатил Анне царский ремонт).

Его устроило бы что-нибудь избитое вроде: «Сережи все равно не вернуть. Мне нужно было о Владе подумать». Могла бы вполне банальностью отделаться. Напоследок.

— Поздновато ты вопрос этот задал, — сказала она, на него не глядя. —

Я раньше ждала. — Покрутила барашком выключателя, разнообразно меняя свет на затейливом ступенчатом потолке. — Как будто он без меня не откупился бы... без моего согласия. Не так? Ты бы ему и помог. Я раньше вопроса этого ждала. Не знаю, может, иначе ответила бы.

— Да уж ответь как-нибудь, Ань.

— Что тебе ответить? Чего я в судах ваших не видела? — пожала она плечом. — Лишний раз унизиться? — Долго крутила барашек, играла иллюминацией. Потом включила свет поярче. — Вот так и смотрю, Саша, на все на это. Доходчиво объяснила?

— Доходчиво.

— Ты прости, что так резко, — сказала она. — Давай не будем лучше об этом.

— О чем?

— Да об этом, Саша, об этом. Не тупи, ради бога. Прения закрыты. Раньше надо было преть.

Даже злую эту тираду, на которой другая непременно сорвалась бы в слезы и крик, отчеканила сухо, но невозмутимо. Почувствовал себя жалким мальчишкой, который долго и скрупулезно готовил дерзость, вынашивал, оттачивал, предвкушал — и вот наконец надерзил, а ему в ответ: «Что ты, мальчик? А? Иди, не до тебя».

Когда Топилин вошел, Анна стояла посреди комнаты, без фотографий на стенах и стола сделавшейся вмиг необитаемой — и собственной необитаемостью напуганной: каждый мало-мальски громкий звук, оттолкнувшись от стен, долго мечется, нервно екая, из угла в угол, пока не затихнет под потолком. Оставленная мебель замерла с выдвинутыми ящиками и раскрытыми дверцами, как пойманные воришки с вывернутыми карманами, распахнутыми на всеобщее обозрение пулами. Все надрано так, будто не уезжает, а вселяется. Пол блестит — неужели мастикой натерла? — в углах ни единой паутинки.

— Не могла его бросить, — сказала она.

Руки согнуты в локтях, кулаки сжаты. Будто в руках у нее скакалка.

— Ты про что?

— Стол, — кулаки по-прежнему подняты, сейчас размахнется и пойдет скакать. — Стол не могла бросить. От бабушки достался. Прабабкин еще.

— Ты говорила.

— Единственное, что сохранилось из ее вещей.

— Ты говорила, Аня.

Сил нет слушать про этот стол. Сколько можно...

Вот-вот, кажется, вот уже совсем близко. Добрался почти. Скоро там? Скоро. Потерпи немного. Упадешь и ты.

— Саш, мне больше некого просить. Владу не дозвонилась, не отвечает на звонки. Переживает. Ничего. Перезвонит. У него всегда так. Сначала цапнет, потом задумается. Характер. Не нравится ему, что я согласилась.

Наверняка ее трусит сейчас. Мелкой дрожью. Но держится, виду не подает. Говорит ровно, выкладывает слова аккуратно — ни одно не выскользнет бесконтрольно, не выдаст.

Опустила наконец руки. Топилину за спину кивнула:

— Там вещи Сережины. — Топилин обернулся. В нише под верандой его дожидался черный пластиковый мешок для мусора. — Некрасиво в мусорный мешок, я знаю. Коробки не нашла подходящей.

— Мне привезти это к тебе? На новую квартиру?

— Нет. Я хочу, чтобы ты это сжег где-нибудь. Там одежда в основном. Влад говорил, ему не надо. Я тоже не хочу хранить. Зачем, для галочки? Говорят, друзьям раздают. Но я не знаю его друзей. Не хочу. И бросать здесь не хочу. Как только уеду, Софочка непременно сюда влезет. Не хочу, чтобы в его вещах кто-то из них ходил. А выбросить в жбан...

— Да ладно, ладно. Понял. Что ты так уж расписываешь... Понятно все.

— Сожги, пожалуйста.

— Сожгу.

— Думаю, мне лучше с тобой поехать. Так будет лучше.

— Не знаю. Какая разница?
Стояла, раздумывала.
— Нет, давай все-таки вместе.
— Давай вместе. Только, если можно, без цветов и оркестра.
«А все-таки дала трещину, — отметил Топилин. — Но держится».
— Так ты едешь? — спросил он. — Антон тебя внизу ждет.
— С ним? — повернулась к окну. — А в «газели» можно?
— Там места нет, Аня. Там же грузчики. Какая разница?
Подошла к окну, раздвинула шторы.
— Тогда ты меня отведи. Пожалуйста. Пожалуйста, скажи ему... Ничего, я сама.
Отвезешь, нет? А потом сразу вещи Сережины... Где это можно сделать?
— Да отвезу, отвезу.
Позвонила Антону.
— Антон, если вы меня ждете, то не ждите. Я с Александром поеду. Да. Да, встретимся на месте. — Развернулась к нему. — Поехали?
— Поехали.
Рванула к двери.
Топилин прихватил мешок, они вышли в коридор. Анна торопливо зашагала к выходу. Топилин нагнал ее уже на лестнице.
— Там внутри спички и смесь для розжига. Такие, знаешь, которые для барбекю.
Не получилось ничего — только зря вымазался.
— Повезло бабе, — вывалился в подъезд старушечий голос из коридора второго этажа. Дальше еще что-то.
Внизу Анна, ни на кого не глядя, отправилась напрямик к машине Топилина. Села на переднее сиденье, мягко захлопнула дверь.
Когда вышедший следом за Анной Топилин спустился с крыльца, Антон шел ему навстречу. Прогуливался, дожидаясь.
— Да-а-а, сроднились вы не на шутку, чего там... — И подмигнул.
Так вышло, что первым же ударом Топилин раскроил ему нижнюю губу.
Ноги разъехались на льду, и удар пришелся вскользь. К тому же бил левой.
— Ах ты блядь! — удивился Антон, сгибаясь и хватая лицо руками.
По подбородку его и дальше вниз, огибая кадык, щедро лилась кровь. Антон распрямился и встал перед ним, улыбаясь. Губа лопнула глубже. Разбитая губа его не остановит, понятно.
— Да-а, Санечек, — сипло хохотнув, он смерил Топилина насмешливым взглядом. — Далеко у вас тут зашло, слишком далеко. А я, блин, не верил.
Грузчики один за другим повылазили из «газели», двинулись к ним неуверенно: шаг — встали, еще шаг. Антон вытер ладонью подбородок, картинно размазал кровь по груди, по любимому тонкому свитеру из Милана.
Топилин отбросил к стене мешок. А что ж теперь?.. Так получилось. Будто под руку кто толкнул.
— Я тебя, уродец ты мой, для чего к бабе-то приставил? — Антон говорил негромко, вальяжно растягивая слова; успел собраться. — А ты что? Совсем охренел?
Шагнув незамысловато вперед, Антон махнул правой. Метил в челюсть. Топилин отступил, Антона развернуло боком.
— Да что вы, что вы, — сунулся к ним водитель «газели». — Перестаньте.
— Назад, дебил! — рывкнул на него Антон. — Стой, где стоишь.
Топилин ударил и попал — снова по зубам, но теперь несильно. Подумал вдруг: а дойдет ли у них до перестрелки? У каждого в бардачке припрятана пневматика.
Выцеливали холодными внимательными глазками. Каждый готов размозжить другого о запорошенный асфальт, но самому нельзя при этом рухнуть.
Чувствовал себя Топилин исключительно. Кровь на лице у Антона веселила.
Антон ударил во второй раз. Топилин нырнул под удар, не совсем удачно: Антон зацепил его по затылку. Топилин ткнул в ответ левым кулаком в грудь, запустил следом правый в голову. Мимо. И, уже распалаясь, злясь на себя за промахи, выбрал необходимые полшага, запустил двойку и левый боковой напрямик в отполированный мужественный череп. Два в лоб, один в висок. Антон пошатнулся, но не упал.

Башка — хоть гвозди забивай. Отступил к «газели», вцепился в лопухое зеркало. Если бы не лед, если б нормальная опора под ногами... Но все же удалось вложиться. Получив нижний в челюсть, Антон закрыл голову обеими руками и ушел вправо.

Надо же, никогда б не подумал, что сможет бить Антона. Приятно. Не секс, конечно. Но приятно.

От первого удара Топилин ушел, следующий пропустил. Увесистый правый джеб угодил ему в скулу, зацепив на излете нос. Небольшой нокдаун. Пришлось теперь ему отступить, подождать, пока в голове утихомирится. Потекла и у него юшка. Вытер сгибом локтя.

— Так вот я и спрашиваю, — сказал Антон, ослабив окровавленные зубы. — Тебе что велено было делать, а, потс убогий?! Велено было все уладить по-людски. Так? По-людски уладить. А ты? Ты что, гнида, учудил? Я тебя спрашиваю! Вы простите, Анна Николаевна, — бросил Антон в сторону, не отрывая взгляда от Топилина. — У нас тут разговор вышел. Свойский. Скоро закончим.

Анна вышла из машины и стояла у дома напротив. Топилин глянул мельком — она плакала. Обычно так плакала: лицо некрасиво сморщено, рот растянут по-рыбьи, ноздри дрожат.

Антон поднялся с проезжей части на тротуар: там не так скользко. Топилин последовал за ним. Сейчас восстановится дыхание — и нужно бить.

— Честно сказать, я в глубине души так и знал, что ты тварь неблагодарная. Все эти годы. Что-то точило. Вроде бы свой в доску и весь такой, мать твою, правильный. Но как будто в маске. Постоянно, блядь! Чувствовал тебя, гниду.

На этот раз Антон отутюжил его, как хотел. Удары сыпались со всех сторон, почти все достигли цели. Особенно удачно въехал в левый глаз. Ощущение такое, будто в глазницу вдавили тяжелый, неподходяще крупный предмет. Мясистое яблоко антоновка вместо родного привычного глаза — с колючим черешком и листьями.

Оба запыхались. Обхватили друг друга поперек туловища и, будто по приказу, выпустили, отпрянули на шаг. Топилин потряс головой, будто пытаясь исторгнуть из нее инородный фрукт.

Зрителей повысыпало в каждом окне. Некоторые снимают на мобильники.

Решающий удар пришелся Топилину по печени. «Печеночной котлеткой подавился», — сказал бы Иваныч укоризненно. Под кулаком Антона печень его съезжилась — и словно марионетку ниточками сложила Топилина пополам. Завалился перед Антоном на одно колено, будто собрался руку и сердце предложить.

Тот присел, засадил локтем в висок. Потом несколько раз носком по ребрам. Потом в ушах зашумела морская волна: плеснула шипучей пеной, нежно галькой процокотила, вытеснила все остальные звуки, но быстро умолкла, возвратив все, что унесла, на место. Хлюпающие шаги. Смутный говорок зрителей. Над головой качался голос Антона.

— С удовольствием раздавил бы гниду. — Он старался говорить без одышки, отчего получалось так, будто говорил он с набитым ртом. — Только ради вас, Анна Николаевна.

Перекатился на бок, навел уцелевший глаз на противоположную сторону переулка. Анны там не было. Вдруг услышал, как она прошла совсем рядом — прошуршала плащом у него над головой.

— Ань...

Нужно сказать ей... Что? Что сказать? Вылетело...

Приподнялся на локте. Анна всходила на крыльцо своего подъезда. Опрокинулся, сплевывая налипшую грязь, на спину. Сверху летели плавные пушистые снежинки. Вспомнил давно забытое, подмеченное однажды в детстве: если смотреть снизу на отвесно падающий снег, он выглядит сероватым на фоне светлого неба — собственная тень затемняет снежинке испод.

Давненько под снегом не валялся.

— Хозяин, а вещи куда?

— Куда, блядь, куда! Назад тащите! — крикнул Антон. — Сами разберутся.

В снежинки влетел ворох купюр, улегся в снежную жижу.

— С тобой позже договорим, — услышал. — Пообстоятельней.

Оторвал голову от холодного и мокрого — но тут же улегся обратно: на большее сил пока не было.

— Башкой вертит. Ничо вроде. Целый.

— Это который? Тот самый?

— Ну.

— Так кто из них ебарь?

— А кто их поймет.

— Да этот же, этот.

Худошавая испитая баба, потрепанная и замусоленная, как старый червонец, изогнувшись кверху, крикнула торчащей этажом выше Софочке:

— Слышь, подруга, так который из них-то?

— Вроде тот, что прилег, — с наслаждением проговаривая слова, отвечала та. —

А там кто их знает. Может, и оба. Оттого и повздорили. Тесно двоим-то.

Раздался многоголосый хохот.

— Вот так Анята!

— Хваткая вдовушка!

— А ну, закрыли рты, твари! — гаркнул Антон, и на переулок обрушилась тишина.

Она продержалась лишь несколько секунд. Скоро послышались осторожные смешки, кое-кто невнятно огрызнулся.

— Я кому сказал закрыть пасти! — снова взорвался Антон. — Кто тут самый пиздливый? Ты, что ли? Ты? Кому, блядь, язык в жопу затолкать? Спускайся сюда. Или мне подняться?

Поворачиваясь из стороны в сторону, он обращался то к одному, то к другому насмешнику, от каждого добиваясь твердого молчания. В паузах Топилин слышал, как в снежной жижице чавкают его подошвы.

— Сюда иди, если сказать хочешь! Бегом! Или, тварь, я сам к тебе поднимусь! Что ты вякаешь, овца конченная? Мне подняться? Ты! Вот ты, уебок носатый — что ты там торчишь? Иди сюда. Спускайся, я сказал! Слышишь меня? Сюда иди. Или засунься поглубже, чтобы я шнобеля твоего не видел! Каждого, — рычал Антон, — каждого, твари, кто хоть словом эту женщину обидит, каждого дерьмо свое жрать заставлю. Досыта, твари! Досыта наедитесь у меня!

Притихшие зрители отходили от окон.

Топилин сел, посидел, дожидаясь, пока перестанет уползать тротуар. До конца так и не дождался, но приноровился, встал — сначала на одно колено, в исходную позу, потом поднялся на ноги.

Хмельной прохожий качнулся было в его сторону, чтобы помочь, но по пути передумал и, заложив широкий вираж, удалился.

— С добрым утром! — бросил напоследок Топилину кто-то из жильцов; вроде как пошутил, но совершенно без огонька: Антон все еще стоял внизу.

Он уехал, когда окна опустели, раскатисто газанул на прощание.

— Проиграл, — сообщил сам себе Топилин. — Техническим нокаутом.

Неверным шагом двинулся к своей машине. По дороге прихватил пластиковый мешок. Нужно было поторапливаться. Яблоко в правом глазу превратилось в ежа. Ежик дремал, свернувшись в клубок, но вот-вот мог проснуться, распрямить залежавшееся тельце.

— Ну, вышло как вышло, — заключил Топилин, забравшись на сиденье. — Глупо, конечно. И рожа разбита.

(Продолжение следует.)

Станислав Ливинский

История болезни

* * *

Вот фотография — ребята,
по восемнадцать шумных лет.
У них не оказалось блата.
Повестка из военкомата,
военный новенький билет.

В стране без права перемотки,
в зелёной выцветшей пилотке
почти при батюшке-царе
я, словно муха в янтаре:
найди меня на этой фотке.

Салага с талией осиной.
В казарме холод. Дедовщина.
Из дома писем долго нет.
Ещё игрушечный мужчина,
я в настоящее одет.

И песня главная о старом,
как смерть дынула перегаром,
и ты сползаешь вниз по стенке,
и пинешь маме на коленке —

Люблю. Целую. Не скучай.
И краснодарский куришь чай.

Отбой. Дежурный свет луны.
Но в армии не снятся сны.

А где-то дембельская осень.
Всё по накатанной пойдёт:
заматереешь через год,
умрёт отец, девчонка бросит.

Да что ты знаешь о судьбе?
Сидишь, играешь на губе,
что время до смерти залечит,
что через десять лет с предплечья
сведёшь наколку ДМБ.

Не замирает больше дух.
И гармониста лишь по пьянке
в пивной попросишь — сделай, друг,
для нас «Прощание славянки».

* * *

Там в залог оставим паспорта.
Здесь перекантуемся на даче.
На крышу сядем у пруда.
Плещется зелёная вода.
— Можешь плавать?
— Только по-собачьи.

Ливинский Станислав Аликович — поэт. Родился в 1972 г. в г. Ставрополь. Работал фотокорреспондентом, видеооператором, звукорежиссером. Участник Форумов молодых писателей России в Липках. Стихи публиковались в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Волга» и др. Автор книги стихов «Оглазок» (Ставрополь, 2000). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Ставрополе.

Не свисти — несчастья не накличь.
Дерево сухое, рядом свая.
Битые бутылки и кирпич.
На холме раздолбанный «Москвич»
без колёс — тебя напоминает.

Что ещё? Палатки, молодёжь:
выпивают — чем тебе не смена?
Вытрешь о траву и спрячешь нож.
Снимешь всё с себя — идёшь-идёшь,
а воды всё время по колено.

* * *

Ждать, на досуге рожать — вот она бабская доля.
Стряпать, на стол подавать, сильно глаза не мозоля.
Мамой свекровь называть, всё о супружеском долге...
Мужа любить. Провожать, думать — и мне уж недолго.

Выпьет, заладит одно — как же ей жить надоело,
как вот такая оса к ним перед смертью влетела,
как он в Сочах ей купил кружку с дельфином вот эту
в семидесятом году. Выпьет и ляжет одетой.
Утром к соседу зайдёт, скажет, что вот, приболела,
что поглядел бы розетку — магарычье дело.

Не прибирай же пока — дай ей собрать узелочек.
В небе пасёт облака первенец, бедный сыночек.
Ангелы там, погранцы в белой парадке, погонах
тихо возьмут под уздцы, молча накроют попоной.
Кто вы? Они ей — свои, бабушка, ангелы смерти.
Мимо тюрьмы понесут, мимо Андреевской церкви.

* * *

А если начинали, то с конца,
что Бога нет, что вот вам дети идол.
Ещё для краснопёрого словца —
Гагарин, мол, летал — его не видел.

Игрушки деревянные сложив,
на три носка натягиваешь кеды.
Пьют у подъезда, ходят в гаражи.
Русь, мать её, сказали б краеведы.

Чьи это земли? Знаемо — ничьи.
Ребята возвращаются с шабашки.
Портреты. Флаги. Даже воробьи
чирикают как будто по бумажке.

Иное что-то в смысле естества.
И ты, не призывая к падшим милость,
выкладываешь буковки, слова.
Отходишь посмотреть, как получилось.

* * *

Стихи — история болезни.
А он, простите, не заразный?
Позеленел нателный крестик.
И кто-то в душу так и лезет
отвёрткою крестообразной.

Вот мой лирический герой,
в трусах и шлёпках, без виньетки.
Ему б опять — советский строй,

гитару, «Город золотой»,
глазок замазывать соседке.
И память, как защитный слой,
шкряб-шкряб монеткой.

Плыви, лиловая тоска.
Цветная нить, ужасный почерк.
А время — пяточка-носочек...
Заначка где-то между строчек
черновика.

* * *

А в нашей церкви клуб да склад.
Кинемеханик в кинобудке
живёт и курит самосад:
из «Правды» лучше самокрутки.
Кинемеханик — фронтовик,
сперва — герой, потом — штрафник.
Сидит, скрипит себе протезом.
Ему бы лучше хлебобрезом.
Он положил на всё давно
и крутит бабонькам кино.

Погашен свет. На том конце
в окопе ахнула фугаска.
Старлей с гримасой на лице
упал, с него слетела каска.
Вот он у смерти на крыльце
в терновом форменном венце
и кровь течёт, как будто краска.

А дальше — люди у костра.
Походный госпиталь. По кругу

солдат выносит из ведра
бинты, осколки, чью-то руку.
Стемнело. Фриц не кажет носу.
У лампы вьётся мошкара.
Врачу в палатке медсестра
подкуривает папиросу.

А вот дорога. Грузовик
везёт домой корреспондента.
Над ними кружит штурмовик
и дожидается момента.
Всё ниже, ниже над землёй.
Он разглядел лицо пилота:
вот мать с отцом, вот он с семьёй,
вот смерть, моргнувшая на фото.

И всё... До нового сеанса.
А после в клубе будут танцы,
а под окошком пацаны.
И патефон играть, где сцена.
И женский вальс послевоенный,
как будто не было войны.

* * *

Погасили все светила,
перебили зеркала.
Говорила, что любила,
по фамилии звала.

Говорила, что когда-то
ты да я, да мы с тобой.
Но осталась, как цитата,
в этой жизни проходной.

Просто — разная распайка,
передавлена строка.
И душа — домохозяйка
лет, примерно, сорока.

Владимир Даниленко

Рассказы

С украинского

Перевод Татьяны Мартынюк

Уши

Всю жизнь Зина Чечель стеснялась своих ушей. И не то чтобы они были у нее очень большие, нет. Просто уши оттопыривались. Поначалу Зина боялась, что с такими ушами на ней не женится ни один мужчина. А когда вышла замуж за Жору, начала переживать, что и ребенок родится с такими ушами.

«Хорошо, если мальчик, — думала Зина, — а если девочка?..»

Рожать она поехала к родителям в Овруч. Сначала небо сжалилось над ее страхом — и Зина родила мальчика. Жора в это время защищал в Киеве дипломную работу, и Зина сразу попросила маму отправить ему телеграмму: «Поздравляю с мальчиком. Похожий на тебя. Три пятьсот. Уши не торчат». Малыша решили назвать Богданом. И как сглазила, потому что, отправив телеграмму, вечером, или уже на следующий день, заметила, что у ребенка оттопырились ушки. Зина прижимала их к голове — уши расправлялись, но сразу сворачивались, будто разваренные вареники. Завязывала на ночь косынку, бинтовала, но они все равно торчали.

«Что поделаешь?.. — думала Зина. — У моей мамы такие уши, у бабушки были такие уши, и у моего малыша будут такие уши».

Так она с этим и смирилась, но не смирился Богдан. Как только подрос, стал ее спрашивать:

— Мама, а почему у меня уши торчат?

— Ну почему торчат?.. — отвечала мама Зина. — Просто у меня такие ушки, и у бабушки Гали, и у прабабушки Любы тоже были такие уши.

— А у папы не торчат.

— У папы не торчат, — погладила по голове мальчика, — но ведь у мамы торчат.

Богдан замолчал и долго смотрел, как ошалело ползает притравленный таракан.

Накануне дня рождения мама Зина поинтересовалась, что мальчику подарить.

— Запиши меня на какую-нибудь операцию, — нахмурился он.

Владимир Даниленко — прозаик. Родился в 1959 г. в с.Туровец под Житомиром в Центральной Украине. Окончил филологический факультет Житомирского пединститута и аспирантуру Института литературы НАН Украины. Автор книг повестей и рассказов «Город Наоборот», «Сон из клюва стрижа», «Тени в поместье Тарновских», книги эссеистики «Лесоруб в пустыне», романов «Газели бедного Ремзи», «Любовь в стиле барокко», «Шляпа Сикорского», которые неоднократно входили в списки украинских бестселлеров. Лауреат национальных премий. Произведения переводились на польский, немецкий, итальянский, японский языки. Живет в Киеве. Преподает в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

— На какую операцию?!

— Уши подрезать.

— Ах ты ж Господи! — всплеснула руками она. — Что ты к этим ушам прицепился?

С трудом загладила этот неприятный разговор, купила Богдану роликовые коньки, и он перестал говорить об ушах.

А в преддверии Зеленого праздника¹ мальчик разбил чашку из бабушкиного сервиза. И уж на что бабушка Галя благоволила к нему — и та вскрикнула:

— Вот лопухий!

После этого Богдана как будто сглазили. Он смотрел на лопухи под забором — и они напоминали его уши. Зашел в сад, а на вишне — деревянный гриб.

«И вишня ушастая», — подумал мальчик.

В сумерках, не ужиная, уснул. Приснилась ему степь. Идут они с бабушкой степью, а бабушка Галя показывает палкой на небосклон:

— Во-о-он там взойдет солнце. Во-о-он там.

И тогда из-под земли во весь горизонт выросло огромное красное ухо.

С тех пор мальчик, когда смотрел на людей, сразу обращал внимание, у кого какие уши.

— Баб, — спросил однажды Богдан, — а почему у меня такие большие уши?

— Доверчивый потому что, — зевнула бабушка Галя.

Она сидела на крыльце и громко зевала.

— А Расскажи мне, какие у твоей бабушки были уши.

— Сейчас я все брошу и начну тебе рассказывать, какие у моей бабки были уши, — зевнула бабушка Галя и захрустела челюстями. — Пойди лучше собери груши.

«С такими родственниками разве поговоришь об ушах?» — подумал мальчик и отправился к дяде Коле. Его дом был заставлен книжками о войне, походах, политических интригах.

— Да не думай ты об этих ушах, — сказал дядя Коля. — Чем больше о них думаешь, тем больше они у тебя вырастут.

— Как же мне не думать, если каждый день вижу их в зеркале? И в школе пристают, выдумывают разное: «Богдан — лопухий».

— У гетмана Мазепы, — показал дядя книгу, — были такие уши. И у философа Сквороды не лучше.

— Так, может, у них они были не такие оттопыренные, — засопел мальчик. — А у меня — видишь?! — с обидой дернул себя за ухо.

Дядя Коля подарил ему книгу о выдающихся людях и посоветовал:

— Когда будет плохо, посмотри на уши этих достойных людей, почитай, чего они достигли, — и тебе станет легче.

Но Богдану от этого легче не стало.

Однажды он собрался с мальчишками на речку, но тут его окликнула бабушка Галя:

— Иди сюда, — поманила пальцем. — Так это ты на речку собрался? А знаешь, что сегодня купаться нельзя?

— Почему?

— Сегодня Илья. Искупаешься — из задницы верба вырастет.

— А что же я буду делать?

— Собери лучше груши в саду.

Богдан надулся, взял корзину и пошел собирать груши. По битым грушам ползали осы, и одна укусила его за руку. Он раскричался на весь двор. Сопя, бабушка Галя вытянула жало, приложила к ранке нож.

¹ Троица.

— Когда пройдет боль, прогуляйся. Но долго не ходи, придет мама — кричать будет.

Богдан не стал ждать, пока перестанет болеть распухшая рука, достал из пенала собранные деньги и отправился в город. Купил мороженое и, измазавшись, крутился между торговыми рядами на Житнем рынке.

После обеда, когда солнце зацепилось за самое высокое здание, Богдан увидел ушастого дядьку. Такого ушастого... О-о-чень ушастого! Из его оттопыренных мясистых ушей торчала жесткая черная шерсть. Толстый дядька в белых брюках и белой майке с большим херсонским арбузом напоминал белый дирижабль. Богдан очарованно брел за ним, пока тот не повернул на улицу Бориса Тэна. Около часа мальчик бродил возле его дома. Наконец отважился открыть железную калитку и зайти во двор. Во дворе хрипел и рвал цепь лохматый пес. Мальчик позвонил в дверь и смотрел, как лезут по крыльцу красные древесные клопы.

За дверью зашаркало, щелкнул замок, приоткрылась дверь. Из дома потянуло кислым воздухом, какой бывает в жилище одиноких мужчин. Дядька посмотрел на мальчика.

— Ну? — сказал и пошевелил ушами.

Мальчик собрался с духом и громко закричал:

— Как вы живете с такими ушами?! Потому что я уже не могу!

— Тише, тише! — замахал руками дядька. — С нашими ушами глухих не бывает, — и защелкал языком: чмок, чмок, чмок. — Будешь арбуз? — Богдан кивнул. — Садись. Не бойся, — воткнул нож, арбуз хрустнул, и из него потек сок. — Хороший арбуз, сочный арбуз, — причмокнул дядька и протянул ломоть мальчику. — У тебя есть уши, — сплюнул в раскрытую ладонь семечки. — Думаешь, эти уши у тебя просто так? Просто так ничего не бывает. Ты не такой, как все, — хрустнул арбузом и громко отрыгнул. — Посмотри на эти уши. Видишь: они выше бровей. Значит, тебя ждет хорошая карьера. А вот эта родинка говорит, что ты осел. Если тебе в голову что-нибудь взбредет, тебя не остановит никакая болячка.

— Не хочу я такие уши, — надул губы мальчик.

— Если у человека большие уши, — захрустел арбузом дядька, и сок потек у него по щеке, — это не значит, что он некрасивый. Просто у него такая эстетика.

— Я хочу маленькие ушки, — всхлипнул Богдан.

— Маленькие, прижатые к голове ушки — у злобных людей, — выплюнул семечки дядька.

— А я такие хочу.

Дядька повернулся, заслонив собой окно, и стал похож на большого напыщенного ворона.

— Да кто ты такой — Бог?! — задохнулся от негодования. — Ты знаешь, что у человека каждое родимое пятно что-то значит? Я уже не говорю об ушах, где складка или мочка может рассказать, что тебе на роду написано. Твои родители могут заплакать — и тебе изменят уши. Но после этого тебя так жизнь накажет, что будешь не рад.

— Ну и пусть! — завизжал Богдан. — А я не хочу такие уши!

— Цыц, — рассердился дядька, — а то накаркаешь!

Они замолчали и смотрели, как становятся длиннее тени. Над арбузом кружилась надоедливая муха, и дядька прогонял ее рукой.

— Кто вы? — спросил мальчик.

— Хо-хо! — закричал дядька, и в его груди захрипела гармонь. — Может, я царь лопоухих.

— Тогда я пойду, можно? — тихонько попросил мальчик.

— Иди! — захрустел арбузом.

Дома Богдан долго сидел нахмуренный, а потом стал доводить маму Зину до белого каления.

— Да никто тебе в Житомире не исправит эти уши, — зашуршал газетой папа Жора.

— А в Киеве исправят!

— Как дам сейчас по ушам! — взвизгнула мама Зина и пожалела, но было уже поздно.

Весь вечер и следующее утро всю семью трясло от его истерики. Утром мама Зина не сняла с волос бигуди. На улице Восточной она заметила, что вслед ей оборачиваются мужчины, а красный автомобиль медленно едет за ней, и из окна высунулся мордастый дядька.

«Наверное, я сегодня очень красивая», — подумала мама Зина и завияла бедрами.

Она так бы и пришла на работу, если бы не продавщица, у которой она покупала лифчик.

— Женщина, — наклонилась к ней продавщица, — вы смотрели сегодня на себя в зеркало?

— Что? Где?! — испуганно завертелась мама Зина, одергивая себя со всех сторон.

Посмотрела на ноги: колготки целые, натянуты правильно — пятками назад.

— Да не там, — зашептала продавщица, — а на голове.

Она схватилась за голову — а там бигуди.

«Ну, все, — подумала мама Зина, — как он меня достал с этими ушами. Пора уже что-то решать».

После этого она повезла Богдана в Киев, и там ему подтянули уши.

Мальчик не отходил от зеркала. Изменил прическу, стал зачесывать волосы назад. Правда, некоторое время в школе его называли Новые Уши, но потом оставили в покое.

А через год в семье произошли перемены. Начал спиваться папа Жора. Он приходил домой поздно пьяный. Курил, задевал на кухне стулья, ругался, бил посуду, а по ночам громко храпел и скрежетал зубами. Мама Зина перестала с ним спать и перебралась в комнату Богдана. И так продолжалось долго, очень долго. Со временем Богдан заметил, что мама Зина стала какая-то не такая. Она дольше крутилась перед зеркалом, у нее появилось красивое белье с кружевами и дорогие духи. Приходила домой поздно, пахла вином и сигаретами, довольная и ко всему равнодушна. Долго лежала в ванной, а потом при свете торшера листала в постели женские журналы и о чем-то мечтала.

После Спаса слегла бабушка Галя. От скандалов с папой Жорой у нее случился сердечный приступ. А еще бабушку Галю мучило удушье. Она тяжело дышала, мама Зина покупала ей гормоны и аэрозоли.

Однажды мама послала Богдана в аптеку за лекарствами, а когда он вернулся, то увидел, как бабушку выносят на носилках и заталкивают в карету скорой помощи. А мама Зина в черном платке занавешивает зеркало.

Два дня наблюдал Богдан, как одевают бабушку Галю, как капает со свечей воск, шушукается родня и соседи, как бабушку в желтом автобусе везут на кладбище, как надувает щеки духовой оркестр, плачет мама Зина и пьяно рыдает папа Жора, как передают за столом из рук в руки миску с кутьей.

Всю ночь шел дождь и выл ветер. Богдан жался к маме и со страхом шептал:

— Мама, верни мне мои старые уши.

— Зачем?

— Я хочу, чтобы была жива бабушка Галя, и чтобы не пил папа Жора, и чтобы у нас все было, как раньше.

— Молчи, — устало вздохнула мама Зина, — не возвращается то, что не возвращается.

Богдан всхлипнул и забрался под ее теплую руку.

— А почему так надрывается ветер?

— Это бабушка Галя по нас плачет.

— Так противно она воет, — испуганно дрожал мальчик.

— Спи, — охрипшим голосом сказала мама Зина.

А утром они увидели сломанную вишню, на которой сидел старый ворон и сердито кричал.

Киевский мальчик

Автомобильная пробка парализовала Большую Житомирскую. Сто клаксонов, будто стадо сумасшедших коров, ревело от Львовской площади до Владимирской. Автомобили сгрудились вокруг катафалка с никелированным ангелом на капоте. Хоронили Бальбузу — короля криминального мира, — его убили в разборках с пацанами Соломахи. Сто стволов, упрятав смерть, хмуро молчали в костюмах от Воронина¹. Суровый кортеж с живыми цветами от «Нориты» и траурными надписями «От Кабинета министров», «От федерации кикбоксинга» и просто — «От верных друзей» и «От любящей подруги» запрудил улицу возле дома с полинявшим от дождя и ветра безликим флагом. Милиционер испуганно приставил к виску ладонь в белой перчатке и дрожащим жезлом указывал в сторону Байкового кладбища.

«Круто, — подумал Мальчик, замороженный процессией, — меня так хоронить не будут. Не та весовая категория».

В его ушах еще стоял рев автомобильных сирен, когда возле ржавого мусорного бака он увидел старика в интеллигентном беретике и плаще цвета хаки. Тот что-то вытаскивал из картофельных очисток и увлеченно ел. Из дедовой авоськи торчали женские ботинки времен Центральной Рады и томик Грушевского.

«Опять невезуха, — подумал Мальчик, — неудачный поход с блошиного рынка».

— Подкрепляемся, дедуля? — весело спросил Мальчик. — Возьми гривну на пончик.

Дед дожевывал кусок заплесневевшей булки и раздраженно взглянул на незнакомца.

— Благодарю, — с достоинством спрятал гривну в карман.

Мальчик повернул на Ярославов Вал и зашел в кафе «Ярослава». Больше месяца работал он в рекламном агентстве, куда его устроил старший брат — налоговый инспектор. Ежедневно обзванивал богатые фирмы. Его выслушивали уставшие директора и длинноногие киевские девочки, пристроенные папами и мамами, — и все ему отказывали или «варили воду». У него уже был длинный список «водоваров», которые никогда не говорили «да» или «нет», только просили через недельку-другую напомнить о себе, когда поступит новая партия товара и, возможно, они запустят рекламу.

А еще работал в агентстве Виталик — сердцеед девушек и ас по выцыгиванию денег.

— Ты бы хоть голос изменил, — сипел Виталик Мальчику, — прямо тебе детский сад. На такой голос не клюнет ни один клиент. Учись у дяди, — набирал номер. — А где этот негодяй? — нежно спрашивал у трубки. — Привяжите его к проводу. Ну, здарсьте, негодник. Что ж ты меня подводишь, а? Да нет... Ну да... Конечно! Ну, дуй сюда, закроем вопрос, — и клал трубку. — Видел, как надо работать? — повернулся к Мальчику. — Только что договорился за пять тысяч баксов.

¹ Михаил Воронин — киевский модельер мужских костюмов.

— Класс! — вырвалось у Мальчика, и он чуть не лопнул от зависти.

Мальчик прошел курс НЛП, где обучали, как с помощью построения фраз и вообще языка можно отобрать деньги у клиента. За курс Семен Борисович содрал с него триста баксов. Деньги конечно же заплатил старший брат.

— Я сделаю вас богатыми и счастливыми, — сказал Семен Борисович на прощание девочкам и мальчикам, которые слушали его с разинутыми ртами. — Вы будете долго помнить дядю Сему из Одессы.

Мальчик часто вспоминал Семена Борисовича и думал, что главный секрет он так и не раскрыл, ведь Виталик делает все наоборот — и у него получается, а Мальчик говорит по схеме Семена Борисовича — и пока еще не получил ничего, кроме язвительных насмешек Виталика. Может, оттого, что Виталик успел поработать в аппарате комсомола, и за это ему дали трехкомнатную квартиру возле Шоколадного Дома¹? Значит, комсомол — круче, чем НЛП, — думал Мальчик.

— Не расстраивайся, — успокоил Виталик, — наешься мороженого — и получится.

И когда Виталик ходил в туалет, Мальчик украл у него визитку менеджера фирмы «Гренуй», торгующей французской косметикой.

В «Ярославе» Мальчик заказал двойную порцию мороженого и пятьдесят грамм дешевого коньяку, прикончил все это за столиком с миниатюрной женщиной, похожей на болонку, и отправился в рекламное агентство, помня о наставлениях Виталика, а именно: что лучше раскручивать клиента после обеда, когда страх и злость переходят в желудок.

«В понедельник клиент с перепоя, он не готов к разговору, — вспомнил сентенции Виталика, — а в пятницу его тело еще в офисе, а душа уже в ночном клубе или в женской пазухе, поэтому не дрони зверя».

Мальчик взглянул на часы. Была среда, без четверти три — лучшее время для деловых переговоров. Он переступил порог рекламного агентства. Достал из кейса визитку фирмы «Гренуй», прокрутил в уме возможные сценарии разговора с менеджером и набрал номер. В трубке жужжал факс. Мальчик набрал еще один номер.

— Але, это Алена Харахандюк? — замурчал в трубку Мальчик.

— Гав! — ответила Девочка.

И у Мальчика вылетело из головы все, чему учил Семен Борисович.

— А, а... — сказал Мальчик, собираясь с мыслями.

— А-а-атпустите меня в Гималаи, — пропело на том конце провода.

И Мальчик догадался, что это Девочка из мечты.

— Ты Девочка из мечты? — вскрикнул он.

— Эвс! — чмокнуло в трубке.

— Сойди со шланга, — заглянул в офис Виталик. — Дай поговорить с человеком.

У них были спаренные телефоны.

Мальчик погрозил ему пальчиком и освободил узел в галстук.

— Але, — пропел он в телефон и рассказал анекдот про Вовочку, над которым сам долго и звонко смеялся. — Когда мы пересечемся?

Девочка замурчала.

— Безобразия, — замурчал и Мальчик. — Предлагаю в шесть в «Ярославе». На Ярвалу.

Девочка снова замурчала.

— Никак-никак?... — переспросил Мальчик и чуть не расплакался.

— О'кей! — неожиданно для себя и для него ответила она.

— То бишь?... — растерялся Мальчик.

¹ Шоколадный Дом — памятник архитектуры в форме плитки шоколада в фешенебельном районе Киева.

— Па-па! — пропела Девочка и положила трубку.

Девочка пришла, по совдеповскому этикету, ровно на полчаса позже.

— По тебе можно сверять местное время, — сделал ей комплимент Мальчик.

— Ха! — сказала Девочка, устраиваясь за столом.

— А как ты меня узнала?

— На тебе написано — Мальчик, — сложила губки бантиком Девочка.

— Я Мальчик, который играет в крутые игры, — уточнил Мальчик и налил в бокалы вино «Черный доктор». — Динь-динь!

— Динь-динь! — сказала Девочка, чокаясь с Мальчиком.

Полтора часа наливались они вином, разговорами о рекламе и друг о друге. Мальчик подсовывал Девочке апельсины, шоколадки и прайсы своего телеканала. Они выпили еще по сто грамм коньяку и решили продолжить переговоры на квартире у Девочки. В киоске Мальчик купил шампанское, поймал такси, и они поехали на левый берег Днепра, где возле станции метро «Черниговская» жила Девочка.

Дома выпили бутылку шампанского, и Мальчику стало совсем хорошо.

— Классно! — сказал Мальчик и начал срывать с Девочки трусики.

— Т-ты крутой Мальчик! — вырывалась она.

Девочке было нехорошо: резало в животе и хотелось в туалет.

— Я сделаю тебя богатой и счастливой, — сипел Мальчик, путаясь в ее бретельках и крючочках.

С его рубашки отлетели пуговицы, галстук запутался в лифчике Девочки, а визитки рассыпались по всей постели.

— Бестыжий Мальчик, — отпиралась Девочка.

И неожиданно для себя они уснули.

Среди ночи Мальчика стошнило, он добрался наощупь в туалет, обнял унитаз и долго блевал, а потом умывался и застирывал испачканный галстук.

На рассвете Мальчик полапал Девочку, но понял, что у него там ничего не шевелится, поцеловал обнаженную шею и на цыпочках пошел к двери.

— Па-па... — сонно прошептала она.

Он что-то неразборчиво буркнул и захлопнул за собой дверь.

Около таксофона Мальчик долго рылся в карманах в поисках телефонной карточки и минут десять пытался дозвониться к брату.

— Бодя! — крикнул в трубку. — Одолжи сто баксов. Вчера раскрутил Девочку с фирмы «Гренуй». Заработаю — отдам.

— Ты где?

— На «Черниговской».

В трубке молчало.

— Через час у Золотых ворот.

— О'кей! — повесил трубку Мальчик и спустился в метро.

От шума электропоезда закладывало уши, Мальчик боялся проспать свою станцию и щипал ногу. Напротив дремал мужчина в очках. Поезд раскачивал на полу шелуху арахиса.

Через час он взял у брата деньги и пошел на работу.

По телефону Девочки долго отвечал автомат, но потом послышался ее голос.

— Але! — обрадовался Мальчик. — Как дела?

— О'кей, — ответила Девочка.

— Пересечемся? — предложил Мальчик. — Как у тебя насчет времени?

Девочка мурчала в трубку и собиралась с мыслями. После ночи у нее была замедленная реакция.

— В пять с прайсами в офисе, — сказала Девочка и назвала адрес.

— О'кей, — улыбнулся Мальчик и положил трубку.

Без пяти пять он стоял возле черных бронированных дверей и давил на кнопку

звонка. Дверь открыл человек в сером костюме, под пиджаком которого оттопыривалась кобура.

— Я к Алене Харахандюк, — сказал охраннику.

Он набрал номер и сообщил в трубку о приходе Мальчика. Его провели в офис, где у компьютера сидел плешистый мужчина, а другой разговаривал по телефону.

— Итак, — сказал мужчина в трубку, — у нас шестьдесят роликов в прайм-тайм. Да, на втором канале. Извините. Пока!

Мальчик заслушался и не заметил, как возле него появилась Девочка.

— Говори по-украински, — сказала тихо. — Шеф не любит... — и громко спросила:

— Чай? Каву¹?

— Каву, — ответил Мальчик и перепуганно оглянулся.

Когда он, размешав сахар, пригубил чашечку, рядом появилась Девочка с мужчиной среднего возраста, который представился и дал визитку. Мальчик суетливо начал искать в карманах свою, затем протянул мужчине. Визитка была мятая, и Мальчик почувствовал, как липнет к телу рубашка.

— У этого пана, — сказала Девочка, — есть предложение, которое может представлять для нас интерес.

Мужчина, заученно улыбаясь, смотрел на Мальчика, который доставал из папки свой прайс. Читая прайс-лист, он задавал вопросы, а Мальчик отвечал, как на уроке украинского языка. Экзекуция длилась долго. Мальчик успел выпить две чашки кофе, его носовой платок в руке стал мокрым от пота.

— Хорошо, — сказал мужчина, — ваше предложение может быть интересным. Позвоните в среду.

Его проводили к двери. По дороге Девочка успела шепнуть:

— Позвони в среду утром.

— Завтра пересечемся? — шепнул Мальчик.

— Па-па, — вытолкала его в спину Девочка.

Дома Мальчик застал заплаканную маму.

— Где тебя носило? У нас такое горе. Арестовали Богдана. Что нам делать?

У Мальчика отвисла челюсть, он засуетился, схватил телефон, начал набирать номер.

— Сейчас мы решим этот вопрос, — горячился он. — Влад Козленко — влиятельный человек. У него денег — не пугано.

— Что ты дергаешься? — рассердилась мама. — Да сбрось ты с себя эту маску киевского мальчика. Хоть раз поговори с матерью по-человечески.

— Надо нанять адвоката, — взял себя в руки Мальчик. — Деньги я заработаю на рекламе, а еще немного у кого-нибудь одолжу. Все будет хорошо.

К концу пятницы они нашли адвоката, старого, с лицом, похожим на сушеную грушу.

— Плохи дела, — помял адвокат заросшее ухо. — Его подставили. Подослали человека с записанными номерами банкнот и тут же их у него нашли. Пятьсот гривен.

— Зачем им мой ребенок? — заплакала мама. — Только выучился. Зачем было идти на эту работу? Пошел бы в школу, а я бы детей нянчила. Двое ведь у него.

— Мама, — рассердился Мальчик, — ты знаешь, почему бастуют учителя?

— Денег не дают потому что. А зачем эти деньги, если вот тюрьма? — заплакала мама.

— Я вижу, живете скромно, — захрустел пальцами адвокат. — Я с вас много не возьму — все равно вряд ли смогу помочь. У вашего сына такая работа, где берут все, и берут много, а его подставили, потому что за ним никто не стоит. Потребовался им

¹ Кофе (укр.).

жертвенный ягненок — вот они его и выбрали. Такова теперь наша жизнь, — причмокнул дырявым зубом и стал собираться.

Всю ночь слушал Мальчик, как скрипит в квартире паркет и шепчет молитвы мама. В среду утром он позвонил Девочке. Они договорились встретиться на Подоле в кафе «У тети Сони».

На Верхнем Валу он увидел, как одновременно загорелись три светофорных огня.

«Это напоминает наше время, — весело подумал Мальчик, — бес-пре-дел».

«У тети Сони» он заказал два стакана вина «Венок Дуная» и апельсины.

— Как там наши общие проекты? — поинтересовался Мальчик.

— Будем с вами сотрудничать, — ответила Девочка.

На лице Мальчика расцвела улыбка, он поцеловал Девочку и взял еще по ликеру. Девочка отказывалась, но он заставил ее выпить, и они вышли в сумеречный город.

Теплый вечер соблазнял красивых женщин. Они стояли на залитых электрическим светом остановках, таинственно молчали, и только открытые ноги манили в теплую ночь.

— Я провожу, — терся он возле ушка Девочки.

— Хорошо, но домой тебя не пущу.

— О'кей! — коснулся ее носика.

Возле подъезда поцеловал Девочку в засос, а она оттолкнула его от себя, но руки ее стали нежны, и Девочка подставила длинную шею под горячие губы Мальчика.

— Только на пять минут, — зашептала Девочка и потянула Мальчика темными ступеньками.

С порога они начали срывать с себя одежду, упали в постель, путаясь в ее рассыпавшихся волосах и расстегнутых рубашках, но внезапно зазвонил телефон.

— Алле! — тяжело дыша, схватила трубку Девочка. — Одна. А що? — перешла на украинский. — Через двадцать хвильн?!

Девочка сорвалась с постели и забегала, подтягивая колготки и трусики.

— Уходи! Быстро! — крикнула Мальчику в приспущенных брюках, который сидел в смятой постели.

Девочка подрисовала губы, стянула с постели Мальчика и вытолкала в коридор.

— Шеф? — спросил он и почувствовал, как пересохло в горле.

— Цем, па-па! — протянула ему кейс Девочка.

— У тебя с ним?.. — попробовал подыскать деликатное слово Мальчик, но так и не нашел.

— Ты просто Мальчик, — вздохнула она, — а он меня содержит. Иди, — поцеловала и вытолкала за дверь.

Без копейки в кармане двинулся Мальчик через мост. Над Днепром висел молодой месяц, похожий на ломтик дыни. По реке медленно плыл освещенный катер. Возле речного дворца, словно уснувшие тараканы, стояли автомобили. Влажный ветер катал по асфальту пустую пивную банку. На колокольне Печерской лавры светились красные сигнальные огни, мимо проносились вечерние автомобили, и вдоль трассы стояли выпитые бутылки из-под шампанского.

Утром позвонила Девочка. Она ждала его возле галереи «Ателье Карася».

— У меня выгодное дельце, — взяла под руку Мальчика. — Предлагаю нал под двадцатипроцентную скидку.

— Черный нал? — ехидно переспросил Мальчик.

Он не мог простить ей вчерашний вечер.

— А налоговая?

— Не твои проблемы, — буркнула Девочка.

— О'кей, — сказал Мальчик, — я переговорю с Владом Козленко.

— Это твой шеф?

— Да! — сердито засопел Мальчик. — Но он не лазит к девочкам в постель.

— Фу, противный, — щелкнула его по носу Девочка. — Па-па! В пять с мешком в офисе.

— Каким мешком?..

— Какой непонятливый Мальчик, — показала язык Девочка. — Для денег которых.

У Мальчика сразу возник план. Он скажет Владу о наличных под двадцать пять процентов. Влад согласится, его аппетиты растут, а рекламное агентство за ними не успевает.

В офисе Мальчик отрепетировал перед зеркалом, чтобы не бегали глаза, когда будет говорить о процентах. Главное — не суетиться.

Влад оживился, повеселел, закричал.

— Жду с деньгами, — похлопал Мальчика по плечу. — Сразу и рассчитаюсь.

В фирме «Гренуй» ему дали деньги и кассету с роликом. Мальчик напомнил график выхода рекламы и покинул офис. В ботаническом саду он пересчитал деньги, вытянул из пачки триста шестьдесят гривен, зашел в «Эдем», выпил яблочного сока и отправился в рекламное агентство.

Когда Влад пересчитывал деньги, его пухлые руки дрожали.

— Это тебе, — протянул Мальчику.

Дома Мальчик отдал маме пятьсот гривен, а триста оставил себе. За два дня мама осунулась. Она надолго уходила из дому, разговаривала с адвокатом, слонялась по квартире, перебила много посуды и сожгла чайник.

У Мальчика уже выветрился вкус первого рекламного оборота, когда после работы Влад предложил подвезти его домой. Мальчик сел на заднее сиденье между двумя незнакомыми мужчинами, и перламутровый «опель» помчал его через весь город. Мальчик весело рассказывал Владу, как у деда в Железном Хуторе лазил за яблоками в чужой сад, и собака стащила с него брюки.

— А триста шестьдесят гривен из конверта ты вытащил тоже весело? — спросил Влад.

Мальчик что-то залепетал и попросился выйти, но твердый локоть толкнул под ребра, он закашлял и заплакал.

Влад Козленко сидел возле водителя спиной к Мальчику и курил сигару.

— Дело не в двух сотнях баксов, — сказал Влад, — дело в принципе. Ты оказался нечестным Мальчиком, а я этого не прощаю. Ты же заработал свои двести пятьдесят баксов на процентах, но захотел еще меня надуть.

Двое бычар в кожанках крепко держали Мальчика за руки. Они выехали на мост. Автомобиль притормозил и притиснулся к бордюру. Мальчик укусил мужчину, который сидел справа, и попытался открыть дверь. Брыкаясь, они выбили у Влада сигару.

— Бросьте этого делягу в воду, — гаркнул Влад, — пусть остынет!

Двое мужчин схватили его за руки, за ноги, раскачали и перебросили через перила. В воздухе Мальчик перевернулся и сильно ударился о воду, но обжег не так удар, как ледяная вода. Холодные иглы впились в тело. Он вынырнул, хватая ртом воздух, и по-собачьи погреб к берегу. Где-то рядом плюхнулся в воду кейс, и с моста послышался крик Влада:

— Слышишь, ты! Если выплывешь, больше не приходи! Я тебя уволил!

Кейс Мальчик не искал, вода была темной. Он греб под мостом, похожий на испуганную мокрую мышку, вдоль бетонных опор к освещенному речному дворцу, откуда долетала музыка. От холода и отчаяния стучали зубы, мокрые волосы закрепили глаза, и стыла кровь. Грести становилось все труднее, тело уже едва подчинялось. Мальчик почувствовал, что не доплывет до берега и попробовал кричать. На мосту кто-то пьяно выругался и громко захохотал. На набережной, опершись локтями на перила, стояла светловолосая девушка и одиноко курила. Обостренное зрение Маль-

чика ухватило огонек ее сигареты и длинные ноги. Он пожалел о своей беспомощности. Девушка была совсем рядом, громко звенело на воде эхо от музыки ночного клуба, через мост загремел электропоезд, и тогда правую ногу свела судорога. Он снова крикнул, захлебнулся водой, взмахнул руками, посмотрел на освещенный речной дворец, на уже недостижимую девушку, на машины, пролетающие в сиянии фар, на безумный вечерний город, на усеянное звездами апрельское небо — и почувствовал легкость и безразличие, и вода уже не обжигала холодом. Стайка рыбок проплыла над ним, касаясь волос, которые раскачивались, словно водоросли. Из рта вырвался воздух, а один воздушный пузырек раздувался и раздувался. В пузыре он увидел лицо Влада, услышал смех Девочки, молодая мама несла его на руках, а он держал голубой шарик и смотрел на праздничных людей, на еще живого отца, на Бодю в школьной форме, с шоколадным мороженым на палочке, на портреты серьезных мужчин над колонной, слышал воодушевленные марши, радостный смех и усиленный динамиком торжественный голос, видел тесную гостинку на Ветреных Горах, свою маленькую коляску, улыбающаяся мама протягивала к нему руки, такая молодая и похожая на Девочку, видел отца, который обнимал маму и отбирал у него пустышку, но темная рыба пошевелила губами, и большой хрупкий пузырек лопнул, разбрызгивая на тысячи капель его маленькую и грешную жизнь.

След среди листьев кувшинок

Змея появилась перед закатом солнца. Марк сидел, свесив голову, на скамейке под грушей. Его длинные узловатые пальцы в веснушках, будто отполированные водой и ветром корни деревьев, свешивались с колен.

— Сидишь? — спросила Элла.

Она загремела цепью возле колодца, поскрипывая, закрутилась ручка, плюхнулось в воду ведро, и снова протяжно заскрипел ворот с цепью. Расплескивая воду, женщина прошла мимо мужчины, и под ее платьем угадывались тяжелые бедра.

— Ты бы дала чего-нибудь перекусить, — попросил Марк. — Уже солнце садится.

Женщина не ответила, но через некоторое время, когда он наблюдал за майским жуком, кружившим над цветущей сливой, позвала с крыльца:

— Иди ужинать.

Была Навская Пасха¹. Но в селе не было могил их родных, и Марк с Эллой не ходили на кладбище. С утра Элла испекла в печи пасхальный кулич и сварила крашенки, а он смотрел телевизор и играл с ребенком. В этот день нельзя было работать.

Элла накрыла стол новой скатертью, поставила крашенки, кулич, ветчину, кислую капусту, картошку в мундирах и графин со сливовой наливкой. Они выпили наливки, поцокались крашенками, Марк очистил картофель и дул на горячий клубень, а Элла кормила дочку, которая сидела у нее на руках и махала ножками. Потeki молочной каши стекали по ее подбородку на фартук, когда Элла испуганно вскрикнула, прижимая к груди ребенка:

— Смотри: змея!

Марк глянул, куда показывала жена, и увидел под печкой гадюку. Гадюка была черная, с широким телом и маленькой изящной головкой. На мгновение он оцепенел, а затем вышел во двор, вытянул из метлы древко и вернулся в дом, чтобы убить змею, но она уползла.

— Ты бы подольше искал палку! — сердито крикнула Элла.

¹ *Навская Пасха* — Чистый четверг, поминальный день.

Марк посмотрел под печку и увидел прогрызенную мышами нору, через которую поползла змея. Нашел во дворе камешек, забил дыру и замазал глиной.

— Не убил — так будешь жить со змеей! — упрекнула Элла, и у нее на руках заплакал ребенок.

Он отвязал пса Жука и пошел в поле. Появление змеи испортило праздник, и Марк внимательно смотрел под ноги, боясь наступить на гадюку. Солнце еще не зашло и висело над лесом. Возле Марка суетился пес, черный, будто нарисованный углем, радостно и шумно дыша, он заглядывал в мышиные норы. Под ногами вязла прелая прошлогодняя трава. Над головой трепетал и заливался жаворонок. В болоте раскачивались на ветру молодые побеги желтых касатиков, пускающих по воде круги, когда о них терлась рыба. Среди пробудившихся растений, насекомых, диких птиц и зверей Марк почувствовал, как где-то глубоко внутри зарождается тревожное волнение, которое надвигалось вместе с предвечерними облаками, выползающими из-за леса. В пруду плавали два белых лебедя, из воды торчали таблички с предупреждением, что водоем — частная собственность. Пронзительно гудела выпь — словно кто-то дул в пустую бутылку. Темнели норы, между ними цвели фиалки. Под кваканье лягушек и чириканье воробьев Марк рвал дикий щавель. Над ним с тяжелым свистом и вытянутыми шеями пролетели лебеди. С высунутым языком пробежал Жук и остановился перед болотом.

С Эллой Брижук Марк познакомился на вечеринке у старого приятеля Матвея Пазинюка. Это случилось более трех лет назад на Жилистый понедельник¹, который они отмечали с компанией студенток, и Пазинюк подносил на блюде облитый свекольным квасом корень хрена с пожеланиями, чтобы у каждой девушки всю жизнь был такой упругий и жгучий корень, и заставлял каждую надкусить его и запить вином.

Элла Брижук как раз переживала разрыв виртуального романа. Она выросла в семье, где отец гулял и каждый день возвращался домой поздно, в помаде и с запахом женских духов. Дома его ждал скандал с криками, битьем посуды и хлопаньем дверей. Из-за всего этого Элла выросла инфантильной и боялась мужчин. Когда все девчонки влюблялись, она включала компьютер и уходила в мир другой реальности. Жизнь в Сети казалась ей интереснее, чем разговоры с подругой о том, как ее предал парень. В одиннадцатом классе Элла потеряла невинность на дне рождения своей школьной подруги Ляли Негоды, где ее соблазнил старший на два года Мирослав Кодий. Но первый интимный опыт не оставил ярких впечатлений. После дня рождения Ляли они встретились в городе, и Кодий предложил прийти к нему днем, когда никого не будет дома, но Элла отказалась, и Мирослав процедил сквозь зубы:

— У тебя маленькая грудь.

— Зато у меня большая душа! — сердито крикнула она, вырываясь из его рук.

После Кодия она ни с кем больше не встречалась, считая, что у нее рыба кровь. А на третьем курсе познакомилась в Интернете с Костиком и почти год с ним переписывалась. Сначала харьковский студент писал ей приятные слова, а потом начались признания в любви. Она сидела в Сети до трех часов ночи, а через несколько часов просыпалась и шла в университет. Однажды Костик три дня ей не отвечал, и Элла не находила себе места. Она ужинала, мылась в ванной, спала с мобильным телефоном. Костик прежде писал, что об Элле знают его друзья и что скоро он приедет к ней в гости, и Элла потеряла голову от своей виртуальной любви. Но вскоре ей пришло длинное письмо, в котором Костик сообщал, что нашел другую девушку и собирается на ней жениться. От отчаянья Элла забросила занятия в университете и целыми днями сидела у компьютера. В таком состоянии ее увидела университетская подруга Тина.

¹ Жилистый понедельник — Чистый понедельник.

— Тебе нужна веселая компания, — сказала Тина, забирая ее на вечеринку к Матвею Пазинюку.

И возможно, Элла одиноко просидела бы на вечеринке с бокалом вина, но попала на глаза Марку Янкевичу, и между ними проскочила искра. Он сыграл в ее жизни роль спасателя, вернувшего Эллу в реальный мир. Они сидели на вечеринке в разных углах, а потом оказались рядом. Марк принес ей бокал глинтвейна, они выпили, и неожиданно она почувствовала, что ее увлекает флирт с этим взрослым мужчиной. Элла положила ногу на ногу и игриво раскачивала туфельку. В тот вечер она совмещала наглость вульгарной девицы с застенчивостью невинной девочки. А он был простой, как черно-белая фотография. Сначала они сидели в углу, сплетя ладони, но девушка почувствовала, как жадно ее желают его руки, говорящие больше, чем губы, и они оказались в маленькой, загроможденной книгами комнатке, где он придвинул к двери стол, на котором Элла сначала целовалась, а потом не заметила, как ему отдалась, а в это время в дверь стучала с веселыми криками пьяная компания.

Ей нравилась его простота, за которой пряталась глубина его внутреннего мира, дна которого она не могла прочувствовать, боясь утонуть в бездне.

Марк был старше ее на пятнадцать лет. Он остался в восьмидесятых с их дешевым портвейном и наивной простотой. За его плечами был неудачный брак и столь же неудачный бизнес, но Марк не отчаивался, считая: чтобы подняться, надо остановиться. Он хотел вернуться к живой природе и в это путешествие взять с собой Эллу. Они поспешно женились, Элла взяла его фамилию, перевелась на заочное отделение и убежала с ним от городской суеты в далекий от цивилизации мир в двадцати пяти километрах от города.

За три тысячи гривен они купили дом на краю села, где их увлекла непознанная городскими жителями стихия дикой природы. Они ложились вместе с солнцем, ходили босиком по земле, пили холодную колодезную воду и ели сорванные в своем саду яблоки. Молодая семья отличалась от сельских жителей тем, что наслаждалась каждым мгновением, проведенным среди деревьев, растений и животных, тогда как люди, рожденные среди дикой природы, воспринимали себя ее частью, а не гостями.

Через год у Янкевичей родился ребенок. Элла устроилась на работу в сельскую школу, а Марк — в лесничество, считая, что мужчина должен трудиться физически. Чтобы человек был внутренне богат, думали они, ему необходимо свободное время для размышлений о жизни. В деревне, где все свободное время поглощала борьба за выживание, человек грубел и терял свойственные интеллигенции рефлексии, поэтому работу они старались чередовать с чтением книг и вечерними беседами у домашнего очага. Эти разговоры под гул огня в печке были самыми приятными мгновениями в их жизни. Они укладывали дочку спать и долго сидели, обнявшись, возле огня. Мобильный телефон служил у них лишь для вызова скорой помощи и для других непредвиденных случаев. Они не смотрели телевизионные новости, которые несли негативные эмоции, а только наполненные любовью фильмы и передачи о природе, зная, что гармония в душе настанет, если они смогут установить равновесие с землей, лесом, животными и птицами.

Марк вышел на плотину. Вдоль пруда густой стеной желтел прошлогодний камыш. Шумела, падая с плотины, вода. Он перебрался по наклонному бревну через лесной ров. Пес боялся прыгать, отбегал, примеряясь, а Марк ждал, когда он отважится. Наконец Жук перепрыгнул ров, они пробрались сквозь сухой ежевичник и вошли в лес. Кричала кукушка, из хвои торчал нераспустившийся ландыш, скрученный в трубочки, будто кто-то по всему лесу забил зеленые колышки. Под ногами что-то зашевелилось и прыгнуло на Марка. Он вскрикнул, отскакивая от змеи, но это оказалась ветка. Солнце уже запуталось в верхушках сосен. Влажный воздух был насыщен запахом черемухи. Марк с собакой пересекли старую просеку и пошли лесом. Под ногами прогибалась мокрая прошлогодняя листва, хрустели ветки. Около

лесного болота земля была влажной — ноги увязали. В болоте лежала вывернутая с корнем ольха, росла чемерица и водяные лилии. Разило илом и прелой хвоей. В зарослях что-то тяжело захрустело: наверное, дикий кабан. Жук залаял, подбежал к Марку, и мужчина почувствовал, как его наполняет тревога. Он догадывался, что с ним должно что-то случиться, и его угнетало непонятное предчувствие. Мужчина с собакой обошли болото и вышли возле следующего пруда, ближе к железной дороге. Возле плотины лежала перевернутая лодка с пробитым дном. Заунывно квакали лягушки. Накапывал дождь, и на воде расплывались водяные круги. Шатаясь от ветра, старые сосны терлись верхушками и жутко скрипели. И под этот тревожный скрип Марк понял, что закончилась его сельская идиллия, к которой он бежал из шумного города. И где-то в глубине души промелькнула тень предчувствия, что причиной всего станет змея, которая появилась в доме.

Тревога не оставляла Марка, когда после прогулки он открыл дверь на крыльце, вошел в коридор и остановился перед чуланом, чтобы убедиться, в том, что мир, который он строил более трех лет, не изменился. Возле чулана висела керосиновая лампа на случай, если не станет электричества. Он включил свет и по деревянным ступенькам поднялся в чулан, где стоял большой сундук со старой верхней одеждой, переложенной от моли багульником. Он любил свой чулан, в котором чувствовал себя собственником этого патриархального мира, купленного за три тысячи гривен. На одной стене висели деки для выпечки, вощина для ульев, старая крепкая обувь, хозяйственные сумки, зеленый брезентовый дождевик, корзина. На деревянных полках стояли банки с медом, вареньем, козым и барсучьим жиром. А на другой стене — связанный чеснок, резиновые сапоги и валенки, на полке лежали паяльник и олово, стояли бутылки с черничной и вишневой наливкой. Весь чулан был завален вещами. Марк стоял и вдыхал приятный домашний запах. От перепадов напряжения на стене мигала лампочка, за стеной тикали ходики. Было спокойно и по-домашнему уютно среди хаоса безмолвных вещей, которые еще помнили тепло его тела.

И убедившись, что его мир не разрушен, а предчувствия тревоги напрасны, он зашел в гостиную, снял сапоги, куртку, жена налила ему в миску горячей воды, и с удовольствием мыл руки, умывался, а потом разделся, жена налила в лохань горячую воду, развела холодной и долго терла мочалкой ему спину, вытерла его большим лохматым полотенцем, подала чистое белье, он переоделся, вылил мыльную воду в борозду под забором и налил чистой воды для жены. Ребенок спал. Потрескивая, в печке горели сосновые поленья. Женщина сняла с себя одежду и ступила в лохань с теплой водой, а мужчина поливал ее водой из ковша и мылил спину, в подмышках, живот и пушистый холмик между ног, а она тихонько постанывала, обняв его за шею. Нежно вытер ее тело, подхватил на руки и понес в постель. Прикоснулся губами к ее груди, ощутил вкус сладкого молока, упругие колени и влажную нежность плоти, когда женщина с рассыпанными по подушке волосами вскрикнула, вырываясь из-под него:

— Змея!

Он глянул туда, куда с ужасом смотрела женщина, и в отблесках огня из открытой печи встретился со взглядом змеи. Мужчина схватил тапок, швырнул в змею, но пока зажигал свет, она уползла.

— Извини, но только дурак может бросить в гадюку тапок, — надевая на голое тело ночную рубашку, сказала женщина.

Всю ночь им казалось, что в кровати змея. Женщина вскрикивала, включала ночник, перекладывала подушки, ощупывала одеяло и засыпала, вздрагивая во сне.

Проснулся Марк от слепящего света. Эллы в постели не было. Ребенок спал, сладко посасывая пустышку. Марк оделся, сунул ноги в ботинки и распахнул на крыльце дверь. Двор был выложен камнем. Возле порога стояли трое козлят и куры, которые крутили головами и ждали, когда их покормят. Элла хозяйничала на грядках. Гудели пчелы и мухи. На электрических проводах стрекотали ласточки. Марк накор-

мил козлят. Они пили суп с молоком, стонали от удовольствия, чавкали и тыкались в него мокрыми носами. Козлята пытались на него выскочить и жевали брюки. Летали бабочки, радостно чирикали воробьи, над лугом кружил аист.

Он позвал жену, и она разогнулась, стягивая перчатки.

— Пора завтракать!

— Ты должен найти ее нору, — сказала жена.

Она не выпалась и была раздражена.

— Поем и найду.

Элла молча поставила на стол буженину и жаркое с грибами. Змея внимательно следила за ними с выступа у печки.

— Убей эту гадину! — закричала женщина, испуганно отскакивая от печки.

Он выбежал на двор, схватил лопату, но змея уползла под печь. Женщина засыпала в нору горячие угли, залила кипятком. С норы потянуло едким угаром. Она замазала глиной дыру и сердито сказала:

— Может, гадина, ошпарится и подохнет.

Марк обследовал пол, забил и зашпаклевал в доме все дыры и решил осмотреть погреб, где было сыро и могла жить змея.

«Наверное, там есть тайная нора к печке», — подумал он, прихватив с собой ольховую палку.

Он включил в погребе свет и, держа наготове палку, ступил на грубую деревянную лестницу. Его отделяло от пола три ступеньки. На бетонном полу блестела вода. Когда в марте вода заливала погреб, он откачивал ее насосом и выводил через весь двор в огород длинный пластиковый шланг. В погребе на кирпичах стояли бочки с квашеной капустой и яблоками, с деревянными крышками, прижатыми белыми камнями. На подвешенной полке тускло поблескивали банки с маринованными помидорами, огурцами и засыпанный сушеными яблоками и грушами березовый сок. Он посовал палкой под бочками, но гадюки там не было. Из погреба на свет вылетела большая жирная муха и назойливо жужжала.

До вечера он обследовал весь дом, зашпаклевал все дыры и перевернул пустые бочки и ведра — все, где могла прятаться змея.

Когда стемнело, жена покормила и уложила спать ребенка, они помылись и легли в кровать. Но женщина была напряжена, и когда мужчина начал гладить ее бедра, она вздохнула, раздвинула тяжелые ноги — и вскрикнула, прячась под одеялом:

— Снова выползла! Убей ее! Убей!

Голый мужчина сел в кровати и со страхом и интересом посмотрел на змею. Она наблюдала с середины комнаты, и отблески огня плясали в ее глазах. Мужчина встал с кровати, а змея уползла.

— Вот растяпа!

— Мне что, брать в постель палку?

— Может, мне отсюда уехать, а ты вступишь в постель змею?

Она сказала это, чтобы нарушить тишину.

— Ты что, ревнуешь?!

— Не знаю, — сквозь зубы прошипела она. — Если бы ты ее не жалел, то убил бы.

Мужчина уснул, а женщина прижалась к стене, съежилась и лежала с открытыми глазами. Отблески огня танцевали в комнате. Она вспомнила город, свой роман с харьковским студентом. Таким смешным он теперь казался, когда у нее есть муж, ребенок и свой дом. В селе к ним относились с подозрением, наблюдая, как она хозяйничает на грядке в белых перчатках или идет с мужем за руку к пруду, где купаются летом только дети. Элла всегда причесывала волосы вверх и надевала обруч в стиле шестидесятых. Обручи у нее были разные: красный, зеленый, сиреневый, черный — под цвет кофточек. Она следила за собой, чтобы в сельских хлопотах не потерять женственности. Наливала в формочки для льда воду, засыпала цветки

ландыша, лепестки фиалки, ромашки, ставила в холодильник и по утрам протирала лицо кубиками льда, и ее кожа всегда была матовая.

Они могли оценить жизнь на земле без асфальта, понимая, насколько обделен городской житель, оторванный от общения с природой. Элла всегда просыпалась счастливой с восходом солнца, под пение птиц, а теперь чувствовала, как пробуждается в ней раздражение и отвращение к мужу, дому, саду и домашним животным.

За окном начался дождь, над лесом вспыхивали молнии, освещая комнату и обнаженного мужчину. И в этих вспышках грозы она увидела неприглядность своего существования, оторванного от цивилизации: без водопровода, ванной комнаты, с отхожим местом за домом, куда ходила вечером с фонариком в резиновых сапогах, чтобы не наступить на стекло или змею. На змею?!

Посмотрела на пол и в отсвете тлеющей печки и вспышках молнии увидела гадюку. Она лежала на полу и наблюдала за женщиной.

— Иди отсюда, — зашептала с кровати она. — Чего ты приползла? Живи в лесу, рожай змеенышей, а ко мне не лезь. Слышишь?

Змея лежала на полу и следила за сонным мужчиной и испуганной женщиной.

— Ты разрушаешь мою жизнь, — зашипела женщина, вслушиваясь в ночное шелестение своего голоса. — Я бы тебя уже давно могла рассечь лопатой. Поставила бы лопату возле стола и ждала, когда ты вылезешь.

«Странно, — подумала она, — как я до этого раньше не додумалась?»

Утром женщина внесла на кухню лопату, но ни к завтраку, ни к обеду змея не появилась. А когда вечером легли в кровать, она опять выползла и стала за ними наблюдать.

— Сделай же что-нибудь, — заплакала Элла. — Я уже не хочу ни твоих ласк, ни дома с гадюкой.

Мужчина протянул руку к ночнику, включил свет, увидел, как уползает под стол змея, посмотрел на сонного ребенка в кроватке, который чмокал пустышкой, и ему показалось, что он лежит в постели между двумя женщинами, каждая из которых не хочет его уступать.

А женщина почувствовала, что с этой минуты их с мужем дороги должны разойтись. Он пойдет вглубь диких болот со змеями и водяными крысами, а она вернется в город. И от этой мысли ей стало легко — она догадалась, как найти выход из безнадёжного тупика, в котором оказалась.

Утром Марк собрал рюкзак, завел мотоцикл и уехал в лесничество.

А через несколько дней он пилил бензопилой сосну, которая упала на него, искалечила, он долго лежал в больнице, похудел и перед смертью попросил Эллу похоронить его в селе.

— У тебя здесь никого нет, — сказала женщина. — За твоей могилой никому будет смотреть — я возвращаюсь в город.

— Но я так хочу, — настаивал он. — На краю, возле болота...

И в этом упорстве было что-то непостижимое, то, что она так и не смогла в нем понять.

Он умер, когда зацвели яблони. Похоронили Марка на сельском кладбище, как он и просил: на краю, возле болота.

Сажая на могиле барвинок, Элла увидела под земляным холмиком дыру, словно проколотую колом, наняла двух крестьян и попросила раскопать могилу. Когда раскрыли гроб, на груди мертвого мужа лежала свернутая змея и смотрела в его закрытые глаза. Высокий грузный мужчина ударил гадюку лопатой плашмя и выбросил в болото.

До сих пор слышно, как вечерами возле болота кто-то плачет, — наверное, кричит птица или водяной зверь, а утром на песке между широкими листьями кувшинок видны следы босых ног, будто в воду зашла женщина и исчезла в камышах.

Лариса Миллер

От донца до звезды

* * *

Всё позади: усталость, старость, смерть.
И, значит, время всё начать сначала.
Ведь я же ни секунды не скучала,
Пока творилась эта круговерть.
Зачем же мне всё это покидать?
Ей-богу, никакого нет резону
Менять родную обжитую зону
На непонятных высей благодать.

* * *

Любовь, когда уходит, не уходит.
Уйдя от нас, она к другим приходит,
По-прежнему безумна и нова
И шепчет те же самые слова.
И время, убегая, остаётся,
Хотя поймать его не удаётся.
И сотню тысяч раз сходя на нет,
Не покидают нас ни тьма, ни свет.
И, вспыхивая, небо заревое
Нас снова задевает за живое.
И только мы, уж ежели уйдём,
Пути назад уж точно не найдём.
Коль жизнь добьёт и время доконает,
Уйдём совсем. А впрочем, кто нас знает?

* * *

О Господи, кого Ты больше любишь —
Счастливых или тех, кто всё грустит?
Кого скорей Ты молча приголубишь?
Кого скорей Твой ангел навестит?

Мы все сюда, как кур, попали во щи.
Здесь столько недоступного уму.
А, значит, быть несчастным много проще,
Чем быть счастливым вопреки всему.

А ежели счастливым быть трудней,
Тебе он, Боже, разве не родней?

* * *

«Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь»

Николай Заболоцкий

Душа обязана трудиться.
Пусть и за жалкие гроши.
И нам не следует стыдиться
Бессонной нищенки — души.

Душа ведь нищенка. Но кто же,
Кто платит птице на току

И ливню, чья струя похожа
На серебристую строку?

Душа не ведает досуга
И не уходит на покой.
О, Господи, Тебя, как друга,
Прошу — оставь её такой.

* * *

Завидую сама себе —
Тому, что есть. Тому, что было.
Тому как солнце в очи било
И булькала вода в трубе
Апрельская. И нынче нет
Конца вещам нерукотворным:
Сбит с ветки снег крылом проворным,
И силу набирает свет,
Который, надо полагать,
Необорим, неисчерпаем.
И зря мы на судьбу клепаем.
Ей надо только помогать.
Так помогать своей судьбе,
Чтоб нас любовь не оставляла
И нас бы, грешных, заставляла
Завидовать самим себе.

* * *

Сказать какие я люблю слова?
Те, что не только говорят, но слышат,
Как ветер шторы на окне колышет
И как трещит ночами голова,
Когда я жгу фонарик и не сплю
В своём дому, наполненном словами,
Которые хотят расслышать сами,
Как дышит ночь. Я их не тороплю.

* * *

О как люблю я прошлогодний снег,
Забытый всеми, никому не нужный,
Тот, что летал когда-то стайкой дружной
И прекратил давным-давно свой бег.
Он нужен мне, как мой умерший друг,
Снесённый дом и прошлая влюблённость.
Ну что поделать? У меня есть склонность
Спасать всё то, что выпало из рук:
Былому снегу подставлять ладонь,
В снесённом доме зажигать огонь.

* * *

Я одна в своём роде. И всяк в своём роде
Один. Одинаковых нету в природе.
И берёза под окнами тоже одна,
Хоть весьма на соседку похожа она.
Все мы здесь существуем в одном экземпляре.
Даже если скитаемся с кем-нибудь в паре,
Всё равно мы не парные. Мой дорогой,
Мой любимый — он тоже с планеты другой.
И кого ни возьми — экземпляр раритетный.
Все мы дети в огромной семье многодетной,
Где любой — так уж странно природа творит —
По особому дышит, иначе парит.

* * *

Когда Создатель мир творил,
Он отодвинулся немного,
Чтоб уместились дом, дорога
И дерево, и пара крыл.

Чуть-чуть Создатель отступил,
Чтоб для всего нашлось местечко.
Но показалось человечку –
Ему Он место уступил,
Ему Он передал бразды
И мир от донца до звезды.

* * *

На дни скоротечные вечность делить —
Ведь это как небо на части пилить,
Ведь это как воздух прозрачный кромсать.
Давайте слиянность и цельность спасать.
Давайте все даты на свете сотрем
И, может, тогда мы совсем не умрем.

Григорий Аросев

Два рассказа

Женщина, которая не плакала при резке лука

История четырех побед

А вот кто-то в окно смотрит. Целенаправленно так. Ага, женщина, далеко не из юных. Может, она подскажет?

Он призывно махнул рукой. Окно открылось, характерно скрипнув.

— Добрый день, вы говорите по-английски? — спросил он.

— Да. Что вам угодно?

— Мне бы хотелось найти улицу... — Он опять забыл ее название и полез в карман за бумажкой, на которой было написано совершенно непроизносимое «Diercxsenstraat». Как-то он это произнес, но женщина не поняла.

— Дайте-ка мне посмотреть. — Она распахнула окно полностью и протянула руку. Взяла сложенный втрое листок и вгляделась. — А-а, Дир...

Как именно звучало название улицы, он так и не уловил, но это уже было несущественно.

— Это весьма далеко отсюда. Минут двадцать ходьбы, если знать дорогу. А вы ее не знаете.

— Не знаю, — подтвердил он и с тоской посмотрел на мостовую — по ней уже вовсю бежала вода. Сильный дождь шел уже полчаса. Чемодан весь разбух. Интересно, добралась ли влага до одежды, которая лежала внутри...

— Кто вы? — внезапно спросила она.

Он смешался.

— В каком смысле?

— Ну, как вас зовут, откуда вы, куда идете?

— Тут я проездом. Еду из Роттердама. Вообще мне надо в Брюссель, но я решил остановиться в Антверпене, чтобы немного посмотреть город. И вот... — Он кивнул куда-то в сторону, намекая на погоду.

— А имя ваше?

— Франк, — соврал он.

Женщина улыбнулась и что-то сказала на непонятном языке. Он разобрал несколько будто знакомых слов, но общий смысл был совершенно неясен.

— Извините?... — спросил он.

— Ага, так вы не голландец? — снова перешла она на английский.

— Нет, я из Германии. — Он сказал неправду, но не абсолютную, не как в случае с именем, ибо в Голландию он приехал именно из Берлина.

— Я просто владею голландским языком и вот подумала, не проще ли вам будет общаться так.

— Извините, все-таки куда мне надо идти? А то я уже совершенно мокрый.

Она подождала еще несколько секунд, потом бросила: «Ждите!» — и рывком затворила окно. Еще минуту спустя открылась входная дверь. Женщине на вид было лет пятьдесят, с обычными чертами лица, довольно высокая, ни худая, ни полная. В очках.

— Заходите. Только тихо. Пока — очень тихо, — сказала она. — Лучше сейчас вообще ничего не говорите. Чемодан бросьте здесь.

Он прошел по длинному коридору и вышел в большую комнату. Ее нельзя было назвать убранной, но и захлавленной тоже — это было просторное квадратное помещение, в центре которого стоял угловой диван (хоть он и не стоял, как ему следовало, в углу), в некотором отдалении от него — телевизор на высокой тумбе, сбоку — три узких столика, на одном из которых стоял компьютер с огромным монитором, на другом — закрытый ноутбук, а на третьем в невероятном количестве лежали книги. Удивительно, как они не падали. Помимо того, книги стопками стояли на полу у окна (впечатляющий вид на цветущий — даже дождь не мог затенить его великолепия — сад), и, разумеется, они же доверху оккупировали шкаф, полностью закрывающий одну из стен. На диване тоже валялась пара книг и несколько журналов. Также в комнате стоял широкий и длинный обеденный стол, пустой и чистый — вероятно, в этом доме либо не ужинали вообще, либо делали это не очень поздно, поскольку следов приема пищи на гладкой поверхности не было. Никакого намека на кухню также не было.

— Франк, — заговорила хозяйка, — возможно, я не совсем права, но я хочу вас пригласить в свой дом на этот вечер и ночь. Надеюсь, что вы будете себя вести порядочно.

Лжефранк, не исключая такого развития событий, все равно сильно обрадовался: благодаря предложению незнакомки, он не только спасся от дождя и возможной простуды, но и сэкономил на гостинице, а в его положении семьдесят евро, которые надо было бы отвалить за одноместный номер в очередном отеле с подозрительным названием «Этап» (туда что, этапируют?), было вполне себе приличной суммой.

— Разумеется. Спасибо большое. Только скажите, что мне надо делать. Или чего не надо делать, — проговорил он так тихо, как только мог.

— А ничего не надо. Сейчас выйдет мой муж, я ему скажу, что вы экуменист (он вытаращил глаза) и это его вполне устроит, у нас часто бывают гости по этой линии и он уже не удивляется.

— Но... вы же должны его предупреждать заранее?

— О, нет. — улыбнулась женщина. — Мы с ним ничего не должны друг другу. А свободная комната у нас есть, и вы просто пойдете туда спать.

— Тогда хоть скажите, как вас зовут.

— Эмили. — Ударение на последний слог. — Еще у меня две дочери, но им тем более все равно, у них свои дела. Я им сейчас скажу сюда прийти и поприветствовать гостя.

— Зачем же их отвлекать?

— У нас так принято. Если выяснится, что к нам приехал гость, а их не позвали поздороваться, им будет очень обидно. Сейчас они спустятся.

— У вас есть второй этаж? — спросил он по привычке.

— Даже третий! — как будто даже с гордостью ответила Эмили. — На первом наши с мужем комнаты, на втором живет Сесиль, а на третьем — Луна и там же гостевая спальня.

«Значит, суммарно четыре — ничего ж себе!» — подумал он.

— У вас большой дом...

— Это типичнейший антверпенский дом. Высокий, но не глубокий, если так можно сказать. Вы увидите — на лестнице практически не развернешься, спальни, кабинеты не очень просторные — на нижнем этаже у нас самая большая комната, остальные гораздо меньше. Зато три этажа. В нашем городе таких домов очень много, особенно в центре.

— Да, очень занятно, — молвил он, не зная, что сказать.

— Посидите тут, — сказала Эмили и куда-то ушла.

Не успел он сесть и подумать о чем-либо, как дверь снова открылась и появился среднего роста мужчина крайне строгого вида, с нитевидными усиками и преколючим взглядом. Увидев гостя, он будто бы подобрался перед прыжком и аккуратно двинулся в сторону Лжефранка. Тот встал и они несколько секунд смотрели друг на друга — как супертяжи перед стартовой отмашкой арбитра, как конкуренты по выборам перед объявлением результатов, как начальник-деспот и подчиненный-сибарит. Потом усач протянул руку:

— Хидо.

— Франк, — поспешил он ответить на рукопожатие. — Вы говорите по-английски?

— Я и моя жена говорим похуже, чем наши дочери, но мы говорим, — молвил Хидо, не меняя выражения лица. — Вы экуменист?

— Да, — сказал он, добавив поспешно, — начинающий. Извините, что я вас стесняю... Просто на улице очень холодно и неудобно, а отель со свободными номерами довольно далеко.

— Это не проблема. У нас есть свободная комната. Так что добро пожаловать.

Проговорив это, Хидо прошел к дивану и резко сел. Включил телевизор и устроился в него. Лжефранк секунду подождал, сел на прежнее место, но тут же снова вскочил, потому что в комнату вместе с Эмили вошли две молодые девушки — высокие, крутобедрые, очень осанистые блондинки, весьма похожие на свою мать. Серые глаза, открытые лбы, тонкие губы...

— Привет, я Сесиль, — сказала одна из них и подала свою тонкую руку так, что он даже сразу не понял, предложила ли она ее поцеловать или все-таки пожать.

— Франк, рад познакомиться, — ответил он, лишь слегка прикоснувшись своей рукой к теплой и твердой ладони Сесиль.

Вторая сестра действовала прямолинейнее и однозначнее.

— Луна, — отрекомендовалась она, сама потянулась к нему и дважды поцеловала его в обе щеки. От нее пахло юностью, примитивными, хотя и трогательными духами и чем-то еще: вполне определенным, но начисто невозможным.

Они постояли, задали несколько совершенно бессмысленных вопросов (проявление светскости — умильное из-за сверхочевидной нарочитости) и так же живо ушли, объяснив, что им обеим надо готовиться к экзаменам. Сразу же за ними ушел Хидо. Эмили сняла очки, протерла их и снова водрузила на место.

— Хотите чаю? К сожалению, мы давно поужинали и еды я вам предложить не могу.

— Было бы кстати, а есть я в любом случае не хочу, — вежливо ответил он, вновь соврав.

Эмили подошла к одной из стен и толкнула ее. Оказывается, там была дверь — она была выкрашена в тот же охристый цвет, что и стена. Лжефранк с любопытством заглянул туда, но ничего захватывающего не обнаружил: простая кухня. Эмили что-то там делала, поэтому он вернулся в гостиную и сел на диван перед телевизором.

Он действительно прибыл в Антверпен из Роттердама. А туда — из Амстердама. А в Амстердам он прилетел из Берлина. А в Берлин — из совсем другой страны, вообще из-за пределов Евросоюза. В немецкую столицу его привели невеселые дела.

Внезапно умер двоюродный брат Давид Черневич — хилый невысокий бородач, с которым, невзирая на не прямое родство, Лжефранк постоянно переписывался по Интернету. Адвокат, занявшийся делами Давида, знал об их общении и ему не составило труда разыскать и вызвать кузена покойного. Завещания составлено не было (Давид умирать не собирался, но однажды у него просто оторвался тромб и все; ужас полнейший) и Лжефранку ничего особо не светило. У Давида была жива сварливая мать, тетка Лжефранка — Марина, а еще имелась в наличии бывшая жена с десятилетним сыном. Но адвокат пригласил Лжефранка разобраться с архивами Давида, так почему бы не прокатиться, за чужие-то деньги? Была и еще одна причина, по которой он просто-таки с колоссальным удовольствием взял отпуск и полетел на запад. Уже несколько месяцев он находился в отношениях, опять же по Интернету, с некоей Симоной из Амстердама. Началось все с того, что он мельком увидел ее портрет в одной из социальных сетей, заинтересовался, потом посмотрел остальные фотографии — все очень понравилось; она была не сказать что художавой и складной, лицо полноватое, но очень милое, кожа белая-белая, волосы пепельно-серые, попросту говоря, до предела симпатичная. Общение пошло резко в гору, в переписке Симона была нежна, чувственна и многообещающа. Лжефранк пылал, как никогда раньше — и это в тридцать пять-то лет. Он не говорил ей, что собирается в Западную Европу, зато заранее купил билет из Берлина до Амстердама на рейс одного из дешевых перевозчиков. И появился в городе Рембрандта, так сказать, подарком. Название улицы, на которой живет Симона, он знал давно («Я хочу быть ближе к тебе, скажи название, я поищу на карте»), а потом, уже специально, выведаль и номер дома. Распорядок же дня Симоны ему был известен и так. В итоге, прошатавшись часа три у дома, он с ней столкнулся. Симона была, откровенно говоря, в полном шоке. Она его не ждала и оказалась ему не рада. Она популярно объяснила, что сетевые игры — это одно, а в реальной жизни у нее есть постоянный партнер, с ним же, с Лжефранком, она общалась сугубо «так». Обманутый влюбленный, разумеется, чувствуя себя абсолютным тупицей и ощущая дикую пустоту внутри — разом он потерял и друга, и любовь (конечно, оставались и другие люди, помимо Давида и Симоны, но эти двое занимали в его жизни довольно важное место) — поплелся куда глаза глядят. Мысль работала плохо, но вскоре инстинкт самосохранения взял верх — надо было придумывать, что делать дальше. Лжефранк добрел до вокзала и зашел в Интернет на сайт той же авиакомпании. На ближайшие дни до Берлина билетов не было вообще, а другие перевозчики за перелет в одну сторону заламывали совершенно неприличные суммы. Он написал Симоне — а что оставалось делать? — мол, выручай. Та виртуально задрала нос, но ответила быстро, хотя и одной только фразой: «Лети из Брюсселя». Он посмотрел — да, из Брюсселя были недорогие билеты «только туда» на послепослезавтра. Ну что ж, купил. Хорошо хоть, что из Берлина обратный рейс еще через неделю. Заодно понял, что если брать билеты на местные поезда (которые подешевле), то можно еще побывать в двух интересных городах, Роттердаме и Антверпене. Ну потерял людей — так хоть обретет города. Роттердам поразил очень сильно — мостом Эразма, архитектурой, набережными, Евромачтой и многим другим. А потом он сел в поезд до города Росендала, и уже оттуда добрался до Антверпена. Еще в дороге пошел сильный дождь...

Эмили принесла чай с какими-то печеньями и поставила на стол.

— Угощайтесь!

— А вы? — машинально спросил он.

— Я же сказала, что мы уже поужинали. И чай попили. Вы пейте, а я пойду, мне надо еще кое-что сделать на кухне. Как закончите — занесите чашку, и я вам скажу, куда надо подниматься.

Он, будучи крайне голодным и жадным до питья, быстро выпил и съел все предложенное. Зайдя в кухню, он сморщился — в нос ударил резчайший запах лука.

— Вот это пахнет у вас, — сказал он.

— Да, я режу лук и сейчас его поставлю на ночь в... — Тут она впервые употребила неизвестное ему английское слово. Вероятно, это было что-то типа «рассола».

— У меня уже глаза слезятся. Представляю, как они болят у вас.

— О нет! Я с детства вообще не реагирую на лук. Меня в семье постоянно использовали для резки овощей. — Она засмеялась чуть хрипловато. — У одного брата была аллергия на сырые морковь и картошку, другой поначалу был слишком маленький, сестра просто нас презирала и была выше кухонной работы. Ну и все, конечно, плакали от лука. А я — нет. Вот так и получалось, что я только и делала, что резала, а остальные занимались чем-то еще. Вы допили свой чай?

— Да, спасибо огромное.

— Пожалуйста. Наверное, вы бы хотели уже подняться и отдохнуть? А то мне тут еще работы на полчаса минимум.

— Да, если это возможно.

— Почему бы и нет? Итак, вы видели, куда ушли Сесиль и Луна?

— Да.

— Поднимайтесь по той же лестнице до самого верха. самого-самого. Там будет три двери. Правая — комната Луны, вы ее точно не спутаете — там горит свет часов до двух ночи, Луна у нас мало спит. Средняя — ванная и туалет. И левая — ваша. Она гостевая, поэтому белье там всегда чистое и полотенце лежит на подушке. А чемодан можете оставить тут, внизу, чего вам его тащить.

— Все понятно. Спасибо вам еще раз. Очень большое спасибо.

— Моя комната на первом этаже, у меня на двери большая фотография океана. Если я еще буду спать утром, когда вы будете уходить, постучите, я выйду и открою вам дверь. Я на работу раньше полудня не выхожу. Доброй ночи.

— Доброй ночи, — ответил он.

Не успел он миновать первый (для себя — второй) этаж, как вдруг одна из дверей открылась и его чуть ли не силой затащили внутрь. Это был Хидо.

— Послушайте! Вы, послушайте! — возбужденно бормотал он по-английски со смешным акцентом, усаживая Лжефранка на стул. — Какой вы, к чертям, экуменист! Вы же вообще не экуменист!

— Я начинающий, — безнадежно вякнул он в ответ.

— Да ладно! Мне все равно! Просто зачем же меня обманули?

— Вы знаете, тут такая история...

— И слушать ничего не хочу! У меня своих проблем много! Ничего не говорите. Ничего.

Хидо тихо, но очень отчетливо причитал, бегая туда-сюда по небольшой комнате, на сей раз совершенно хаотично заваленной книгами, журналами и всякими инструментами типа отверток, плоскогубцев и так далее.

— Вы ничего у нас не украдете?

— Разумеется, нет.

— Тогда мне все равно, кто вы и что вы!

— Но... как вы поняли, что я не экуменист?

Хозяин дома (хотя этот громкий титул ему плохо шел) встал, уперев руки в бока, и едко хихикнул:

— А то я не знаю, как ведут себя экуменисты! Во-первых, они поодиночке крайне редко приходят. Во-вторых, от них такой шум, хоть из дому беги, и говорят они только о своем. И вообще они некрасиво одеваются. Вы спокойнее их в сто раз. Хотел бы я, чтобы все наши гости были такими. Ну да ладно. Я с вами хотел о другом поговорить.

— Слушаю, — сказал Лжефранк.

— Вот скажите, как так можно — поначалу собираться потратить деньги на ремонт одной из комнат, а в итоге взять кредит и купить себе новую машину. Заме-

тим, что машина совершенно не нужна — до работы пешком минут десять. А я? Вы спрашиваете, что же я? У меня есть старенький «фольксваген», ему уже лет пятнадцать. Мне ничего больше не надо. А потом еще эти ставки. Конечно, я тоже иногда ставлю, особенно на стандарт, но нельзя же туда относить постоянно половину заработка! Объясните мне, как это так?

Лжефранк слушал Хидо с сильным недоумением.

— Хидо, извините, я ничего не понял. О чем вообще речь?

Тот в досаде махнул рукой и отошел к окну:

— Да ладно вам. Я так просто спросил. Никто мне ничего не объясняет никогда. А старый Хидо должен за всех все решать. А у меня вот!!! — Он подскочил к столу и схватил с него какой-то непонятный прибор. — Вот, я его строю уже пять лет и никак не дострою. Между прочим, это будет прорыв. Но ставки меня губят. И ведь ставки-то не мои...

— Ваши дочери играют? — осторожно спросил Лжефранк.

— Как же! Дочери! Жена.

— Эмили?!

— Да!

Лжефранк мобилизовал все свои познания о спортивных ставках и спросил:

— А что такое «ставить на стандарт»?

— Да не стандарт, а «Стандарт». Команда такая из Льежа. Футбол, футбол. Почему-то все заранее знают, проиграет ли она или нет.

— Я не интересуюсь, простите...

— Прощу. Просто я думал, что вы мне расскажете.

— Я же не могу рассказать, как думает ваша жена.

— Как это — не можете? Разве вы ее не знаете? Я думал, вы давно знакомы и понимаете мотивы ее поведения.

— Я ее не знаю, Хидо, в том-то и дело.

— Наверное, это какая-то смешная история? Вы хотели с ней лечь в постель?

— О чем вы, Хидо?! — ошарашенно спросил Лжефранк.

— Ну не сердитесь. Я же просто спросил. Но в любом случае не рассказывайте мне ничего, у меня голова и так разрывается от всего прочего. Вы шли спать — вот и идите своей дорогой. До свидания.

И Хидо так же молниеносно выставил его за дверь, как и втаскивал его внутрь некоторое время назад. Лжефранк, совершенно сбитый с толку бессвязными речами Хидо, поднялся, как было велено, на самый верхний этаж. В этот момент за средней дверью зашумело и через секунду она открылась — то была Луна, девушка, целовавшая его в щеки. Она его увидела и улыбнулась:

— Привет! Ну как тебе у нас?

— Очень хорошо. Дом у вас очень интересный.

— Это типичный антверпенский дом. Но мы его очень любим. Тебе понравились мои родители?

— Мама у вас очень гостеприимная. Так хорошо меня приняла. А еще я только что общался с Хидо. Он... — Лжефранк задумался, — немного странный. Я так и не понял, что он хотел мне сказать.

Луна засмеялась, словно бабочка ночью подлетела к окну:

— О, это с ним постоянно. Мы уже привыкли. Даже мы не всегда с первого раза понимаем, что он хотел сказать или спросить. А уж тебе-то... — Она посмотрела прямо в глаза Лжефранку, еще раз улыбнулась, зашла в свою комнату и села за компьютер. Лжефранк проследовал за ней.

— Чем ты занимаешься сейчас?

— Да вот, изучаю плоскости, но не могу никак понять, при чем тут системы линейных уравнений.

Он посмотрел на экран — там были знакомые символы.

— Помочь?

— А ты можешь?

— Ну, я заканчивал математический факультет. Хотя это и давно было...

— Здорово! Тогда помоги мне, пожалуйста!

Лжефранк взял табуретку и подсел к столу, снова вдохнув ее невинный, но наглый в своей устойчивости запах. Вгляделся в знаки, меж которых блуждала Луна.

— Смотри. Если взять систему из уравнений плоскостей и решить ее, то полученное решение и будет описывать прямую, где эти плоскости пересекаются. А если решения нет, то они не пересекаются.

— Решение системы вижу, но я не понимаю, почему это решение — тоже уравнение, а не конкретное значение.

— Уравнение $Ax + By + Cz + D = 0$ описывает множество точек, которые лежат на прямой, образованной пересечением двух плоскостей. Если они вообще пересекаются.

Луна задумалась.

— Хорошо, но что тогда означают эти коэффициенты?

— Это координаты вектора, перпендикулярного к плоскости, в которой лежит прямая. А все точки, которые им описаны, и есть точки прямой.

Девушка вновь задумалась. В правом нижнем углу всплыло какое-то слово. Лжефранк успел заметить, что отправителем была Сесиль. Луна тихо прыснула и стала стучать клавишами в ответ. Пару минут она только и делала, что переписывалась с сестрой, как будто забыв о своем госте. Наконец она повернулась к нему:

— Извини, тут Сесиль интересуется, чем это мы занимаемся. Я сказала, что математикой, она не поверила, я предложила ей зайти и убедиться лично. Она пишет, что не хочет видеть свою сестру, то есть меня, в голом виде. Дура! — Луна снова засмеялась.

— Твоя сестра, похоже, слишком много думает о том, о чем ей не надо бы думать.

— Ты имеешь в виду, что... — Луна сделала паузу, — ей пока рано думать о сексе?

— Я думаю, что ей рано следить за тобой, — ответил Лжефранк, хотя думал именно так, как сказала Луна.

— Вообще-то ты прав, — вздохнула девушка. — Но и я права. Сесиль у нас слишком самостоятельная. И слишком одинокая. И слишком рано стала взрослой. Она никогда ни с кем не разговаривает по душам. С мамой так и вовсе не общается, никак. Со мной — ты видел, она только шутит по-злому, и то как будто постоянно на грани срыва или депрессии. К папе иногда заходит, но там она садится на какой-нибудь стул и сидит молча два часа подряд. А папе нет дела до нас. Сидит и мастерит свою шутовину. Что Сесиль, что я, что мама — ему все равно. Хотя голая Ким Клийстерс зайдет — он не повернется, если чем-то своим занят. Никто не знает, что у них на уме. У папы и Сесиль. Но папа хоть изредка высказывается, пусть и непонятно. А она... — Луна еще раз вздохнула.

Лжефранк с интересом внимал ее речи. Его собственные изначальные опасения, что он может испытать влечение к этой девушке, уже исчезли — его либидо она не тревожила. Но что-то все же удерживало его от того, чтобы встать и уйти. Он как будто ждал, что сейчас она скажет что-то важное — не столько для него, сколько для себя.

— Я так за нее переживаю, а у меня и так сплошные проблемы...

— А какие у тебя проблемы?

— Понимаешь, — тут Луна встала и заходила по комнате. Лжефранк подметил занятное сходство в этом между отцом и дочерью, — мне кажется, что я родителям

совершенно не нужна. Точнее, не нужна маме. Про отца я сейчас все сказала уже — он вообще плевал на всех нас. А вот мама... Она ко мне все время придирается, не дает мне свободно общаться с людьми, а я ведь уже взрослый человек!

Лжефранк невольно улыбнулся, но лишь глазами.

«Дитя мое», — подумал он, но лишь подумал.

— Я не могу ходить туда, куда хочу, везде какие-то рамки, ограничения... Сесиль меня старше всего-то на полтора года, но ей уже можно почти все. А мне — почти ничего. Мама со мной все время разговаривает раздраженно, сердито. Мне кажется, что она меня не любит... Я же младшая, вот она все силы потратила на Сесиль. Только мама разделалась с какими-то ее проблемами, и сразу ровно такие же начинаются у меня. Я ведь понимаю, что это все циклично, и человек в определенном возрасте не может избежать некоторых вещей. Но мама же уже старый человек, она устала, очень редко улыбается...

— Как же смешно, — не сдержался Лжефранк. А стоило промолчать.

— Что — смешно?

— Луна, я тут случайный человек, зачем тебе мои комментарии?

Луна обиделась.

— Ну да, случайный. Но ты же добрый человек, мне так кажется. И если я тебе что-то рассказала, ты вполне можешь мне помочь сейчас.

— Не знаю, добрый ли я. Но я действительно удивлен, потому что ты высказываешься одновременно и умно, и очень глупо. Точнее, наивно.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты говоришь — человек не может избежать каких-то вещей.

— Да.

— И вместе с этим ты думаешь, что тебя не любят родители. Ладно, папа у вас особенный. Но мама-то совершенно нормальная. Почему ты не догадываешься, что в твоём возрасте думать, что «мама меня не любит» — неизбежно и совершенно нормально? И почему ты не понимаешь, что мама тебя очень любит?

— А почему тогда она меня так все время ругает? Я же учусь хорошо. Нет, ты не прав. Все не может быть так просто.

— Может быть, ты слегка преувеличиваешь?

— Что преувеличиваю?

— Может, мама к тебе относится не так плохо? И ругает тебя вовсе не постоянно?

— Но послушай, — взвилась Луна. — Я зимой сдала экзамены, все экзамены, и хотела пойти в клуб с друзьями. Просто в клуб. Я же заслужила! И мама мне говорит — чтобы в одиннадцать вечера была дома. И звонила мне два или три раза, пока я там была. Это же невозможно! Где соблюдение моих прав на личную жизнь? И такое происходит постоянно...

Лжефранк уже не улыбался. Упрямство девушки было объяснимым, но он не хотел ломиться в дверь, за которой никого нет.

— Дорогая моя, — сказал он, вставая. — Я думаю, тебе надо просто успокоиться и переждать. Это все пройдет...

— А я думала, ты мне скажешь что-нибудь умное. — Луна посмотрела на него едва ли не презрительно. — Ладно, доброй ночи. Уходи.

Лжефранк, слегка разозлившись, вышел из комнаты девушки, сделал пару шагов, открыл дверь «своей» опочивальни и с облегчением оказался в одиночестве. Двух непростых разговоров ему хватило выше крыши — притом что он за полчаса побывал как в роли непонимающего, так и в роли непонимаемого. Достаточно, пора отдыхать. Он тут же подумал, что зря оставил чемодан внизу, утром-то надо будет переодеться... Ну да ладно, перед душем спустится, лестница крутая, но ничего страшного. Он, не включая свет, расправил постель, разделся донага и лег. Усталость пульсировала в ногах, глаза слезились, а в голове была полная каша. «Скорей бы уснуть», —

подумал Лжефранк и немедленно это сделал. Прошло две минуты, а может — пара часов. Что-то ворвалось в его сон. Он проснулся. Кто-то настойчиво, хотя и тихо (как будто длинными ногтями), стучал по его — да, в этом не было сомнений! — по его двери. Он встал, одеваться не стал, но полностью обмотался одеялом. «Наверное, Луна что-то хочет еще сказать, вот радость-то», — недовольно думал он, открывая дверь. Но там была не она. На пороге, озаренная лунным сиянием, стояла Сесиль. Лжефранк боковым зрением заметил, что в комнате Луны света не было — вероятно, уже отдыхает.

— Что случилось? — спросил он вполголоса.

— Можно к тебе? — прошептала она. — Только прошу, пожалуйста, не говори громко.

— Ну, я вообще-то спал...

— Ничего страшного. Я войду?

— Ладно.

Они зашли и Сесиль закрыла дверь.

— Ты ложись, я отвернусь.

Лжефранк размотал одеяло и с удовольствием снова улегся. Но не успел он вновь ощутить отрадную прохладу свежего малознакомого белья, как Сесиль задрала руки, потом как будто слегка нагнулась и после этого молниеносно нырнула к нему под одеяло. Рукой и бедром он ощутил, что она голая. Действительно голая. Какой ужас! Он лежал на спине, а она на боку. Потрясенный, Лжефранк не сразу нашелся, что сказать. А когда нашел, это прозвучало не очень внушительно.

— Сесиль, немедленно уйди. Что ты делаешь?

Да, шепотом произнесенные, эти слова эффекта не производят.

— Я не уйду. Ты мне нужен, — шепнула она в ответ.

— Для чего?

— Ты глупый? К тебе в кровать залезает девушка, а ты спрашиваешь, зачем?

— Да, я спрашиваю...

— Трахни меня. Франк, трахни. Пожалуйста. Трахни и я тут же уйду.

— Что?!

— Я секса хочу. Я очень хочу секса. У меня его так долго не было.

Хоть это и было сказано так же — шепотом — Лжефранк услышал фальшь в словах внезапной претендентки на его ласку. Поборов искушение проверить Сесиль, позадавав ей несколько неприличных вопросов (на которые она вряд ли ответила бы, чем однозначно подтвердила бы свою невинность), он в итоге повернулся на бок, лицом к ней, но тут же отделил себя от нее одеялом — так, чтобы они лежали рядом, но при этом телами не касались друг друга. Заодно он укрыл от Сесиль свое колоссальное, невозможное возбуждение, которое пришло совершенно автономно, не обращая никакого внимания на мысли своего хозяина (хотя еще большой вопрос, кто был чьим хозяином — Лжефранк ли своей эрекции или наоборот). То, чего не было с Луной, с Сесиль случилось в двойном объеме. Или тройном. В темноте возбуждение казалось настолько огромным, что для него как будто не хватало пространства. Но Лжефранк сдержал себя.

— Не ври. У тебя не было секса вообще никогда.

Сесиль молчала. Он понял, что интуиция его не подвела.

— Зачем тебе это?

Она ничего не говорила. Он тоже замолчал и даже задремал. Она, увидев это, слегка потрясла его за плечо.

— Ситуация совершенно идиотская, — сказала Сесиль.

— О, как я с тобой согласен! — воскликнул он в голос, тут же прикусив губу. Обнаруживать себя — теперь — ему не хотелось так же, как и Сесиль.

— У меня есть парень. Только он старше.

— Очень хорошо, — ободрил ее Лжефранк, хотя ничего хорошего от ее рассказа не ждал. — А сколько ему лет?

— Сорок два. У него есть жена, дети...

Лжефранк в отчаянии вскинул брови, чего Сесиль не заметила.

— И ты готова с этим мириться?

— Я люблю его! Очень! Он — моя единственная любовь!

— На всю жизнь? — против воли сыронизировал он.

— Не шути... Я хочу ему отдаться, безумно хочу.

— А он что, не хочет?

— И он хочет. Но... Он не хочет меня такой, какая я есть сейчас.

— И какая же ты есть?

— Слушай, ты только сегодня такая дубина или всегда?

Он обиделся и замолчал.

— Извини, я просто нервничаю. Я девственница.

— Я уже в курсе. И дальше что?

— Нет, ты невозможен... И вот как раз это его и не устраивает.

Лжефранк вытаращил глаза опять же в темную пустоту.

— Почему?!

— Ну что ты все время вопросы задаешь! Вот представь, не хочет он девственницу. Приходи, говорит, уже открытая, и тогда все будет. А так...

— Погоди, он что, добровольно тебя отдает другому, чтобы ты с кем-то неизвестным лишилась этого самого?

— Да.

— Он идиот!

— Да.

— Зачем тебе это? — снова задал он пресловутый вопрос.

— Я люблю его.

Аргумент, которому ничего не противопоставишь. К слову, Лжефранк частично понимал незнакомого идиота — он сам не хотел бы оказаться первым у кого бы то ни было. Но в подобной ситуации, наверное, он бы все же поступил иначе...

— Слушай, Сесиль, ты же очень красивая девушка, — сказал он, неожиданно для себя осознав, что не успел заметить, какая у нее грудь. — Тебе же стоит только щелкнуть пальцами — и перед тобой мужчины встанут в очередь, как в ИКЕЕ на рождественской распродаже.

— Кто тебе сказал? Все, абсолютно все реагируют так же, как ты. Все расспрашивают, удивляются, ругают его, дают мне советы и в итоге отказываются мне помочь. А мне так нужна помощь! Я уже сотню человек попросила. Я срочно хочу избавиться от этой фигни, она мне всю жизнь портит! — Сесиль расплакалась, прижав одеяло к лицу. — Я почему-то понадеялась на тебя, ты же порядочный человек, мне папа и Луна уже рассказали, как ты заходил и разговаривал с ними. Папа считает, что ты ему раскрыл глаза на многое. Не знаю уж, о чем там у вас шла речь. А Луна просто написала, что ты самый умный из всех, кого она встречала в жизни. Я и подумала, раз ты такой хороший, ты не сможешь мне отказать. А ты смог...

Лжефранк перелез через нее, встал, уже не думая о том, что Сесиль видит его голым, и подошел к окну, треугольником вырезанному в деревянной стене. Вниз посмотреть было нельзя, а в перспективе виднелись крыши, крыши и ничего кроме крыш. Их освещала пустоглазая бельгийская луна. Луна светила, Луна спала, как, вероятно, и Хидо с Эмили, а Сесиль плакала. А Лжефранк стоял и ничего не понимал. С одной стороны, от него ждут совершенно невозможного. С другой, молят о помощи. А с третьей предлагают нечто бездонно манящее — возбуждение-то никуда не делось...

Он снова перелез через Сесиль и лег у стены.

— Прости, я не могу. Я хочу, но не могу.

— Ты — хочешь? — удивилась она.

— Да, я очень хочу тебя. Ты мне нравишься. Но я не могу так. Мы же не машины, а наши чувства...

— Подожди. Откуда ты знаешь, что ты хочешь?

— Э-э... Задавать тупые вопросы — моя работа, не твоя. Я хочу тебя и все.

— Франк, пожалуйста, просто объясни, откуда ты знаешь, что хочешь?

— Я не понимаю, почему ты спрашиваешь об этом?

— Мне кажется, что я никому не нравлюсь, потому что я некрасивая. А ты вдруг говоришь, что хочешь...

Он, не очень хорошо отдавая себе отчет в своих действиях, просто взял Сесиль за запястье и принудительно накрыл ее ладонью то, что доказывало его слова наилучшим образом. Прошло несколько секунд, он опомнился и убрал ее руку. Она, рука, была вялой и как будто чужой.

— Теперь иди.

Сесиль молча встала, подняла с пола свою одежду и, не одеваясь, вышла. Лжефранк успел заметить, что грудь у нее не очень большая, но красивой формы и с крупными сосками. Немедленно после этого он куда-то провалился и спал крепчайшим сном до самого утра.

* * *

Как будто вознаграждая за все вчерашние тревобления, день наступивший принялся радовать Лжефранка с самого начала. Солнце, безупречно синее небо — уже неплохо. Далее он вспомнил, что ночью наконец-то поступил не вопреки, а в соответствии со своими принципами. Потом почувствовал, что ухитрился выспаться. Все это его ободрило и он вылез из-под одеяла в лучшем расположении духа. Он спустился, достал из чемодана чистую одежду и снова поднялся наверх. Как ему показалось, дом был совершенно пуст. Точно не было Хидо и Сесиль — двери их комнат были распахнуты настежь. Луна, скорее всего, тоже ушла — ее дверь была плотно закрыта, но изнутри не доносилось ни звука — Лжефранк специально постоял рядом полминуты. Ну, а Эмили, вероятно, еще спала.

Он быстро принял душ, переоделся и пошел вниз. На столе обнаружил записку: «В холодильнике бутерброды и холодный чай. Постучите в мою дверь в 10:30 — 11:00, если я еще не встану». Он глянул на часы — 10:40. Нормально, как раз успею перекусить (вежливо отказываться от бутербродов он не намеревался) и разбужу ее вовремя. Во время еды, впрочем, хорошее настроение быстро улетучилось, потому что он вспомнил про Симону и Давида. Снова навалилось уныние, к которому он так охотно привык за последние два-три дня. Удивительно, как быстро тоска укореняется в сознании. И не изгнать ее. А вот радость или счастье сбегает при первой же возможности. Более же всего расстраивало отсутствие перспективы. Что потом? Дорога до Брюсселя, потом до Берлина, возвращение домой... Дальше думать не хотелось Лжефранк тяжело поднялся и снова направился к лестнице — будить Эмили.

Он чуть задержался на входе в ее комнату, разглядывая огромную картину, на которой был, как она сама сказала, только океан — вода и небо, без малейшего намека на сушу, людей, какой-нибудь корабль или самолет. Любопытно, почему они эту фотографию повесили на дверь с внешней стороны. Ведь если мимо такой красоты приходится ходить постоянно, то собственно красоту-то и не заметишь... Впрочем, тут же подумал Лжефранк, может, для них это и не красота вовсе, а так. Это он был зациклен на всяческой воде, и чем больше ее, тем лучше для него.

Постучал.

— Да! — мгновенно ответил громкий и явно не сонный голос Эмили. Он вошел.

Она лежала под одеялом, читая книгу.

— С добрым утром! Как вам спалось?

— Спалось — прекрасно, — сказал он, сделав ударение на первом слове. Он не планировал рассказывать Эмили о своих встречах и разговорах с ее домочадцами, однако язык и подсознание вновь сыграли на опережение.

— А что было не так? — Она остренько взглянула на него.

— Ну, — слово — не воробей, надо объясняться, — я пообщался с вашими дочерьми и мужем. С каждым из них уже после того, как вы мне пожелали доброй ночи.

— И о чем же вы с ними говорили?

— С каждым было по-разному.

— Расскажите.

— Ваш супруг говорил мне что-то не очень понятное. Честно, я его едва понял.

— О, представляю. Небось про ставки и про свою адскую машинку?

Лжефранк в очередной раз смутился. По-быстрому анализируя события минувшего вечера-ночи, он понял, что Хидо, искренний и порывистый, оказался лично ему симпатичнее всех. Поэтому-то совершенно не хотелось его за глаза ругать или выставлять дураком.

— Вы знаете, Хидо очень... необычный человек. Мы с ним совершенно разные. Но я его глубоко уважаю, — проговорив это, Лжефранк демонстративно замолчал, давая понять, что о Хидо он более говорить не намерен. Эмили либо поняла это, либо тема сама по себе исчерпалась.

— А что девочки?

— У них сложный возраст сейчас. Это вы и так знаете. Вот они и говорили со мной о своих проблемах. Не знаю уж почему, но говорили.

— Ну и про что же они говорили?

— Эмили, я все-таки думаю, что мне лучше оставить это в тайне. Не думаю, что Луна и Сесиль будут рады, узнав, что я передал вам содержание наших бесед.

— Вероятно, вы правы. Да и, честно говоря, мне это малоинтересно.

— Как так?! — изумился он.

— Только не подумайте, что мне плевать на них. Вовсе нет. Просто... я вижу, насколько смешны и ничтожны их проблемы и потребности. И меня это угнетает. Нет, я, конечно, стараюсь им помогать по мере сил. Даже, наверное, иногда проявляю слишком большое усердие. Но, если бы я была уверена, что они сами со всем справятся, я бы с удовольствием просто отошла в сторону. У меня и так много всего — дом, работа, сумасшедший муж... — Она отложила книгу, сняла очки, закрыла глаза и начала их массировать пальцами.

— Эмили, у меня нет детей, но я очень удивлен вашими словами, — молвил Лжефранк после некоторой паузы. — По-моему, так нельзя...

Эмили молчала, не открывая глаз.

— Знаете, Франк... Мне много лет. Не очень много, но уже достаточно. Я просто устала от того, что все всегда повторяется. Разумеется, в отношении дочерей я не права. Но у меня просто нет сил все время быть правой. Я не-мо-гу сейчас ставить их на первое место. Если я буду поступать так, как я должна, я просто не смогу работать и думать о себе. Я и так не думала о себе лет пятнадцать подряд. Понимаете, подряд! Я за это время забыла, кто я. Я потеряла молодость и почти всю зрелость. Я выгляжу гораздо хуже, чем могла бы. Совсем перестала улыбаться и читать умные книги, а я, между прочим, магистр философии. Я стала фригидной. Из-за меня как личность пропал мой муж — да-да, он еще лет десять назад был совсем другим, работал и приносил пользу, вполне здраво рассуждал. Но потом он начал... Впрочем, это не важно, а важно то, что я не успевала следить за ним. Надо было плотнее общаться с ним, заставить его вовремя — понимаете, вовремя! — сходить к психологу, следить,

чем он занимается по ночам в своей комнате. Всех этих бед не было бы, если бы я не думала двадцать четыре часа в сутки о детях. И что теперь? У меня остался последний вздох, который я могу сделать только для себя. А вы мне предлагаете продолжать всю себя посвящать дочерям...

Лжефранк, разумеется, ничего такого не предлагал, но даже не думал возражать Эмили. Его слова были бы совершенно лишними. В этот момент комнату залило солнце, на какое-то время ушедшее за тучи, но вновь выступившее на передний план.

— Пожалуйста, закройте жалюзи, если вам нетрудно, — попросила Эмили.

Он сделал это. Эмили тут же деловито откинула одеяло и села — оказалось, она лежала в кровати в короткой сорочке на бретельках, которая задралась выше бедер и вот теперь явила Лжефранку полное отсутствие нижнего белья на хозяйке. Он выдержал паузу — Эмили не двигалась, будто бы сама замороженная видом собственного бесстыдства — а затем шагнул к ней, стремительно опрокинул ее обратно на спину, встал на колени и склонил свою голову.

— Что ты делаешь, мне это совершенно не нужно, я забыла все это, ну, хватит же, — как надоевшую молитву монотонно повторяла Эмили, не пытаясь, однако, оттолкнуть его. Впрочем, через несколько минут она уже не могла ничего говорить, так как положение слегка изменилось — Лжефранк оказался сверху и целовал ее в губы, как безумный. Да он и был тогда безумным...

...Закрывал чемодан и обувался он под ее пристальным взглядом. На выбубненное «Извините, Эмили, я сам ничего не понимаю» она не отреагировала, лишь сняла очки, чтобы в очередной раз протереть их. Наконец он собрался и распрямился. Пришлось посмотреть ей прямо в глаза.

— Эмили, можете быть уверенны, что в отношении ваших дочерей я поступил совсем иначе, — сказал он очередную глупость. — *Parole d'honneur*, — добавил он случайно запомнившееся со школы.

Она снова промолчала. Жестом показала в сторону двери — мол, проходи, не стой тут. Он и пошел. Она повернула ключ, торчащий в скважине, выпустила Лжефранка наружу и, как только он шагнул за порог, резко захлопнула дверь.

Он постоял, не двигаясь, несколько минут, приходя в себя и желая понять, что же произошло за последние полчаса. В этот момент он услышал смутно знакомый скрип. Что это такое?.. Недавно ведь слышал. Ах, это же ставень. Он сделал два шага вперед и обернулся. У окна типичнейшего антверпенского дома стояла Эмили с ножом в руках. По ее щекам текли слезы. Она стояла и улыбалась.

Чем занимаются мои родители

Игорь и Слава

Я подъехал к дому, припарковался и вышел из машины. Захлопывая дверь, я автоматически поднял голову — в квартире, судя по темным окнам, никого. Ну Лина-то ладно, она сегодня рано не придет, а этот где? Мы сыну строго-настрого запретили сидеть за компьютером с выключенным светом (да и вообще стараемся как можно реже пускать его за компьютер). И вроде он нас слушается. Значит, гуляет. Надо зайти во двор. Да, так и есть — вся их орава тут, стоят кругом и что-то рассматривают в телефоне одного из них. Ну и дела, в очередной раз поразился я. Им действительно неинтересно играть в какие-нибудь «подвижные» игры. Соперничают на уровне «у кого круче телефон» или «у кого более прокачан герой в игре». А в их возрасте это означает, что они меряются папами. Иногда — мамами. В общем, кто больше денег даст. Мы своего не особо балуем. Хотя понимаем, что сейчас у маленьких людей понятия о чести и собственном достоинстве совсем другие, и сейчас им в самом деле

нельзя обходиться без всей этой чепухи. У нас так принято — это всегда имело колоссальное значение, только «так» меняется от десятилетия к десятилетию.

Я позвал сына:

— Игорь, ты здесь?

Он вынырнул из десятиголовой толпы и подбежал:

— Папа, привет! Можно я еще побуду тут?

— Сколько?

— Ну... Может, полчаса?

— Постарайся не дольше. Ладно?

— Хорошо, папа! — И через секунду он уже снова там.

— Ладно, через час, надеюсь, будет.

Я пошел домой, переоделся, съел что-то неинтересное, открыл ноутбук и слегка поработал. Зашуршал ключ. Лина или Игорь? Ага, сын. На всякий случай посмотрел на часы — прошло сорок минут, молоток. И сразу моет руки, приучили, это радует.

— Есть будешь?

— Не-а! Нас Паша угостил.

— Чем?

— Чипсами и кока-колой.

— А как же ужин?

— Да я не хочу, па!

Как я его понимаю. Я бы сам с большим удовольствием съел пару пакетов чипсов и запил колой. Или пивом. Но нельзя. И по состоянию здоровья, и по идеологическим причинам. Сына надо кормить хорошо, Лина об этом твердит каждый день. Сама жрет только овощи, и нас пытается заставить. А чуть что — шумит и кричит. Неприятно кричит. Мне не нравится. Игорю тоже.

— Па, ты же не скажешь маме, что я ел чипсы? — Встревоженный голос.

Опомнися! Ну, конечно, не скажу.

— Зайди ко мне.

Заходит. В глазах, как и в голосе, легкое волнение.

— Ты понимаешь, что этим злоупотреблять нельзя?

— Понимаю...

— Мама ругаться будет, если узнает.

— А ты не говори ей.

— Да я-то не скажу! Но она спросит, а почему ты ничего не ел вечером. Думаешь, не догадается?

— Не догадается. Я сейчас возьму свою порцию и выкину в туалет, а ей скажу, что было очень вкусно.

«Молодец, мужик! Лучший! Так и надо!» — хочется мне ему сказать, но вместо этого говорю:

— Нет, так нельзя. Давай-ка ты съешь половину, а с другой половиной я тебе помогу.

Игорь вздыхает и соглашается. Мы идем на кухню и там, нерадостно вздыхая, едим нарочито голые макароны и овощной салат без намека на майонез или другой соус.

— Па, а хочешь, я тебе принесу чипсов?

— Мне нельзя, сынок.

— А почему?

— Я же тебе рассказывал!

— А-а... — тянет сын, делая вид, что вспомнил.

— Все-таки забыл? У меня желудок больной.

— Па, а я вот стану хирургом и тебя вылечу!

— Я буду очень рад и счастлив.

Наконец, все съедено. Я хлопаю его по колену:

— Пошли посмотреть телевизор? Там вроде хоккей сейчас, четвертьфинал.

— Пошли! А там наши играют?

— Да, наши! И это забыл?

Кто бы мог в свое время подумать, что желание ребенка посмотреть телевизор (стало быть, отказаться от компьютера) будет восприниматься почти как достижение. Садимся, смотрим, переживаем. Хоккейная серия — дело тонкое. Если наши сегодня проиграют, то все, выбывают и в полуфинал не выходят. А если выигрывают, счет по матчам становится 3:3 и будет последняя, решающая игра. К нашему с сыном удивлению, игра проходит под диктовку кого надо, и в результате в середине третьего периода мы выигрываем 4:1 и за концовку можно не переживать. Окончательный счет — 4:2, но это уже не важно. Наши — молодцы!

— Па-ап?

— Да?

— А когда будет матч?

— Решающий-то? Послезавтра.

— А ты пойдешь?

— Пойду. Но еще не знаю куда: либо на трибуны, либо по работе (спортжурналист я).

— А возьми меня с собой, а?

— Ты хочешь?

— Да...

Я очень обрадовался. Сын никогда раньше не ходил со мной на хоккей — потому что не хотел. А сходить на матч с сыном, на решающий, а там, глядишь, победный — что может быть круче для молодого отца? Ну, в смысле для отца, который еще по возрасту не очень стар. Все-таки девять лет отцовства — немалый срок, молодым отцом я был когда ребенок только родился. М-да, второй ребенок. О первом лучше не вспоминать, хотя бы по своей воле — чужая воля о нем напоминает если не каждый день, то уж несколько раз в месяц точно. Ох, Лина-Лина. Ее авторитет для сына непререкаем, он всегда ее слушается и, я уверен, если она запретит ему идти со мной, то он даже не пикнет. Надо ее убедить, чтобы она разрешила. Я так давно об этом мечтал — привести сына на трибуну, в нашем шарфе и длинной, не по размеру футболке, поздороваться с знакомыми и тихо рассказать ему, Игорю, о тех особенностях игры, что по телевизору не увидишь.

— Конечно, возьму! А у тебя в пятницу сколько уроков?

— Шесть. Как всегда.

— Отлично! Успеешь пообедать и даже уроки сделать. Но теперь надо поспать. Как ты насчет этого?

— Можно...

Без энтузиазма Игорь умывается и ложится (сам бы наверняка поиграл на компьютере, но согласием взять его на хоккей я не позволил ему просить сегодня что-нибудь еще). Я его целую на ночь и выключаю свет.

Игорь и Лина

Занятие сегодня прошло очень нервно, все почему-то были взвинченные и невнимательные. Включая меня. А точнее, с меня начиная. На работе я не вовремя поругалась с кем не надо, из-за чего не успела посмотреть свои записи, а так как все пришли с четкой уверенностью, что мы начнем учить новый танец, то пришлось

выкручиваться и почти что импровизировать. В самый неподходящий момент на занятии я вспомнила об утреннем разговоре с сыном и очень взволновалась. А потом мысли сами по себе побежали куда не надо и привели, естественно, к Анютке. В общем, скверный был вечер. Хорошо хоть, что машину не брала — точно бы в таком состоянии врезалась во что-нибудь.

Утром я решила отвести Игоря в школу. В принципе нужды в этом нет — школа недалеко, а он уже достаточно большой, чтобы ходить туда самостоятельно. Но иногда мне хочется пойти с ним, а он не возражает. По дороге он спросил:

— Мама, а что у тебя в пакете? Как всегда, индийские штуки для танцев?

— Да, сынок, сари и штаны.

— Ты такая смешная в них!

— Тебе не нравится?

— Нравится, но смешно!

Я, честно, растерялась. Не знала, что ответить. С этими танцами я и так, по сути, в осаде — мужу все равно, родители не одобряют, а подруги предпочитают иные виды досуга. А тут еще сын, который изредка проявлял интерес к каким-то видеозаписям, оказалось, смеется над всем этим.

— Игорь, мне это нравится, у каждого ведь может быть свое увлечение...

— Наверное.

Прошли еще пару минут молча. И тут он вдруг спросил:

— А у тебя скоро выступление?

— Да, а откуда ты знаешь?

— Ты вчера достала парадное сари, ты его стираешь и гладишь перед выступлениями.

— Да, у нас послезавтра выступление в одном из ДК, обещают даже, что придет кто-то из посольства.

— А если из посольства — это будет круто?

— Не знаю, смотря кто. Если посол — да, но это вряд ли.

— Наверное, вам заплатят много денег!

— Много — точно нет.

— Мама, а можно я пойду с тобой на концерт? Я хочу посмотреть, как ты танцуешь.

Я от неожиданности чуть не разревелась прямо на улице.

С сыном у меня всегда были странные отношения. Он никогда мне не грубил, всегда слушался и я видела, что он старается делать все, что я ему говорю. Но я видела и другое: муж, который не старается и наполовину от моего, в глазах сына настолько заоблачен, что я со своими мелкими придирками (это не ешь, то не носи) выгляжу почти нелепо. Вот скажу я ему о том, что Игорь захотел пойти ко мне на концерт. Конечно, Слава напрямую не запретит. Но он вскинет брови и спросит: «А что ему там делать, смотреть на твои асаны? Он же ничего не понимает». И ведь нарочно говорит про асаны, которые не имеют никакого отношения к индийскому танцу. А я смешаюсь и сама скажу: «Да, сынок, посиди лучше дома, что тебе туда ходить?»

А муж как будто забыл, что именно благодаря танцам мы и познакомились. Я тогда только начала выступать, концерт был в маленькой библиотеке, а он туда зашел с какой-то не книжной целью. Остался, посмотрел наше выступление, а потом заглянул ко мне в «гримерку» (какую-то комнату, которую нам выделили для переодевания). Мы с другими танцовщицами только начали переодеваться. Он вызвал меня и долго расспрашивал о том, кто мы такие и что это за танцы. Я, как дура, ему рассказывала все в подробностях, а потом выяснилось, что он только и ждал, когда другие девчонки переоденутся. Как только они вышли и попрощались, он увлек меня внутрь, закрыл дверь и овладел мною так стремительно, что я вообще ничего не поняла — как ему удалось за три секунды размотать сари и стащить с меня штаны, ума не приложу.

Я опомнилась от тихого равномерного звона колокольчиков на своих щиколотках, удары Славы сзади были весьма сильны и я слегка подпрыгивала на одном месте. А когда сейчас я ему напоминаю об этом, он смотрит на меня с улыбочкой и говорит: «Да, мол, я и не отказываюсь, страсть была сильна, но танцульки к этому не имели никакого отношения». Негодяй.

Я видела, что я для Игоря — мама. А Слава для него — все. Слово Славы священо. К этому добавлялась природой заложенная большая близость между отцом и сыном (как была бы у меня с Анюткой, если бы, если бы...). Поэтому мне постоянно приходилось доказывать свою родительскую полноценность. И поэтому же внезапное желание Игоря сходить со мной на выступление исполнило меня просто диким восторгом и радостью. Сын меня увидит на сцене, услышит, как мне аплодируют (пусть двадцать человек, но все равно), увидит, что мама — его мама! — в центре всеобщего внимания. А я потом позову его на сцену, обниму и нас, надеюсь, сфотографируют.

— Конечно, дорогой! Я буду очень рада. Ты только папе пока не говори, ладно?

— Хорошо.

Мы дошли до школы.

— Ну, пока, мой милый. До вечера!

— Пока!

Я наклоняюсь, он приподнимается на цыпочки, мы целуем друг друга в щеки и он смешивается с толпой школьников. А я иду на работу, глупая и счастливая.

Лина и Слава

Слава сидит на кухне в трусах, что-то сосредоточенно печатает в ноутбуке. Весь свет выключен. Вдруг Слава поворачивает голову и прислушивается — слышен звук открываемой двери и почти сразу же зажигается свет в коридоре. Слава встает, натягивает штаны и футболку, висящие тут же на стуле, и, стоя, что-то доделывает в компьютере. Через мгновение входит Лина.

ЛИНА. Добрый вечер.

СЛАВА. Привет!

Лина нажимает кнопку чайника и уходит в комнату. Слава пока включает телевизор, сразу полностью убирая звук. Пару минут спустя Лина возвращается в домашнем халате, открывает холодильник и вытаскивает какую-то еду.

ЛИНА. Вот, ребенка учим не сидеть за компьютером без света, а ты сам-то что?

СЛАВА. Лина, а ты руки помыла, как пришла?

Лина с ненавистью смотрит на мужа, но ничего не говорит. Уходит в ванную. Шумит вода. Лина возвращается, делает себе чай.

СЛАВА. Как прошел день?

ЛИНА. Так себе. Поругалась с Юлей.

СЛАВА. А что она?

ЛИНА. Да как всегда. Корректировать бюджет каждый месяц — ее прямая задача, а она мало того, что срок пропустила, так еще и хлопать глазками стала — я, дескать, думала, что это Лина сделает. Ну я ей все прямо сказала. И про дисциплину, и про перевод стрелок. Ну и тут такое началось... *(Замолкает, грустно подпирая голову рукой, второй рукой мешая сахар в чашке.)*

СЛАВА. Тебе бы придержать язык. Всю жизнь страдаешь из-за этого.

ЛИНА *(злобно)*. Замолчи. И так тошно.

СЛАВА *(спокойно)*. Да я же о тебе беспокоюсь. И ты знаешь, что всегда слишком много языком мелешь.

Лина машет рукой и демонстративно отворачивается к телевизору.

СЛАВА. А как занятие?

Лина внезапно оживляется и поворачивается к нему.

ЛИНА. Слушай, я же тебе главное не рассказала!

СЛАВА. Да-да?

ЛИНА. Игорь захотел со мной пойти на выступление!

СЛАВА. Серьезно?

ЛИНА. Да, причем безо всякого подначивания с моей стороны. Просто спросил утром, может ли он со мной пойти.

СЛАВА. А ты что?

ЛИНА. Как — что? Я была очень рада. Только вот подумала, не будешь ли ты возражать...

СЛАВА. Да мне-то зачем возражать, тебе же наверняка будет приятно.

ЛИНА (*обнимает Славу*). Как здорово, что ты согласен! Я тебя люблю!

Обнимаются и целуются.

ЛИНА. Нет, ты правда не понимаешь, что это означает для меня. Это такое счастье...

СЛАВА. Что?

ЛИНА. И что Игорь захотел пойти, и что ты не против...

СЛАВА. Ну, не демонизируй меня. Зачем бы мне возражать? Я вот только надеюсь, что он пока не будет делать с кем-нибудь то же, что я с тобой сделал тогда...

Лина в шутку бьет мужа кухонным полотенцем.

ЛИНА (*улыбается*). Ты!.. Он же еще совсем маленький! И, надеюсь, даже когда вырастет, не станет таким развратником, как ты!

СЛАВА (*самодовольно*). А я надеюсь на обратное.

Лина укоризненно качает головой.

СЛАВА. И, кстати, я тебя хорошо понимаю, потому что Игорь...

ЛИНА (*перебивает*). Слушай, а может ты тоже пойдешь? Раз уж так все совпадает. Пофотографируешь нас заодно.

СЛАВА. Ну... Смотря когда. Раз в год я могу это вытерпеть.

ЛИНА. Вот и чудесно! Ура-ура!

Начинает кружиться по кухне, останавливается за спиной у мужа и обнимает его.

ЛИНА. Ну, а как ты провел день?

СЛАВА. Ничего нового, вот честно.

ЛИНА. А как с Игорем вечер провели?

СЛАВА. Нормально, хоккей посмотрели. Кстати!

ЛИНА (*перебивает*). Ой, извини, у меня телефон орет в сумке вроде, пойду проверю.

Уходит. Слава не двигаясь сидит на стуле с закрытыми глазами. Проходит несколько минут.

ЛИНА (*возвращается с телефоном*). Извини, это мама, пришлось поговорить. Так что ты хотел рассказать?

СЛАВА (*просыпается*). Что?

ЛИНА. Ты что-то рассказать хотел, кажется.

СЛАВА (*бурчит*). Не помню. (*Снова закрывает глаза, потом вдруг открывает их и выпрямляет спину.*) Вспомнил. Игорь со мной на хоккей хочет пойти.

ЛИНА (*отвлеченно*). Это же чудесно! Ты доволен?

СЛАВА. Конечно! Я всю жизнь мечтал с сыном сходить на хоккей.

ЛИНА. А когда матч будет? В субботу или в воскресенье?

СЛАВА. Вообще-то в пятницу.

Лина садится на табуретку.

ЛИНА. Как — в пятницу?

СЛАВА. Ну, обычно. А что такого?

ЛИНА. У меня выступление тоже в пятницу.

Слава трет пальцами лоб. Пауза.

СЛАВА. А ты Игорю говорила, когда у тебя?..

ЛИНА (*перебивает*). Конечно, говорила! Сразу сказала! А ты ему сказал?

СЛАВА. Да, тоже сказал. Он меня еще спросил, а когда, дескать, игра будет.

ЛИНА. И что?

СЛАВА. Что — и что? Значит, он забыл про твое выступление или перепутал дни.

ЛИНА (*оскорбленно*). Да как он мог! Какая безответственность вообще!

СЛАВА. Лина! Что ты вообще говоришь такое?! Сама же только что говорила — он еще маленький. Какая ответственность?! У него нет ежедневника, чтобы там что-либо отмечать! Он обычный малыш, что-то помнит, что-то забывает. Захотел пойти с тобой, потом со мной, это же нормально!

ЛИНА. Ну как же он мог забыть-то...

СЛАВА. Прошел целый день, для детей это ведь очень много. У них столько всего может за день случиться. Это у меня один день похож на другой уже давно. (*Распалывается*.) Встал, сожрал твою кашу, которая мне уже вот где стоит, поехал на работу — если повезет, то на своей машине, купленной исключительно на мои деньги, а если не повезет и машину первой застолбишь ты — на метро, на работе эти новости, от которых чаще всего просто колотит, потом домой, дома жру твою низкокалорийную и совершенно безвкусную еду, чуток поработаю, чуток попрепираюсь с тобой, иногда это кончается постелью, пусть и качественной, но однообразной — и все!!! Вот и вся моя жизнь! (*Громко выдыхает*.) Извини, сорвался.

Оба молчат.

СЛАВА. Я к тому, что у детей каждый день — как новая жизнь, немудрено, что за двенадцать часов он либо спутал, либо забыл...

ЛИНА. Слушай, ты тут мне такого понаговорил... Я уже не знаю, за что хвататься...

СЛАВА. Прости. Я расстроился тоже, вот и ляпнул...

ЛИНА. Да не ляпнул ты. Сказал, что думаешь. Хотя если так подумать, то ты прав.

Молчание.

СЛАВА (*подбирает слова*). А ты... Действительно, что ли, так хотела, чтобы Игорь сходил к тебе на концерт?

ЛИНА. Хотела. Все мы что-нибудь хотели.

СЛАВА (*резко*). Не надо, пожалуйста, этого пафоса. Хотела?

ЛИНА. Да. (*Пауза*.) Тебе совершенно по фиг на танцы. А для меня они — настоящая отдушина. Банально звучит, я сама знаю. Но меня так уже заколебали эти цифры, которые я постоянно должна считать, и должна буду считать всю жизнь, что с каждым годом танцы для меня все дороже и дороже. Каждое движение — это я. Каждая нота — это я. Яркие сари как будто расцвечивают мою дерьмовую жизнь, которая уныла ничуть не меньше твоей. А тебе плевать на это. И Игорь в тебя пошел. (*Пауза*.) А тут вдруг он сам — понимаешь, Слава? — сам захотел пойти ко мне. Ты никогда не ходил ко мне по своей воле, только когда я просила или звала. А он — сам. Это же счастье.

Молчание.

СЛАВА. Прости, Линочка. Я тебя понимаю. Глупо будет повторять твои слова или твои мысли. Но ты же знаешь, что... (*Пауза*.) В общем, это не столь существенно, но я-то на хоккей хожу с рождения, вначале с отцом, потом сам или с друзьями, а теперь некоторые из них уже со своими детьми ходят. Я так им завидую. Это так круто — прийти на хоккей со своим ребенком. И тут тоже, представь, он вдруг говорит — а ты меня возьмешь с собой?

Слава машет рукой и отходит к окну. Долгое молчание.

ЛИНА. Слушай, уже почти час ночи.

СЛАВА. Да, пора спать.

ЛИНА. А что с ситуацией всей этой будем делать? Куда Игорь пойдет?

СЛАВА. Станный вопрос. Ты хочешь решить за него?

ЛИНА. Нет. Наверное, нет. Слушай, я так устала! Не начинай снова.

СЛАВА. Завтра поговорим с ним. Без нервов только! Пошли. Кто первый умываться?

ЛИНА. Давай я, я быстро, а ты пока отнеси ноутбук и шнур.

СЛАВА. Хорошо.

Выходят из кухни, гасят свет. Темно.

Игорь

Вначале папа меня слишком рано уложил и я долго не мог заснуть, а потом я проснулся, когда мама долго говорила по телефону в соседней комнате. Я захотел включить свой компьютер и немного поиграть, но было страшно — вдруг заметят? Поэтому я просто лежал и не спал. А потом они начали громко кричать. Я все слышал. Мама ругала меня, а папа ругал маму. А мама вообще забыла, что она меня попросила ничего папе не говорить. Вот я и не сказал.

Папа сказал, что я «малыш». Малыши в первом классе учатся или вообще в сад ходят. Я не малыш. А то, что я забыл про мамин концерт... Да мне вообще плевать на хоккей и на танцы эти! Я не хочу ни туда, ни туда. Просто недавно у нас в классе была психологиня, толстая тетя в очках. Спрашивала про родителей и про то, как мы с ними вообще общаемся. Часто ли меня ругают, бьют. Потом другие рассказали, что она всем задавала одни и те же вопросы. Ну я и рассказал, что не ругают и не бьют, но папа и мама не особо дружат. Вот друг с другом часто ругаются. А еще рассказал, что папа любит хоккей, а мама — танцы. Потом психологиня сказала, что надо мне притвориться, что мне это все типа интересно. Она сказала, что это может им как-то помочь. Я подумал и решил, что она права. Но я же не виноват, что в один день у них это все будет! Я даже растерялся, когда папа сказал, что матч будет в пятницу. Так что ничего я не забыл. Просто не додумался, что надо ответить. А меня вообще Карпов пригласил на день рождения в пятницу. Я вот к нему хочу. Так и скажу им завтра. Хотя, наверное, они обидятся. Но как-то не хочется врать.

Грант Алексанян

Ярмарка образов

С армянского. Перевод Анаит Татевосян

* * *

На цыпочках
ночь приближается
с глубоко вонзенными в спину ножами —
Как осторожна умирающая ночь,
сколько совести сияет в ее темной сердцевине!

Ночь моя, угасающая,
ни одного ножа я не выну из твоей спины,
а лишь закрою твои темные веки,
когда бездыханно раскинешься
на любовно ухоженном мною пространстве.

* * *

По небу бежит младенец-звонарь.
В стеклянных домах
причащаются шлюхи и пророки.
Фиалковый куст
пьет пенистое море памяти.
Тот, кто вглядывается в звезду,
хоронит в туннелях солнце.
Роскошные противоречия
любовно надевают наряд восторга,
поскольку...
По небу бежит младенец-звонарь.

Круглая площадь суеты

Ярмарка образов
на круглой площади суеты.
Благородные часы спокойно вгрызаются
в костлявое горло тысячелетия...
Перьями голубя
пантера украшает свое бессильное сердце...

В бумажных замках
певцы добывают
последнюю теплоту слов-атомов...
Полдень кропит свое обожженное тело
благовонными разлуками...
Чертополох очарован
волнением розы...

Отчаявшийся ветер
бросается с многоэтажной тишины
и стирает-уносит
все образы ярмарки.

Расширяется
круглая площадь суеты.

Любовь тигра

Тигр бежит за тобой —
со вкусом украшенный,
бормоча песенку,
пучок новостей о тебе — в лапе,
в сердце — старые сомнения,
твой паспорт, свисающий с морды...

Звезда я, — ты шепчешь,
Я слово, — ты шепчешь,
Я дар, я дар словозвездный.

Бегуны суеты —
пьяницы-дезертиры,
У них, лишенных возможности схватить пламя,
есть невоспетое небо,
есть необласканное имя,
ни один снайпер их не замечает.

Ночующие в твоём поле беспокойно ноют,
обернись на мгновение,
о любовь Тигра!

Моя пиктограмма — тысячелетие спустя

Для возвещения благовещенья
Ангел не кружит вокруг Той головы,
всевидящие глубоко прячут
свои отчеты о ее аромате,
порой выступает смелый луч
навстречу обрушивающемуся удару —
и внутри нее — сколько земных шаров терзается,
сколько отвергнутых поколений
пишет свою историю любви...

Не голова, а круглые хоры,
где ждал человек
себя и откровения.

Анастасия Ермакова

Рассказы

Тыква

Раздражало все: дочь с ее неприлично короткой мальчишеской стрижкой и привычкой отвечать на вопрос не сразу, а через некоторое время, словно она, когда он был задан, находилась под водой, а потом, вынырнув, с опозданием, по какой-то невидимой вибрации голоса в воздухе, расслышала его. И отвечала часто так:

— Ну, как бы это сказать... Понимаешь...

— А нельзя без «как бы это сказать»? — злилась мать. — И без «понимаешь»?

— Ну чего ты придираешься-то, — обижалась Аля. — Вечно тебе все не так!

— И эта твоя дурацкая прическа! Ходишь как пацаненок! — все больше заводилась Рита.

— Главное — мужу нравится! — парировала дочь.

— Конечно, мнение матери тебе уже важно! Теперь для тебя мать никто!

— Mam, ну опять ты за свое...

— Да, конечно, с матерью теперь можно не считаться, теперь у тебя муж!

Градус скандала молниеносно повышался, и, когда муж входил в дом, мать и дочь заполошно и обидно кричали друг на друга, стегали колючими словами не жалея, наотмашь.

Ну вот она, Рита, бывший инженер, а после сокращения в девяностых — рыночная торговка, вышла на пенсию. И что? Что ей теперь-то делать? Тыкву, что ли, выращивать?..

Ну посадила. Дальше-то что?

Детей у Альки с Юрой нет, и рожать в ближайшее время дочь не собирается, говорит, нам пока рано, для себя пожить хотим. Странное это какое-то понятие — жить для себя. Сейчас все они, молодые, так рассуждают. Бояться взять на себя лишнюю заботу...

Пусто Рите, маетно. Долгие и бессмысленные, как безответное горное эхо, дни. Все еще ноющая, как суставы в дождь, память о восемь лет назад погибшем муже — перебежал через дорогу и был сбит пьяным водителем дорогого джипа. Собственная никчемность...

И черт бы побрал эту тыкву! Не растет — хоть ты тресни.

— Далась она тебе, — удивлялась дочь. — Ты же ее никогда не покупала. И не ела...

— Да какая разница — покупала или не покупала! Ела или не ела! — Ритин голос крепчал, как ветер перед грозой. — Я хочу, чтобы у меня выросла тыква! Понятно?

— Понятно. — Аля помолчала. — А мы вот с Юрой решили посадить картошку...

— Они с Юрой! Они с Юрой! Да сажайте вы что хотите. Только меня не трогайте!

— Да кто тебя трогает, — вскипела Аля, — это ты вечно до нас докапываешься, по любому поводу... Ты просто завидуешь нашему счастью!

— Ах, докапываюсь, значит? Завидую, значит? Прекрасно! Больше никогда к вам не обращусь! Могу вообще уехать с вашей дачи! Живу тут как приживалка какая-то...

— Мам, ну зачем ты так?

— А потому что... Потому что... Ты как замуж вышла, так тебе мать и не нужна стала... Да, я знаю. Небось обсуждаете меня там, у себя в комнате, — кивнула на второй этаж.

— Честно говоря, мы там совсем другими вещами занимаемся, — попыталась пошутить Аля.

— Замолчи! Такое матери говорить! Я тут целыми днями отдаю дачным работам, а вы там... а ты... такое матери...

— Да какое такое-то?.. Что вообще с тобой происходит? Знаешь, я лучше мужу отдамся, чем дачным работам!.. И вообще — тебе надо нервы лечить. Может, купить тебе успокоительные таблетки?

— Да нет, зачем же таблетки? Давай мать сразу в дурдом определяй! Квартира освободится, сдавать будете!

— Боже мой, ну что ты говоришь...

Мать заплакала, обильно и горестно.

— Мам, зачем ты так со мной, а?.. — прошептала Аля, смагивая с ресниц первые капли.

Подобные сцены повторялись каждые выходные. Рите не давало покоя какое-то внутреннее клототание, затвердевшая с годами обида на судьбу, неясного происхождения тоска. Тоска по каждому уходящему дню, старящему ее все больше, по убывающему прямо на глазах будущему, по так быстро расправившейся с детством дочери, ставшей теперь взросло-чужой и самоуверенно-счастливой. Тоска по жаркой мужской ласке, по давно выветрившейся молодости, по ничем не замутненной, юной радости.

И что ей осталось? Доживать?..

И дача эта дурацкая... Сбагрили мать, конечно, теперь им там раздолье, одним в трехкомнатной... И муженька-то нашла иногороднего, из Вологды, москвичей, можно подумать, нет! И работает он не пойми кем. Каким-то менеджером в компании, распространяющей канцтовары... Черт знает что.

И тыква. Не растет — что ты будешь делать. Вот зараза...

Нет, надо все изменить. Прожить остаток жизни как-то иначе, осмысленно. Перечитать классику, что ли, философов Алькиных, их у нее целых две полки, может, и прояснится что-то...

В конце концов, ей только пятьдесят восемь. Она стройная, ухоженная, мило-видная. И сама после смерти мужа не захотела связывать свою судьбу ни с кем, а ведь предлагали...

Был сосед с седьмого этажа, тихий алкоголик, инфантильный чудак Толя. Прижмется, бывало, к груди и затихнет. И ничего ему больше не надо. Все в собутыльники приглашал:

— Ритуль, давай квакнем, что ли.

Так и «квакала» с ним года полтора. Чуть не спилась. Дочь даже зашиться ей предлагала. Вот всегда она так: то в дурку мать, то в алкогольнички записывать...

Потом был «Цапля». Так его Аля называла. Высокий, худой, с огромной кудрявой шевелюрой. Евгений. Улыбка добрая, отстраненно-даунистая. Старше ее на восемь лет.

Алька подшучивала:

— Иди, твой даун звонит!

— Аль, ну он же услышит, — пугалась Рита.

— А ничего, — хохотала, — пусть слушает...

Работал водителем троллейбуса. Жил с мамой, склочной и деспотичной старухой, никогда не был женат. Он так и не решился сделать Рите предложение. Приносил унылые гвоздичные букетики, сидел на кухне часа по три, пил чай и гладил круглые Ритины колени... В постели был угловат и неуклюж, как подросток. Мужское счастье случалось с ним быстро, через пару минут, после чего он лежал, не двигаясь, улыбаясь в темноте мрачной глыбе книжного шкафа. Рита запиралась в туалете, садилась на узкий эмалированно-холодный край ванны и крепко сжимала свою руку горячими ляжками... Возвращалась, опустошенная, к уже спящему Евгению, зачем-то целовала его сухую, в мелких прыщах, всегда прохладную спину.

На эту любовь ушли еще два года.

И вот уже несколько лет — ничего. Пустынно и глухо, как в заброшенной, заросшей травой одиночества по самые окна деревеньке...

Нагрел климакс. Злой, нервный, то обжигающий, то обдающий холодом. Было ощущение, что незаметно, быть может, во сне ввели ей какой-то чип, аккумулирующий раздражение и строго контролирующий его уровень: чтобы оно никогда не убывало, а только прибывало, затапливая и изматывая.

Так трудно признаться себе: все, жизнь прошла. Смысла в ней никакого нет. И, наверное, не было. И уже не будет. И непонятно, как с этим знанием жить дальше.

И тыква вот не выросла...

Ничего-то у нее не сложилось, не срослось.

— Мам, опять свет вырубил! — весело, словно о каком-то забавном курьезе, сообщила дочь.

Надо же, третий раз за месяц! Да что же это такое. Надо идти к председателю, разбираться. Я им устрою! Они у меня дождутся!

Внезапно пыл иссяк. Рита опустилась на скамейку, посмотрела на крапиву, высокую, сочную, по-хамски разросшуюся в саду, забившую робкие цветы. Бабочка, грациозно порхая, села Рите на левую грудь, сложила крылья, задумалась. Вдруг захотелось погладить ее, аккуратно, одним пальчиком, как кошку по узкой шерстяной полосочке между прищуренных глаз. Но бабочка, словно угадав ее намерение, бархатно и легко взлетела — устремилась по своим делам, присев по пути на фиолетовый флокс.

Да, свет. Так что делать со светом-то?.. А не пойдет она ни к какому председателю. Пропади оно все пропадом. Зажжет вечером свечку и будет сидеть, глядя на таинственные всполохи на стене. И станет страшно и уютно, как в детстве. И, может, все-таки зря она злится на дочь с зятем? Вот дачу купили, ее вывезли на воздух. Авось и сложится у них все, ребеночка родят...

— Добрый день, хозяйка. Работа есть? — У калитки стоял парень лет тридцати, по акценту — хохол.

Их тут на дачах несколько бригад работают. В основном хохлы и молдаване. Граждане независимых стран СНГ. Гордые, а сюда к нам батрачить ездят.

Рита вспомнила про крышу: в сильные дожди она подтекает на террасе — приходится подставлять тазик.

— Да, кое-что тут... Зайдите-ка, — распахнула калитку.

Шагнул — сероглазый, широкоплечий, крепко пахнущий солнечным молодым потом. Синяя майка туго натянута на груди, сверху из-под нее выбиваются курчавые волосы. Поднял руку, поправил густую темно-русую шевелюру — мелькнули подмышечные заросли, по всему Ритиному телу мгновенно проклюнулись, кинулись врассыпную взволнованные мурашки.

— Так что делать-то надо? — смотрел в глаза пристально, чуть насмешливо. — Меня Санек звать.

— Мам, кто пришел? — выглянула в окно Аля.

- Строители! — весело крикнул парень.
- Аль, я сама разберусь, — строго сказала Рита и повернулась к Саньку.
- Тут на террасе крыша подтекает. Посмотрите?
- Поглядим, хозяйка. Лестница-то есть?
- Нет.
- Ладно, свою принесем. — Санек направился к калитке.
- Меня Рита зовут. Маргарита Николаевна.
- Ага, — даже не обернулся.

Вскоре парень вернулся с лестницей и напарником Вовкой, ловко взобрался на крышу.

— Хозяйка, тут все менять треба. Скоро и в других местах потечет! Шифер совсем уж негодный...

Рита слушала его хохляцкое «г» и почему-то оно ей нравилось, хотя вообще-то всегда раздражало.

- Надо крыть железом, — вынес вердикт Санек.
- Железом? Это, наверное, дорого...
- Да не-е... Шо там! Не больно уж.

Вечером на семейном совете решено было крыть крышу. Зять вызвался оплатить все расходы. Завтра с Алей они поедут на рынок стройматериалов и все купят. А вечером — в Москву. В понедельник обоим на работу.

А ей, Рите, нужно будет приглядывать за рабочими, чтобы не схалтурили, сделали все по-человечески.

Когда железо было куплено и сложено в две аккуратных стопки под яблоней, дочь с зятем засобирались в Москву. На прощание Аля поцеловала мать в щеку. Они не целовались с самого Алиного детства. Лет с тринадцати дочь стала вдруг дичиться, стыдиться материнской ласки. Брезгливо отстранялась, будто ее касались не губами, а склизкими улитками... А тут Аля сама поцеловала мать, нежно, едва коснувшись, словно боясь, что мать, как и она когда-то, отпрянет, украдкой вытрет щеку.

— Мам, не злись на нас с Юрой, ладно? Мы очень счастливы... А из-за тыквы не расстраивайся, я в следующие выходные привезу новые семена — прорастут обязательно!

На следующий день Санек с Вовкой приступили к работе. Ребята все делали ловко и сноровисто, молодо и бестолково шутили, напевали свои, украинские народные. Рита подолгу, сделав руку козырьком, глядела на них снизу вверх. Прилежно и с удовольствием готовила им обед; вечером, сидя на крылечке, пила за компанию холодное пиво, которое сама же загодя покупала и ставила в холодильник, часто и беспричинно смеялась. Санек смотрел на ее губы пристально и заботливо отгонял комаров, касаясь то ее щеки, то плеча, то коленей...

Вовка подначивал друга:

- Ты шо, за Ритой Николаевной приударить решил?
- А может, и решил! Что тут такого? — отшучивался Санек.

Рита улыбалась, незаметно прижимаясь к нему. От него уютно пахло усталым потом и вечерней, нагретой за день травой...

На третью ночь он пришел.

Уверенно постучал в дверь.

— Сань, ты чего? — глупо спросила Рита.

Обнял, начал целовать воспаленно и сбивчиво, шею, руки, щеки...

— Подожди, дверь закрою, комары налетят, — прошептала Рита.

Руки Саньки скользнули под ночнушку, смелые пальцы коснулись сонных сосков. Те тут же откликнулись. Рита закрыла глаза и, глубоко вздохнув, поплыла...

На следующий день к вечеру работа была закончена. Поблескивала на заходящем солнце новая крыша. Красивая, рифленая, как подошва модных кроссовок.

Рита, смущаясь, протянула деньги Вовке.

— Завтра уезжаем, — сказал Санек, словно не обратив внимания на то, что деньги были переданы его напарнику, а не ему, — на других дачах два заказа на забор. Через пару недель вернемся. Можно заглянуть-то будет?

Рита кивнула, неожиданно для себя покраснев, Вовка понимающе ухмыльнулся.

Санек, также как Аля, по-сыновьи, поцеловал Риту в щеку. Только в другую. Аля в левую, а Санек в правую. Или она все перепутала...

На выходные приехала Аля с мужем. Привезла семена тыквы.

Только ей, Рите, они были уже совершенно ни к чему.

Яблоко в тине

В его полуразвалившейся каморке всегда царил полумрак — вот уже второй месяц как перегорела висящая на пыльном шнуре тусклая лампочка. Кисло пахло застарелым потом, нечистым, с раздавленными кровавыми комарами бельем, пропитавшим все унылым многолетним перегаром. Жужжали одуревшие от июльской жары мухи, то и дело садясь на окаменевшую горбушку черного, подернутую нежным налетом серо-зеленой бархатистой плесени.

Встал, как всегда, с тяжелой, будто набитой мокрым песком, головой, грузный, с огромным волосатым пузом и отекившим сизым лицом. Высморгался в край простыни, сделал несколько шагов, кряхтя и почесываясь, до угла, где стояло ведро с колодезной водой. Зачерпнул полную здоровенную кружку, пил, жадно двигая кадыком. Толкнул ногой разбухшую от дождей дверь и с небольшого завалившегося вбок крыльца справил малую нужду. Вернулся в дом, достал из допотопного круглолобого холодильника «Саратов» банку тушенки, грубо взрезал, начал ковырять валявшейся на столе погнутой алюминиевой ложкой. Спрессованные мясные волокна не поддавались, словно держались невидимыми присосками за дно банки. Матюгнулся, швырнул ложку на стол, промахнулся — она попала в ведро с водой, обдав легкими прозрачными брызгами замызганный пол, от ложки тут же стало расплзаться жирное пятно, покрытое мутной пленкой. Запустил туда же и банку с недоеденной тушенкой...

Рухнул в кровать поверх похожего на неровный горный хребет одеяла с облаками торчащей из дырок ваты. И стал думать. О том, что надо бы встать и дойти до палатки за пивом, а потом, когда ему станет получше, заняться наконец починкой туалета, уже почти упавшего на разлапистый куст малины...

На шестисоточном, заросшем бодрой крапивой участке поблескивала битыми окнами заброшенная теплица, метрах в десяти от нее клонился к забору с редкими трухлявыми штакетинами еще лет двадцать пять назад недостроенный дом, весь обитый черным, надорванным ветрами и отслаивающимся от стен рубероидом. Ничего не сделалось только яблоням и роскошной крупной малине — они плодоносили исправно, каждый год, как если бы за ними продолжали бережно ухаживать.

Хозяин, пятидесятилетный Витя, жил на этой, доставшейся ему от отца с матерью даче уже лет десять почти безвыездно, а свою московскую «однушку» сдавал, на что и вел беспробудное алкогольное существование.

— Витя, ты дома? Можно к тебе? — услышал он с улицы звонкий женский голос.

Господи, неужели в самом деле приперлась? И зачем он ее вчера позвал к себе? Перебрал и признался: у меня не было женщины уже несколько лет — а я хочу. Понимаешь — хочу. И вот она пришла. Стоит в белом, волнящемся на ветру сарафане, загорелая, свежая, улыбается. А он щурится от яркого солнца, от ее ослепитель-

ного сарафана, от стыда за свою прокуренную холостяцкую конуру. Где-то в Москве живет его бывшая жена и уже взрослая дочь Алина. Раньше он звонил, спрашивал, как они там, приглашал в гости, но они так и не приехали. А последний раз, четыре года назад, дочь расплакалась и сказала, чтобы он не звонил ей больше пьяный и что она его ненавидит...

Помнил Витя ее маленькой, лет двенадцати, с длинной косой и серьезными зелеными глазами, прилежно делающую уроки. Помнил ее спящую и нежную, с раз-метавшимися по подушке волосами, он наклонялся и целовал их, они пахли мали-ной... Запах шампуня. Запах оглушенного солнцем дачного июля. Запах его тепереш-него одиночества.

— Я это... как его... Ты пришла? Здравствуй. Проходи. — Хозяин отодвинулся, пытаясь втиснуть объемный живот и пропуская гостью.

— Боже, какой тут жуткий запах! — поморщилась она, — надо срочно открыть окна. — Ты что, вообще не проветриваешь?

Витя смущенно пожал плечами, потом спохватился, начал суетливо помогать ей, дергая неподатливую с треснутым стеклом форточку. Наконец открыли, в комна-ту хлынуло свежее, с травяными запахами солнце, пролегло щедрой горячей полос-кой по грязному полу. Женщина и мужчина оказались по разные стороны луча. Каза-лось, меж ними не луч, а высокий бетонный забор... Она отдернула серые тряпицы, бывшие когда-то занавесками. По выцветшему рисунку можно было только догадать-ся, что когда-то это были веселые чайники, расписанные в стиле хохломы.

— У тебя тряпка есть? — решительно перешагивая луч, спросила гостя.

— Тряпка? — тупо переспросил Витя? — Какая тряпка?..

— Значит, так, — с сожалением глянула на свое белое одеяние. — Ты сейчас идешь мыться, а я тут пока все приберу, а там... там посмотрим. Понял?

Он кивнул и вышел на улицу. «Как же ее зовут? — вспоминал мучительно. — Что-то вроде на н... или на к? Черт его знает... И чем ее угощать? Надо бы в палатку, шоколадку какую купить, что ли...

Душевая представляла собой узкую ветхую будку, в которой на полу стояли два ведра с дождевой водой и рядом лежал, прямо на дощатом полу, тощий, потрескав-шийся кусок хозяйственного мыла. Витя резко окатил себя холодной водой. Кряхтя, начал тщательно намыливаться, с трудом наклонился, разглядывая свои отекие щиколотки, попробовал провести обмылком между пальцев, стало чуть-чуть щекот-но. Но тут обмылок выскользнул, проворно юркнул в щель между досками... Мате-рясь, вылил на себя второе ведро, вдруг вспомнил, что не взял с собой полотенце... Выходя, зацепился за давно лежащую тут, незаметную в высокой траве проволоку, и — упал. Долго лежал, прижавшись щекой к сочной, остро пахнущей зеленой жарой траве, и вдруг, внезапно — накрыло похмельное сожаление обо всем сразу, о его несуразной, пропащей, никому не интересной жизни, проросло в него вместе с этой травой, колко и больно; и все завертелось, закружилось, обидно зашипало в горле, солоно заблестело в глазах. Потом подумал, как, наверное, он глупо смотрится здесь, лежащий на земле посреди собственного участка, тихо плачущий мужик, еще, не дай бог, увидит эта, белосарафанная.

Когда вошел в дом, гостя уже закончила нехитрую уборку: пол был вымыт, стол начисто вытерт, заплесневевшая горбушка исчезла, банка тушенки из ведра — тоже.

— Ну вот, осталось только постель сменить. Есть у тебя белье-то на сменку? — насмешливо осведомилась женщина.

Она была синеглаза, с узким умным лицом. Тонкие загорелые руки, короткая стрижка, молодая усмешка. Сколько ей — тридцать пять, сорок? И зачем она все-таки пришла к нему?..

— Там, в шкафу, кажется, — сказал Витя неуверенно и предложил: — Может это... как его... выпьем? За знакомство...

— За знакомство?.. — весело расхохоталась она. — Так вчера же пили уже за знакомство. Что же нам, каждый день с тобой знакомиться?..

Гостя достала из шкафа смену белья, старенького и застиранного, чудом там оказавшегося, ловко перестелила постель.

— Сейчас руки помою и вернусь. Поставь пока чайник, — сказала буднично.

Витя повиновался. Включил двухкомфорочную плитку, с многолетним нагаром, от постоянного нагревания отслаивающимся черными ломкими пластинами, словно пирожное «язычок», поставил на нее пузатый, в грязевых наростах, похожих на какой-то пейзаж, чайник. «Как же ее все-таки... Надя? Катя?..»

— Ну, поставил чайник? — Она смотрела на него одновременно с жалостью и насмешкой.

— Угу. Надя, садись... Это... как его... только к чаю у меня ничего нету. Может, лучше выпьем?

— Надя? — сощурила синие глаза женщина. — Прекрасно. Значит, я теперь, оказывается, Надя.

Витя молчал и часто моргал.

— Ну, хорошо, — вздохнула она и села к столу на шаткий стул, обтянутый заерзанным и лоснящимся плюшем. — Начнем сначала. Я Даша. А ты Витя, верно?

Он кивнул.

— Хорошо. Ты живешь здесь один, вот уже несколько лет, и пьешь каждый день, так? — спокойно продолжала Даша.

— Я это... как его...

— Да не надо, не оправдывайся. Все и так понятно: жена тебя бросила, твой сын вырос без отца...

— У меня дочь, — хмуро сказал Витя.

— Ну дочь, — легко согласилась Даша. — Пусть будет дочь.

Чайник тяжело, будто совершая непосильный труд, засопел. Был похож он на своего хозяина — такой же пузатый, грязный и усталый, нехотя, через силу выполняющий свое предназначение.

Витя поставил на стол черные внутри, с отбитыми ручками, разнокалиберные горошковые чашки: себе побольше, Даше — поменьше. Бросил туда по две щепотки чаинок, залил кипятком. Чаинки всплыли, тут же заполошно закружились, запахло крепким чаем. Потом постепенно, по одной, стали оседать, медленно погружаясь в бронзовую глубину. Он не понимал, что делать с этой женщиной, сидящей с ним рядом, такой доступной и одновременно невозможно, болезненно чужой. Она никогда не позволит ему прикоснуться к ней. Не позволит даже смотреть туда, куда то и дело тянулся его взгляд — к вызывающе-манящему вырезу сарафана, открывающему округлую налитую грудь.

— Ты зачем пришла? — спросил, глядя исподлобья. Пододвинул к ней надорванный пакет. — Вот сушки. Ешь.

— Спасибо, — брезгливо покосилась на пакет Даша. — Витя, я буду с тобой откровенна. Я... Ну, в общем, я пришла, чтобы поговорить с тобой. По душам, понимаешь? Просто расскажи мне о своей жизни. Как ты... Как дошел до такого состояния... То есть я хотела сказать, какие обстоятельства довели тебя до этой жизни...

— Не надо было тебе сюда приходить, — сокрушенно, будто ею была допущена непоправимая ошибка, — покачал головой Витя.

— Не обижайся. Дело в том, что я психолог — понимаешь? И сейчас работаю над диссертацией, тема которой как раз об этом... О таких...

— О таких, как я? — Витя ощутил, как он весь, точно плод спелостью, наливается злобой, тупой, похмельной, дикой.

— Да, о таких, как ты. О людях, не сумевших справиться с жизненными обстоятельствами... О людях, запустивших себя. Потерявших смысл жизни.

— А у тебя, значит, он есть?

— Кто?

— Смысл. Жизни.

— Ну при чем тут я? У меня все благополучно — муж, интересная работа...

— И в чем же он?

— Кто? — снова переспросила Даша.

— Да смысл, черт возьми! — вскипел Витя.

У него мучительно болела голова, хотелось немедленно выпить и дать звонкую обидную пощечину этой нарядной женщине, пришедшей, как ему казалось, поиздеваться над ним.

— Смысл в том, — педантично, будто учительница на уроке, доходчиво объясняла Даша, — чтобы любить и помогать друг другу. А вот ты, кому ты помогаешь? Кого любишь? Я совершенно убеждена, что в основе алкоголизма лежит чистый эгоизм.

— Я люблю, — тихо сказал Витя, игнорируя последнее утверждение.

— Кого?

— Дочь. Алину.

— Любишь? И где она? Вы хотя бы общаетесь с ней? Видитесь?

— Слушай, иди ты со своим смыслом куда подальше! — вспыхнул Витя. Встал, шагнул к двери, толкнул ногой. — Давай, чеши отсюда!

— Витя, прости, если обидела. — Даша зачем-то одернула сарафан. — Пойми, твой рассказ очень важен для моей работы. Пожалуйста, расскажи. Давай по порядку, а? Начни с детства. Ты рос в полной семье? Тебя любили родители?

— Дура ты... — Гнев отпустил внезапно, так же как и пришел. И так же внезапно и остро накатило темное предгрозовое желание. — Иди ко мне.

— Ты что это? — испугалась Даша, озираясь по сторонам, словно ища помощи. — Ты не имеешь никакого права... Я закричу! Пусти, слышишь!..

Но Витя уже стоял над ней неумолимо, огромный русский мужик, со всей своей неподдающейся никакой психологии судьбой, темной и вязкой, как затерянное в лесу болото.

Рыба не клевала. Вечерело, назойливо звенели комары, нагло садились на голые ноги. Витя торчал на рыбалке уже третий час, и поймал за это время только четыре маленьких бычка, торопливо снующих в детском, наполненном зеленоватой тинистой водой ведре.

Курил одну за другой, время от времени прикладывался к двухлитровой баклажке «Очаковского». На маленьком дачном прудике было тихо и спокойно. Дневная жара спала, розовое солнце стремительно садилось за островерхие еловые леса. Витя всякий раз удивлялся тому, что деревья отражаются в пруду, далеко ведь вроде. Да и сам Витя неизменно отражался — расплывающийся, покрытый лаковой рябью силуэт. «В основе алкоголизма лежит чистый эгоизм», — почему-то вспомнились слова Даши. Отпустил ее, дуру, пожалел. Сроду никого не брал силой. Вот еще. А она все плакала, грозилась заявить на него в милицию. Ничего, не заявит, самой ведь стыдно будет, когда спросят, чего она к одинокому пьющему мужику в дом поперлась... Хорошо, хоть не с наших дач она, вроде говорила, гостит тут у кого-то... Хрен с ней, с Дашей. Нечего лезть к нему в душу. И не ей решать, как ему следует жить. Тоже мне, психолог! Душевредительша, вот она кто...

На пружинящий мосток, нависающий над водой, высыпала стайка ребят — шест-семь лет восьми-десяти, трое мальчишек и одна девчонка, худенькая, хохотливая. Они встали на самый край и громко решали, кто первый прыгнет. Толкались, шумели, хватали друг друга за руки, пытаясь столкнуть. Потом схватили девчонку за руки и за ноги — та брыкалась и что-то кричала им — раскачали и на раз-два-три бросили в воду.

Все, рыбалке конец. Всю рыбу распугали. Ну да все равно сегодня не ловится. Витя стал складывать удочку, выплеснул воду из ведерка с мелкими рыбешками обратно в пруд. Три проворно исчезли в толще воды, только одна лежала, слегка покачиваясь, пузом кверху. Посмотрел на внезапно смолкших мальчишек. Они испуганно глядели на то место, куда бросили девочку. Она не всплывала.

— А, черт! — Витя, резко протрезвев, бросил удочку, ведро, и ринулся в воду

прямо в одежде. От того места, где он стоял, до мостка было метров пятнадцать. Плыл, тяжело дыша, загребая мощными ручищами, быстро, как только мог. Доплыв до мостка, нырнул. Ничего. Снова нырнул. Мутная глинистая вода, а сверху, на поверхности, зыбкое пятно солнца. Лениво колышутся водоросли. Несколько рывков вправо, потом влево, и вот — наконец наткнулся на девочку, подхватил ее легкое, словно выпитое водой тело, безжизненно повисшее в его руках.

Вытащил на берег, осторожно положил на траву. Девочка, бледная, не шевелилась. В закатном свете она казалась мертвой. Не дышала. Мальчишки, испугавшись, убежали. Несколько секунд Витя растерянно смотрел на нее, не зная, что делать. На пруду никого не было. Издалека доносилось кукареканье петуха, не уютное, а какое-то зловещее. Тонкое нескладное тело с выпирающими ключицами и коленками на темно-зеленой траве. Тощая кисточка волос на худеньком плече. Господи, помоги.

Он только в кино видел, как делают искусственное дыхание. Склонился над ней, припал губами к ее бледному рту, стал сильно дышать крепким пивным воздухом, огорчаясь, что девочке, наверное, это неприятно. Двумя руками, резкими толчками нажимал ей на грудь. Потом снова дышал и снова нажимал на грудь... Наконец девочка надрывно закашлялась, приоткрыла глаза. Витя осторожно приподнял ее, она выплюнула воду, много воды, будто выпила залпом сразу два стакана, и теперь они также залпом вылились обратно.

На руках Витя отнес ее домой. Выбежала очумевшая мать, принялась одновременно расспрашивать, что произошло, плакать, целовать ослабевшую дочь, благодарить смутившегося спасателя.

— Спасибо тебе, спасибо, миленький, — причитала по-старушечьи.

— Ну это... как его... чего хотел сказать-то... Надо бы плавать ей научиться. Большая ведь уже...

— Да-да, плавать... надо, — кивала благодарная мать.

Пить в этот вечер Витя не стал. Лежал и вспоминал весь сегодняшний длинный, бестолковый день: утреннее вторжение Даши, вечернее происшествие с девочкой... Мысленно разрезал день, как яблоко: вот кожура, вот мякоть, вот сердцевина. Вот главное, вот неглавное. А что главное-то? Сердцевина-то как раз и несъедобна...

Впервые за много лет засыпал, чувствуя сам процесс засыпания: сначала заволочло все какой-то мягкой и матовой пеленой покоя, но дневные мысли еще не отпустили совсем, только словно выцвели, выгорели на солнце; потом будто плеснули в лицо первую нестрашную порцию темени, и там проявилась спасенная им сегодня девочка, и Витя мучительно пытается вспомнить, как ее зовут, потом вспоминает, что он так и не спросил ее имени. Она, улыбаясь, протягивает ему яблоко, а оно все в тине... «Это ничего, что тина, ничего, — говорит девочка, — главное — косточки целы, самое вкусное-то в косточках...» Удивление от этого открытия смешивается с долгой и окончательной темнотой. В нее лишь робко просачивается зеленоватое и пахнущее прохладной водой солнце. И вокруг уже не темнота вовсе, а мерцающая теплая вода. Витя радостно обливается этой доброй водой детства из того самого ведерка, в котором плескались пойманные им рыбки.

Ему восемь лет, и он, держа за руку ту самую девочку, встает на край шаткого мостка, и знает, что надо прыгнуть.

И знает, что ни он, ни она не умеют плавать.

Григорий Марк

Трёхстишия

1.

Писать, что на душу положит Бог,
огромным, грубым шрифтом для слепых.
И текст окаменеет в горельеф.

2.

Вертикально стоял небосвод
плохо вытертой классной доскою.
Мы за партами ждали учителя.

3.

Обострились черты. Похудел как-то вдруг.
И в глазницах на дно опустились зрачки.
Может, тело себе подбирает душа?

4.

Бесплотный кораблик, гружённый раскаяньем,
выходит из верфи поющего храма.
Молитва Коль Нидре в день Судного дня.

5.

Пауз звучанье слышней, чем слова.
Ритм перебоев и всплесков молчанья.
Чередование потерь.

6.

Чревовещатель с говорящей куклой
на красной сцене, высеченной в мясе.
Ожившая фигура умолчанья.

7.

Оправдание жизни — слова.
Если в этом и есть весь ответ,
то какой на него был вопрос?

8.

Радение живоязычников.
Псалмы распевают нестройно
и молятся Слову слова.

9.

Лица кружатся роем вокруг.
Составляю свой список, кого бы
я увидеть хотел на том свете.

10.

Помирились.
Ломаются в голосе
первые льдинки.

11.

Воробышек чёрный над домом,
как сон, не нашедший сновидца.
Ожившие прикосновенья.

12.

Твоя линия сердца прижалась
недоверчиво к линии жизни моей.
Поздоровались за руку.

13.

В черепной коробке голый человечек
рассыпает искры, красной кочергою
ворошит уголья. Память о тебе.

14.

На оконном стекле отраженье дрожит.
Время жизни струится бесшумно.
Анодирует голову мне серебром.

15.

Похоже, что нажил себе врага
под собственной коробкой черепной.
Уж слишком много бисера мечу.

16.

Ослепительно красные брызги летят
во все стороны из-под раздавленных слов.
Я читаю, по буквам ступая глазами.

17.

Вещей холодных жалобное пенье
теперь в меня почти не проникает.
Оглох на душу, но осталась память.

18.

Весёлые искры танцуют на крышах.
Щепотки свечения в город швыряет
ребёнок, летящий на красном коне.

19.

Огоньки на краю небосвода.
Возвращаются души умерших
на летающих блюдцах домой.

20.

Выпил водки во сне — а наутро изжога.
Нутропламенный весь, неподвижно лежу.
И в озноб превращается слово «озноб».

21.

Огромные, мёртвые мыши шныряют
по городу стаями в поисках пищи.
Такси пожирают крупу пешеходов.

22.

Язык мой — кусок побелевшего мяса —
при каждом дыханьи трусливо дрожит.
Чужие слова за меня произносит.

23.

Опутаны мёртвые вещи
паутиной придуманных слов.
Паук разбирает улов свой.

24.

Иголкою солнца, обмокнутой в тучу,
в небесном пергаменте каждое утро
царапает ветер посланье ко мне.

25.

Гирлянды из инея в чёрных стволах.
Ползёт, поглощая свечение,
автобус пустой сквозь деревья.

26.

Ликующий псалом метели за стеной.
Стекают звёзды вглубь заснеженных дворов.
Ещё одна зима пришла по мою душу.

27.

Танцующей змейкой в столбе позвоночном
огонь поднимается вверх к голове.
Облепленный снами, стою у окна.

28.

И поющая лилия медленно в ночь
лепестки четырёх облаков распустила.
Колыбельную песню качает над люлькой.

29.

Может, именно этой ночью
мне приснится Господь.
Поскорей бы уснуть, наконец.

30.

На двери, ведущей сквозь землю на небо,
под смёрзшимся снегом табличка из стали.
Там чёрным по белому имя отца.

31.

Не я. Но мною говорящий.
И не дано узнать,
о чём он говорит... а жаль.

32.

Всё меньше встреч, всё больше расставаний.
Глаз, засорённый миллионом лиц,
уже не видит, но ещё слезится.

Ренат Беккин

Русские мусульмане: заблудшая секта или авангард российской уммы?

К вопросу о терминологии

В 1881 году крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский опубликовал свое знаменитое сочинение «Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения», в котором призывал власти империи уделять больше внимания сближению этнических русских и русских мусульман. Наилучшим средством для этого он считал развитие просвещения на родном языке среди правоверных. «Русское мусульманство не создает, не чувствует интересов русского отечества, — писал Гаспринский, — ему почти неведомы его горе и радости, ему непонятны русские общегосударственные стремления, идеи. Незнание русской речи изолирует его от русской мысли и литературы, не говоря уже о полнейшей изолированности в отношении общечеловеческой культуры...»

Исмаил-бей называл «русскими мусульманами» представителей всех мусульманских народов — подданных Российской империи. Напомним, что в те времена не существовало понятия «национальность». При проведении единственной за всю историю Российской империи переписи населения в 1897 году учитывались конфессиональная принадлежность и родной язык переписываемых. Согласно данным переписи, в России проживало 125 640 021 человек, в том числе 13 906 972 магометан (около 11 процентов населения). Мусульманское население империи включало представителей разных народов: азербайджанцев (закавказских татар), башкир, киргизов, татар (волжских, крымских, сибирских), туркмен, узбеков и др.

Большая часть мусульманского населения империи было тогда тюркоязычным. Это позволило Гаспринскому рассматривать правоверных России как единую этнокультурную общность и говорить о проблемах и будущем русских мусульман в целом, не выделяя среди них отдельные народы. Прилагательное «русский» указывало на подданство, а не на желание автора термина «русские мусульмане» ассимилировать мусульманских подданных империи. Напротив, Гаспринский выступал горячим противником русификации, ассимиляции русскими представителей мусульманских народов: «Но, игнорируя, по ходячей доктрине, всякие симпатии в области политики и обращаясь только к целесообразности, полезности ее, мы не находим

Беккин Ренат Ирикович — доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

необходимых оправданий для политики поглощения одной народности другою, политики русификационной в нашем отечестве, если слово «русификация» понимать именно в смысле поглощения русскими других народностей империи». Такая политика, по мнению просветителя, могла только оттолкнуть мусульман от сближения с русскими, усилить недопонимание между ними.

В наши дни, если мы назовем представителя одного из народов России, традиционно исповедующих ислам, русским мусульманином, мы, как минимум, рискуем быть неправильно понятыми. «Не русский, а российский», — можно будет услышать в ответ. Также дико для такого человека будет звучать выражение «русский татарин» или «русский кумык». Слово «русский» в глазах не утративших своей идентичности представителей этнических меньшинств ассоциируется с принадлежностью к русскому народу.

О неактуальности термина Гаспринского применительно к мусульманам — гражданам современной России свидетельствует и тот факт, что они даже формально уже давно не представляют собой единой общности. Национальные интересы ставятся представителями мусульманских народов выше идеи исламского единства. Даже концепция пантюркизма уже не способна объединить вокруг себя элиты тюркских народов. Примером тому может служить политика башкиризации татарского населения в современном Башкортостане.

Но, как это нередко бывает, старый термин не остался бесхозным и наполнился в наши дни новым содержанием. За последние десять лет возросло число этнических русских, принявших ислам. Благодаря социальной активности новообращенных, термин «русские мусульмане» вошел в обиход СМИ для обозначения этнических русских, принявших ислам. В то же время, представителей народов, традиционно исповедующих ислам, принято называть этническими мусульманами¹.

Проблема состоит лишь в том, что в такой многонациональной стране как Россия, не всегда возможно провести четкую границу между русскими мусульманами и этническими.

Кто же такие русские мусульмане? Только русские по национальности или также русскоязычные представители других народов? А как быть с полукровками? В настоящем исследовании мы возьмем за основу принцип, сформулированный идеологами Национальной организации русских мусульман (НОРМ). Русский — это тот, кто считает себя таковым.

Стремительно ворвавшись в современную мусульманскую жизнь России, русские мусульмане вскоре заявили о себе как о самостоятельной, самодостаточной силе. Многие указывают на то, что обособленность данной группы — это ответ на неприятие русских мусульман со стороны мусульман этнических. Отчасти это утверждение справедливо. Но попытка создать свою русскую «Нацию ислама» привела к тому, что некоторые этнические мусульмане стали воспринимать русских мусульман как заблудшую секту, поставившую национальность выше религии. Сами же русские мусульмане, — по крайней мере, те, кто объединился в НОРМ, — напротив, считают себя элитой мусульманской *уммы* России, ее интеллектуальным авангардом. Как часто бывает в подобных случаях, истина находится где-то посередине. В любом случае, к какому бы ответу мы не склонились, очевидно одно: русские мусульмане — феномен, требующий самого тщательного изучения.

Пока что имели место попытки самих русских мусульман взглянуть на самих себя изнутри. Эти оценки по очевидным причинам не могут претендовать на объек-

¹ Существует еще одна категория: практикующие мусульмане, то есть те, кто соблюдает, как минимум, основные обряды ислама. К ней могут относиться как этнические, так и русские мусульмане. Впрочем, среди последних процент практикующих существенно выше, чем среди мусульман этнических.

тивность. Что касается сторонних исследователей русского ислама, то здесь мы в основном имеем либо журналистские материалы, в которых рассказываются истории неофитов, либо научные исследования социологического характера, где анализируются и обобщаются причины принятия русскими ислама.

В настоящем исследовании мы рассмотрим феномен русских мусульман в исторической перспективе, делая упор на институциональный подход, то есть рассматривая основные формы консолидации русских мусульман — не только политические (НОРМ), но и творческие (журнал «Четки»), — и попытаемся выявить те факторы, которые определяют место русского ислама в современной умме России.

Первый мусульманин: бесермен зол вельми...

По мнению российского историка, русского мусульманина Дмитрия (Ахмада) Макарова, в дозолотоордынский период происходили интенсивные контакты представителей славянских и угро-финских народов с населением Волжской Булгарии. Некоторые представители указных народов переселялись в болгарские города. Макаров также считает, что найденные в большом количестве на территории Волжской Булгарии каролингские мечи могли попасть не только как часть военной добычи, но как элемент вооружения скандинавов, служивших у болгарских правителей. Исследователь делает еще ряд смелых предположений, но они не подкреплены никакими аргументами, кроме логических умозаключений автора, построенных на неплохом знании средневековой истории Евразии.

Первые документированные свидетельства о принятии ислама русскими (православными) относятся к середине XIII века. В ярославской летописи упоминается об убийстве в 1262 году чернеца Изосимы (Зосимы), который исповедовал ислам (*«иже чернец быв, отвержется от христовой веры и бысть бесермен зол вельми...»*). Об этом человеке мало что известно. Возможно, он даже был финно-угром или тюрком. Существенно то, что он был православным монахом, принявшим ислам в середине XIII века. Макаров обращает внимание, что это был сознательный выбор, не мотивированный соображениями выгоды, поскольку православное духовенство в Орде пользовалось большими привилегиями.

Изосима служил в Ярославле при местном ордынском наместнике. Лаврентьевская летопись свидетельствует, что бывший монах помогал собирать дань и получил на это соответствующие полномочия от ханского посла (*«...и прият от посла царева Титяка»*). Именно увеличение объемов дани, а не притеснение Изосимой христианской веры послужило главным поводом для восстания 1262 году в Ярославле, во время которого бывший монах был убит. (Надо сказать, что в 60-е годы XIII столетия, как отмечает советский историк А.Н. Насонов, восстаний было немало.) Летописец не скрывает своей ненависти по отношению к Изосиме: он называет его «пьяницей» и «кошунником», и радуется, что тело его после смерти *«ядь псом и вороном»*.

С принятием ислама в качестве государственной религии при хане Узбеке в 1313 году конфессиональная политика Орды по отношению к православию не сильно изменилась. Как и прежде, не чинились препятствия тем язычникам, которые желали принять православие. В том же 1313 году прибывшие в Орду великий князь владимирский Михаил Ярославич и митрополит Петр получили подтверждение, что все прежние права Русской православной церкви остаются в силе, в том числе освобождение служителей церкви от выплаты налогов. Было подтверждено, что тот, кто оскорблял церковь, подлежал смертной казни: «Все чины Православной Церкви и все монахи подлежат лишь суду православного митрополита, отнюдь не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, кто ограбит духовное лицо, должен заплатить ему втрое. Кто осмелится издеваться над Православной верой или оскорблять церковь, монас-

тырь, часовню — тот подлежит смерти без различия: русский он или монгол. Да чувствует себя русское духовенство свободными слугами Бога».

После 1313 года ислам не стал массовой религией большей части населения Золотой Орды, имело место обращение в ислам преимущественно язычников. Что касается православных, то дошедшие до нас сведения не позволяют судить о масштабах этого явления и делать выводы, — подобные тем, что озвучивает Дмитрий Макаров: «исходя из вышеперечисленных фактов, можно прийти к выводу, что на протяжении всего доордынского и ордынского периодов истории России восточные славяне поодиночке и группами принимали ислам и вливались в состав мусульманского, в основном тюркского или тюркизированного населения»¹.

Объективными данными, позволяющими на конкретных примерах (как в случае с Изосимой) подтвердить эти предположения, историки не располагают. Приход части православных в ислам наверняка имел место (как и обращение в православие мусульман), но он не носил массового характера. Перешедшие в ислам православные не оставили после себя источников, по которым можно было бы судить о смене ими веры. Первым свидетельством такого рода некоторые исследователи считают «Хожение за три моря» Афанасия Никитина — тверского купца, совершившего путешествие в Индию в 1468—1475 годах.

Бог акбер («Хожение за три моря» Афанасия Никитина)

Анализируя текст Никитина, некоторые исследователи приходят к выводу, что автор «Хожения» принял ислам. Г. Ленхофф и Дж. Мартин считают, что первоначально, выдавая себя за мусульманина, Никитин преследовал цель добиться наибольших выгод как купец (уменьшение налогов и пошлин и т.п.), но впоследствии, сам того не желая, воспринял исламское мировоззрение: «Его первоначальным намерением было, как он сообщает, оставаться православным, делая вид вместе с тем, что он совершил «формальное» обращение в ислам. Однако, определившись в «социальном» плане как мусульманин и выполнив очень ограниченные обрядовые условия социального обращения (принятие мусульманского имени, молитва по мусульманскому образцу, соблюдение мусульманских праздников и постов), он постепенно усвоил исламское мировосприятие».

Другие полагают, что Никитин остался православным, хотя в своих взглядах и отошел от ортодоксального понимания веры. По их мнению, исламская риторика в тексте Никитина — это попытка вписаться в окружающую действительность мимикрировать, что выразилось, в частности, в принятии им мусульманского имени Йусуфа ал-Хорасани². Важно понимать, что и сторонники, и противники версии о мусульманстве Никитина исходят из анализа самого текста, а он не дает однозначного ответа на вопрос, был ли Никитин мусульманином.

Об этом дуализме точно написал еще один исследователь «Хожения» П.В. Алексеев: «не учитывая глубину и сложность проблемы, Лурье и Ленхофф отвечали, в сущности, на два принципиально разных вопроса: на вопрос о том, кем себя считал

¹ Макаров А. Русские мусульмане в истории России // Четки. — 2011. — № 1—2 (11—12). — С. 155.

² Наиболее известным сторонником указанной точки зрения является советский исследователь Я.С. Лурье (Лурье Я.С. Русский «чужеземец» в Индии XV века // Хожение за три моря Афанасия Никитина. — Л., 1986. — С. 76—86). Аргумент Лурье о том, что Никитин не был мусульманином, поскольку не прошел обряд обрезания, не выдерживает критики, поскольку признаком принятия ислама является не обрезание, а произнесение *шахады* — формулы единобожия, которая как раз встречается на страницах «Хожения».

Никитин, или, кем он был по религии... на основании имеющихся текстовых данных необходимо согласиться с выводами Лурье. Но на вопрос о том, категориями какой семиотической системы Никитин воспринимал Бога и бытие, или, кем он был по вере, приходится признать мусульманскую доминанту. К тому же необходимо помнить о том, что, говоря о Никитине, как авторе, мы имеем в виду не реальное биографическое лицо, а категорию текста — нарратора».

Основная проблема, с которой сталкивается исследователь «Хожения» — то, что до нас не дошел первоисточник — оригинал (тетради Никитина и протограф летописи, содержащий «Хожение»). Известно три редакции-инварианта «Хожения». Исследователи, как правило, берут за основу Летописный (Эттеров) список Львовской летописи, используя в качестве дополнения к нему Троицкий извод.

Все исследователи отмечают, что текст Никитина подвергся редактуре со стороны летописца (об ангажированности которых мы имели возможность убедиться на примере пассажа из Лаврентьевской летописи о чернце Изосиме). Так, Алексеев пишет, что в Эттеровом списке летописец по собственному усмотрению заменил слово «Бог» на слово «Христос». В результате был искажен смысл целого фрагмента. Для Никитина характерно использование слов, которые, объединяют «не столько два языка, сколько устойчивые формулы двух ментальных систем».

Нельзя исключать, что в дошедших до нас списках «Хожения» были отцензурированы и другие места, касающиеся ислама. Однако дошедшие до нас фрагменты позволяют согласиться с выводами Алексеева, что мусульманское мировоззрение (прежде всего в виде идеи единобожия) пронизывает весь текст «Хожения». Вне всякого сомнения, Никитин в отличие от подавляющего большинства своих единоверцев считал, что ислам, — так же, как и христианская вера, является одной из дорог, ведущих к Богу. В те времена, когда ислам считался агарянской ересью, это было гораздо более смелым шагом, чем открытое принятие ислама некоторыми русскими в наши дни¹.

От третьего Рима до интеллектуальной Мекки

Возможно, задержись Никитин на свете еще несколько десятилетий, его «Хожение» имело бы совершенно иное содержание. Никитин умер около 1472 года, буквально за пару десятилетий до того, как митрополитом Зосимой в книге «Изложение пасхалии» была сформулирована концепция «Москва — третий Рим». Окончательно эта концепция утвердилась к середине XVI столетия. Из нее самым непосредственным образом проистекало, что понятия «русский» и «православный» становились синонимами.

После взятия Казани и Астрахани Иваном Грозным и началом кампании по массовой христианизации мусульманского населения разраставшейся России, заявлять не то чтобы о принятии ислама, но даже о симпатии к нему было равносильно самоубийству. Следует также понимать, что в ту эпоху среди русских было не так много образованных людей, которые могли бы ознакомиться с мусульманскими текстами на арабском и других восточных языках. Переводы на славяно-русский язык мусульманских религиозных сочинений отсутствовали. Контакты же с иновер-

¹ Веротерпимость «Хожения» отмечал академик Д.С. Лихачев: «Отличает Афанасия Никитина и необычная для средних веков веротерпимость. «А правую веру, — пишет он, — бог ведает, а правая вера бога единого знати, имя его призывати на всяком месте чисте чисту» (Лихачев Д.С. «Хожение за три моря Афанасия Никитина» // Лихачев. Д.С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси; Заметки о русском. — 2-е изд. — СПб, 2007. — С. 328).

цами, в результате которых можно было бы получить знания об исламе, что называется, из первых рук, не приветствовались. Таким образом, русские были объективно ограничены в доступе к источникам, которые могли бы позволить им принять ислам.

Существовавшие в допетровской, а затем и в имперской России уголовные санкции за переход из православия в другую веру также не способствовали принятию русскими (православными) ислама. Еще более суровое наказание грозило тем, кто пытался обратить православных в свою веру, в частности, в ислам. Так, например, в Соборном уложении 1649 года сказано: «А буде кого бусурман какими-нибудь мерами насильством или обманом русского человека к своей бусурманской вере принудит, и по своей бусурманской вере обрежет, а сыщется про то допряма, и того бусурманина по сыску казнить, зжечь огнем безо всякого милосердия» (гл. 22, ст. 24). Государство делало все, чтобы даже исключить контакт православных и инославных подданных. Запрещалось строить мечети вблизи православных храмов, запрещалось даже совместное проживание крещеных и некрещеных татар.

Нельзя исключать, что переход русских в ислам имел место, но достоверной информации по ним, по понятным причинам, немного. Известно, что с началом русско-турецких войн среди попавших в плен к туркам русских были случаи принятия ими ислама, как под принуждением, так и добровольно. В те годы пленение или длительное пребывание в мусульманских странах было основным способом перехода в ислам. Если брать в расчет не только великороссов, то нельзя не упомянуть о миграции нескольких тысяч казаков в Турцию после разгрома Сечи.

Определенную долю новообратившихся составляли представители финно-угорских народов России, проживавшие рядом с мусульманами. Многие из них были христианами номинально, продолжая оставаться язычниками. Но и здесь мы можем лишь гипотетически рассуждать, не имея конкретных данных.

Ситуация поменялась после Манифеста 17 октября 1905 года, провозглашавшего гражданские права и свободы. В период с 1905 по 1917 год стали широко известны случаи перехода христиан в ислам. Так, под влиянием движения ваисовцев, некоторые крестьяне становились мусульманами. Томский губернатор в письме в земский отдел Министерства внутренних дел указывал на то, что «к ним (ваисовцам. — Р.Б.) присоединялись как целые семейства мусульманские, так и христианские, принимая ислам и становясь ваисовцами. Одним из таких был Петр Морозов, который целой семьей принял идеологию Ваисова».

Находясь в ссылке в Tobольской губернии, ваисовцы столь активно взялись за обращение русских в ислам, так что забили тревогу не только местные православные священнослужители, но и представители официального мусульманского духовенства¹. Следует подчеркнуть, что в начале XX века ислам принимали в основном выходцы из низших сословий (преимущественно крестьянства), — картина противоположная той, что наблюдается век спустя, когда мусульманами становятся одни из наиболее образованных представителей общества.

Некоторые мусульманские авторы приводят в качестве примера принятия ислама представителем русской элиты Льва Николаевича Толстого. В качестве доказательства они ссылаются на известные слова графа о том, что в нравственном отношении он ставит ислам выше православного христианства². Слова эти были произ-

¹ Шакуров К.Р. Деятельность в Томской губернии мусульманской секты «Ваисовский божий полк» // Вестник Томского государственного университета. — 2007. — № 305. — С. 100.

² Толстой в письме Е.Е. Векиловой в частности писал: «Как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше всего христианские идеалы и христианское учение в его истинном смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия. Так что если человеку поставлено только два выбора: держаться церковного православия или магометанства, то для всякого разумного человека не может быть сомнения в выборе и всякий предпочтет магометанство...» (Толстой Л.Н. ПСС в 90 тт. — М., 1955. — Т. 79. — С. 118).

несены в ответе Толстого на письмо одной женщины, сообщавшей, что два ее сына — кадета перешли в ислам. На основании этого и других высказываний Льва Николаевича, сделанных им в переписке с мусульманами, некоторые авторы делают выводы о мусульманстве Толстого. Однако для таких утверждений нет веских оснований.

После Октябрьской революции вести исламский призыв среди немусульман стало затруднительно. Как и в Российской империи, в Советской России основной контингент неопитов составляли попавшие в плен военнослужащие. В 1979 году началась война в Афганистане. В ходе этой войны, продлившейся десять лет, в плен к муджахидам, согласно данным официальной статистики, которую некоторые исследователи считают сильно заниженной, попали 417 советских солдат. Значительная часть из них стали мусульманами, поскольку это было едва ли не единственным способом сохранить жизнь. Некоторые остались жить в Афганистане, даже когда появилась возможность вернуться на родину. Молодые парни 18—20 лет с еще не устоявшимися взглядами на мир, они оказались в незнакомой среде и вскоре стали частью другого общества, восприняв его культуру и религию. История одного такого неопита — русского парня Николая Иванова, вернувшегося из афганского плена в родное село и оказавшегося чужим среди родных и односельчан, рассказана в фильме Владимира Хотиненко «Мусульманин».

В определенной степени интерес к исламу в русском обществе — по крайней мере, в среде интеллигенции — развивался благодаря деятельности интеллектуальных кружков любителей восточной философии и мистицизма. В таких кругах были популярны труды Гурджиева, Идрис-шаха и др., имевшие мало общего как с суфизмом, так и с исламским вероучением в целом. Тем не менее во многом благодаря деятельности одного из таких интеллектуальных кружков возникла одна из знаковых фигур не только для российского, но и для русского ислама — Гейдар Джемаль.

С конца 1960-х Джемаль — активный участник интеллигентских посиделок за чашкой портвейна, в частности — известного места богемной тусовки, увлекавшейся эзотерикой, в Южинском переулке. Здесь Джемаль познакомился с писателем и философом Юрием Мамлеевым, оказавшим вместе с другим философом-мистиком Евгением Головиным влияние на мировоззрение несостоявшегося студента. Таких кружков в «двух столицах» тогда было много. Москва — наряду с Ленинградом была интеллектуальной Меккой, — и если Питер был более западным городом, то Москва вобрала в себя не только Запад, но и Восток.

Впоследствии Джемаль воспроизвел такую форму просвещения, как научный интеллектуальный кружок-квартирник, в общении со своими учениками. Такая форма была наиболее близка ему, философу-самоучке, исключенному на первом курсе из института за «буржуазный национализм». Неудивительно, что такой человек, как Джемаль, смог побудить интерес к философии и исламу у таких же, как он, интеллектуалов, самостоятельно постигавших жизненные истины, о которых ни слова не было сказано в университетских учебниках.

Одна из его наиболее известных учениц Анастасия (Фатима) Ежова объясняет секрет успеха Джемали следующим образом: «Помимо явной неконформистской направленности его текстов немаловажную роль сыграл и тот факт, что Джемаль, хотя он и азербайджанец, прежде всего — рафинированный московский интеллектуал... он обращался к аудитории на языке, понятном скорее начитанному русскому молодому человеку из радикальной среды или татарину из образованной семьи, выросшему в столице либо в крупном мегаполисе, нежели собственно представителям диаспор». Парадокс Джемали, по мнению Ежовой, состоит в том, что при его предвзятом отношении к русскому фактору в исламе, именно в русской среде Джемаль приобрел наибольшую популярность.

Из «шинели» Джемали — эдакого «крестного отца» русского ислама — и в самом деле вышли многие русские мусульмане: от бывшего националиста Вадима

Сидорова до левого интеллектуала Алексея Цветкова. Даже Вячеслав Полосин в своей книге «Почему я стал мусульманином?» признается, что во многом его будущее принятие ислама («возвращение в Единобожие» — по терминологии самого Полосина) предопределила передачи «Ныне» и «Минарет», которые Джемаль вел на ТВ в середине 1990-х. Последовавшее затем знакомство Полосина с Джемалем только укрепило его в намерении принять ислам.

Секрет такой эклектичности в среде непосредственных учеников Джемалья и тех, кто испытал его влияние, заключается в фигуре самого мэтра. Сам Гейдар Джахидович — довольно противоречивая фигура. В конце 1980-х годов он был членом националистического общества «Память». В 1990-х Джемаль выступает в качестве одного из отцов-основателей Исламской партии возрождения (ИПВ) — первой и единственной в Советском Союзе мусульманской партии.

В Джемале поразительным образом сочетаются несочетаемые вещи: шиизм и салафизм, правая и левая идеология. Это яркий представитель постмодерна, живой хрестоматийный пример для учебников. Постмодернистским, по сути, является и феномен русского ислама. По крайней мере, данное утверждение вполне справедливо в отношении тех русских мусульман, что вышли из интеллектуального кружка Гейдара Джемалья в начале 2000-х.

Судьбы учеников Джемалья сложились по-разному. Одни, подобно Вадиму (Харуну) Сидорову со временем выдавили из себя джемализм по капле, став непримиримыми критиками концепций учителя, другие, подобно Анастасии (Фатиме) Ежовой, несмотря на некоторые идейные расхождения с учителем, сохранили с ним теплые отношения, третьи, подобно Алексею Цветкову, продолжают считать его наиболее крупным мусульманским деятелем России. При всей палитре имен людей, пришедших в ислам под влиянием (прямым или косвенным) Джемалья, именно левые интеллектуалы наиболее близки ему по духу.

Ислам как протест: левые интеллектуалы и просто интеллектуалы

Левые нашли в исламе ту мощную энергию, которая противостоит несправедливости, царящей в современном мире. Эта группа русских мусульман немногочисленна, но благодаря своим ярким представителям о ней известно за пределами мусульманской общины.

Одним из наиболее характерных признаков группы левых интеллектуалов-мусульман является то, что они зачастую пренебрегают обрядовой стороной ислама, уделяя больше внимания революционным идеям, заложенным в исламском вероучении. Формально мы можем отнести к указанной группе Анастасию (Фатиму) Ежову, но она будет скорее исключением из общего правила, поскольку считает, что соблюдение исламских обрядов неразрывным образом связано с революционными идеями ислама. Кроме того, Ежова прежде стала мусульманкой, а уже потом — известным публицистом. В то же время, пришедшие в ислам левые интеллектуалы приобрели определенную известность задолго до того, как стали мусульманами.

Одним из наиболее ярких представителей рассматриваемой группы можно назвать уже упоминавшегося Алексея Цветкова — участника левого движения, публично заявившего о том, что он является мусульманином. Цветков указывает, что ислам — это его интеллектуальный выбор. Любопытно, что решение о принятии ислама возникло у Цветкова в результате знакомства с книгами Гейдара Джемалья. Работая в издательстве «Ультра.Культура» Цветков выступал редактором этих книг.

Не без участия Джемалья пришел в ислам и другой левый интеллектуал — директор оппозиционного издательства «Ультра.Культура» Илья Кормильцев. В 2006 году

вскоре после смерти Кормильцева в прессе появилась информация о том, что бывший текстовик популярной на рубеже 1980—90-х годов рок-группы «Наутилус-Помпилиус» на смертном одре принял ислам. Далеко не все поверили в это. Еще за несколько месяцев до смерти Илья не демонстрировал свою «приверженность» исламу, хотя всегда проявлял к мусульманской религии большой интерес. Достаточно упомянуть его участие в работе жюри литературной премии «Исламский прорыв», речь о которой пойдет далее, а также публикацию в его издательстве книг посвященных революционной роли ислама в современном мире («Революция пророков» Г. Джемаля, «Исламский прорыв» Д. Ахтямова, «Аллах не любит Америку» и др.).

О том, что Илья принял ислам, заявил не кто иной, как Гейдар Джемаль. Он сослался на свидетельство одного русского мусульманина, который до последних дней был с Ильей и стал свидетелем *шахады*, произнесенной Кормильцевым в больнице незадолго до смерти.

Любопытно, что этой новости в большей степени поверили исламофобы, чем сами мусульмане. В Интернете появились злобные комментарии в духе: «Еще один враг России принял ислам». Дело в том, что всем своим существом ненавидевший путинский режим Кормильцев умер в лондонской больнице несколько месяцев спустя после того, как в том же городе ушел из жизни бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, искавший политического убежища в Англии. По свидетельству близких Литвиненко (в том числе его отца и жены), он принял ислам незадолго до смерти и попросил похоронить его по мусульманскому обряду. На этот раз, правда, дело обращения Литвиненко обошлось без Джемалья. В ислам бывший подполковник ФСБ пришел под влиянием чеченского политэмигранта Ахмеда Закаева.

После истории с Литвиненко неудивительно, что среди консервативно настроенных слоев российского общества ислам стал ассоциироваться с идеологией «оранжевых» врагов России. Оставив в стороне демагогические рассуждения о врагах России, согласимся с тем, что для Литвиненко и Кормильцева ислам стал единственной идеологией, способной противостоять авторитарному режиму силовиков в стране.

Русские мусульмане есть в рядах и старейшей оппозиционной силы в России — Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова. По словам одного из нацболов, ставших мусульманином, Павла (Ахмада) Жеребина в партии в начале 2000-х насчитывалось около 30 мусульман-неофитов. Жеребин утверждал, что многие из этих мусульман являются гордостью партии.

Насколько нам известно, все или почти все левые интеллектуалы, принявшие ислам, относят себя к суннитам. Но стопроцентно уверенным здесь быть нельзя, поскольку для большинства левых вопрос о принадлежности к тому или иному течению в исламе не носит принципиального характера. Тот же Алексей Цветков в своем путевом очерке «Второй Рим в апреле, или Настойчивое чувство Всевышнего» восторгается алавитами — одним из течений в исламе, которое рассматривается некоторыми суннитскими учеными как неисламское.

Как уже было отмечено выше, для левых интеллектуалов-мусульман обрядовая сторона ислама играет второстепенную роль по сравнению с его революционной идеологией, которая, по их мнению, в избытке содержится в мусульманской религии. Поэтому неудивительно, что левые интеллектуалы, ставшие мусульманами, не всегда скрупулезно соблюдают даже основные мусульманские обряды: молитву, пост и др. Сложно ожидать от бунтаря-одиночки той степени дисциплины, которую требует Аллах от своих рабов.

Тем не менее, значение левых интеллектуалов для ислама в целом и для русского ислама в частности, на наш взгляд, довольно велико. Их вовлеченность в ислам позволяет обогатить исламскую культуру новыми произведениями литературы, искусства. Кроме того, интеллектуалы создают исламу позитивный имидж на Западе,

доводя в доступной для среднего образованного европейца форме исламские принципы и постулаты. Вместе с тем следует оговориться, что левые интеллектуалы, ставшие мусульманами, как правило, не занимаются прозелитизмом. Они считают принятие выбора личным делом каждого человека и потому не стремятся «спасти» своих коллег по левому движению, проповедуя им открывшуюся им самим истину. Нужно ли говорить, что это далеко не типичное поведение для неофитов. Как правило, новые приверженцы веры стремятся обратить в нее как можно больше людей. Ярким примером здесь может служить бывший священник Вячеслав Полосин.

«Прямой путь» Вячеслава Полосина...

Отправной точкой для современного русского ислама принято считать 1999 год. В этом году до этого мало кому известный священник Вячеслав Полосин объявил о принятии им ислама. Двумя годами ранее был презентован русский перевод Корана, выполненный мусульманкой Валерией Пороховой. Но принятие ислама Пороховой не было воспринято как сенсация. Для многих не было ничего удивительного в том, что женщина, вышедшая замуж за араба — сирийца Мухаммада Рошда, приняла религию мужа. Другое дело — когда мусульманином становится не просто русский, но православный священник.

Следует отметить, что первоначально, как на то указывает сам Полосин в своей книге «Почему я стал мусульманином?», он произнес *шахаду*¹ в кругу немногочисленных свидетелей еще в 1998 году, но публично заявить о своем «возвращении в Единобожие» решил только весной 1999 года. Вскоре после этого Полосин вступил в *тарикат*² Накшбандийа и стал мюридом Саида-афанди Чиркейского.

Однако сам факт принятия ислама выведенным за штат протоиереем не вызвал бы столько шума, если бы не начатая Полосиным вскоре после этого активная публицистическая деятельность, основным лейтмотивом которой была догматическая критика христианства. Это не могло не породить ответной реакции со стороны православных кругов, пытавшихся всячески дискредитировать Полосина.

Следует также отметить, что далеко не все этнические мусульмане, в том числе руководители духовных управлений, позитивно восприняли деятельность бывшего священника. Несмотря на большой авторитет Полосина среди мусульман России, — особенно среди молодежи, — он так и не стал непререкаемым духовным и интеллектуальным лидером для подавляющего большинства тех, кого принято называть этническими мусульманами.

Подобная сдержанная реакция со стороны представителей коренных народов России, традиционно исповедующих ислам, не могла не навести Полосина на мысль об особом пути русских мусульман. Однако еще несколько лет он последовательно выступал против деления мусульман по национальному признаку. В частности в одном из интервью, сделанном в начале 2000-х он недвусмысленно заявлял: «По национальному признаку в исламе нельзя создавать общины, поэтому специально «русских» общин не существует, как не должно быть и специально татарских, араб-ских».

¹ *Шахада* — «свидетельство» — первое и важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое формулой «Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Аллаха». Произнесение шахады — необходимое и достаточное условие для принятия ислама, то есть любой, кто делает подобное заявление в присутствии свидетелей-мусульман, является мусульманином. (Прим. ред.)

² *Тарикат* — многозначный термин, который в данном контексте обозначает суфийское братство. (Прим. ред.)

Несколько по-иному рассуждала единомышленница Полосина Валерия Порохова, с первых дней оказывавшая пришедшему в ислам священнику моральную поддержку. Помню, как в 1999 году в разговоре со мной Валерия Порохова восторгалась голубоглазыми англосаксами, принявшими ислам. В ее словах чувствовалось противопоставление себя мусульманам-азиатам и отождествление себя с рафинированными образованными мусульманами Европы.

В 2000 году Полосин и Порохова объявили о создании общины «Прямой путь». Это организация не русских мусульман, а новообратившихся. О том, что до середины первого десятилетия нового века Полосин стоял на интернационалистских позициях, свидетельствует его жесткая критика в адрес полумифического проекта «Русский ислам», якобы разработанного политехнологами при тогдашнем полпреде президента в Приволжском федеральном округе Сергее Кириенко. В «Заявлении русских мусульман о проекте «Русский ислам» Полосин, в частности, писал следующее: «Название проекта крайне неудачно и вызывает у верующего человека недоумение: ислам не может быть ни русским, ни татарским, ни арабским, ни каким-либо еще по национальному признаку. Ислам — один, и он дан всему человечеству. Какие-либо разделения мусульман по национальному признаку недопустимы. Верующий остается принадлежащим к своей национальности по своему происхождению, однако вера — выше, и в своем поведении он должен руководствоваться религиозными канонами, предписывающими, что все мусульмане — братья».

Исходя из вышеприведенных принципов, Полосин поначалу критиковал созданную в 2004 году Национальную организацию русских мусульман (НОРМ).

Незапланированный ребенок Джемалья: НОРМ

О создании Национальной организации русских мусульман (НОРМ) было объявлено на первом учредительном съезде, состоявшемся в июне 2004 году в Омске. В состав организации вошли мусульманские общины городов Москвы (*джама'ат* «Бану Зулькарнайн»), Омска (*джама'ат* «Дагват аль-Ислами»), Йошкар-Олы («Царевококшайская община русских мусульман») и Алма-Аты (культурный центр русских мусульман «Ихлас»). Учредители НОРМ видели основную задачу организации в том, чтобы представлять интересы всех русских мусульман, — независимо от их религиозных и политических взглядов, — лоббировать их интересы как внутри российской *уммы*, так и вне ее. Представителями и выразителями интересов народов, традиционно исповедующих ислам, по мнению НОРМовцев, выступали духовные управления мусульман, *тарикаты*, *джама'аты* и др.

Несмотря на конкретность многих формулировок, озвученных на съезде, так и остался без ответа главный вопрос: кого считать русским мусульманином? Следует ли брать за основу принцип крови или принцип принадлежности к русской культуре? В последнем случае значительную часть русских мусульман должны были составить так называемые этнические мусульмане, — прежде всего, татары, среди которых немало людей, воспитанных в лоне русской культуры, для которых родным языком является русский. Однако в основе все-таки лежал промежуточный принцип: если человек считал себя русским, то таковым его считали и в НОРМе. Поэтому среди членов организации оказалось немало полукровок, а также чистокровных представителей других этносов — как славянских (украинцы, белорусы), так тюркских (татары) и финно-угорских (мордва, марийцы и др.).

На учредительном съезде НОРМ присутствовал Гейдар Джемаль, выступивший с приветственным словом в адрес новой организации. Среди членов и даже руководства НОРМа были его ученики, в частности — Вадим Сидоров (Харун ар-Руси), посещавший интеллектуальный кружок мэтра в начале 2000-х. По образному сравнению

Анастасии (Фатимы) Ежовой, НОРМ «вышел из шинели Исламского комитета, напоминая законнорожденного, но незапланированного и в общем-то нежеланного ребенка, которого не особо-то ждали, но раз уж он появился на свет, нужно — так и быть — каким-то образом участвовать в его судьбе. Правда, ребенок рос и эмансипировался от родителя не по дням, а по часам».

Точка зрения Ежовой не выглядит бесспорной, однако вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов влияние Джемалю на умы Сидорова и других НОРМовцев. Но в любом случае это влияние не было настолько сильным, чтобы предотвратить раскол между суннитами и шиитами.

Уже на следующий год из организации (в том числе из ее руководства) были исключены шииты. Попытка собрать всех русских мусульман в одной организации провалилась, в чем сами представители суннитского крыла НОРМ признались, обвиняя в случившемся расколе шиитов: «Все люди, которые были в курсе истории НОРМ, знают, что это одна из немногих, если не единственная в истории Исламского мира мусульманская организация, в которой открыто объединились сунниты и шииты. В угоду ложно понимаемому «общемусульманскому единству» каждая из сторон, по нашему мнению, должна была поступаться своими «специфическими» ценностями и интересами, но, как показала практика, шиитское крыло нашей организации воспользовалось благородной терминологией лишь для проведения в жизнь собственной линии, по сути отрицающей за суннитами не только равноправие, но и вообще право представлять русских мусульман... Фактически шиитское крыло НОРМ перестало работать на авторитет организации в целом, создало свои обособленные функциональные подразделения и стало действовать в интересах только своего сообщества... От тех, кто оставался верен идеям и задачам НОРМ, откололись и различные внутрисламские секты: псевдо-тиджанийцы, «евромусульмане», «ахль-коран» и т.п.»¹.

Несколько иная версия причин размежевания у русских шиитов. Как бы то ни было, нельзя не согласиться с Ежовой, что с самого начала ключевую роль в НОРМ играл Вадим (Харун) Сидоров и потому идейная эволюция организации была лишь отражением идейной эволюции самого Сидорова. Выходец из националистической среды, он так и не смог примириться с интернационализмом, пронизывающим всю философию своего учителя — Джемалю. Увлечение Сидорова салафитскими² идеями только на первый взгляд может показаться разрывом с учением шиита Джемалю. Как сторонники, так и критики джемалевской философии, совершенно справедливо отмечают, что в трудах и высказываниях Джемалю салафизм органично уживается с некоторыми шиитскими идеологическими установками. Неудивительно, что Сидоров не мог не впитать с молоком философии Джемалю и салафитскую риторику.

Но обнаружив в современном салафизме «модернистский новодел» и интернационалистские взгляды, Сидоров, а вместе с ним его единомышленники продолжили поиск идеологии для НОРМ. В 2007 году было официально объявлено, что основой идеологической концепции НОРМ становятся положения мали-

¹ Обращение Маликитского центра Национальной Организации Русских Мусульман // <http://sunnizm.ru/others/13-others/138-obrashhenie-malikitskogo-czentra-naczionalnoj-organizaczii-russkix-musulman.html>

² Салафизм — исламское течение в суннизме, объединившее последователей имама Ибн Ханбалю, возникло в начале IX века, возродилось в конце XIII — начале XIV века. Название течения происходит от арабского «ас-салаф ас-салих» — «праведные предки». Салафиты выступают за возвращение к Корану и Сунне, за очищение ислама от всех вероучительных и культовых наслоений. Идеи салафитов в XVIII веке легли в основу идеологии ваххабитов. Тем не менее, между ваххабизмом и салафизмом нельзя ставить знак равенства. (Прим. ред.)

³ Мазхаб — технический термин, широко используемый во всех областях ислама. В полемической и богословской литературе он употребляется в значении «учение», «доктрина», «толк», «школа». В современном суннизме мазхабами называют прежде всего четыре основные богословско-правовые школы: ханафитов, маликитов, шафи'итов и ханбалитов. (Прим. ред.)

китского *мазхаба*³. Выбор этого *мазхаба* был обусловлен контактами руководства НОРМ с движением «Мурабитун» и последующим вступлением в *тарикат* Шазилийа-Даркавийа-Хабибийа.

Вступление Сидорова и его единомышленников в *тарикат* ознаменовало и налаживание отношений с Вячеславом Полосиным, с которым ранее отношения у того же Сидорова складывались не совсем гладко. В высказываниях Полосина в адрес НОРМовцев уже не слышалось прежних упреков в фракционности, в противопоставлении себя остальной *умме*. Все чаще с уст Полосина стали слетать обвинения в адрес «чалмоносцев», «пловных мулл» и т.п. Иными словами, он стал использовать терминологию, которую уже давно можно было встретить в выступлениях лидеров молодого поколения русских мусульман — учеников Джемаля: Ежовой, Сидорова и др. В 2006 году возглавляемая Полосиным община «Прямой путь» вступила в НОРМ. Полосин, ставший первым заместителем председателя НОРМ, оказался единственным из руководства организации, кто не был приверженцем маликитского *мазхаба*.

В качестве идеологии для русских мусульман маликитский толк был выбран не случайно. Вот что об этом говорят без обиняков сами НОРМовцы: «какой *мазхаб* следует выбрать русским? Мы, авторы этого Обращения, истинным считаем маликитский *мазхаб* и всем желающим готовы объяснить почему. Но здесь мы призываем посмотреть на это с практической стороны, отталкиваясь от мысли, что в принципе можно следовать любому из четырех *мазхабов*... Если русские будут ханафитами, то вряд ли этому обрадуется основная масса ханафитов в России — татары, для которых угроза русификации остается злободневной. И в этом случае вряд ли можно ожидать, что русские принесут большую пользу ханафитскому сегменту *уммы* в России, а вот что принесут с собой новые проблемы, помноженные на конфликт менталитетов татар и русских, в этом можно не сомневаться... С шафи'итским *мазхабом* будет то же самое, но уже по отношению к выходцам с Северного Кавказа, где он укоренен веками, имеет давнюю историю и развитую школу. Либо русские будут вынуждены ориентироваться на нее, что будет способствовать их «кавказизации», либо будут вести другую линию, провоцируя *фитну* (то есть искушение, отвлекающее от истинного пути. — *Ред.*) уже в среде шафи'итов — выходцев с Кавказа... Ханбалитский *мазхаб* не слишком подходит к условиям северной страны, но проблема не только в этом. Дело в том, что в своем первоначальном виде как *мазхаб* он мало сохранился, а существует сегодня за пределами регионов, где был исторически укоренен, в форме так называемой «безмазхабности». Большинство русских мусульман сегодня и есть безмазхабники, и этим во многом и объясняется наша размытость и разобщенность. Безмазхабная среда вообще бесструктурна по своей природе, в том числе и безнациональна».

В итоге, обретя конкретную идеологическую платформу, НОРМ еще более ограничил число своих сторонников. Несмотря на то, что русские участники движения «Мурабитун» не возражали против приверженности членов НОРМ трем другим суннитским *мазхабам*, фактически вся идеология организации теперь строится на основе маликитского толка. Учрежден специальный Маликитский центр НОРМ, занимающийся пропагандой маликитской правовой школы.

«Маликизм» НОРМовцев не всегда находит понимание в среде русских мусульман. Далеко не все русские пришли в ислам под влиянием других таких же русских неопитов. Немало пришло в ислам самостоятельно, другие — следуя примеру и под влиянием представителей мусульманских народов и, стало быть, переняли от них обрядовую сторону, присущую ханафитскому или шафи'итскому *мазхабам*. Наконец, некоторые неопиты являются убежденными салафитами.

Тем не менее лидеры НОРМ продолжает настаивать на том, что их организация со всей сопутствующей идеологией «особого пути» крайне необходима русским мусульманам: «НОРМ как был, так и остается единственной реальной организацией

русских мусульман и единственной командой, которая работает для того, чтобы русские состоялись в исламе как нация, не как «иваны, родства не помнящие» и не как манкурты, с принятием ислама, отрекающиеся от своих корней, а как цельная этническая группа, имеющая свои законные интересы и сохраняющая ту самобытность, которой ее наделил Всевышний».

С этими словами отчасти можно согласиться, но эта лишь одна сторона медали. Другая сторона медали со всей наглядностью демонстрирует, что русские мусульмане не являются единым целым. Они так же, как и другие мусульмане, делятся на суннитов и шиитов, на правых и левых, и даже на практикующих и не практикующих. Далеко не все русские мусульмане (в том значении, в котором это понимается Сидоровым и его единомышленниками) являются сторонниками НОРМ. Мне доводилось встречать немало тех русских мусульман, которые вообще ничего не слышали о НОРМ, хотя и являются активными пользователями Интернета.

Немаловажным будет также отметить то, что одним из последовательных критиков НОРМ и движения «Мурабитун» выступают не русские шииты, как того следовало бы ожидать после случившегося раскола и не Гейдар Джемаль, а представители суннитского *джама'ата* «Даруль-Фикр».

«Даруль-Фикр» не является организацией, претендующей на объединение русских мусульман, но в ее рядах есть русские, принявшие ислам. По мнению дарульфиковцев, НОРМ является не чем иным, как заблудшей сектой, исповедующей чуждые исламу взгляды: «Их заблуждения строятся на двух явных болезнях *нафса*¹ — национализме и любви к западной культуре. Они совершенно сознательно используют европейский дискурс и проповедуют западный образ жизни». Западная культура в глазах представителей «Даруль-Фикр» глубоко антагонистична исламу, поэтому они со скепсисом относятся к интеллектуалам, принимающим ислам, полагая, что с имеющимся у них багажом западной культуры сложно постигнуть и полностью погрузиться в ислам.

Таким образом, не отрицая приход в ислам представителей европейских народов, к которым могут быть отнесены русские, дарульфиковцы полагают, что для этого требуется большая работа над собой. НОРМовцы же, как считают представители «Даруль-Фикр», идут по пути наименьшего сопротивления. Осуществляя критику НОРМ с позиций средневекового богословия, один из идеологов «Даруль-Фикр» Ахмад ар-Руси выделяет следующие недозволенные нововведения (*бид'а*) организации: дозволение музыки и курения, отрицание законности *никаба* (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. — *Ред.*), запрет использования бумажных денег при одновременном утверждении обязательности выплаты *закята* (обязательный годовой налог в пользу бедных. — *Ред.*) с них... Образ одетого в дорогой костюм алима, носящего швейцарские часы и курящего дорогие сигары под музыку Вагнера не вяжется в глазах дарульфиковцев с представлениями о достойном для мусульманина поведении. Даруль-Фикр критикует НОРМ за политизированность, не без оснований полагая, что это в большей степени политическая, чем религиозная организация.

Таким образом, НОРМ и Даруль-Фикр олицетворяют два противоположных полюса в современном российском исламе: первые чересчур европеизированы и не всегда ортодоксальны в выполнении шариатских предписаний, — по крайней мере, так, как их понимают консерваторы, — вторые, напротив, более скрупулезны в исполнении шариата, но чрезмерно архаичны.

Однако жизнь всегда сложнее и между этими двумя полюсами находится большинство русских мусульман. Значительное число русских, принявших ислам, ведет

¹ *Нафс* — многозначный термин, означающий душу, психику, ум, одушевленное существо, личность, индивидуальность, желание, личностную определенность. (*Прим. ред.*)

неприметный образ жизни в больших мегаполисах, малых городах и даже деревнях. Они не входят ни в какие организации. Они не активны в публичном пространстве, считая свою веру частным делом. О многих из них мы смогли узнать, познакомившись с их литературным творчеством.

Белокурые бестии в зеленых брюках (Литературное творчество русских мусульман)

Литературное творчество русских мусульман — малоисследованная тема. Между тем изучение этого аспекта жизни русских мусульман является, на наш взгляд, крайне важным, поскольку именно в прозе, поэзии и публицистике русских, принявших ислам, зачастую можно не только найти информацию об их пути к вере, но и увидеть их глазами картину окружающего мира. Кроме того, нельзя не согласиться с одним из ведущих российских критиков Львом Данилкиным о том, что по степени влияния на умы художественная литература в мусульманском сообществе России стоит гораздо выше любого специализированного исламского телеканала.

В данной статье мы будем говорить лишь о современном периоде, поскольку предыдущие эпохи не оставили нам известных образцов творчества русских мусульман прежних поколений, — если не принимать в расчет, конечно, уже упомянутого нами выше «Хожения за три моря» Афанасия Никитина. Однако коль скоро вопрос о «мусульманстве» Никитина пока что остается открытым, мы не будем рассматривать его произведение в ряду творческих работ русских мусульман. Впрочем, дожив автор «Хожения» до начала XXI века, он вполне мог претендовать на одно из первых мест в мусульманской литературной премии «Исламский прорыв», первый сезон которой был объявлен осенью 2005 года.

Премия была названа по одноименному названию романа Муслима Дмитрия Ахтямова, изданного в начале того же года в оппозиционном издательстве «Ультра. Культура». Роман этот интересен для темы нашего исследования, прежде всего, тем, что это — первое известное литературное произведение крупной формы, автор которого маркировал себя как русского мусульманина. Русским мусульманином является и главный герой романа или повести, как гласит аннотация к книге: «На смену сподвижникам последнего пророка Мухаммада, отдавая дань технократической эпохе, явился новый тип моджахедов из партии Аллаха, сжимающих в карающей длани компьютер и Коран. Повесть о простом русском человеке, который перестал быть рабом современного социума, что, по сути, есть завуалированная глобальная рабовладельческая система. Главный герой после мучительного духовного поиска и обретения смысла жизни обращает свой взор в сторону абсолютного Единобожия — Ислама». Любопытно, что автор — обладатель татарской фамилии и отчества — этнических мусульман не считает настоящими мусульманами и относится к ним с определенным пренебрежением как к овцам — рабам системы, безропотно позволяющим ей «стричь себя».

Сразу следует оговориться, что «Исламский прорыв» — конечно же никакой не роман и даже не повесть. Отсутствие четко выстроенного сюжета, чудовищный русский язык, трафаретность персонажей — все это остроумно высмеяно в рецензии Юлии Прудниковой «Ислам от противного»¹. Читая роман, поначалу и впрямь кажется, что это пародия: чего только стоят мусульмане, расхаживающие в зеленой «курточке» и того же цвета брюках. Или их имена: Левша, Захар, Емеля... Все как один

¹ Прудникова Ю. Ислам от противного // Дружба народов. — 2006. — № 8. — С. 204—209.

мусульмане Ахтямова — подтянутые белокурые голубоглазые красавцы, как будто только что сошли с кадров Лени Рифеншталь.

Но нет, автор и не думает шутить. Его книга — памфлет против «системы», подавляющей и порабошающей человека, делающей его бездушным роботом, служащим целям «системы».

Кто же такой автор «Исламского прорыва»? К сожалению, о нем известно крайне мало. Родом он из Йошкар-Олы — столицы республики Марий-Эл. Судя по имени и фамилии, Ахтямов — полукровка: наполовину татарин (по фамилии и отчеству: Гиниятович) и наполовину русский или мариец (по имени). В начале 2000-х принял ислам и взял имя: Муслим.

Каким образом он пришел в ислам? Вполне вероятно, что Ахтямов, подобно Харуну Сидорову, — выходец из среды правых радикалов: как известно полукровки в эпоху постмодерна нередко выступают под лозунгами чистоты крови. Возможно даже, что приход в ислам Ахтямова состоялся благодаря его знакомству с Сидоровым. По крайней мере, в беседе с автором этих строк Сидоров не отрицал, что хорошо знал автора «Исламского прорыва».

На принадлежность до принятия им ислама к праворадикальной среде косвенно указывает и сам текст книги Ахтямова. Нельзя не согласиться с Ю. Прудниковой, что новоиспеченный мусульманин демонстрирует всем своим произведением, что лучше знаком с «Майн кампф» и нацистской идеологией, чем с основами исламского вероучения. Не случайно одно из любимых выражений персонажей романа знаменитое выражение Цицерона «Каждому — свое», висевшее над воротами Бухенвальда.

С одного из популярных сайтов, где размещена электронная версия «Исламского прорыва», мы узнаем, что Ахтямов с раннего детства увлекался литературным творчеством, около 2005 года создал литературный портал halifat.ru, где публиковались произведения мусульман. Известно также, что помимо «Исламского прорыва», перу Ахтямова принадлежит другой роман «Русский халифат» в жанре альтернативной истории — о принятии ислама Русью при князе Владимире. Этот текст выдвигался на премию «Исламский прорыв», но не вошел в лонг-лист.

После американского вторжения в Ирак Ахтямов, по словам его товарищей по НОРМу, уехал туда и там погиб. Вот и все, что о нем известно. Был ли такой человек на самом деле, или Муслим Дмитрий Ахтямов — это литературный псевдоним одного из известных русских мусульман? — на этот вопрос у нас нет однозначного ответа.

Не вызывает сомнений лишь тот факт, что автор «Исламского прорыва» со всем рвением неопита пытался показать, что ислам является единственной альтернативой для ставшего рабом «системы» человечества. Однако, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад, и своим романом Ахтямов фактически добился противоположного эффекта. Даже у читателя, испытывающего симпатию или по меньшей мере интерес к исламу, не могут не вызвать отторжения многочисленные агрессивные белокурые бестии, день и ночь напролет занимающиеся грабежом, рэкетом и убийствами с именем Всевышнего на устах. Не случайно Прудникова ставит текст Ахтямова в один ряд с исламофобским романом Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богородицы» по достигаемому им эффекту.

Совсем иной целью задавался автор другого романа — «Ислам от монаха Багиры» Р.И. Беккин. По времени создания этот роман предшествует «Исламскому прорыву». Как указывает сам автор в предисловии к роману, главной его целью было в популярной форме изложить некоторые положения ислама и мусульманского права в частности, то есть во главу угла ставилась не пропагандистская и не эстетическая, а просветительская цель. Детективная же форма — лишь оболочка, приманка для читателя.

Главный герой романа «Ислам от монаха Багиры» — русский мусульманин, судья Н-ского шариатского суда Санкт-Петербурга Абдулла Петрович Мухин. Он занимается расследованием похищения старинной рукописи Корана из Российской

национальной библиотеки (питерской Публички). В Абдулле Петровиче, как и в любом русском человеке, много крайностей. С одной стороны, он молится не положенные пять, а шесть раз в день, с другой — живет в одной квартире сразу с тремя законными женами (по исламу, каждой жене полагается отдельное жилье).

В произведениях такого рода представляет интерес, каким образом герой пришел к вере. В «Исламском прорыве» обращение героя происходит в считанные минуты в результате знакомства с мужчиной в зеленой курточке и того же цвета брючках, который незатейливо объясняет герою, уставшему каждый день ходить на работу, преимущества ислама.

Герой «Ислама от монаха Багиры» пришел в ислам не столько в результате духовного поиска, а благодаря случайности. В университетские годы он был обычным студентом. После окончания юридического факультета он поступил на работу помощника председателя суда К-ского района Санкт-Петербурга. В то время в России (согласно роману, конечно) еще не было введено шариатское судопроизводство, и дела, затрагивавшие интересы мусульман, рассматривались в специальных отделениях или, как их называли на западный манер, камерах общих судов. Одно из таких дел попало на рассмотрение вчерашнему студенту Мухину. В отчаянии он обратился за помощью и консультацией к своему университетскому преподавателю Эйно Юкковичу Виралайнену, преподавателю мусульманского права, в образе которого без труда угадывается ведущий специалист по мусульманскому праву в России — Леонид Рудольфович Сюкияйнен. Беседа с профессором буквально открывает для молодого юриста новый ранее неведомый мир, он — рационалист до мозга и костей — восхищается логичностью и справедливостью шариата. Благодаря советам профессора Петр Мухин принимает блестящее решение по первому в своей жизни делу. Но это оказывается лишь началом, первым шагом на пути к исламу. У вчерашнего студента-перфекциониста срабатывает комплекс отличника: «После «дела второй жены» Абдулла стал пользоваться огромной популярностью. К нему обращались по всем вопросам — зачастую в обход шариатских мировых *кади*. Юному судье дорого обходилась такая слава. Часами после работы и в выходные вместо общения с тогда единственной своей женой Аней Абдулла просиживал за книгами, изучая необъятное мусульманское право. Глаза уставали читать, рука писать, но Абдулла не вставал из-за стола, пока не выполнял назначенной им самим нормы... Прошло совсем немного времени, и «бессмысленный набор архаичных норм»... обрел в голове Абдуллы законченную гармоничность. Абдулла более не восхищался естественностью и логичностью шариата. Он просто не представлял его другим. Более того, он уже не мыслил себя вне шариата... Абдулла наконец обрел тот самый Закон, те самые Божественные заповеди, полные гармонии и справедливости, которые он подсознательно искал не один год. И чем больше Абдулла изучал их, тем яснее для него становилась разница между такими обтекаемыми и бесхребетными понятиями, как: добро и зло, хорошее и плохое, любовь и ненависть».

Помимо просветительской цели, автор «Ислама от монаха Багиры», работая над романом, ставил перед собой экспериментальную задачу: заявить о таком жанре, как мусульманская художественная литература. Для реализации этого замысла в 2005 году была организована премия «Исламский прорыв», придуманная директором издательства «Умма» Асламбеком Эжаевым и Ренатом Беккиным.

«Исламский прорыв» русской литературы

С первых дней своего существования премия вызвала повышенный интерес, — причем не только у ценителей литературы. В состав жюри вошли оппозиционный политик и писатель Эдуард Лимонов, бывший текстовик «Наутилуса» Илья Кормильцев, молодой писатель Сергей Шаргунов, русская мусульманка, автор одного из

переводов Корана на русский язык Валерия Порохова. Председателем жюри был главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе.

В современной России любое публичное признание в симпатиях к исламу со стороны известных людей — немусульман само по себе способно стать сенсацией. Стоит ли говорить, какой всплеск интереса может породить подобное признание из уст, например, такого человека, как Лимонов, каждый шаг которого является вызовом обществу. Оргкомитет премии решил пригласить в жюри Лимонова после одного из его интервью, сделанного вскоре после выхода из тюрьмы, куда он был заключен по обвинению в незаконном хранении оружия. Лимонов говорил, что познакомился в тюрьме с мусульманами и был поражен их стойкости и вере в Бога: «В исламе человеку легко. Я видел, насколько в тюрьме мусульманам было легче, нежели обычным заключенным. В молитве они вступали в единение со всей своей общиной, со всем огромным исламским миром. И это дает человеку великие силы, позволяет ему ощутить, что он не песчинка... Обычные заключенные были одинокие, нервные, как щепки, носимые ветром, и эта разница очень сильно чувствовалась. Помимо Лефортово, в других тюрьмах я встречал и чеченцев, и мусульман других национальностей. Они, как правило, были веселее (насколько это возможно в тюрьме), бодрее, мощнее. Я думаю, все это давала им религия, принадлежность к огромной общине».

Как всегда не обошлось здесь и без Джемалы. По словам Лимонова, интерес к исламу возник у него в результате общения с «крестным отцом» русского ислама: «Году в 98-м мы с ним сблизились, вместе ездили в Казань, ходили в мечети и выступали перед очень странным собранием людей, из которых одну половину составляли национал-большевики и сочувствующие им, а другую — мусульмане, которых привлекал Гейдар. На меня это все произвело большое впечатление... Потом Джемаль открыл мне много истин, быть может, простых для тех, кто знаком с исламом ближе. С того времени эта религия с каждым годом производит все большее и большее впечатление... Потом мне пошел уже 63-й год, и все-таки, как-никак, мудреешь, мудреть просто необходимо. И поэтому ислам как мудрая религия становится мне все ближе».

Большинство авторов, приславших на конкурс свои произведения, были из среды русских мусульман. Это неудивительно, поскольку представители этнических мусульман не всегда столь же творчески активны, — притом что многие из них владеют русским языком даже лучше, чем этнические русские. Однако качественнее, с точки зрения жюри, оказались произведения, написанные немусульманами.

Так из девяти финалистов премии лишь трое оказались последователями ислама. Помимо Алексея Цветкова, это была этническая мусульманка, журналистка Альфинор Гафурова, получившая третье место в номинации «Публицистика», за книгу-биографию выдающегося мусульманского деятеля Атауллы Баязитова, и бывший католический монах, поэт Сергей Исаев, занявший первое место в номинации «Поэзия». Его верлибры показались отвечающему за поэтическую номинацию в жюри Илье Кормильцеву наиболее свежими, не отдающими ориентализмом.

Большинство произведений русских мусульман претендовали на призы в номинации «Публицистика». Среди этих работ преобладали тексты, рассказывающие о приходе в ислам либо самого автора, либо знакомых автору людей. Данные сочинения, как правило, не обладают очевидными литературными достоинствами, но представляют научный интерес для исследователя феномена русских мусульман. Анализ этих работ позволяет сделать вывод, что большинство авторов пришли в ислам в результате духовного поиска, попыток сопоставления учений разных религий (не только православного христианства и ислама)¹.

Новые произведения на соискание премии стали поступать еще до того, как был официально объявлен второй сезон «Исламского прорыва». В состав жюри вошли:

¹ Например, уже упоминавшийся Сергей Исаев, будучи монахом двух католических орденов — иоаннитов и францисканцев, отвечал за религиозный диалог с другими конфессиями. В его обязанности входило изучение религиозных текстов других религий. В результате после изучения Корана Исаев понял, что ислам соответствует его духовным запросам в большей степени, чем христианство.

политик и публицист Шамиль Султанов (председатель), писатели Анатолий Приставкин и Ильдар Абузяров, журналист и критик Николай Александров, журналист Максим Шевченко, член редколлегии журнала «Дружба народов» Владимир Медведев. По всем признакам этот сезон обещал быть более урожайным, чем предыдущий: о премии узнали не только в России, но и за рубежом. Однако в самом разгаре литературного процесса между отцами-основателями «Исламского прорыва» Асламбеком Эжаевым и Ренатом Беккиным произошел творческий конфликт. Если в первом сезоне выступавший в роли спонсора (Эжаев) не вмешивался в процесс принятия решения (Беккиным) и членами жюри решения, то в этот раз он выступил категорически против номинирования произведений, которые, по его мнению, противоречили исламу. В результате были отвергнуты те работы, в которых мусульмане вели себя не всегда достойно (употребляли спиртные напитки, вступали в недозволенные сексуальные отношения и т.п.).

Иными словами, литература идеалистическая (своего рода исламский «лубок») одержала верх над реалистической. Не согласившись с решением партнера, озвученным после того, как жюри уже вынесло свое решение, Беккин прекратил работу в премии, считая поступок Эжаева неэтичным по отношению как к членам жюри, так и к самим авторам. Церемония объявления победителей не проводилась. Они были объявлено заочно.

Эжаев планировал построить работу премии в третьем сезоне на других принципах, о чем заявил в пресс-релизе: «Оргкомитет премии формирует не только жюри, но и отборочную комиссию. Отборочная комиссия формируется по профессиональному критерию: из числа поэтов, писателей, критиков, литературоведов, журналистов, издателей. Отборочная комиссия формирует как длинный, так и короткий список, составляемые из произведений, выдвинутых на соискание премии. Жюри формируется по конфессиональному критерию: из числа представителей мусульманской интеллигенции — общественных деятелей, деятелей науки, искусства, культуры и просвещения, исповедующих ислам». Но новый сезон премии так и не состоялся.

Однако даже полтора сезона премии «Исламский прорыв» показали, что мусульманская художественная литература — это не эксперимент, выбросивший на литературную поверхность России графоманов-одиночек, а набирающее силу направление в современной русской литературе. В статье «Исламский прорыв»: мусульманская литература в поисках идеологии» Р. Беккин следующим образом формулирует кредо мусульманской художественной литературы: «более разумный, на мой взгляд, подход (функциональный) позволяет отнести к мусульманской литературе лишь те произведения, где в качестве основной линии проходят злободневные для ислама и мусульман проблемы, например вопрос сохранения в современной семье исламских ценностей... Посмотреть на пороки окружающего мира глазами мусульманина — объективно, без ханжества и лицемерия, — задача, стоящая перед писателями-мусульманами... Следует сказать и о произведениях-биографиях выдающихся фигур мусульманской истории. Данные произведения также имеют непосредственное отношение к мусульманской художественной литературе... О духовной поэзии и говорить не приходится... Иными словами, мусульманская литература — это литература не «про ислам», а про исламскую литературу. Мусульманская литература — в полном смысле качественные поэмы, стихи, романы, повести, рассказы и др., а не однобокие нравоучительные притчи с идеальным положительным героем и «смазанными» отрицательными персонажами...».

Изначально предполагалось, что каждый год по итогам премии будет выходить альманах, куда будут включены не только произведения финалистов, но и заслуживающие, по мнению оргкомитета, произведения участников премии. Однако по финансовым соображениям спонсор отказался от реализации этой идеи.

Между тем число авторов, чьи произведения подпадали под жанр мусульманской художественной литературы с момента первого сезона премии «Исламский прорыв» продолжало расти. Через год после прекращения премии появилась возможность издавать альманах. Причем не ежегодно, а ежеквартально.

В 2007 году был издан первый номер мусульманского литературно-философского журнала «Четки». Учредителем журнала выступил благотворительный Фонд

Марджани. Главным редактором журнала и идеологом проекта стал Ренат Беккин. Концепция журнала полностью строилась на основе той концепции, которая была сформулирована в статье Беккина «Исламский прорыв»: мусульманская литература в поисках идеологии».

Неуклонное следование этой концепции было одной из главных проблем при работе с журналом, по признанию главного редактора «Четок» Р.И. Беккина. В одном из номеров приводился пример кинофестиваля «Золотой минбар», концепция которого оказалась настолько размыта, что в фестивале участвовали фильмы, не имевшие никакого отношения ни к исламу, ни к мусульманам.

В первые номера журнала вошли многие произведения, присланные на соискание премии «Исламский прорыв». Примерно половину произведений составляли оригинальные тексты, написанные на русском языке, в том числе специально по заказу журнала, другую половину — переводы писателей из мусульманских стран.

Как и в премии «Исламский прорыв», немало авторов журнала были из среды русских мусульман. Так, например, Анастасия Ежова стала постоянным автором раздела «Публицистика». Среди других русских мусульман — авторов «Четок» — можно назвать Ирину Таварацян, Анжелику Победоносцеву, Антона Савина (Али Резу), Дмитрия (Ахмада) Макарова и др. Некоторые читатели ошибочно считали «Четки» шиитским журналом, поскольку среди его авторов было немало шиитов: как иранцев, так и русских мусульман.

Любопытно, что читателями журнала были не только и не столько мусульмане, сколько увлекающиеся Востоком представители интеллигенции. Не все тексты, содержащиеся в журнале, могли понравиться ортодоксально настроенным верующим.

С 2010 года стали выходить тематические номера «Четок». Одним из выпусков журнала, вызвавших наибольший интерес, был номер, посвященный русским мусульманам. На страницах «Четок» встретились представители разных течений в русском исламе: от шиитов-двунадесятников (Анастасия (Фатима) Ежова) до светских интеллектуалов (Игорь Алексеев).

Все авторы, несмотря на различия в политических и даже религиозных взглядах сходились в одном: русские мусульмане — особая группа. Во всех текстах осознанно или неосознанно подчеркивалась «особость», «инаковость» русских, принявших ислам, их отличие от других правоверных, — прежде всего тех, кого принято именовать этническими мусульманами или мусульманами по рождению. Некоторые детали этого во многом искусственного противостояния освещены в эмоциональном очерке Галины (Айши) Бабич «Противостояние: «этнические» против русских», а также в текстах Анастасии (Фатимы) Ежовой и Анжелики Победоносцевой. Редакция обещала вернуться к теме русских мусульман в последующих номерах, но в 2012 году издание журнала было приостановлено.

Но даже тот сравнительно небольшой объем литературы, сочиненной русскими мусульманами и опубликованный как на страницах «Четок», так и в других изданиях, еще ждет своего исследователя.

Некоторые предварительные выводы

Анализ политической и религиозной деятельности русских мусульман позволяет нам сделать вывод о том, что, несмотря на свои намерения, они так и не стали авангардом российской *уммы* в силу как объективных, так и субъективных причин. Вместе с тем возникает вопрос: а существует ли единая российская *умма*, не разбитая на национальные ячейки: татарскую, чеченскую и др.?

С другой стороны, сами русские мусульмане никогда не представляли собой единого целого, чтобы выступать как самостоятельный центр силы. Претендовавшая на роль выразителя интересов русских мусульман Национальная организация русских мусульман (НОРМ) так и не смогла выполнить эту задачу, превратившись из относительно плюралистической структуры в закрытое, ограниченное определенной идеологией объединение праворадикального толка. Заданные идеологические рам-

ки (ограниченность нераспространенной в России правой школы, примат национального над религиозным и др.), возникшие как ответ на неприятие со стороны истеблишмента народов, традиционно исповедующих ислам, превратили русских мусульман в обособленную маргинальную группу, занимающую свою скромную нишу в общественной жизни мусульман России. Стремление определенной части русских мусульман следовать примеру «других русских» (староверов, субботников, молокан, духоборов, штундистов и др.) вступает в противоречие с их намерением выступать в авангарде российской *уммы*.

В сложившейся ситуации с исламом в современной России, нравится это кому либо или нет, единственный путь для русских мусульман стать частью современного мусульманского сообщества России — это интегрироваться в него, — подобно Абдул-Вахеду Ниязову (в прошлом — Вадиму Медведеву), при переходе в ислам сменившему не только имя и фамилию, но и ставшим практически неотличимым от образованных представителей тюркских народов России. Однако в глазах многих русских мусульман такие поступки означают потерю идентификации и потому неприемлемы.

Вместе с тем замечания о русских мусульманах как о «заблудшей секте» ни в коем случае неприменимы к русским последователям ислама, хотя бы потому, что в их рядах отсутствует идеологическое единообразие: среди русских мусульман есть и сунниты, и шииты, и даже непрактикующие мусульмане.

Отдельной проблемой является размытость самого понятия «русский мусульманин». К этой группе могут быть отнесены не только этнические русские (в том числе полукровки), но и представители коренных российских народов, традиционно исповедующих ислам: татары, башкиры и др., для которых родным языком является русский. Их дети, как справедливо отмечает Ю. Кобищанов, уже являются русскими по культуре и мусульманами по вероисповеданию¹. Возможно, в результате интеллектуального взаимодействия интернационалистски настроенной части русских мусульман и представителей тюркских народов, находящихся в ареале русской культуры, возможно формирование подлинного интеллектуального авангарда российской *уммы*, способного выступать от имени всех мусульман России.

Любые страшилки об угрозе единству России, нагнетаемые в связи с социальной активностью русских мусульман, насчитывающих максимум несколько десятков тысяч человек, — не более чем пропагандистский трюк. Не вызывает сомнения, что число новообращенных русских мусульман будет расти, но едва ли их доля в общем населении страны превысит несколько процентов. Этому есть объяснимые причины. Русские мусульмане в какой-то степени действительно — элита, но не столько российской *уммы*, сколько русского общества в целом. Интеллектуальная элита, задумывающаяся о смысле жизни, ищущая себя, не желающая следовать проторенными путями, безоглядно следовать религии предков. Таких людей всегда было немного, поэтому страхи тех, кто нагнетает миф о массовой и неизбежной исламизации России, необоснованны. По крайней мере, за счет числа русских, принимающих ислам. В любом случае это вопрос, имеющий мало отношения к собственно науке. Поэтому самое время поставить здесь точку или многоточие...

¹ Кобищанов Ю.М. Мусульмане России, коренные российские мусульмане и русские мусульмане // Мусульмане изменяющейся России. — М., 2002 // <http://www.tatar-history.narod.ru/musulmane-rossii.htm>

Виктор Дятлов

«Благовещенская трагедия»: историческая память и историческая ответственность

Неожиданные дискуссии

Причиной к написанию этого текста стала совершенно неожиданная для меня реакция на довольно давнюю статью, посвященную полузабытому трагическому эпизоду российской истории позднеимперского периода¹. Речь шла о массовом убийстве китайцев в Благовещенске в 1900 году, когда к этому приграничному городу вплотную подкатилась стихийная волна бушевавшего в Китае антииностранного восстания боксеров (ихэтуаней). В этом чрезвычайном, страшном инциденте меня интересовали две проблемы: механизм погрома и реакция на него общества. Сам случай был описан, хотя и явно недостаточно, в исследовательской литературе. Поэтому я не претендовал на открытие темы. Ставилась задача не столько углубить наши знания о событии (хотя и это не исключалось), сколько реконструировать ту версию, которая была известна обществу и на которую оно тем или иным образом реагировало. Больше всего меня поразила довольно равнодушная реакция современников — и я сформулировал на этот счет несколько не исключających друг друга гипотез.

Статья не прошла незамеченной в профессиональных кругах. На нее ссылались, иногда критиковали. Особенно важной была статья Т.Н. Сорокиной², где на основе глубокой работы с архивными материалами вносились некоторые важные уточнения и коррективы. Например, о численности погибших. В общем — совершенно ожидаемая реакция на научную публикацию.

Скажем прямо, возвращение к теме старой статьи — дело не слишком распространенное в профессиональной среде. Нужны серьезные основания — иначе это будет справедливо воспринято как претенциозность. И я совершенно не собирался этого делать. Однако через несколько лет после выхода статьи случайно наткнулся на ее обсуждение на интернет-форуме. Не скрою, меня это поразило. Статья академическая, опубликована в отличном, с хорошим научным именем, но все-таки научном журнале, а затем сборнике с соответствующими малыми тиражами. Электрон-

Дятлов Виктор Иннокентьевич — доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета. Последние публикации в «Дружбе народов»: «"Граждане ближнего зарубежья" и другие... Динамика формирования стереотипов» (№ 4, 2011); «"Великие ксенофобии". Взаимовлияние и взаимодействие на опыте России» (№ 7, 2011); «Россия в предчувствии чайнатаунов» (№ 3, 2012).

¹ Дятлов В.И. Благовещенская «утопия»: из истории материализации фобий // Евразия. Люди и мифы. М.: Наталис, 2003. С. 123—141.

² Сорокина Т.Н. Еще раз о «благовещенской «утопии» 1900 г. // Миграционные процессы на Дальнем Востоке (с древнейших времен до начала XX в.). Материалы международной научной конференции (Благовещенск, 17—18 мая 2004 г.). Благовещенск, 2004. С. 295—303.

ная версия статьи была размещена на сайте журнала «Вестник Евразии», а затем в популярном в научных кругах интернет-журнале «Демоскоп — Weekly». Но все это опять же ресурсы научные, для «своего круга». И круг этот, по определению, не слишком широк.

Поиск в Интернете показал, что статья вышла далеко за пределы академического сообщества, что ее тематика, поднятые в ней проблемы, что называется, «зацепили», привлекли заинтересованное внимание. Кто-то выложил ее в Википедии, она вызвала более десятка развернутых дискуссий. Конечно, как всякому автору, хотелось надеяться, что таким вниманием статья обязана своим литературным или профессиональным достоинствам. Но вряд ли. Обсуждается ее содержание. Само событие.

Спонтанно возникает, обсуждается и, самое главное, переживается проблема исторической ответственности и исторической памяти. Было ли это? Кто виноват? Могли ли наши предки совершить такое? А если да — то почему? Как мы, их потомки, должны реагировать на это? И должны ли? Надо ли вообще помнить и вспоминать о событиях страшных и стыдных? Доставать скелеты из шкафов? Тем более что за этим с пристальным интересом наблюдают в Китае. Не повредит ли напоминание о таких инцидентах интересам нашей страны, ныне живущего поколения? Отвечаем ли мы, потомки, за все, что делали наши предки? Если да — то как? Бывают ли виноватые народы? Плохие народы? Должны ли одни народы нести вечную историческую вину перед другими народами? Должна ли существовать коллективная ответственность? Вплоть до юридических последствий? Возможно ли понять, объяснить то, что произошло? И тех, кто был причастен прямо или косвенно? Что значит — извлечь уроки? Покаяние — обязанность перед другими или личностная рефлексия?

Поразительно, насколько все это практически дословно совпадает с бушующей уже несколько лет в Польше дискуссией вокруг проблемы, поднятой книгой Яна Томаша Гросса «Соседи»¹. С переживанием ситуации того, что массовые и жестокие еврейские убийства в небольшом польском городке Едвабне летом 1941 года совершали поляки. Соседи и односельчане погибших. Совершали добровольно, хотя и с одобрения немецких оккупационных властей. Стоит подчеркнуть одно существенное различие. В отличие от Польши, где книгу Я.Т. Гросса и описанную им ситуацию обсуждает вся страна и где трудно остаться в стороне от дискуссии, здесь наблюдается полная спонтанность. Кто-то случайно набрел в Интернете на статью о старом, забытом эпизоде, до этого читателю совершенно неизвестном. Испытал шок, выставил статью или ссылку на нее, прокомментировал. Положил начало обсуждению. Здесь нет общественно значимого информационного повода — ведь не считать же таковым появление академической статьи в малотиражном научном журнале о давно забытых событиях вековой давности на «далекой окраине». Нет заранее сформулированных вопросов и проблем для обсуждения. И это придает особую ценность дискуссиям.

Краткий обзор событий

В 1898 году в Китае началось восстание под руководством тайного общества «Ихэтуань» («Отряды справедливости и мира»). Военную экспедицию против восставших и поддерживавших их правительственных войск организовали восемь держав, в том числе и Россия. Боевые действия шли и в Маньчжурии, подкатившись, таким образом, непосредственно к российской границе.

Наиболее тревожная обстановка сложилась в Благовещенске: враждебные войска находились на другом берегу Амура, гарнизон был отправлен для боевых дей-

¹ Один из русских переводов: Гросс Я.Т. Соседи. История уничтожения еврейского местечка / Пер. с польского В.С. Кулагиной-Ярцевой. Предисловие А. Михника. М.: «Текст». Журнал «Дружба народов». 2002.

ствий в район Харбина, коммуникации фактически прерваны из-за мелководья на реке Шилке. У населения и властей города и округа это вызывало естественную напряженность, но представление о реальной угрозе какое-то время отсутствовало.

И вдруг — обстрелы и попытка захвата нескольких российских речных судов на Амуре и со 2 июля — обстрел самого Благовещенска. Он длился тринадцать дней, велся восемью орудиями и значительного ущерба не нанес. Не было разрушено ни одного дома, погибло 5 человек и 15 ранено. Довольно быстро выяснилось, что этим и незначительными разведочными экспедициями военная деятельность китайских войск ограничилась. Но не на шутку встревоженные российские власти предпринимают ряд срочных мер: был возвращен благовещенский гарнизон, подтянуты значительные военные контингенты из Забайкалья и Хабаровска. К концу месяца российские войска, очистив собственный берег Амура, переправились на китайский и, быстро разгромив китайские формирования, захватили провинциальный центр Айгунь. Практически весь китайский берег Амура перешел под контроль российских войск, всякая опасность для Благовещенска миновала.

Китайцев в городе жило немало. Практически каждая зажиточная семья города имела китайскую прислугу, китайцы контролировали мелкую, среднюю и часть крупной торговли, содержали многочисленные рестораны, кабаки и развлекательные учреждения, снабжали город овощами, строили, обеспечивали нормальное функционирование коммунального хозяйства. Короче говоря, повседневная жизнь и экономическая деятельность всего населения этого зажиточного, процветающего, культурного, по местным понятиям, города было немислимо без китайцев. Их присутствие было постоянным, всепроникающим и жизненно необходимым. С другой стороны, они не воспринимались русским населением как часть городского сообщества, пусть даже неравноправная.

Когда начался обстрел, на них посмотрели другими глазами. Заметили, как их много, как велика зависимость от них. А самое главное, реально ощутили, как далека Россия и как близок и огромен Китай, ставший вдруг враждебным, способным без малейшего труда поглотить и растворить в себе весь их маленький и оказавшийся совершенно беззащитным островок империи. Так синдром «желтой опасности», волновавший прежде публицистов, аналитиков, государственных служащих, то, о чем рядовой обыватель если и задумывался, то как о чем-то внешнем для себя, вдруг обрел для него реальное и страшное воплощение.

Весь этот ужас и начал персонифицироваться в тех, кого еще вчера снисходительно, добродушно-презрительно называли «ходящими», «китаезами», «узкоглазыми». Обыватели с подозрением и тревогой всматривались в лица своих слуг, которые еще несколько дней назад были для них если не членами семей, то неотъемлемой и почти незамечаемой частью домашней обстановки. В китайцах на улице начинали видеть, говоря современным языком, «пятую колонну». Город заполонили слухи о тайных военных приготовлениях местных китайцев, их вызывающем поведении, о том, что они готовят резню. Передавали, что кто-то видел у них оружие. При обысках находили только ножи. Но находили и «афиши» (листовки) «ихэтуаней», что подливало масла в огонь.

Немедленно начались инциденты. Часто их инициаторами были собранные в городе призывники, оторванные от дома и терпящие большие убытки. «Увесистые кулаки запасных чинов, не упускавших случая выпить с горя, частенько прогуливались по спинам молчаливых и злобно посматривающих «ванек», то есть китайцев»¹. Били, приговаривая: «из-за вас, тварей, нас отрывают от работы и от семьи и гонят на смуту». К вечеру первого дня бомбардировки произошли первые убийства.

Было очевидно, что город находится на грани большого погрома. Будет ли перейдена эта грань, зависело теперь от позиции официальных властей, прежде всего, от военного губернатора генерал-лейтенанта К.Н. Грибского. Еще в июне, когда обстановка стала уже достаточно тревожной, военный губернатор встретился с

¹ На память о событиях на Амуре в 1900 году. Осада Благовещенска. Взятие Айгуна. Составил А.В. Кирхнер. Благовещенск: Типография «Амурской газеты» А.В. Кирхнера, 1900. С.5.

представителями городской думы. Среди других проблем возможной обороны города была затронута и эта. Губернатор заявил, что не считает необходимыми и уместными какие-то особые меры в этом вопросе, так как официально война между Россией и Китаем не объявлена. Он сообщил также, что к нему являлись представители от местных китайцев с вопросом, не лучше ли им будет заблаговременно удалиться с русской территории. По словам Грибского, он велел передать, что они могут спокойно оставаться, так как «правительство великой Российской империи никому не позволит обижать мирных граждан». Вскоре он издал прокламацию, где угрожал строгими наказаниями за оскорбление мирных китайских подданных.

Поверив губернатору, несколько тысяч китайцев Благовещенска остались в городе. Однако вскоре им пришлось раскаться в этом. Когда начались массовые избиения и убийства, власти абсолютно ничего не предприняли для их защиты. Не последовало ни официальных заявлений, ни каких-либо неофициальных действий. Более того, представители властей низового уровня, особенно чины полиции, прямо подстрекали к насилию.

3 июля, то есть после нескольких дней фактического бездействия в самый критический момент, по инициативе благовещенского полицмейстера военный губернатор издает распоряжение о выдворении всех китайцев города и области за Амур. Силами полиции и добровольцев из числа горожан и казаков устраиваются облавы, в ходе которых несколько тысяч человек было интернировано. Облавы сопровождались массовыми грабежами, избиениями и убийствами. Никаких попыток оказать сопротивление не было.

Утром 4 июля первая партия собранных накануне китайцев общей численностью до 3,5–4 тыс. человек (есть оценки и в 5–6 тыс.) под конвоем из 80 новобранцев, вооруженных за неимением ружей топорами, была отправлена в небольшой поселок Верхне-Благовещенский (в 10 километров вверх по Амуру). Колонну вели быстро, дорога была плохая, день жаркий, и многие, особенно старики, стали отставать. Командовавший операцией пристав отдал приказ всех отставших «зарубить топорами». Приказ выполнялся, во время пути было убито несколько десятков человек. Следствие, произведенное несколькими месяцами позднее, выяснило, что все это сопровождалось мародерством — грабили и мертвых, и живых.

И при облавах, и во время этого скорбного пути не было ни одной попытки оказать сопротивление. Более того, никто не пытался бежать, хотя при чисто символическом конвое сделать это было не так уж сложно.

В поселке к конвою присоединились вооруженные жители-казаки во главе со своим атаманом. Они выбрали место для переправы. Ширина Амура составляла здесь более 200 метров, глубина — более четырех при мощном течении. Подогнали китайцев к урезу воды и приказали им плыть. Когда первые вошедшие в воду почти сразу утонули, остальные идти отказались. Тогда их стали гнать — сначала нагайками, потом стрельбой в упор. Стреляли все у кого были ружья: казаки, крестьяне, старики и дети. После получаса стрельбы, когда на берегу создался большой вал из трупов, начальник отряда приказал перейти на холодное оружие. Казаки рубили шашками, новобранцы — топорами. Спасаясь от них, китайцы бросались в Амур, но преодолеть его быстрое течение не смог почти никто. Переплыло на другой берег не более ста человек.

Никто из участников расправы не протестовал. Нескольким новобранцам, у которых не хватало решимости рубить людей топорами, казаки пригрозили «снести головы, как изменникам». Один новобранец спас раненого мальчика, мать которого была убита, но то был единственный случай человеколюбия, зафиксированный следствием.

В последующие дни, вплоть до 8 июля, такая же участь постигла еще три партии китайцев, общей численностью в несколько сотен человек. Непосредственные руководители «переправ» немедленно, как положено, составляли рапорты для начальства, так что все происходившее не было для него тайной.

Версии современников: попытки понять, объяснить и объясниться

Есть много признаков того, что образованное общество дореволюционной России хорошо знало о благовещенской трагедии. Номер «Вестника Европы» со статьей о «Благовещенской Утопии» читал Л.Н. Толстой. А.Ф. Кони, давая нелестную характеристику Николаю II, обвинил его и в полном равнодушии «к поступку генерала Грибского, утопившего в 1900 году пять тысяч мирного китайского населения...». Московские «Новости дня», сообщая о назначении Грибского временным военным губернатором в Ломже, напоминают, что это «тот самый бравый генерал, который в бытность амурским губернатором во время боксерского движения 1900 года утопил в Амуре несколько тысяч мирных и ни в чем не повинных китайцев, проживавших в Благовещенске».

Уже из этих, наудачу выбранных комментариев видно, что знание это не было нейтральным. Совокупность дореволюционных текстов дает возможность выделить несколько версий объяснения и оценки произошедшего.

Суть наиболее крайней позиции без экивоков сформулировал американец Р. Пенроуз. Уничтожение китайцев было необходимой и справедливой мерой самозащиты цивилизованного народа от варварской угрозы. Китайцы Благовещенска в сговоре с соплеменниками с другой стороны Амура планировали вырезать все население этого единственного на огромной российской территории, небольшого и изолированного огромными расстояниями города. «В такой ситуации цивилизованный человек должен нанести смертельный удар для защиты своего дома и семьи, что и сделали русские». Узнав о заговоре, они напали на китайцев города, многих убили, а остальных загнали в реку, где большинство утонуло. Так откровенно и безапелляционно в России почти не писали. Хотя, несомненно, многие думали именно так.

Преобладали версии, основанные на объяснениях местных и центральных властей. С некоторыми вариациями их суть такова. Почти беззащитный в военном отношении Благовещенск подвергся неспровоцированной военной атаке со стороны Китая. Китайцы в городе представляли дополнительную потенциальную угрозу. Иногда в предположительном тоне говорилось о возможности их заговора. Приводились слухи о якобы найденных листовках на китайском языке (тексты листовок не фигурируют в материалах официальных расследований, хотя факт их существования не исключен). Поэтому губернатор отдает приказ о проведении необходимой и законной в условиях военного времени меры — депортации враждебных подданных путем их переправы через Амур. По вине низовых исполнителей это приказание не было обеспечено технически. Поэтому «тут имел место факт переправы китайцев через Амур просто вплавь», в ходе которой почти все утонули. Гибель нескольких тысяч безоружных людей — это трагический результат превышения мер необходимой самообороны и эксцесс исполнения, объяснимые и извинительные чрезвычайной ситуацией смертельной угрозы.

Емко и компактно эти тезисы сформулированы в апологетической биографии Николая II, написанной и изданной уже в эмиграции С.С. Ольденбургом (Белград, 1939). «В это время на самой русско-китайской границе возникла паника. Русский пограничный город Благовещенск подвергся продолжительному ружейному обстрелу с китайского берега Амура; стреляли, несомненно, китайские «регулярные» солдаты. Русские войска были ненадолго перед тем уведены вниз по Амуру. Благовещенск был почти без защиты, и паника, охватившая местных жителей и местные власти, выразилась в жестокой расправе с местными китайцами: боясь, что проживающие в городе китайцы устроят восстание в тылу, наслышавшись о зверствах, происходящих в Китае, благовещенские власти собрали всех «желтых» на берег Амура и велели им вплавь переправляться на маньчжурский берег. Только меньшинству удалось переплыть широкую реку, несколько сот китайцев потонуло. Этот трагический инци-

дент, понятный в тревожной атмосфере момента (местная интеллигенция — с возмущением отмечала либеральная печать более отдаленных от границ мест — одобряла эти панические репрессии), показывал, насколько трудно было выдерживать на практике линию «русско-китайской дружбы».

Преступлением на почве некомпетентности властей и паники населения считают эти события сторонники другой версии. Вот как они рассматриваются в нормативном издании — энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «Русские власти в Благовещенске предписали всем китайцам удалиться с русской территории, для чего не было ни законных оснований (ибо этого по ныне действующим нормам международного права, не делается даже во время войны, а с К. Россия войны не вела), ни повода, так как благовещенское китайское население было совершенно мирным. Был назначен день; китайцы собраны на берегу Амура; лодок дано не было, и тем не менее им под страхом смерти предписано уходить немедленно. Китайцы бросились вплавь; русские в них стреляли. Лишь немногие выбрались на китайский берег; число погибших определяется различно, от трех до семи тысяч. Такими приемами европейцы посеяли в К. семена ненависти, с которой им приходится теперь считаться». Воспроизведя эти слова (причем без кавычек), обозреватель «Современника» В. Водовозов резюмирует: «Это варварская, чисто средневековая расправа... несомненно превосходила по своей жестокости и бессмысленности все, что когда-либо сделали китайцы против европейцев, и, конечно, она не могла не оставить глубокого следа в душе китайского народа».

Трактовки «состава преступления» могли варьироваться в довольно широких пределах: от преступной некомпетентности властей (особенно губернатора, потерявшего контроль над ситуацией и отдавшего абсолютно невыполнимое приказание) до сознательного уничтожения мирного населения, то есть военного преступления. Последняя позиция косвенно отражена в первом издании Большой советской энциклопедии: «В 1900, когда в разгар Боксерского восстания китайские власти в Манчжурии, подчиняясь приказу из Пекина, объявили войну России, рус. администрация Б., в виде репрессалий, решила выселить все китайское население города и потопила в Амуре до 5 т. китайцев — мужчин, женщин и детей»¹.

С точки зрения этой версии, если уничтожение («утопление») китайцев Благовещенска можно было объяснить (хотя и не оправдать) неспровоцированным обстрелом города с китайской стороны, действительной угрозой гибели города и его населения, чудовищной паникой, то резня и депортация «зазейских маньчжур»², последовавшая вслед за этим, и таких объяснений не имела. Равно как и разграбление имущества депортированных. Важно подчеркнуть, что все обвинения были направлены только против государственной власти и его представителей.

Таким образом, образованные современники событий имели о них не только значительные массивы информации, но и несколько версий их понимания и оценки. Причем преобладали оценки негативные. Одобрить или отнестись равнодушно к насильственной гибели нескольких тысяч мирных жителей не были готовы даже те, кто стремился оправдать инициаторов и участников событий, считая и их жертвами непреодолимых, форс-мажорных обстоятельств. Однако это массовое неодобрительное отношение не вылилось в открытый протест даже у той части общества, которая уже продемонстрировала резко отрицательную реакцию на погромы и гонения в стране по национальному и религиозному признакам. И с этой реакцией власти уже вынуждены были тогда считаться.

¹ Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1927. Т. 6. С. 452.

² Китайские подданные, жители «зазейского района», вошедшего в состав Российской империи. В соответствии с Айгунским договором (1858 г.), они сохранили свое подданство и до 1900 г. были фактически экстерриториальны.

Век спустя: возвращение к теме

Тема благовещенской трагедии стала предметом современных общественных дискуссий с подачи профессионалов-историков. Это естественно, учитывая то, что в устной памяти событие сохранилось в лучшем случае как неясное предание. *«Но как-то году в 1947 мой дед Андрон Афанасьевич рассказал на берегу Амура, что в его времена — он здесь служил — собрали всех китайцев из Благовещенска и округи, загнали в воду, и они, кто как мог, вплавь добирались на противоположный берег. Это, казалось, было в далеком прошлом — при царе, к черным делам которого наша страна СССР не имела отношения»*¹.

Работы ученых давали не только информацию, но и оценки, ракурсы рассмотрения, слова. Сама информация не могла быть не оценочной. Ее появление уже означало выражение отношения. При общем осуждающем тоне спектр оценок соответствует дореволюционной ситуации: от сожалений по поводу жестоких методов исполнения необходимых и законных в условиях военного времени мер до признания (прямого или косвенного) политики местных властей преступлением. Это и неудивительно, учитывая естественную опору современных авторов на мощную дореволюционную историографическую традицию. Однако профессиональный дискурс меня интересует сейчас только в связи с общественными дискуссиями. Прежде всего, из-за сформулированного в нем набора тем, проблем, сюжетов, вокруг которых развернулись дискуссии в Интернете и в печатных СМИ.

Интернет-дискуссии — основной источник для написания этого раздела статьи. Источник специфический, требующий специальных подходов — и авторских комментариев по их поводу. Их участники анонимны и их высказывания размещены в индивидуальных блогах и страницах, тоже в принципе анонимных. Редко встречаются форумы, принадлежность и концепция которых заявлена. Поэтому можно анализировать только сами тексты как таковые. Понятно, что уровень и содержание дискуссии, стилистика выступлений и характер оценок на разных площадках могут отличаться и реально отличаются. По содержанию текстов можно много понять об их авторах. Они разные: по взглядам (от либералов и демократов до крайних националистов), по литературным свойствам текстов (от абсолютно безграмотных до образцов высокой культуры), по уровню и качеству анализа проблемы. Но практически не встречается ситуация разговора только «между своими». Дискуссии носят открытый характер — и лишь иногда администраторы убирают отдельные реплики по соображениям морали и политкорректности. «Чужих», посторонних терпят, с ними часто вступают в диалог. Поэтому и ссылки на конкретные адреса как правило не информативны.

Исходя из этого, в данном случае принято крайне спорное и уязвимое для критики решение — анализировать реплики как таковые, без ссылок на блоги и страницы. То есть это не будет полноценное цитирование с авторской атрибуцией. Условно можно определить это как одну общую дискуссию, где важны содержание и стилистика анонимных высказываний. Будут сохраняться авторские грамматика и орфография. Отдельные ссылки будут только на авторские статьи и высказывания. Поэтому должен получиться коллаж, картинка, собранная из отобранных автором и специальным образом сгруппированных пазлов-реплик. Естественно поэтому, что здесь в принципе невозможны, да и не нужны интерпретационные подходы количественной социологии.

Анализ интернет-дискуссий логично начать с мотивов интереса участников к теме. Очень условно можно выделить четыре мотива: гуманизм, идеология, профессиональный интерес, любознательность. Естественно, в репликах одного автора могут присутствовать сразу несколько мотивов, а то и все сразу.

Как правило, толчком к обсуждению темы был эмоциональный шок. Это первая

¹ Кочергин В. Сталин и Мао слушают нас // Дуэль. 2005. № 19 (418). 17 мая.

и общая реакция. Несколько реплик: «Вроде и не стоит о плохом вспоминать в сочельник-то... Увидел... ссылку на статью Виктора Дятлова в «Вестнике Евразии»... Спасибо ему... Совершенно кошмарная история...». «Сервировали историйку на сон грядущий...». «... «спокойно» это читать не могу. Почти как «наматывание кишок на придорожные кусты» (у Всеволода Иванова в рассказах про Гражданскую)». «Почитайте этот текст. Весьма [само]познавательно. И написано ОЧЕНЬ литературно... - Без валерьянки не читать». «Одна из страниц русской истории, которые необходимо знать... Жуткая история, прямо скажем». «В свое время, эта история сильно на меня повлияла: эпизод совершенно потрясающий». «Жуткая забытая трагедия. Как мало мы все-таки знаем о собственной, совсем недавней истории!»

А уже после этого — спектр реакций. Отрицание самой возможности события. Поиски виноватых. Стремление осудить или оправдать. Желание понять логику и мотивы участников, свидетелей и современников события. Готовность принять ответственность и рефлексия покаяния.

«Такого не могло быть» — первая и почти инстинктивная реакция. «Антиблаговещенская статейка... «звери» побили невинных китайцев прям... не ведитесь на провокацию!». «Сто миллионов тыщ рубили рубили, рубили рубили... а главное запросто так, ...и по указанию властей и власти до сих пор не афишируют кровавую резню...». «До 10 тыс. китайцев (по некоторым данным некоторых источников) и 80 новобранцев с топорами, ввиду отсутствия другого оружия, и сбежавшийся люд из среды малокультурных слоев нашего населения... Особой жестокостью отличились дети... (интересно, а беременные бабы и казачки не участвовали в побоище, вместе со стариками — ветеранами и инвалидами крымской войны?). При мощном и быстром течении много дней по Амуру мимо Благовещенска плыли трупы... еще бы добавить как трупы вверх-вниз по кровавой реке плавали и Хичкок отдыхает».

«Дерьмо материал, заказной однозначно. Действия арестованных не поддаются никакой логике. Страх, вызванный выбросом адреналина... переходит в ярость в 90% случаев. Есть люди, у которых этот порог слишком высок. Предполагать, что у всех этих людей был высокий порог, может только идиот. Такую же хрень несли про газовые камеры: под охраной в 20 человек 2000–2500 спокойно шли умирать. Достаточно одной команды, но ее почему-то никто не произносит. Видимо, все хотят быть мертвыми». «...как три сотни человек сдерживали 4–6 тысяч? при этом рубя их топорами?... кроме того — вполне очевидно, что можно было проплыть вдоль берега, вылезти и уйти в возделенные сопки».

«Мне плевать, что на этой мультке написано. Я хорошо знаю свой народ. Русские люди никогда не пойдут на массовые погромы и убийства без весомейшей на то причины. Если и пойдут, то это будут даже не погромы, а самозащита. Мы никогда и никому в истории не устраивали геноцид! Бессмысленное уничтожение людей лежит вне рамок нашей ментальности. Тем более в такой пастрольно-патриархальной глуши, как Благовещенск. Если это все и было на самом деле, то, похоже, скорее всего огромная и наиболее важная часть этой мерзкой истории кем-то старательно опущена, замазана. И причины для этого у русских в действительности были очень и очень весомые! Зная китайскую тактику плавного захвата территорий методом постепенного заселения и навязывания своих порядков, их неспособности к ассимиляции, можно предположить, что их там понаехало очень много, и вели они себя примерно так же, как нынешние кавказцы... Они никогда нас не уважали — ни тогда, ни сейчас... если русским свойственна такая бессмысленная реакционная жестокость, то мы бы это делали регулярно».

«...хрень, а не статья в вики ...из указанных источников ничего серьезного именно по этим событиям». «...и тогда, и сейчас кое-кто все постарался извратить против России и русских. Либерастия — это ложь помноженная на невежество и русофобию». «Интересно, почему такие провокационные заметки ни кто не подписывает? Кому нужна эта истерия? То несчастных япончиков-интервенчиков нехорошие такие революционеры — бандиты порешили и российских предателей с ними, то несчаст-

ных гражданских китайцев, после всего нескольких выстрелов да нескольких попаданий, порешили. Нет что бы дождаться когда придут отлично вооруженные китайцы и вырежут российское гражданское население. Кому нужны россияне-злодеи? Ведь акцент именно такой. Чей заказ исполняете, писаки? А о превентивных операциях что-то никто не вспоминает». «Совершенно кошмарная история... — толерастическая агитка? — Ну, скорей, русофобская провокация». «А Дятлов либераст на харчах Лондонского горкома, видать...»

Краткое резюме: это слишком страшно, чтобы быть правдой. Русский народ не способен на такое в принципе, в силу своего вечного и неизменного менталитета. Такое невозможно и с точки зрения здравого смысла — ведь не могут просто технически десяток-другой человек уничтожить столько людей без всякого их сопротивления и даже без попыток к бегству. Не могут и трупы плыть мимо Благовещенска несколько дней — при быстром течении реки. Статья создана на деньги и по заказу американского фонда, а ее обсуждение — это происки, заговор и провокация либералов и русофобов. Агрессия, стеб, ерничество, личные выпады в адрес автора статьи — это, видимо, не столько выражение стилистики и специфической культуры взаимоотношений в современном рунете, сколько результат шока и взгляд на проблему через призму коллективной ответственности, вины и невинности народа.

Для понимания последнего аспекта особенно показательны дискуссии на форумах, позиционирующих себя в качестве национальных (Сайт бурятского народа; Форум хакасского народа; Форуми proUA.com; Остров форум; TUT.BY Белорусский портал).

«Да уж, «народ-богоносец». «Это, что проявление русского характера?» «Дык на таком отношении к инородцам стояла и стоять будет (недолго осталось, правда) земля Русская. Опущенные ниже грязи народы Севера, башкиры с отрезанными носами, тунгусы и прочие ханты-манси, которых считали чем-то типа недочеловеков, чеченцы, которых надо мочить в сортирах... Евреев — не пускали в Русские губернии, и громили при каждом удобном случае».

На «Форуме хакасского народа» обсуждается передача радиостанции «Эхо Москвы» о Чингисхане, о жестокостях, которыми сопровождалось строительство его империи. Это расценивается участниками дискуссии как расизм и шовинизм, как обвинение всех кочевых народов в отсталости и патологической жестокости. «Типично западный подход: кочевники — это исчадия ада, грабящие мирных, цивилизованных земледельцев». И как аргумент против такого подхода — примеры жестокостей, совершенных «цивилизованными европейскими народами», в т.ч. и «Благовещенская утопия». В ответ на аналогичные рассуждения на украинских сайтах появляются напоминания о многократных еврейских погромах, о хмельничине и Тарасе Бульбе. («Вспоминается Тарас Бульба. С чего там восстание на Сечи началось? Правильно. Утопили в Днепре всех евреев. Значит, не было там сердобольных, политкорректных украинцев, а только русская кровавая гребня»).

Народ понимается как вечное и неизменное тело, обладающее характером, вечной склонностью (или отсутствием таковой) к патологической жестокости. («Звериная жестокость на уровне ген?») Отсюда логичен вывод о вечной и неискупимой вине одних народов перед другими.

Осмысление проблемы в категориях «мы — они», представления о русских и китайцах как природных, единых и неизменных организмах, ведет к выводу, что китайцы Благовещенска виноваты во всем сами. Они или были «пятой колонной», или могли быть ею. Как часть общей китайской массы они были опасны, невзирая на личное поведение и намерения. Возможно, погибшие китайцы и не виноваты, но они ответили за злодеяния всех китайцев во время боксерского восстания. За реальную или потенциальную смертельную угрозу, которую Китай и китайцы несли (и несут сейчас) России и русским. Поэтому все действия против них оправданы в качестве превентивных. Виноваты и власти, допустившие пребывание китайцев в России. Не было бы их — не было бы и проблемы. «Многие не могут себе позволить признать сей

постыдный факт. Что нами были уничтожены безоружные и беззащитные люди. — Факт этот никто не оспаривает. Просто не надо лить понапрасну крокодиловы слезы. За что китайцы боролись — на то и напоролись. Не фиг было начинать свое черное дело. Просто некоторые люди считают, что не надо было русским отвечать насилием по отношению к китайцам, в ответ на насилие совершаемое китайцами по отношению к русским. А надо было просто подставить агрессору другую щеку. К тому же очевидно, что те китайцы, которые были на нашем берегу, пострадали не по своей непосредственной вине. А своими жизнями «ответили» за враждебные действия своих соплеменников с того берега».

В борьбе со смертельным врагом все средства оправданы. «Евреев, цыган, хачиков, китайцев я за людей не считаю, у нас их вырезать надо, ну еще и американцев с ними тож. Извинить что так открыто расизм прет но больше немогу просто так дебилские сообщения тут писать». Уже более грамотный человек пишет о тех, кто совершил «Благовещенскую Утопию»: «Это были НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ, не в пример нынешней, «общегуманной» плесени человеческой. ЛЮДИ с ярко-выраженной национальной принадлежностью, высокодуховные и высокоморальные, ЛЮДИ, понимающее реальную жизнь со всей ее жестокостью и неизбежностью или победы или поражения во всем. Не то что нынешние люди — комнатные растения... боящихся любых реальных, суровых жизненных сквозняков и не привыкших бороться за свое жизненное пространство и от того неизбежно, без комнатной температуры и принудительного полива, погибающих». «Катынь — преступление гуманного Сталинского режима, потому что было расстреляно ВСЕГО лишь 20 000 польских офицеров, а остальных почему-то не расстреляли. Там НАШИ расстреливали НЕ НАШИХ. Это нормально. Не нормально, что не всех врагов. И потом эти оставшиеся враги в 44–45г. стреляли в Польшу в спины наших солдат, подло и исподтишка».

Дальше — уже беспощадные организационные выводы маргинальных, но политиков радикально-националистического толка¹: «Вот пример того, как может происходить стихийная депортация инородцев. Вначале идет народный ответ инородцам, затем уже государственное вмешательство — когда уже все оставшиеся в живых инородцы депортируются с целью «сохранения им жизни».

В начале статьи я писал о непригодности количественных интерпретаций сформированного в результате поиска в Интернете корпуса реплик, комментариев, развернутых дискуссий по теме. Они интересны и важны сами по себе, но не как количественный индикатор умонастроений всего общества или какой-либо его части. Но все-таки важно подчеркнуть, что подобные взгляды являются для дискуссии маргинальными и не встречают большого сочувствия у большинства участников. Чаше присутствуют саркастические или гневные реплики в адрес «фашиков» и «нациков». «ЛЮБЫЕ нацики — дерьмо. Русские, литовские, еврейские, английские, арабские, грузинские, американские, абхазские, китайские, негритянские — Л-Ю-Б-Ы-Е».

Шире представлен другой мотив. Зачем вспоминать об этом? Стоит ли доставать «старые скелеты», каких достаточно у всех, из шкафа? «Согласитесь, что событие это все-таки не самое значимое в русской истории. Тем не менее практически во всех книгах, посвященных отношениям России с Китаем, об этих событиях говорится довольно подробно». Зачем беречь старые раны — это плохо для национального самочувствия. «Вполне естественно, что в курсе школьной истории никто не будет вываливать на неокрепшие души всякое дерьмо, которое творили предки. Хотя, увы, у нас так одно время была такая мода. Естественно, что по нашей версии истории мы всегда правы, ну или по крайней мере хотели как лучше. На самом же деле и наши предки творили порой вещи, которые их не красили и гордиться которыми не приходится. Просто обычно на таких моментах не заостряют внимание и предпочитают обходить стороной. Геноцид и погромы и мы устраивали, притом даже не всегда

¹ Сайт «Черная сотня. Всероссийская Православная патриотическая организация Черная Сотня» (<http://www.sotnia.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=11590&start=30>).

осмысленный. Так что всякое в нашей истории случалось, в том числе и резня инородцев».

Зачем, в конце концов, давать повод китайцам для реванша? Тем более что они все помнят и все фиксируют. И когда-нибудь предъявят счет. «Я слышал, но не видел, что, кажется, в ночь с 2 на 3 июля китайцы со своего берега пускают по Амуру кораблики с зажженными свечками. Каждая символизирует душу погибшего в том конфликте». «Я намерен общался с русским профессиональным переводчиком китайского языка. Так вот он говорит, что китайцы про эту расправу знают, помнят, и, при случае, припомнят». «Они могут хранить обиду в своем сердце — очень долго! жутко злопамятны! Не приведи Господь узнать нам всю ту ненависть, которую могут в себе носить представители этой нации...» «Уже никто не помнит причин, но желание припомнить — всегда теплится в сердцах азиатов... их уж почти 2 миллиарда, а нас по всему миру — в десятки раз меньше... и пусть их ракеты не долетают туда, куда надо, пусть они скопированы с наших, пусть они некачественные... но, пожалуй, пришла пора подумать об их ракетах, солдатах и целях, а не тупо откупаться до поры, до времени... дабы не устраивать потом новую «утопию», но с уже непредсказуемой концовкой».

Относительно возможности «предъявления счета» и «врожденного злопамятства китайцев» имеются, правда, и сомнения. «Китайцы на этом фоне — образец умеренности и миролюбия. Даже этот описанный выше погром, фактически резня — часто упоминается в межгосударственных диалогах? Кто-то предъявляет претензии? Требуется компенсации? Кротость просто изумительная на фоне кое-кого другого». «Вторая сторона все прекрасно помнит. Но вторая сторона привычная ко всему, и уж так, как она сама резала своих же, никто другой их не резал, а геноциды ей и самой приходилось совершать не в виде эксцессов исполнителей, а в виде организованной кампании верховной власти. Но дело даже не в этом. Последнее, что стал бы делать Китай — это иметь претензии к Российской Федерации в 2010 за то, что несколько сотен человек на окраине Российской империи самочинно решили избавиться от вражеско-подданного населения самым простым из всех простых способов, а власть их за это не наказала».

В любом случае «в Хэйхэ есть музей этой трагедии. И в школах проходят». Слухов о музее много, но везде подчеркивается, что русских туда не пускают. Это создает атмосферу таинственности и неясной угрозы. Возможно, очерк французской журналистки в популярном российском журнале эту атмосферу несколько разрядят.

«На обратном пути в Хэйхэ мы делаем остановку возле развалин старинного города Айгунь... На месте бывшей крепости построено ультрасовременное здание — исторический музей. Водитель говорит, что для русских вход сюда закрыт, но француженку должны пустить. С правой стороны вестибюля вход: за тяжелой гардиной красного бархата слышны крики, выстрелы, трагический голос диктора. Служитель впускает меня в темный зал, в глубине которого светится громадное панорамное полотно — Благовещенск 1900 года, в разгар Боксерского восстания. На переднем плане — макет: игрушечные казаки изгоняют китайцев с русского берега Амура; горящие дома, валяющиеся трупы, тонущие в реке женщины и дети. Не надо знать китайский, и без комментатора понятно, что происходит»¹.

«И важно даже не то, что китайским детям преподают это в школе с тех самых пор; для них для всех это знаковое событие. Важно то, что Мы об этом ничего не знаем. Психологически россияне не готовы к такой «предъявке», случись китайцам напомнить. А это — заведомый проигрыш. На мой взгляд, лучше когда ты знаешь ВСЕ, что тебе в принципе могут предъявить к оплате. И лучше знать это заранее».

Знать, чтобы быть готовыми к грядущей опасности — лишь один из аргументов. И довольно маргинальный. Надо знать и помнить для себя. «Я на 125 лет моложе

¹ Шишманова Патрисия. Берег бывших русских// Вокруг света. 2011, № 3.

Благовещенска. Казалось бы, зачем мне копаться в давно ушедшем времени? Нужно ли это моему поколению? Очень нужно! Чтобы доподлинно знать то, что совсем недавно замалчивалось». «Эпизод постыдный и надо о нем знать». «Жуткая забытая трагедия. Как мало мы все-таки знаем о собственной, совсем недавней истории!» «Уроки истории действительно надо помнить. И в первую очередь то, что благовещенская резня — результат преступных действий и бездействий властей, а во вторую очередь — результат стремления заполучить дешевую рабочую силу из-за бугра в ущерб собственному населению. И это актуально уже сейчас».

Знать и помнить необходимо — для того, чтобы понять и объяснить, сделать выводы не только о предках, но и о себе, своем обществе и своем времени. Здесь больше стремления понять, чем осудить. «Почему же все-таки так случилось?» — вот основной мотив размышлений и дискуссий. И надо разобраться самому, отталкиваясь от текста статьи, но подвергая его проверке и критике. Отсюда поиск в Интернете с тем, чтобы найти другую информацию, сравнить и сопоставить, найти основу для собственных версий и интерпретаций. Критика текста может быть вполне профессиональной — в некоторых комментариях сразу видна уверенная рука крепкого профессионала — гуманитария. В этом ряду — упреки в отсутствии опоры на архивы, в вырванности ситуации из общего контекста, в слишком благостном взгляде на взаимоотношения русских и китайцев на Дальнем Востоке (и здесь сразу возникает тема хунхузов и их зверств), в том, что явно завышено число убитых китайцев. Чаше же, это добросовестные любители, чей основной исследовательский инструментарий — здравый смысл. И у них бывают чрезвычайно любопытные дискуссии о причинах пассивности массы людей перед лицом неминуемой гибели, о возможности переплыть Амур в это время года, о политической и идеологической ангажированности автора статьи. Чрезвычайно интересны и важны для исследователя отсылки к собственному опыту или воспоминаниям близких. Нередки обращения к профессионалам с просьбой прокомментировать, дать оценку статье и ситуации. «Интересно, но прошу коллег-востоковедов оценить текст».

При таком подходе, при искреннем стремлении разобраться, исчезает или уходит в сторону мотив извечной коллективной ответственности народов. «В каждом, КАЖДОМ народе есть достаточное количество подонков, садистов, просто людей, способных на зверства «в толпе». И у каждого, КАЖДОГО народа в истории отыщется подобное. Но свинство на основании этого судить весь народ». «Национализм присущ любой нации в целом. Испокон веков люди с подозрением относились к иноземцам, а если еще этот иноземец что-то и натворил «в гостях», так сразу поднимался шум, готовы были идти резать всех и каждого с черной кожей, узкими глазами, темным лицом».

Тогда каковы логика и мотивы тех людей, которые принимали в этом прямое или косвенное участие? Вот одна из распространенных позиций: «Тогдашнего губернатора Благовещенска можно понять, у него просто другого выхода не было, как отправить китайцев на тот берег, потому, что не ровен час, что эти китайцы могли встать на сторону ихэтуаней, если не добровольно, то насильно. Тут сложно судить, этого никто не знает и была ли на самом деле пятая колонна в лице этих китайских граждан или нет... Нельзя и никого обвинять, кто виноват, а кто нет, военное время, знаете ли, есть военное время». «Вот тут копыа ломают, доказывая любовь русских к геноциду, но совсем не понимают причин произошедшего. Поставьте себя на место того офицера, который решил провести эту операцию. Вводная — у вас в 10 раз меньше войск, население в панике, китайские разбойники лютуют и пользуются поддержкой «пришлых» китайцев. Задача №1 — лишить этой поддержки, чтобы не было удара в спину. Надо что-то делать, вариант первый — согнать всех китайцев в одно место, для этого нет войск, их надо кормить, следить.... Второй — грохнуть всех. Негуманно. Вот и пошли по пути их выселения... у меня бабушка из тех мест и она говорила, что в Гражданскую местное население больше боялось китайцев, чем белых и красных... За что можно упрекать, так в переоценке этого фактора и плохой организации пере-

правы. Но опять же у человека был дефицит времени, людских ресурсов и гигантская ответственность за колонистов и своих людей. Так что не нам судить этого человека, как и не нам судить людей подобных Буданову, Ульману и Аракчееву. Они выполняли свой долг, они нас защищали».

Война есть война, у нее свои законы, а руководители города несли ответственность перед собственным населением и своей страной. Поэтому события — это эксцесс военного времени, печальный результат мер необходимой самообороны. Виновных нет, а пострадали в той или иной степени все.

Такой отказ от рефлексии относительно вины — или вообще ее отрицания — устраивает далеко не всех. «Почему наши были столь жестоки? Была ли причина? Не известно. Но русские ничем не лучше и не хуже других наций, которые и создают и разрушают. Характерный пример — немцы. Мощный культурный и гуманистический (извиняюсь за выражение) пласт, — и фашизм, холодное, спокойное убийство мирных граждан. И мы такие же. Готовы отдать жизнь за близкого, и отнять эту жизнь у другого близкого. Причем вполне по-зверски. Показательна Гражданская война, когда своих же истребляли особенно изощренно. Китайцы тоже. И стихи сочиняют, и новые пытки придумывают». И уже совсем безнадежно: «все люди грешники, и по-другому на земле уже не будет».

Чрезвычайно важным и интересным мне кажется текст, совершенно очевидно принадлежащий высококлассному профессионалу-гуманитарию. Он предлагает собственную и очень убедительную версию мотивов поведения участников событий. Это требует обширного цитирования. «Людобойство в Благовещенске осуществлялось низами (низовыми исполнителями из народа при массовом сочувствии самого народа) на глухой окраине Империи ПРОТИВ воли властей уже городского уровня, против всяких законов; по этим законам, как констатировала и клялась сама же местная власть, китайцам ничего плохого не причиталось (кроме выдворения из страны на самый крайний случай — но это-то нормально при войне); в других местах, где эти законы хотели соблюдать больше — китайцев не тронули... Пассивность же реакций и поведения властей, от градоначальской и выше, — это не нормальность/ненормальность законов и государственного строя, а степень гнилости элит... Это ведь не сверху спустили инструкцию утопить китайцев. Это народ и самые низовые народные исполнители распорядились. Власть — включая городской уровень — хотели обойтись вполне нормальными методами — высылкой потенциально угрожающих городу подданных вражеской державы в эту самую державу. Последующий спуск дела на тормозах — это не гнилость законов и устройства, это гнилость тех, кто их осуществляет. Тут протухание было страшным... Удивительно, когда в связи с Благовещенской историей пишут о психозе населения, о ксенофобии и т.д. Ровно ничего там такого не было, как не было и ненависти к китайцам... Имеется городок в глухомани на окраине империи, на границе с державой, с которой не воевали более 200 лет. В городке под 10 процентов населения (5 тыс.) — подданные этой самой державы. Тут в одночасье бац — и с этой державой начинается война, и эти 5 тысяч становятся вражеско-подданными; контролировать их невозможно, языка их почти никто не понимает, если там 500 человек решат поднять восстание и атаковать городские власти, то отследить это будет едва ли возможно, а сдержать и подавить — тоже довольно трудно. Меж тем к городу подходит отряд той самой державы и начинает по нему палить. Если отряд атакует, а ему в поддержку несколько сот китайско-подданных восстанет в городе — мало не покажется. Вражеско-подданное население в военное время в норме интернируют или депортируют. В данном случае городская власть решила его выслать в Китай — что было совершенно нормальным шагом (будущее показало, что можно было бы обойтись и так, но на фоне имевшегося риска претензий к этому решению быть не может). Интернировать же или высылать это население в глубь страны было просто невозможно. А вот дальше начинается: поскольку эвакуировать китайцев было трудно, исполнители приказа об эвакуации их просто изничтожили. Для простоты. Это был не массовый психоз и вообще не психоз, а просто

наиболее простое и эффективное решение проблемы — для людей без соответствующих структурных барьеров. Желательно для безопасности города куда-то девать или как-то нейтрализовать превентивно вражеско-подданное население, когда к городу еще и подошел вражеский отряд? А как же. Как это сделать проще и эффективнее всего, если не ограничивать себя в средствах? Да вырезать его. Вот они это и сделали, и без всякого психоза. А казачьи местные власти и эвакуировать не пытались, а распорядились просто вырезать. Для той же цели. А в других местах по русско-китайской границе власти (и казачьи, и не казачьи) были сильнее и более похожи на людей и ничего такого не делали. Почему и детей с женщинами прикончили? Они же в повстанцы не годятся? Да для простоты. Если уж мужчин, то куда этих-то девать и зачем с ними возиться? Ни психоза тут не было, ни ксенофобии, ни ненависти. Один здравый смысл, да житейская опытность, да ресурсо- и силосбережение, да вполне разумная забота о безопасности в военную пору, да отсутствие структурных барьеров, которые могли бы ограничить проявление всех вышеперечисленных высокополезных и не имеющих ничего общего с иррационализмом и ксенофобией качеств». Эта версия события ближе всего к картине классического погрома.

Она дополняется анализом другого автора: «Для кого-то оказался принципиально важен объект насилия. Взгляд на китайцев как на «инопланетян»... В психологии этот процесс называется «дегуманизацией» противника. Этим и объясняется способность совершать удивительные жестокости».

Интеллектуальный анализ дополняется оценочным «криком души»: «Эпизод совершенно потрясающий. Первое, что бросается в глаза, за последние 110 лет мало что изменилось — как тогда боялись китайцев, так и щас боятся. Как тогда считали их низшей расой, так и щас считают. Разумеется, не все такие, но эта линия поведения отчетливо заметна у российских туристов в Китае. Что сейчас Россия псевдо-православная страна, что такой она была тогда — христианским духом и не пахнет. Что тогда замели под ковер, что щас продолжают скрывать. Эта меня пугает... рецидив пугает исключительно сильно. Второе — это зверство превосходит Беслан, Перл-Харбор, башни Нью-Йорка. Людей погибло больше, погибли мирные беззащитные жители. Я даже не представляю, каким чудовищем надо быть, чтобы просто так топором рубить голову старику, за то, что он не может быстро идти. Это не дистанционный взрыв, это предельно жестокое кровопускание. Зло совершили не отдельные банды террористов, а это было массовое явление, общество в целом поддержало резню, и это самое ужасное. Даже «господа офицеры», «высоко духовные интеллигенты», показали, что честь их поганого мундира гораздо выше воплей замученных, выше ценностей христианства. И традиционно, под шумок — надо пограбить. Это классика. Неужели не мерзко кровавые деньги в дом тащить? Можно объяснить события страхом, но последующий грабеж показывает моральную деградацию всего общества. Можно предположить, что грабил народ, но нет, грабили и сами полицейские, поставленные это охранять. В итоге, глядя на это отношение к правам личности, к правам собственности, к закону, моральным ценностям, во всех слоях общества, становится очевидно, что кровавая революция — лишь вопрос времени. А изменений — нет».

Оценка деятельности или бездеятельности властей проходит во всех дискуссиях «красной нитью». Одобрение практически отсутствует, стремление оправдать ярко выражено. Но преобладает мотив критики и осуждения. Причем, как видим, диапазон критики тоже велик: от упреков в слабости и некомпетентности (преступная бездеятельность) до обвинения в геноциде и воинском преступлении (преступной деятельности). Отдельно фиксируется и соответствующим образом оценивается стремление замять дело и сохранить честь мундира.

С властью, в общем, все понятно. Иллюзий по ее поводу почти не наблюдается. Да и отношение к государству было и остается таким, что на него возлагается вина и ответственность за все — даже за то, в чем оно и не было виновато. «Но меня более интересует другое: спокойствие русского общественного мнения. Тут все-таки не

крестьяне. Мне кажется, что это был очень плохой признак, говорящий о глубокой болезни Российской империи и российского общества. Ну, мы, в общем, и так знаем, что до смерти осталось не так много».

Но и с крестьянами (шире — низами общества) и их исторической памятью не все так просто. С одной стороны, «мой отец, который родился в 1926 году и вырос в Благовещенске, уже на эту тему ничего не знал и ничего определенного сказать не мог». С другой — об этом «еще в детстве рассказывал нам дед Парыгин. По рассказам чувствовалось, что казаки очень сильно пережили свое участие в операции». «Об этих событиях я когда-то узнал от своей бабушки, которая жила в Благовещенске в начале прошлого века... Сама она не была очевидцем произошедшего избиения, поскольку родилась на восемь лет позже описываемых событий. Однако самих китайцев в дореволюционном городе еще застала (через несколько лет после побоища китайцы вернулись в город) и всегда вспоминала о них, как о людях исключительно порядочных — не позволявших себе обсчитывать детей в продуктовых лавках — и трудолюбивых. Как и почему иностранцев вдруг решили изгнать из города она объяснить не умела. Долгое время мое повествование представлялось мне преувеличением, даже байкой, а потом я и вовсе забыл об услышанном».

Отдельно стоит процитировать анализ профессионального исследователя. «Напрасно В.И. Дятлов, автор отличной статьи о Благовещенском деле думает, что о нем потом не вспоминали. Вспоминали — забайкальские казаки, чьи отряды принимали в этом людобойстве участие. Николай Иванович Богомяков, писавший под псевдонимом Серебряков, забайкальский казак, из семейства, полностью уничтоженного (кроме него) при Сталине (сам отсидел при Сталине и Хрущеве 26 лет, умер в 1983 г.), написал книгу «Начало и конец Забайкальского казачьего войска» (частично опубликована), написал он ее в основном по воспоминаниям забайкальских казаков, им виденных... И многие его информаторы, и он сам были убеждены, что страшный конец Забайкальского казачества — это бумеранг судьбы за зверства, совершенные забайкальскими казаками, особенно в начале 20 века, особенно в 1900 и 1904 гг. против китайцев, особенно в Благовещенске. Никакой справедливости они тут не видели — просто космический закон, который, получая откуда-то такие всплески жестокости, отшвыривает ее потом обратно по площадям туда, откуда пришла... Общий дух: «натворили наши самых зверских позорных дел, и вот это всем нам аукнулось». Эти зверские и позорные дела позорны и плохи у Богомякова и части его информаторов именно сами по себе, этически — а не технически, потому что за них всем аукнулось».

Вместо заключения. Проблема актуальности

Все цитированные тексты (могу поручиться за то, что и нецитированные тоже) эмоционально перенасыщены. Можно говорить о накале страстей. Нет (на всякий случай — почти нет) равнодушных или интеллектуально отстраненных откликов и комментариев. Преобладает демонстративная манифестация систем ценностей, идеологических взглядов, иногда политических позиций. Даже под оболочкой сдержанных по форме аналитических текстов кипит страстная оценочность.

Если попытаться найти причину, то это прежде всего сам характер события. Читая о нем, трудно остаться равнодушным. Однако прошло более ста лет. Это целая эпоха, перенасыщенная чудовищными массовыми жестокостями, сознательным и хладнокровным уничтожением миллионов людей. И привыканием к этому.

Здесь же пугает обыденность происшедшего, осознание того, что совершить противоестественное и чудовищное могут «соседи», обычные, нормальные люди, рядом с которыми живем, общаемся, вступаем в разнообразные человеческие отношения. Не некая внешняя сила, от которой и не ждешь ничего хорошего. Насилие

переходит из абстрактной сферы статистики загубленных миллионов и анонимности в область повседневности. Обыденное, домашнее слово «соседи» приобретают смысл жуткой метафоры.

Поэтому господствует понимание или ощущение этой темы и проблемы как чрезвычайно актуальных и современных. И не только с точки зрения возможности воспроизводства, повторения ситуации — тут и государство гнилое, и массовые антимигрантские настроения, и многочисленности акты насилия по отношению к «чужакам». *Первый вопрос, который задаешь себе: «Возможно ли это сегодня?» Потом начинаешь спрашивать себя: «Возможно ли это еще где-нибудь кроме России?» Мой ответ — возможно везде, где власть уклоняется от своих обязанностей, степень погромов может определяться только степенью бездействия властей. Всегда, к сожалению, найдутся люди, желающие кого-то громить». Это понятно — и это страшно. «Типун мне на язык, конечно, но я и правда боюсь этой еле сдерживаемой агрессии. Одного только на поорать хватит, а второй за ножик схватится». И вывод: «Благовещенская катастрофа стала первым шагом России в пропасть Смуты».*

Но главное же дело — в себе. Как **нам и сейчас** жить с памятью об этом? *«Интересно, мы созрели, чтоб каяться/извиняться? — за уничтожение нескольких тысяч ни в чем не повинных китайцев около Благовещенска в 1900 году».*

Покаяние понимается не как навязанный извне комплекс коллективной вины, а как внутреннее переживание, принятие на себя внутренней моральной ответственности за то, что сделали предки. За полученное наследство, от которого невозможно отказаться да и нельзя отказываться. Покаяние — как единственная надежная гарантия от повторения. Как показатель взросления общества. Как переход от проблемы групповой оппозиции и групповой ответственности к личностному выбору.

Как писал Мачей Яновский о такой реакции польского общества на ситуацию, описанную в книге Я.Т. Гросса, «принять к сведению, не пытаться отрицать и жить дальше с сознанием того, что у твоего собственного народа, как и у других, есть в истории страницы хорошие и плохие, прекрасные и отвратительные»¹.

Как и в Польше, это не единственная позиция, да и не преобладающая в дискуссии. *«И сегодня одни считают, что признание темных страниц национального прошлого является проявлением социальной зрелости и вместе с тем моральным долгом, другие же убеждены, что основным требованием патриотизма является защита доброго имени народа. Названные позиции основаны на мировоззренческих принципах, а не на знаниях, полученных эмпирическим путем, поэтому не стоит и думать, что они могут измениться под влиянием тех или иных исторических исследований»*².

Это так, но исторические исследования могут привлечь к проблеме общественное внимание, спровоцировать дискуссию, поставить перед людьми проблемы, от которых невозможно отмахнуться. Они могут дать людям слова и образы, в которых те иногда так нуждаются. Конечно, реакция на благовещенские события в современном российском обществе несопоставима с тем, как Польша отреагировала на резню в Едвабне. Ни по масштабам дискуссии, по невозможности остаться в стороне от морального, ценностного и идеологического выбора, ни по глубине осмысления. Но то, что тема возвращена в историческую память, что она не оставляет знающих о ней равнодушными, внушает некоторый оптимизм.

¹ Яновский М. Едвабне, 10 июля 1941 года: дискуссия о событиях страшного дня // Pro et Contra. 2011, май–август. С. 155.

² Там же. С. 161.

Владимир Дегоев

Забытый герой Кубани

Слово об Иване Федоровиче Бринке

История «российских немцев» уходит корнями еще в IX век. С тех пор, оседая в России и ассимилируясь, перенимая культуру новой родины и обогащая ее своими традициями, знаниями и умениями, немецкие купцы, ремесленники, воины, лекари, ученые, колонисты-земледельцы и их потомки вносили немалый вклад в науку, военное дело, искусство нашей страны. Многие служили ей верой и правдой и составили ее славу и гордость. Всем известны имена таких выдающихся военачальников, как Михаил Богданович Барклай-де-Толли; мореплавателей и исследователей Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена, Фердинанда Карловича Врангеля, Отто Юльевича Шмидта, Ивана Федоровича Крузенштерна; врача, лексикографа, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля; всемирно известных пианистов Святослава Теофиловича Рихтера и Генриха Густавовича Нейгауза; композитора Альфреда Гарриевича Шнитке; архитектора Федора Осиповича Шехтеля, живописца Карла Павловича Брюллова... Пытаться перечислить всех — напрасный труд. Однако есть в нашей истории страницы, связанные с куда менее известными, вовсе неизвестными или забытыми именами «российских немцев», заслуживающими того, чтобы о них помнить. Одно из них — Иван Федорович Бринк, о котором и пойдет речь.

Скоро исполняется 230 лет присоединению Крыма к России. Не будем гадать, как отметят эту дату в государствах, имеющих причины помнить о ней. Для исторической науки это совсем не важно. Ее сюжеты не нуждаются в искусственной актуализации с помощью круглых или не очень круглых юбилеев. Их актуализирует сама жизнь со всеми ее трудными и подчас безответными вопросами. А они множатся с такой быстротой, что за ними не успевают ни ученые, ни политики.

Напомним, что в состав Крымского ханства входила значительная часть Северо-Западного Кавказа, обобщенно именуемая Правобережной Кубанью¹, которая являлась частью этого государства, игравшего роль османского форпоста в Северном Причерноморье и Восточной Европе. И до, и после присоединения к России в 1783 г. Крым и Кубань были для Петербурга проблемными территориями. Сегодня они принадлежат разным государствам (Украине и России), но проблемность, пусть в измененном виде, сохранилась, и в этом смысле, можно сказать, история повторяется.

¹ Здесь есть момент, требующий на всякий случай пояснения. Понятие «Кубань» в широком смысле подразумевает не столько русло одноименной реки, хотя и его, конечно, тоже, сколько геополитическое пространство, образовывавшее средостение между Российской и Османской империями и имевшее огромное стратегическое значение.

Историческая связь между Крымом и Кубанью прослеживается в громадном количестве событий. Одно из них — военно-политическая подготовка присоединения Крымского ханства, которая происходила на Кубани.

Подробности этой захватывающей истории практически выпали из поля зрения исследователей. Это выглядит довольно странно, особенно на фоне обилия соответствующего документального материала, интереснейшего по своему содержанию и очень важного для понимания многих вещей. На ум приходит единственное объяснение: историки, возможно, посчитали, что эти документы слишком наглядны, чтобы обрабатывать и концептуализировать их.

И, как порой водится, в исторических пейзажах крупного масштаба теряются люди какие они есть — те самые, умом, трудами, подвигами, ошибками которых создано бесценное наследие под названием «прошлое» с его великими свершениями и великими трагедиями. А главное — с его великими уроками. Учить их или нет — это уже выбор живущих.

Многовековые взаимоотношения России с Крымским ханством, итогом которых стал 1783 г., безусловно, представляют благодатную тему для монументальной исторической «живописи». Ряд таких полотен принадлежит перу выдающихся российских и зарубежных исследователей. Это действительно незаурядные произведения, составляющие «золотой фонд» наших знаний о русско-крымско-османских делах. Одно из их главных достоинств — впечатляющие размеры. И в этом же — главный недостаток.

Как ни парадоксально, узость панорамного взгляда на историю заключается в его неспособности выхватить из обширной картины Человека — физически крошечный, но по сути ключевой ее элемент, без которого нет ничего. Преодолеть оптические неудобства обозрения событий с высоты птичьего полета служители Клио пытаются с помощью изучения так называемой локальной истории (а также ее предельной формы — микро-истории). Именно тут открывается возможность вблизи рассмотреть подлинных ее творцов и героев — живых людей. Кто-то с грустью увидит в них присвоенный государством расходный материал для строительства будущего. Но сами они так о себе не думали, а просто жили, действовали, верили. И познали свою долю не только печалей, но и счастья.

Об одном из таких героев — наш рассказ.

Кубанско-крымский узел

Порта, не успев подписать в 1774 г. Кючук-Кайнарджийский договор, стала его нарушать. Независимость Крыма ее совершенно не устраивала. Опираясь на определенные слои крымской знати, османские сановники вели работу по восстановлению прежнего вассалитета. В 1775 г. им удалось посадить на ханский трон свою креатуру — Девлет-Гирея, правителя умного и ловкого. Он открыто взял курс на возвращение Крыма в лоно старой системы отношений со Стамбулом.

На Кубани это отозвалось растущим смятением, усугублявшимся обычными междоусобицами и личными конфликтами между местными вождями племен.

Катализатором событий в значительной степени стал политический соперник Девлет-Гирея Шагин-Гирей, которому Петербург, чтобы не обострять ситуацию, долгое время отказывал в прямой поддержке. Часть своих сторонников в борьбе за бахчисарайский престол Шагин-Гирей нашел на Кубани, среди местных ногайцев и черкесов. Северо-Западный Кавказ не впервые становился для кандидатов на ханство базовым военно-политическим лагерем восхождения на вершину власти.

Зная это, Екатерина II придавала важное значение проблеме использования азовско-кубанского пространства в качестве социального полигона, на котором мож-

но будет проверить личные лидерские способности Шагин-Гирея, его шансы обосноваться в Бахчисарайском дворце и, разумеется, меру соответствия его планов интересам России. Эту линию, по убеждению императрицы, следовало проводить «с крайней предосторожностью», ни в коем случае не подвергая опасности состояние мира с Турцией.

На Кубани Екатерине II нужен был буфер безопасности, который устранил бы поводы «к новым между обеими империями изъяснениям и хлопотам». Однако, чтобы этот барьер эффективно справлялся со своей функцией, его внутреннее социально-политическое состояние не должно было быть источником беспорядка, выплескивающегося за пределы Крымского ханства. С этой точки зрения, ситуация на азовско-кубанском пространстве беспокоила Екатерину II особенно. Там царили раздробленность, междоусобицы, неопределенность, совершенно претившие императрице, которая стремилась к тому, чтобы все северокавказские ногайские орды «совокупно один политический корпус составляли»¹.

Черкесы и ногайцы видели, что турки чувствуют себя полными хозяевами на Кубани и на Таманском полуострове, решительно вмешиваются во внутренние дела местных народов, и никто не в состоянии этому воспрепятствовать. При попустительстве турецкого командования (если не по его наущению) около кубанской крепости Копыл ногайцы совершили дерзкое нападение на русский конвой, сопровождавший Шагин-Гирея (13 октября 1775 г.). Несколько человек были убиты, включая унтер-офицера, часть людей взята в плен. Самому Шагин-Гирею удалось скрыться у абазинцев.

Девлет-Гирею требовалось во что бы то ни стало избавиться от Шагин-Гирея, который представлял опасность не столько сам по себе, сколько поддержкой, которую ему оказывала Россия и которая в известном смысле являлась для бахчисарайского правителя предметом зависти. Убрав конкурента, Девлет-Гирей, будучи при всем своем проосманском настрое гибким политиком, открыл бы для себя возможность самому стать подопечным Петербурга, так как у последнего не останется иного выбора, кроме как иметь дело только с ним, действующим крымским ханом.

Динамика развития ситуации, как видно, выглядела не самым обнадеживающим для России образом. Но переламявать ее в свою пользу с помощью военного вмешательства Екатерина II по-прежнему не хотела. Несмотря на растущую агрессивность османских военных властей на Тамани и их ногайских союзников, русские пограничные начальники старались соблюдать спущенную «сверху» общую директиву на сохранение в кубанской стороне «благочиния и совершенного покоя». Однако логика развития событий делала для России очевидной невозможность бесконечно оставаться на оборонительных и умиротворительных позициях.

Крайне нежелательные для России морально-политические последствия могла иметь история с русским конвоем Шагин-Гирея. Вопрос о том, «какие действия произвела она в тамошних народах», стал предметом глубокой озабоченности для Петербурга. Не отреагировать на эту дерзость означало либо надеяться на способность местного населения оценить великодушие России, либо признать в своем бессилии противостоять подобным действиям и поощрить их эскалацию. Первое было наивным, второе — опасным. Однако прибегать к оружию Екатерина II воздерживалась, опасаясь обвинений в нарушении ее собственной гарантии независимости Крымского ханства.

¹ Это еще один аргумент в бесконечной череде ему подобных, развеивающий миф о приверженности России политике «разделяй и властвуй». Остается лишь недоумевать — откуда у историков такой неизбывный пиетет к этому мифу, почему никто не удосужился проверить его на элементарное соответствие фактам, лежащим на поверхности? Ставя эти вопросы, не стоит лукаво скрывать их риторический характер. Разумеется, ответы на них известны.

На все эти симптомы растущей напряженности императрица решила искать такой ответ, чтобы общая ситуация осталась под контролем, и в то же время не пришлось ради этого жертвовать влиянием и авторитетом России.

В Тамани квартировал отряд янычар (200 отборных солдат) под командованием Орду-агаси, который вел большую военно-организационную, политическую и пропагандистскую работу среди ногайских и черкесских вождей. Словами и делами он старался укоренить в массовом сознании мысль о том, что в османско-крымских отношениях все осталось как раньше, будто бы и не было победы России в войне и Кючук-Кайнарджийского договора со статьями, официально фиксировавшими прекращение сюзеренно-вассальных отношений между Стамбулом и Бахчисараем. Само по себе хозяйское присутствие Орду-агаси на Таманском полуострове на фоне столь же показательного отсутствия русских на Северо-Западном Кавказе в значительной степени избавляло от необходимости что-то доказывать. Все и так было ясно: русские войска далеко, а турецкие рядом, это и есть реальное положение вещей «здесь и сейчас», что бы там ни твердила Россия о своей победе над Турцией.

В предвидении «вящих смутений и неурядиц» Екатерина II приказала принять в кубанской стороне превентивные оборонительные меры. Как ни тяготела она к дипломатическим средствам стабилизации русско-турецких и русско-крымских отношений в таком чувствительном пункте, как Северо-Западный Кавказ, в конце концов пришлось согласиться с мнением генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева и других военных о необходимости держать в боевой готовности войска, расположенные по периметру границ с Крымским ханством, которые следовало «привести в совершенное обеспечение от всякого сюрприза и нападения».

Вскоре стало ясно, что предосторожность не была тщетной. В начале июля 1776 г. коменданту Еникалинской крепости генералу Н. В. Борзову стало известно, что Орду-агаси собрал около 15 тысяч черкесов и ногайцев для нападения на резиденцию Шагин-Гирея на реке Ея. Турецкий начальник, как и в случае с первым покушением на калгу-султана, ставил задачу преградить сопернику Девлет-Гирея дорогу к бахчисарайскому престолу.

Война оставалась для Екатерины II самой нежелательной развязкой, последней чертой отступления от стратегии поиска политических и дипломатических решений. Она не оставляла надежды уйти от столкновения с Турцией и в то же время склонить ее к соблюдению мирного договора 1774 г. Это была не политика безусловного непротивления, а политика изощренного лавирования во избежание того, что совершенно не входило в планы императрицы на обозримое будущее.

В этих планах все более заметное место отводилось Шагин-Гирею как единственному на тот момент человеку, с помощью которого предполагалось сместить Девлет-Гирея как проводника интересов Порты, превратившего независимость Крымского ханства в фикцию. Шагин-Гирей чувствовал себя очень неуверенно. Это видно по его призывам к Екатерине II разместить в «кубанской стороне» русские войска, в чем он «находил единственное средство» к сохранению контроля за ситуацией и, разумеется, к обеспечению собственной безопасности.

В Петербурге заметили это обстоятельство и огорчились. России нужен был в качестве антагониста Девлет-Гирея энергичный политик, имеющий опору в обществе или умеющий ее создавать. Чем меньше отвечал этому требованию Шагин-Гирей, тем более затратным и рискованным становился процесс приведения его к ханской власти. Постоянно держать при нем русские войска и возлагать именно на них всю работу по выманиванию дороги к бахчисарайскому престолу в Петербурге считали худшей разновидностью политики.

Петербург продолжал придерживаться в отношении Шагин-Гирея осторожно-выжидательной позиции. С одной стороны, необходимо было вывести калгу-султана «из уныния», в которое его повергли масштабы стоявших перед ним проблем, с

другой — держать его в тех пределах, в которых он не сможет дискредитировать ни Россию, ни себя лично. Однако с каждым днем становилось все очевиднее: политика умиротворения Стамбула исчерпала себя, и ее нужно менять, если Петербург не хочет быть поставленным перед фактом полного упразднения одного из ключевых итогов шестилетней войны (1768—1774 гг.) с Турцией — независимости Крыма.

«Случайный» выбор

В такой головоломной исторической обстановке, требовавшей высочайшего искусства политического маневра и политического предвидения, на острие событий волей судьбы оказался бригадир (что-то среднее между полковником и генерал-майором) Иван Федорович Бринк, командующий небольшим заградительным отрядом¹ (деташаментом), стоявшим на реке Ея — границе между Россией и Крымским ханством в Восточном Приазовье.

Поначалу трудно было избавиться от ощущения: если бы эта самая судьба захотела сделать более неожиданный и более неудачный выбор, у нее вряд ли бы получилось. Честный, добросовестный, мало кому известный и к тому же не блиставший здоровьем сорокатрехлетний служака, никогда не занимавшийся политикой. В распоряжении у Петербурга было достаточное количество генералов с куда более богатым послужным списком и более выразительным набором качеств, необходимых для выполнения сложных и деликатных миссий. Но пришлось остановиться на Бринке. Возможно, потому что он находился поблизости от места действия, а искать другого не позволял острый цейтнот.

Напряжение в русско-турецких отношениях нарастало так быстро и последовательно, что начиная примерно с июня—июля 1776 г. Екатерина II, при всей ее жажде мира, уже не исключала новой войны. Императрица не могла позволить туркам застать себя врасплох и тем самым перехватить стратегическую и морально-политическую инициативу. Уж слишком много накапливалось факторов, не оставлявших возможности не замечать их. Устроенная Бахчисараем и Орду-агаси настоящая охота на Шагин-Гирея продолжалась и имела неплохие шансы закончиться успешно. Крымские и османские агенты вели активную антироссийскую пропаганду среди ногайцев и черкесов, подбивая их на создание военного союза. Территории России подвергались набегам, инспирированным из Крыма и Тамани. Девлет-Гирей дерзнул открыто оспорить российские права на Кабарду, чего он, скорее всего, не сделал бы без тайного или молчаливого одобрения Порты.

Для России вопрос встал не только об усилении оборонительных мер, но и об упреждающих действиях срочного характера. Это заставляло форсировать проведение военно-политической операции, имеющей главной целью возведение Шагин-Гирея на бахчисарайский престол.

Общая обстановка на Кубани и в Крыму развивалась столь хаотично и непредсказуемо, что успех задуманного Екатериной II сложнейшего предприятия вызывал большие сомнения. Некоторые историки даже называли его «фантастическим». Тем более непонятно, почему оно было поручено какому-то Бринку, за которым не числилось особо выдающихся боевых подвигов (в сравнении, скажем, с тем же А. В. Суворовым, который в это время, кстати, томился тихой службой и жаждал деятельности), не говоря уже о полном отсутствии политико-дипломатического опыта. Одним словом — очередная случайность в истории...

¹ Точная численность отряда неизвестна. Судя по документам, это — меньше четырехсот воинов, большей частью конных.

Нельзя, впрочем, сказать, что в Петербурге не осознавали всей рискованности такого странного кадрового выбора. Решено было обучить Бринка хотя бы азам чужой для него профессии — дипломатии. Шефство над ним взял сам канцлер Н. И. Панин, инструктировавший бригадира по вопросам стратегии и тактики достижения главной политической цели. Глава Коллегии иностранных дел не скрывал от Бринка стремления сделать Шагин-Гирея участником тонкой игры, где нельзя ни увлекаться сверх меры, ни пускать ситуацию на самотек. По замыслу канцлера, калгу-султана следовало превратить в достаточно самостоятельную в политическом и военном отношении фигуру, чтобы не взваливать на Россию всю тяжесть задачи возведения на крымский престол отвергаемого обществом человека, но в то же время Шагин-Гирей должен быть не настолько силен, чтобы обойтись без поддержки Петербурга и не чувствовать себя обязанным.

Бринк оказался способным учеником, быстро схватывающим суть проблемы и склонным к творческим подходам. Он известил Шагин-Гирея о том, что Россия будет рада видеть его крымским ханом или, по крайней мере, «верховным начальником» азовско-кубанских ногайцев. Ему окажут соответствующую финансовую и военную помощь. Но лишь при том условии, что Шагин-Гирей и сам активно займется политической мобилизацией местного населения, включая формирование вооруженных отрядов — «особливо из горцев».

В сентябре 1776 г., в связи с обострением обстановки, перед детаашаментом Бринка, получившим некоторое подкрепление, была поставлена задача: готовиться к походу на юг, в сторону Кубани, крепости Ачуев и Таманского полуострова. Бригадиру поручили в секретном порядке разработать подробный план действий, представив также свои соображения о сроках его осуществления. Речь шла о деликатном и весьма неординарном предприятии. Оно имело две составляющие: военно-стратегическую и политическую — заставить турок покинуть Таманский полуостров и Ачуев, не вступая с ними в военные действия; продемонстрировать ногайцам и черкесам, что Россия поддерживает Шагин-Гирея, тем самым создав благоприятную ситуацию для избрания его либо крымским, либо (пока) ногайским ханом.

Задача была сложнейшая. Она порождала вопросы и сомнения. Detaашаменту Бринка предстояло вторгнуться на территорию, официально объявленную независимой. В виде оправдания предлагалась такая логика: русские войска вынуждены нарушить одно из условий Кючук-Кайнарджийского договора лишь для того, чтобы заставить соблюдать его османскую сторону. Присмет ли эту логику ногайское и черкесское население — большой вопрос. Другой вопрос — как оно отнесется к приходу Шагин-Гирея в сопровождении гяурской армии и как это отразится на его шансах быть избранным в местные или крымские ханы? Станут ли османские командиры в Тамани, Темрюке, Ачуеве и Суджук-кале безучастно взирать на происходящее? А если нет, то не спровоцирует ли это новую войну между Россией и Турцией?

Мы уже не упоминаем о том, что приходилось учитывать разного рода препятствия логистического характера. По пути следования детаашаменту нужно было преодолеть пять рек, причем в осеннее время года, когда они могли преподнести неприятные сюрпризы. Осенью ногайцы имели обыкновение выжигать степь, что лишало конную часть русского отряда подножного корма и ставило перед необходимостью покупать фураж у местного населения, согласия которого продавать его никто не гарантировал. Обширное степное пространство от Еи до Кубани представляло собой коварное место. Там негде было укрыться от холода и ветра, не было дров, чтобы развести костры для обогрева и приготовления пищи. Существовала проблема обеспечения войска пресной водой: в реке Бейсуг, где Бринк по стратегическим соображениям планировал разбить лагерь, вода была соленой.

Главное, таким образом, — как можно быстрее преодолеть степь и добраться до более безопасных в плане природных условий мест. Все это крайне беспокоило

Бринка, стремившегося тщательно рассчитать маршрут, скорость движения и по возможности учесть все негативные факторы, способные воспрепятствовать предприятию.

Возникает естественный вопрос: почему для похода нельзя было выбрать более подходящее время, чем середина ноября, то есть канун зимы? Ответ отчасти заключен в самом вопросе. Решение о проведении этой операции в неурочный сезон соответствовало степени озабоченности Екатерины II скоростью развития местной обстановки в опасном для России направлении. С момента подписания Кючук-Кайнарджийского договора прошло более 2 лет, в течение которых Порты упорно игнорировала требования о выводе ее войск с Северо-Западного Кавказа, поскольку за этими требованиями не следовало никаких санкций. Повисавшие в воздухе русские протесты служили для османского правительства вдохновляющим стимулом к продолжению политики не только сохранения, но и укрепления своих военных баз в регионе.

Дело непредсказуемо осложнялось тем, что эти базы были еще и очень мощными источниками морально-политического и пропагандистского влияния на местное население (и, кстати говоря, на крымское общество). Ему становилось все труднее поверить в победу России над Турцией: какая же это победа, если турки как были, так и остаются на Кубани, а русских там как не было, так и нет? Даже пассивное османское присутствие, будь оно действительно таковым, создавало бы для Петербурга большие проблемы. Однако поведение турок было далеко не пассивным, отчего возрастало количество и масштабы таких проблем. Факторы, работавшие на дестабилизацию обстановки по обе стороны Керченского пролива, взаимно дополняли и усиливали друг друга.

Разгул междоусобиц, неразберихи, фракционных распрей в Крыму заставляли Девлет-Гирея искать поддержку на Кубани, где он стремился извлечь из аналогичной ситуации военно-политические средства для сохранения ханского статуса. В результате общее напряжение грозило достичь неприемлемого для России градуса.

Логика развития событий работала против России в угрожающем темпе, требовавшем соответствующего ответа. За зиму 1776/77 г. могло произойти то, что исправлять будет неизмеримо дороже, чем упреждать. Судя по историческим документам, нет другого объяснения причин выбора столь неудачного времени для похода Бринка.

Все это могло закончиться для русского отряда катастрофой. Но она не случилась во многом благодаря блестящему руководству И. Ф. Бринка.

Планы политические и военные: чего больше?

Операция началась в середине ноября 1776 г. в условиях осенней распутицы. Именно потому, что впереди была полная неизвестность, командир деташамента намеренно отказался связывать себя детально разработанным планом и четким графиком движения. Бринк наметил лишь общее направление действий, решив гибко сообразовываться с местными обстоятельствами, по ходу дела меняя или корректируя частные задачи.

Единственное, с чем он не желал экспериментировать, были сроки осуществления предприятия. Бринк считал крайне опасным затягивать поход, по крайней мере на том пространстве, где русские войска — ввиду уже упоминавшихся природно-географических особенностей — окажутся наиболее уязвимыми для атак неприятельских сил, которые могут образоваться мгновенно и из кого угодно. Командующий намеревался быстро преодолеть это пространство, чтобы достичь Кубани, где имелись гораздо более подходящие условия и для зимовки, и для самообороны. Там,

кроме того, проще было определяться с характером и направлением дальнейших действий.

Вместе с тем проведение операции в блицстиле серьезно затруднялось ее политическим содержанием, которое, пожалуй, было важнее военного. Дело в том, что в обозе русских войск находился Шагин-Гирей, намеренный своим появлением со столь внушительным «эскортом» известить ногайцев о начале кампании по избранию нового крымского хана.

Затея была рискованной. С одной стороны, Россия, независимо от испытываемых к ней чувств, пользовалась большим авторитетом на Северо-Западном Кавказе и ее поддержка могла иметь решающее значение для любого местного политического игрока, с другой — слишком уж бросалось в глаза стремление калги-султана предьявить в качестве своего главного козыря русское войско, что создавало ему репутацию гяурской марионетки. Кроме того, ногайцы и черкесы находились под влиянием таких небестальных предводителей, как Тохтамыш-Гирей, Арслан-Гирей и Батыр-Гирей¹. Заручиться их расположением было сколь непросто, столь и необходимо. Это требовало тонкой и методичной работы. Бринку приходилось искать для нее время, которого катастрофически не хватало, и делать это за счет потери скорости движения его отряда. Причем бригадир еще умудрялся ради пользы дела создавать впечатление, будто это он находится при Шагин-Гирее, а не наоборот.

Предвидя все эти трудности, Бринк начал политическую подготовку похода едва ли не раньше военной. С помощью своих разведчиков он внимательно следил за общей обстановкой на Северо-Западном Кавказе, стараясь определить соотношение между факторами, благоприятствующими проведению операции или чреватые перспективой ее срыва. Бригадир не покидали сомнения относительно шансов на успех задуманного предприятия. Ими он делится с вышестоящим начальством (князем А. А. Прозоровским) в самый канун (6 и 8 ноября 1776 г.) выступления отряда и одновременно предлагает способы минимизации риска.

Бринк предупреждал, что от некоторых ногайских орд (в частности едичкульцев) будет крайне сложно получить согласие на избрание Шагин-Гирея крымским ханом. Недооценка влияния Девлет-Гирея и Порты на азовско-кубанском пространстве, по мнению командующего, грозила негативными последствиями. Бринк советовал не упускать из виду вполне реальную возможность бегства Девлет-Гирея из Крыма на Таманский полуостров, где соединение его с османским отрядом Орду-агаси могло спровоцировать сильные волнения против России. Бригадир не видел способа помешать этому, не вступив в прямой вооруженный конфликт с Турцией, который он, однако, считал нежелательным.

Судя по всему, Бринк (и это парадокс, учитывая его профессию) был категорически против применения оружия. Он полагал, что силу нужно лишь продемонстрировать — именно для того, чтобы не пришлось ее употреблять: так легче решать главные, политические задачи. Бринк хорошо понимал, что, имея рядом с собой Шагин-Гирея, брать на себя политическую инициативу в общении с местным населением было бы бестактно. Вдобавок, это подтвердило бы мнение многих ногайцев о марионеточной роли калги-султана. Бринк деликатно подсказывал Шагин-Гирею, какими способами следует расположить к себе ногайцев. Командующий вел эту невоенную работу очень умело, умудряясь отходить в тень настолько, что его подопечному самому казалось, будто именно он является руководителем операции.

На самом же деле всеми организационными и стратегическими нитями кампании управлял Бринк. Ивану Федоровичу явно не хватало свободы действий, и он, по

¹ Два последних доводились Шагин-Гирею братьями, но в условиях жестокой борьбы за власть данное обстоятельство, как показывает вся история Крымского ханства, мало что значило.

сути, намекал на это между строк в своих депешах в вышестоящие инстанции. Бригадир напоминал, что готовить почву для провозглашения калги-султана крымским ханом приходится в условиях сложнейших межплеменных, межклановых, межличностных конфликтов на Кубани. При такой конъюнктуре, по его мнению, Шагин-Гирею либо с одной, либо с другой, либо с третьей стороны гарантирована сильная оппозиция, которая добровольно не согласится признать его в столь высоком и все еще священном для ногайцев статусе, а заставлять их силой, когда рядом стоят турецкие войска, опасно.

Бринк не был уверен в эффективности той двухэтапной схемы привода Шагин-Гирея к власти, которой придерживался Петербург: вначале создать для претендента социально-политическую опору среди ногайцев, склонных принять его сторону, и при их поддержке провозгласить его пока лишь Кубанским ханом, чтобы затем уже использовать этот престижный титул в борьбе за бахчисарайский престол.

Имея перед собой совершенно неясные перспективы, командир деташамента пытался выторговать у начальства право на свободу маневра и импровизации как в политическом, так и в военном смысле. Бринк просил разрешения занять в случае необходимости Таманский полуостров. Поясняя, что может вызвать такую необходимость, он говорил о большой вероятности возникновения «великих трудностей» для войска («довольная стужа», «прекрайняя нужда» в средствах защиты от холода и голода), если оно надолго задержится в степи.

Но было и другое соображение. Бринк опасался появления на Тамани крупных турецких подкреплений и предлагал действовать упреждающе, заодно обеспечив деташаменту удобное место для зимовки и для активной политической работы среди ногайцев и черкесов. Иначе этот плацдарм достанется туркам и Девлет-Гирею, противостоять решительным намерениям которых будет тогда гораздо труднее.

Следует подчеркнуть, что испрашиваемая Бринком свобода действий отнюдь не распространялась на высочайшее Её Императорского Величества предписание «уклониться от кровопролития и соблюсти ласковое с татарами обращение».

Как видно, Бринк набросал общие контуры плана операции, однако и этого достаточно, чтобы заметить творческую мысль, направленную не только на выполнение указаний свыше, но и на разработку вариантов действий в разных, изначально не предусмотренных ситуациях.

Князь А. А. Прозоровский отвел сомнения Бринка в целесообразности двухэтапной схемы возведения Шагин-Гирея на бахчисарайский трон. Ссылаясь на высочайшую волю, он указывал на необходимость превратить предприятие Бринка в кампанию избрания калги-султана Кубанским ханом, «а потом крымцы уже принуждены будут его признать всеобщим ханом».

Прозоровский понимал всю сложность задач, поставленных перед русским деташаментом и его командиром. Не исключая, судя по всему, неблагоприятного течения событий, князь наказывал Бринку постоянно находиться «при его (Шагин-Гирея. — В. Д.) персоне», поскольку не видел иного пути обеспечить безопасность калги-султана.

Кроме безопасности была и другая важная проблема — укрепление морального авторитета кандидата в крымские ханы. Решение ее предполагало, помимо всего остального, умение найти какое-то приличное в глазах ногайцев объяснение тому факту, что Шагин-Гирея сопровождают русские войска. Такие «частности», прекрасно осознавая их значение, Прозоровский предпочел сделать источником головной боли не для себя, а для своего подчиненного. Именно Бринку поручалось придумать нечто такое, что заставило бы местное население поверить, будто калга-султан не расстается с охраной «не от страха своих подданных (ногайцев. — В. Д.)», а по другой, «пристойной» причине. Какой? Поиск ответа на этот вопрос Прозоровский

великодушно доверил Бринку, поскольку «вы, будучи на месте (действия. — В. Д.), и судить лучше можете».

Реальная общественно-политическая и морально-психологическая обстановка на Северо-Западном Кавказе избавила командира русского detachамента от необходимости строго следовать «двухэтапной схеме» и заодно ломать голову над тем, как разгадать ребусы, составленные в тиши петербургских кабинетов. Во-первых, ногайская знать была убеждена: ни о каком избрании «кубанского правителя», а значит, о разделе Крымского ханства нет и речи; стоит лишь один вопрос — о возведении русского протеже на бахчисарайский престол и о наделении его всей полнотой власти над татарами. Во-вторых, сам Шагин-Гирей, с крайним подозрением относившийся к идее «прелиминарных региональных выборов», делал все, чтобы исключить какие-либо расхождения в представлениях ногайцев о главном объекте его амбициозных устремлений. В-третьих, отчаянная борьба Девлет-Гирея за политическое выживание велась против калги-султана, что явным образом демонстрировало масштабы претензий последнего.

На таком фоне Бринк мог спокойно делать вид, будто он аккуратно выполняет «двухступенчатый» план Екатерины II, на самом же деле ведя кампанию по избранию Шагин-Гирея «всеобщим ханом».

Бросок через степь

В том, что кубанский поход не будет легкой прогулкой, Бринк убедился, едва выступив. 18 ноября 1776 г. он получил письмо от едичкульских мурз с требованием — «не ходите с войсками к нам в такое время, когда между обеими Империями (Османской и Российской. — В. Д.) мир продолжается». Едичкульцы решительно отказывались признать Шагин-Гирея крымским ханом.

Единомыслия среди ногайцев становилось еще меньше по мере продвижения русского detachамента на юг. Понимая, что скорость наступления является политическим фактором, Бринк спешил. Он быстро пересек едисанскую степь и 19 ноября вышел к реке Бейсуг, за которой простиралась земля Едичкульской орды. На этом рубеже должны были состояться переговоры с главными местными мурзами об избрании Шагин-Гирея (находившегося в ставке Бринка) крымским ханом. Они, вопреки своим обещаниям, отказались от переговоров и ушли за Кубань к черкесам.

Но на Бейсуг явилось немало почтенных стариков и представителей духовенства, «кои (по словам Бринка. — В. Д.) внутренне желали спокойствия своему народу». С одной стороны, они хотели засвидетельствовать свою готовность к конструктивному разговору, с другой (как изначально предвидел Бринк, утверждая, что ногайцы «будут длить время»), стремились занять выжидательную позицию, ссылаясь на свою исторически сложившуюся неправомочность решать вопрос о том, кому быть на бахчисарайском троне.

Едичкульские старейшины просили (имея на то формальных оснований) отсрочки, чтобы узнать о реальном положении дел в Крыму и о шансах Девлет-Гирея на сохранение власти, ибо «двум ханам в области татарской быть невозможно». Именно с этой целью — осведомиться о бахчисарайских делах — едичкульцы отправили в Крым своих послов, о сроках возвращения которых можно было лишь строить предположения.

Стояние на Бейсуге в ожидании ответа, к тому же неизвестно какого, было чревато потерей политического и стратегического темпа, чего Иван Федорович опасался больше всего. Это давало бежавшим за Кубань едичкульским мурзам выигрыш во времени для организации, при поддержке Орду-агасы, антишагин-гиреевского движения. Настораживало также отсутствие ответов на посланные к едисанцам и

джамбулакцам призывы стать на сторону калги-султана — лишнее подтверждение намерения ногайцев взять паузу и понаблюдать за ходом событий.

Если бы результатом этих наблюдений оказался вывод о том, что русские бездействуют из-за неуверенности в себе, тогда можно было ожидать от ногайцев и черкесов самых разных форм реакции — от пассивного саботажа «выборной кампании» до организованного вооруженного выступления, к которому всегда имелись и внутренние, и внешние (влияние османов и Девлет-Гирея) предпосылки. Одним словом, зыбкое соотношение сил между сторонниками и противниками Шагин-Гирея грозило в любой момент измениться не в пользу России.

Все это побудило Бринка к демонстрации быстроты и решительности, прежде всего с помощью марш-броска к Кубани. По пути он сделал короткую остановку на реке Кирпили, где получил ощутимые доказательства верности своего решения находиться в постоянном движении. Часть едичкульской знати явилась в распоряжение русских войск и объявила Шагин-Гирею о готовности «признать его своим властителем». Туда же прибыли посланцы бежавших за Кубань мурз, чтобы просить у калги-султана и Бринка прощения за «прошедшие проступки».

Это был ободряющий знак, но бригадир не обольщался, предвидя впереди немалые проблемы. Иван Федорович считал, что верить обещаниям ногайцев преждевременно: они будут медлить с принятием присяги «до тех пор, пока не услышат наклонности крымцев на избрание калги в ханы». Успешное достижение политических целей кубанского похода Бринк связывал с положением дел в Крыму, уповая на их благоприятный для России поворот в связи с предстоящим появлением там войск князя А. А. Прозоровского.

Не задерживаясь на Корпили, detaшамент двинулся дальше, к Кубани. Там Бринк планировал стать на зимовку, предположительно в двух пунктах — около черкесской деревни Зана и под разрушенной крепостью Копыл. «Выгодные для обогрева людей места» нужны были командующему как опорные точки для дальнейших военно-политических действий, характер которых предстояло определять по ситуации, остававшейся крайне запутанной.

Необходимость постоянных согласований (порой даже в мелочах) с вышестоящими инстанциями ограничивала Бринка. Он имел собственные представления о том, что и как делать, которые соединяли профессиональный опыт и холодный анализ открывавшейся его взору сложной картины. Но на все требовалось одобрение непосредственного начальства в лице А. А. Прозоровского, а у того вызывали раздражение и смелые военные идеи Бринка, и его пронизательные политические суждения. Подчиненный, чувствуя это, старался искусственно обезличить свои творческие инициативы подчеркнутыми ссылками на «предписания вашего сиятельства».

Бригадир разработал очень толковую стратегию продолжения операции после того, как будет достигнут кубанский рубеж. По-прежнему приберегая русское войско на крайний случай, он выступал за развертывание широкой политико-дипломатической деятельности по «преклонению на преданность калге-султану... в заблуждении бродящих орд». Любой успех в этой деятельности предлагалось использовать для решения конкретных, уже не только политических, но и оперативно-тактических задач, подчиненных проблеме вытеснения турок с Таманского полуострова (из крепостей Тамань и Темрюк) и Ачуева. Это нужно было сделать силами тех ногайцев и черкесов, которые согласятся встать под знамена Шагин-Гирея.

Бринк был твердо намерен «сколько возможно... стараться уклониться от поднятия нашего оружия», однако, прекрасно понимал и другое: «при такой расстройке», что царила на Северо-Западном Кавказе, могло произойти всякое, и командующий, скорее всего, не исключал и худшего для калги-султана стечения обстоятельств.

На этот чрезвычайный случай он просил у начальства разрешения вмешаться в ход событий, то есть ввести войска на Таманский полуостров и заставить турок уйти оттуда. Когда же русские займут Тамань, Темрюк и Ачуев, то будут пресечены каналы, через которые Порта и Девлет-Гирей оказывали военную и моральную поддержку

антироссийски настроенной части ногайского и черкесского населения, и все местные общества, как надеялся Бринк, «принуждены будут покориться власти Шагин-Гирея».

Иван Федорович представил свой план действий на рассмотрение начальства (А. А. Прозоровскому и П. А. Румянцеву), продолжая тем временем движение к Кубани. Расчет на политический эффект такого движения в целом оправдался. К Шагин-Гирею потянулись местные ногайские мурзы с изъявлением желания видеть его крымским ханом. Их, конечно, впечатлил не калга-султан, а вид сопровождавшего его русского войска.

Подобные последствия появления Бринка на Кубани не остались без внимания Девлет-Гирея. В конце ноября — начале декабря 1776 г. он разослал фирман, адресованный всем племенам Северо-Западного Кавказа. Там говорилось, что Шагин-Гирей осуществляет «коварный умысел», стремясь отторгнуть их от Блистательной Порты и «сделать московскими рабами и подданными» — «такими, каковы казанские татары». Девлет-Гирей призывал подняться на священную войну против вероотступника и обманщика.

Одновременно крымский хан стремился воздействовать на Россию, войска которой появились не только на Кубани, но и в окрестностях Перекопа с очевидным намерением войти в Крым с севера. Нисколько не сомневаясь, что речь идет вовсе не о начале русско-турецкой или русско-крымской войны, а о политической операции по возведению Шагин-Гирея на ханский трон, Девлет-Гирей предпринимает попытку склонить Петербург к отказу от его планов. В письмах к князю Прозоровскому (конец ноября — начало декабря 1776 г.) хан делает это очень своеобразно — с помощью угроз, слышать которые было довольно странно от правителя, пребывающего на грани падения.

Впрочем, начинал Девлет-Гирей с напоминания о том, как он «усердствовал» в поисках дружбы с Россией, будучи законным крымским ханом, получившим этот статус по «именному указу» и «государственному патенту» Порты. Отсутствие официальных протестов со стороны Петербурга, как полагал Девлет-Гирей, являлось прямым подтверждением его легитимности. Называя Прозоровского «великолепнейшим моим приятелем», хан выражал глубокое удивление в связи с активизацией русских войск, считая ее нарушением Кючук-Кайнарджийского договора.

Девлет-Гирея, однако, беспокоит не столько движение этих войск, сколько присутствие среди них Шагин-Гирея. Данный факт был для бахчисарайского правителя слишком красноречивым, чтобы оставить его без внимания. Видимо, надеясь запугать Прозоровского, хан предупреждал, что нападение Шагин-Гирея на Тамань и Темрюк, в случае если он дойдет до такого «нахальства», встретит вооруженный отпор и станет «искрою того пламени, которое произведется между двумя мирными дворами (османским и российским. — В. Д.)». Иначе говоря, поддержка узурпаторских замыслов Шагин-Гирея будет стоить Петербургу войны с Портой.

С точки зрения российского правительства, как уже отмечалось, узурпатором был Девлет-Гирей. Руководствуясь этим, Прозоровский не посчитал нужным вступать с ханом в объяснения.

Движение русского detaшамента к Кубани сильно встревожило Орду-агаси. Он прислал к Бринку (начало декабря 1776 г.) своего приближенного Гафиз-Мустафу с письмом, содержащим весьма сердитый запрос о том, с какой целью предпринимается «ваше движение со многим числом войск российских» и почему среди них находится «сиятельный Шагин-Гирей-султан, в Империи Российской в образе (всего лишь. — В. Д.) гостя пребывающий»?

Бринк просил Гафиз-Мустафу на словах передать Орду-агаси, что русский отряд не собирается воевать ни с турками, ни с ногайцами. Его цель — добиться соблюдения Кючук-Кайнарджийского мира, провозгласившего «татарскую вольность», которая грубо попирается пребыванием турецких войск в Тамани и Темрюке. Поэтому Орду-агаси должен эти крепости освободить.

В личной беседе с Иваном Федоровичем Гафиз-Мустафа позволил себе откровенность, на которую его, возможно, никто не уполномочивал. Во всяком случае, Стамбулу она бы явно не понравилась. Посланник признался, что они с Орду-агаси «и сами разумеют свое пребывание (на Таманском полуострове. — В. Д.) противным мирным положениям, но, имея на то от Порты повеление», не решаются его нарушить. Согласно Гафиз-Мустафе, османы, будучи «в весьма недостаточных силах», находились там «единственно для вспомоществования Девлет-Гирей-хану возбуждением обитающих на здешнем краю народов к неповиновению калге-султану».

Данный эпизод — далеко не исключительный в истории русско-турецких отношений — дает историку повод для размышлений о том, что этот макропроцесс, обусловленный фундаментальными геополитическими императивами, включал в себя и микроситуации, где многое определялось конкретными, не всегда высокопоставленными людьми с той и с другой стороны, находившими взаимопонимание в конкретных обстоятельствах благодаря своим личным качествам. Похоже, «задушевный» разговор между Бринком и Гафиз-Мустафой — именно такой случай.

Так или нет, бригадир узнал больше того, что ожидал, и больше того, в чем готова была признаться Порта.

К 8 декабря 1776 г. Бринк занял позицию неподалеку от села Зана на Кубани, откуда часть войск была отправлена к Копылу с приказом разбить там лагерь. Всем своим видом командующий показывал, что собирается наступать на Тамань и Темрюк. Эта демонстрация уверенности в себе, как надеялся Иван Федорович, побудит ногайцев и черкесов принести присягу Шагин-Гирею и собрать ему в помощь ополчение, чтобы вытеснить турок с оккупированных ими территорий.

Прозоровский скептически относился и к совершенным действиям, и к планам Бринка. Генералу не понравился взятый его подчиненным якобы слишком мягкий тон во время переговоров с едичкульскими мурзами.

В ответ на сообщение Бринка о том, что едичкульцы ссылались на отсутствие у них полномочий выбирать крымского хана, Прозоровский предложил компромиссный вариант: местные мурзы ставят на присяжных листах свои подписи в знак признания Шагин-Гирея, но «без обнародования о том на Кубани, дабы тем крымцев не раздражать», а потом, в урочное время, эти листы доставляются вместе с ногайскими депутатами в Крым, чтобы таким образом предъявить доказательства народного волеизъявления на решающем этапе избирательной кампании.

Прозоровский отверг план Бринка, предполагавший вытеснение османов из Тамани и Темрюка руками ногайцев. Он рассуждал так: даже если найдутся ногайские татары, готовые поднять оружие против своих единоверцев, то первый же выстрел из Таманской крепости обратит нападающих в бегство, «и выйдет из этого единый только вред, а не польза» для интересов России. Как полагал генерал, даже если из Петербурга дадут приказ о наступлении русских войск на турецкие базы, то и тогда участие ногайских сил в данной операции должно иметь скорее символическое значение. До получения такого приказа Прозоровский запретил Бринку двигаться в сторону Таманского полуострова. Выход деташамента к Кубани и дислокацию его у Заны и Копыла генерал прокомментировал скупой: если «оное для вас удобно и политических резонов не трогает», то пусть «так уже и остается».

Складывающееся порой при чтении документа впечатление, что Прозоровский не испытывал симпатий к своему подчиненному, возможно, и верно. Однако не только это личное обстоятельство объясняет отказ генерала одобрить план Бринка. Прозоровский безусловно имел собственный взгляд на текущее положение дел на Северо-Западном Кавказе и вероятные сценарии их развития. И этот взгляд необязательно был ошибочным лишь потому, что генерал находился далеко от места действия. Его расхождения с Бринком в принципе обуславливались глубокой неоднозначностью и чрезвычайной подвижностью местной политической картины, которая именно поэтому виделась по-разному изнутри и извне. В таких ситуациях, как ни странно, отнюдь не беспредметным представляется вопрос: а есть ли (и в чем)

преимущество у того, кто находится в гуще событий, над тем, кто следит за ними со стороны?

Сложно судить о степени проницательности тех суждений, которые зачастую открыто сталкивались на страницах переписки между Бринком и Прозоровским. В целом, огрубляя реальность, можно сказать, что каждый из них был прав по-своему — и Прозоровский, призывавший к осторожности, и его подчиненный, тяготившийся излишне регламентированными инструкциями сверху. При этом в их служебных отношениях не было непреодолимого взаимонепонимания. От него страховало то обстоятельство, что идея служения общему делу в их имперском сознании затмевала те моменты, которые по сравнению с ней являлись частностями.

Какими бы причинами это ни объяснялось, одна тенденция прослеживалась с достаточной четкостью: политическое содержание в кубанском походе Бринка принимало все более выраженный вид. «Избирательная кампания» Шагин-Гирея набирала обороты. Организатором и внутренним двигателем в ней являлся русский командующий, имевший под рукой войска, всегда готовые сказать решающее слово. И именно потому, что все это понимали, нужды в применении силы не возникало.

Бринк развернул энергичную деятельность по привлечению на сторону Шагин-Гирея закубанских ногайцев (бежавших едисанцев и давно живших среди черкесов джамбулакцев). Они согласились признать калгу-султана крымским ханом и прислать к нему доверенных людей для словесного подтверждения этого. Однако ставить свои подписи (печати) на присяжных листах мурзы отказались, опасаясь мести Девлет-Гирея.

Бахчисарайский правитель и его люди сохраняли сильное влияние на значительную часть черкесов и определенную часть ногайцев. Они поощряли местные междоусобицы (ногайско-черкесские, внутриногайские и внутричеркесские), используя обычные горские разбои в качестве политического орудия борьбы с антикрымскими и антиосманскими настроениями. Однако и Бринк не упускал возможности обратить «сумятность и расстройку» на Кубани в пользу Шагин-Гирея. Это избавляло от необходимости пускать в дело войска.

Приказано — ждать!

Со второй половины декабря 1776 г. борьба между Шагин-Гиреем и Девлет-Гиреем, в которой прямо или опосредованно сталкивались интересы двух империй, вступила в кульминационную фазу. Искреннее желание каждой стороны выиграть это состязание политическими средствами отступало на второй план перед естественным нежеланием проиграть.

Проблема осложнялась тем, что защищающий свой престол Девлет-Гирей еще не утратил все ресурсы для сопротивления, а жаждущий ханской власти Шагин-Гирей еще не накопил достаточного авторитета для победы на выборах. Соотношение сил было настолько неопределенным и настолько неустойчивым, что лишало возможности строить какие-либо прогнозы на будущее.

Это крайне озадачило Петербург, который испытывал все большие колебания относительно своей дальнейшей политики в крымском и кубанском вопросах, волею обстоятельств оказавшихся в тесной связке. Екатерина II пока была в раздумьях. Демонстрация силы без ее применения принесла ограниченные политические результаты. Османские войска по-прежнему стояли на Таманском полуострове и в Ачуеве, не давая ногайско-черкесской знати расстаться с надеждой на помощь Стамбула. А вездесущие эмиссары Девлет-Гирея небезуспешно поддерживали среди местного населения иллюзию о могуществе Крымского ханства. На таком фоне присяги кубанцев на верность Шагин-Гирею (тем более во многих случаях принесенные в устной форме) создавали лишь видимость лояльности, которая могла испариться под воздействием чего угодно.

Русские генералы, исторически обладавшие хорошими навыками вести еще и политическую работу, считали самым опасным бездействие. Время, потерянное Россией, непременно будет использовано во вред ей и Портой, и Бахчисараем. Даже осторожный Прозоровский вынужден был признать это в рапорте Румянцеву (от 23 декабря 1776 г.), где он, почти дословно повторяя мысли Бринка, писал, что «продлительность времени делает в сем легкомысленном народе (ногайцах и крымских татарах. — В. Д.) перемену», в то время как любой оптимистический сигнал из Стамбула «великое в них действие... сделать может».

Все это, разумеется, доводилось до сведения Екатерины II, но она медлила с отдачей приказа о переходе к более решительным действиям в «операции Шагин-Гирей». Вероятно, в ней еще теплилась надежда на то, что турки морально созреют до понимания необходимости уйти из Тамани и Крыма, а также смирятся с неизбежным падением Девлет-Гирея. Императрице требовалось некоторое время, чтобы окончательно освободиться от этого заблуждения.

Были, правда, и объективные препятствия на пути военно-политической активизации России. Дело в том, что переправка Шагин-Гирея с Кубани в Крым (водным путем) без «ханского» обоза, многочисленной свиты, а самое главное без сильного русского конвоя могла попросту закончиться физическим уничтожением калги-султана, то есть крахом всего русского проекта. А технически осуществить такую операцию в зимних условиях было чрезвычайно трудно (жестokie штормы, покрытые льдом участки Керченского пролива и пр.). Путь посуху, в обход Азовского моря, был гораздо длиннее и имел свои неудобства.

Кроме того, даже в случае возникновения благоприятных погодных обстоятельств для пересечения Керченского пролива оставался без ответа вопрос: а позволят ли турки, находившиеся на Таманском полуострове и имевшие определенную поддержку местного населения, беспрепятственно пройти мимо их крепостей? Если они окажут сопротивление, его придется преодолевать, что опять же может вызвать русско-турецкую войну.

Перед императрицей встал выбор: либо обеспечить проход Шагин-Гирея через Таманский полуостров, тем или иным способом нейтрализовав османов (лучше заставив их добровольно уйти восвояси), либо отказаться от своих планов и тем самым предоставить свободу действий как Девлет-Гирею, так и Порте. В последнем случае политическое поражение России станет очевидным для всех — ее врагов, союзников и тех, кто, если еще не определился, теперь предпочтет крымско-турецкую сторону.

В ожидании высочайшего решения екатерининские генералы (П. А. Румянцев, А. А. Прозоровский и другие) продолжали действовать исключительно политическими методами, эффективность которых, при неподвижности русских войск, падала на глазах. Это было моментально замечено Девлет-Гиреем, усилившим морально-психологическое давление и на Россию, и на кубанские народы. Во второй половине декабря 1776 г. он — учитывая, что Прозоровский отказался вступать с ним в контакт, — организовал два послания к русскому командующему: одно от «всего крымского общества», другое от «крымского правительства». В них содержалась просьба не утруждаться проблемой защиты татарской вольности и тем более не присылать для этого войска. Лейтмотивом в посланиях звучало желание, чтобы было «все опять по-прежнему» — крымцам нужна не вольность, а «магометанская вера и закон», верховным блюстителем которых является «его величество султан», владеющий историческим правом назначать в Бахчисарай своего наместника, каковым в настоящее время на совершенно законных основаниях является «светлейший Девлет-Гирей-хан, наш благодетель».

Прозоровскому в ответ оставалось лишь повторить уже неоднократно им заявленное. «Именуемый ханом» Девлет-Гирей «взошел на правительство» с помощью коварных и мошеннических ухищрений и «тем же самым путем хочет и теперь оное удержать... не в пользу отчизны вашей и благоденствия вашего, а единственно только для собственных своих интересов». Как писал генерал, «мне договоров с вами делать

не о чем», поскольку уже существует «вечный трактат» между Российской и Османской империями, в котором, как ведомо каждому, не кто иной, как «верховный калиф магометанского закона» признал «политическую и гражданскую вольность» Крымского ханства.

Совершенно справедливо предполагая, что не все татары думали так, как авторы (или автор?) цитируемых посланий, Прозоровский советовал крымцам сначала разобраться между собой, и если сторонникам независимости понадобится его защита против тех, кто не желает «отчизне вашей спокойствия», он всегда готов ее предоставить.

Во имя сохранения своей власти крымский хан проводил на Кубани политику искусственной дестабилизации ситуации, хотя беспорядка хватало там и без его усилий. Девлет-Гирей умышленно раскалывал местные общества, натравливая их друг на друга. Обычные черкесские набеги на ногайские улусы он превратил в средство политической борьбы.

Вездесущие ханские эмиссары вели против русских еще и пропагандистскую войну, и часто выигрывали ее. Лояльным к России и Шагин-Гирею ногайским мурзам приходилось нелегко. Чаша весов склонялась не в их пользу. Растущая угроза физической расправы вынуждала этих людей бежать с насиженных мест в поисках спасения. Именно они призывали Петербург как можно скорее завершить дело избрания Шагин-Гирея на бахчисарайский престол, иначе спокойствия не будет ни на Кубани, ни в Крыму.

Прозоровскому, не получившему пока никаких внятных указаний из Петербурга, приходилось отвечать на эти призывы не столько действиями, сколько письмами, в которых он хвалил «почтенных патриотов» за их неусыпное бдение о благополучии крымского отечества, просил набраться «малого терпения» и обещал сделать все для защиты «домов и имущества» ногайских мурз, бежавших с Кубани.

Призывы «почтенных патриотов» стали для русского генерала еще одним поводом убедиться в том, что дальнейшее бездействие чревато всем, чем угодно. Трудно было понять, на что рассчитывают в Петербурге, запрещая одной части русских войск идти дальше Перекопа, другой — покидать места дислокации на Кубани. Становилось все явственнее, что морально-политического давления на крымские и кубанские политические элиты недостаточно. И сторонники, и противники России так или иначе давали понять, что от нее требуется решительность, если имеется в виду привести к власти Шагин-Гирея.

Оставлять в Бахчисарае прежнего правителя было опасно во всех отношениях. И сильный, и слабый Девлет-Гирей представлял для России неразрешимую проблему. В первом случае — как полноценный союзник Порты, во втором — как ее послушный слуга. Екатерина II не сомневалась, что от него нужно избавляться, но пока не имела четкого и наименее рискованного плана действий.

Ситуация всеобщего ожидания затягивалась. Бринк ждал четких приказов от Прозоровского, Прозоровский от Румянцева, Румянцев — от императрицы. Но их пока не было, а предпринимать действия, которые «наверху» могут расценить как «противные политическим резонам», никто не осмеливался.

Ждал и Шагин-Гирей со своими сподвижниками, с тревогой осведомляясь у русских генералов, почему они медлят. Чтобы не обескураживать калгу-султана, Прозоровский уклонился от объяснения ему «прямой причины», зато позволил Бринку выполнить эту малоприятную миссию в приватном порядке.

Желая максимально ослабить негативные последствия этого неподвижного состояния, Прозоровский вел (или, скорее, имитировал) бурную политическую деятельность, чтобы нерешительность Петербурга не так уж явно бросалась в глаза и чтобы у российских сил на Кубани и в Крыму не возникло чувство, что их бросили на произвол судьбы. Со стороны все должно было выглядеть как планомерное и продуманное осуществление крупного мероприятия по принуждению Бахчисарая к соблюдению условий Кючук-Кайнарджийского мира.

Одной из самых значительных акций Прозоровского, задуманной как демонстрация готовности России довести дело до успешного завершения, явилось торжественное послание генерала к Шагин-Гирею (от 31 декабря 1776 г.). В нем содержалось поздравление «со столь знаменитым достижением имени светлейшего хана», с событием, благословленным «голосами народов кубанских».

Безусловно, это был важный политический сигнал для всех — и для Шагин-Гирея, испытывавшего определенные сомнения относительно степени российской благосклонности к нему, и для Девлет-Гирея, судорожно цеплявшегося за власть, и для крымско-кубанского общества, колеблющегося в своих предпочтениях. Устами Прозоровского Россия официально заявляла, что отныне для нее существует один крымский хан — Шагин-Гирей, и хотя он возведен в это высокое достоинство волеизъявлением только кубанских «избирателей», Петербург признает законность и справедливость происшедшего, ибо «достойному достойное отдано». Тем самым всем заинтересованным сторонам предлагалось сделать для себя соответствующие выводы.

Однако даже такими манифестами без подкрепления их наступательной политикой добиться решительного перелома в ситуации было нереально. Провозглашение Шагин-Гирея ханом, конечно, не осталось незамеченным османскими начальниками на Таманском полуострове, но особого впечатления на них не произвело. Хотя в русских исторических документах указывается на «робость», овладевшую Орду-агаси, непохоже было, чтобы турки собирались уходить из Тамани, Темрюка и Ачуева. Более того, ходили слухи о прибытии туда солидных подкреплений из Малой Азии.

Бринк ничего не мог с этим поделать. В отсутствие приказа бригадир не имел возможности сделать хотя бы шаг в западном направлении, который создал бы у турок впечатление, будто началось русское наступление, и, возможно, принудил бы их покинуть незаконно оккупированные крепости.

Даже постоянно осекавший Бринка Прозоровский, не зная, когда же Петербург наконец отдаст приказ действовать, принялся сам искать выход. Он предложил еникалинскому коменданту Н. В. Борзову вступить в неофициальные переговоры с Орду-агаси на предмет заключения сделки: турки добровольно покидают Таманский полуостров и уходят либо на юг, за Кубань, либо на север, в обход Азовского моря, в Очаков, а русские обеспечивают им свободный проход и защиту от всяких неприятностей, возможных при пересечении столь проблемного пространства. Однако на то, чтобы прозондировать возможность осуществления такого плана, тоже требовалось немалое время, учитывая отсутствие морской связи через Керченский пролив.

Оставался и старый вариант — вытеснить Орду-агаси с помощью преданных Шагин-Гирею ногайцев. Но способность последних справиться с данной задачей самостоятельно Прозоровский ставил под большое сомнение.

Каким бы препятствием ни были османские войска на Таманском полуострове, главным камнем преткновения являлся Девлет-Гирей. Опытный политик, чутко реагирующий на малейшие колебания политической конъюнктуры, сразу же заметил у русских заминку и сделал из этого вывод, что игра еще далеко не окончена. И в каком-то смысле был прав.

Исторические документы содержат самые разноречивые сведения о настроениях кубанского и крымского населения. Имея надежных осведомителей на крымско-кубанском пространстве, русское командование тем не менее не могло составить ясной картины происходящего, поскольку ее в реальности и не существовало.

С одной стороны, к Прозоровскому приходили сообщения о том, что чуть ли не весь Крым находится в радостном ожидании прихода Шагин-Гирея, с другой — он получал известия, из которых следовало, что даже на Кубани, где калга-султан избран ханом, у него нет единодушной поддержки. Вдобавок, отслеживание ситуации в Крыму было делом крайне рискованным. Люди, заподозренные в шпионаже в пользу русских, могли поплатиться жизнью.

Всю опасность данной ситуации, пожалуй, острее других ощутил на себе Бринк,

окруженный многочисленными ногайскими и черкесскими племенами, предсказать поведение которых было невозможно. Бригадир без обиняков сообщал Прозоровскому о существовании постоянной угрозы массового отречения от присяги на верность калге-султану, о «прочих непокоряющихся» ему, о «Девлет-Гиреевых интригах», о «сомнительном в своих оборотах» Арслан-Гирее.

«В сем легкомысленном народе (ногайцы и черкесы. — В. Д.), — писал он, — медленность времени делает перемену, и если б они приметили нашу неподвижность, то бы легко могли бы прийти в волнение, поелику обширность места на всякие их поползновения не позволила бы мне удержать их от того при начале расстройки».

Бринк, видимо, догадывался, что в глубине души Прозоровский, сам уставший от неопределенности, был согласен с ним. Этим, скорее всего, и объясняются откровенные признания бригадира в том, что он в ряде случаев был вынужден отойти от инструкций, «чиня самомалейшие движения» с целью создать видимость наступления для пресечения военной активности сторонников Девлет-Гирея на Кубани, а также для того, чтобы «подать чаяние в нашем пособии» пророссийски ориентированным местным политическим.

К нарушению инструкций Бринка в каком-то смысле подтолкнул потерявший терпение Шагин-Гирей. Желая как можно прочнее утвердиться на Северо-Западном Кавказе, он в конце декабря 1776 г. самовольно двинулся на занятую турками крепость Ачуев. Ни гарнизон, ни жители не оказали никакого сопротивления, хотя сопротивляться было чем (30 пушек и 40 бочек пороху). За это Шагин-Гирей «обласкал благопристойно» всех ачуевцев и прежде всего османских начальников, но поставил над ними своего коменданта.

Касательно операции по занятию Ачуева Бринк докладывал Прозоровскому, что «там никакой с нашей стороны вмешливости нет». И это была правда. Не совсем правдой было другое. В рапорте командующему Иван Федорович изобразил как незначительное отступление от высочайших предписаний то, что на самом деле являлось их прямым нарушением. В начале января 1777 г. он ввел в Ачуев пехотную роту «под видом гостей», то есть по приглашению нового законного владельца крепости Шагин-Гирей-хана. Ротному командиру было дано «достаточное наставление о соблюдении к жителям всякой благопристойности».

Это самовольничанье Бринка являлось совершенно оправданным с точки зрения и военной, и политической стратегии. Ногайские и черкесские вожди, а также турки на Таманском полуострове, не говоря уже о Девлет-Гирее, почувствовали, что лед тронулся. Переносный смысл тут столь же важен, как и прямое значение этого природно-сезонного явления. Дело в том, что Ачуев располагался на берегу Азовского моря, которое вскоре должно было освободиться ото льда. Этот порт, в отсутствие доступа к Тамани и Темрюку, мог стать главной базой для переброски Шагин-Гирея с войсками на крымскую сторону.

После Ачуева у приверженцев Шагин-Гирея уверенности прибавилось, да и сам калга-султан собирался идти дальше. Он был достаточно благоразумен, чтобы понимать нежелательность применения оружия против кого бы то ни было — это омрачило бы благостную картину всеобщего единения вокруг новоизбранного хана.

Наметившиеся подвижки в ситуации, большей частью морально-психологические и во многом обусловленные «самоуправством» Бринка, не остались без внимания со стороны политических игроков на Северо-Западном Кавказе, однако многие из них пока не видели в этом убедительных стимулов к отказу от выжидательного поведения. Причиной тому был сам Шагин-Гирей, похоже, еще больше уверовавший (особенно после Ачуева) в собственные полководческие таланты и горевший желанием блеснуть ими в ходе осуществления идеи захвата Таманского полуострова (прежде всего Темрюка).

Сдерживать его Бринку становилось труднее с каждым днем. В рапорте Прозоровскому (от 17 января 1777 г.) бригадир высказал опасение: как бы «не потерять нам сего патриота при таковой отважности». С верными ему ногайцами Шагин-Гирей

(приблизительно середина января) начал выдвигаться в направлении Темрюка. В целях обеспечения его безопасности Бринк не стал лишать калгу-султана русского конвоя, хотя это давало Порте основания считать, что Россия начала военные действия против турок.

Иван Федорович испытывал огромный моральный дискомфорт от той странной ситуации, заложником которой он стал не по своей воле и выход из которой зависел не от него. Была какая-то грустная ирония в сообщении Бринка Прозоровскому от 17 января 1777 г.: «...не осмеливаюсь ни в какие действия вступать, делаю один только блеск моими движениями (в окрестностях Копыла. — В. Д.)», чтобы тем самым хотя бы напоминать местному населению о русском присутствии. Однако преобладала в настроениях Бринка, конечно, не ирония, а чувство опасности. Оно усиливалось свидетельствами растущей активности Порты, за которой бригадир «примечал явную вмешательность в татарские дела», предрекая на весну 1777 г. «неприятные следствия».

Карт-бланш Ее Величества

Ситуацию мгновенно изменил рескрипт Екатерины II от 13 января 1777 г. Императрица полностью одобрила действия своих военных на Кубани и в Крыму, «не заметив» отклонений от буквы данных им инструкций. Отныне акценты в ее приоритетах сместились. Установка на сохранение «драгоценного мира» с Портой утратила свою прежнюю непререкаемость. На первый план была выдвинута задача — лишить турок возможности использовать Крым и Кубань в качестве военно-политических плацдармов. Для этого, по мнению Екатерины II, требовалось срочно переправить Шагин-Гирея в Крым, оставив на Кубани его наместника, который продолжит политику привлечения на сторону пророссийских сил «остающихся еще там в нерешительности других орд». Все это, по ее убеждению, нужно было «для сохранения доброго соседства, тишины и покоя с нашими границами».

Для подстраховки ханского наместника императрица приказывала расположить неподалеку от него войска Бринка, чтобы они вместе могли держать «в порядке и послушности» ногайцев и черкесов. Из этих разрозненных групп предполагалось создать «единомысленное общество в ободрение или устрашение крымцам», если последние пойдут по пути «явного раскола».

Рескрипт Екатерины II был тут же принят к исполнению. П. А. Румянцев разослал (19 января 1777 г.) своим подчиненным ордера, в которых содержались предписания о практических способах осуществления указаний императрицы. Фельдмаршал выделил несколько ключевых положений: 1) организовать скорейшую переправку Шагин-Гирея в Крым, оберегая его как зеницу ока; 2) «туркам ни малейшего вида неприязни не подавать», их крепости обходить стороной, но если они начнут военные действия, не уклоняться, взяв за образец «план прошедшей войны»; 3) сделать все, чтобы обойтись с Девлет-Гиреем и Орду-агаси «без крайности оружия и жестоких мер», не жалея политических и финансовых средств для внушения им идеи о необходимости уйти добровольно.

Одновременно Румянцев поздравил Шагин-Гирея с наступлением завершающего этапа в его «многотрудных подвигах», связанного с предстоящим в самом скором будущем переездом в Крым. Учитывая, что резко усилившаяся и ни с кем не согласованная активность калги-султана крайне осложняла проблему обеспечения его безопасности, Румянцев очень деликатно («прилежно вашу светлость прошу») склонял его к отказу от самостоятельности и к мысли о необходимости полностью довериться Прозоровскому и Бринку, несущим персональную ответственность за жизнь нового крымского хана. Во исполнение указаний Екатерины II фельдмаршал также просил Шагин-Гирея оставить своего наместника на Кубани в качестве блюстителя «покоя и тишины».

До мелочей продумывались технические способы переправки Шагин-Гирея с Кубани в Крым. При этом особую предосторожность русские военные стремились соблюдать в отношении турецких гарнизонов Тамани и Темрюка. «Нежное обхождение» с ними, сегодня, в XXI веке, звучащее как диковинная метафора, предписывалось в качестве официальной установки. Прозоровский строго наказывал подчиненным «не завести там драки по пустому» и применить оружие лишь в том случае, если турки сами окажутся «начинщиками в каком-либо подвиге противу трактата (мирного договора 1774 г. — В. Д.)».

Все это происходило на фоне «умножающихся интриг от Порты» и опасений, что она пришлет на Кубань «прибавочные войска». При первом же их появлении, как полагал Бринк, «все горцы (черкесы. — В. Д.), и даже держащиеся донине нас, обратятся в наших неприятелей», для пресечения нападений которых не хватит сил. Чтобы вовремя исключить худший вариант развития ситуации, бригадир просил у Румянцева (в донесении от 17 января 1777 г.) разрешения на ввод русских войск в Ачуев, Темрюк и Тамань.

Крайнее беспокойство и нетерпение проявлял Шагин-Гирей, о чем говорят первые строки его письма к Бринку (от 13 января 1777 г.): «Изъясняю Вам сим прямое намерение мое к достижению желаемой цели, не упущая времени». Вскоре это «прямое намерение» было продемонстрировано совершенно некстати для русского командования. 23 января (по другим данным — 21 января) калга-султан своими (ногайскими) силами предпринял штурм Темрюка, закончившийся полным фиаско. Атака была отбита, потери среди нападавших составили 300 человек.

Этот инцидент приободрил Девлет-Гирея, у которого появилась новая надежда удержать трон, если дело так пойдет и дальше. Он направляет Прозоровскому послание, свидетельствующее о незаурядных дипломатических дарованиях автора. В принципе Девлет-Гирей мог бы предъявить командующему довольно жесткий протест, акцентируя тот факт, что крепость штурмовали люди, «по большей части в российском платье». Однако вместо этого он, обращаясь к Прозоровскому как к «приятелю моему», откровенно допускает версию о переодетых «на российский манер» ногайцах. Зачем? Чтобы не сжигать мосты в отношениях с Россией и дать ей возможность оценить его миролюбивый настрой. Вся вина за нарушение «трактатного порядка» (то есть состояния мира, восстановленного в 1774 г.) возлагалась на Шагин-Гирея. Девлет-Гирей просил найти на него управу, ибо, как стало известно в Бахчисарае, калга-султан задумал взять реванш и «послал к бригадиру (Бринку. — В. Д.) человека для приводу к нему (русских. — В. Д.) войск». Больше всего опасаясь именно этого, крымский хан выражал надежду, что Прозоровский не даст помощи возмутителю спокойствия, не желающему «оставаться в тишине», и что «трактат между двумя дворами (Кючук-Кайнарджийский. — В. Д.) почтен будет».

Возможно, единственная (но зато грубая) дипломатическая ошибка, допущенная Девлет-Гиреем, заключалась в том, чего в письме просительного по сути содержания можно было бы не делать — не повторять в очередной раз, что он «поставлен ханом от мусульманского калифа, Порты Оттоманской государя». Прозоровский не преминул воспользоваться этой «оплошностью» в своем ответном послании, которое начинается укоризненным замечанием о том, что Девлет-Гирей представляет себя «здесь поверенным в делах от Блистательной Порты Оттоманской», в то время как Крым, согласно международным трактатам, является «вольной татарской областью». Сообщая о своей непричастности к темрюкской истории (что было сущей правдой), командующий подчеркивал, что он не может отвечать за действия Шагин-Гирея, поскольку человек столь «знаменитой фамилии» «никому кроме Бога не подвластен».

В письме к крымскому хану Прозоровский, конечно, не выдал своей растерянности по поводу случившегося. Но от Румянцева он ее не скрывал, «нижайше испрашивая» указаний о том, как действовать дальше «в столь критическом пункте». Чтобы отвести от себя даже тень вины (которой действительно не было), Прозоровский

послал главнокомандующему копию своего ордера Бринку, где он упрекал бригадира за провал темрюкской операции и говорил, что всегда предупреждал, что «поспешность и неосторожность таковая в настоящих делах более ко вреду им, нежели в пользу служит» и «советовал прожект ваш к тому оставить». После конфуза Прозоровский повторил свой совет Бринку — «и теперь его, Шагин-Гирей-хана, сколь можно, удерживать от подобных тому предприятий, ибо к достижению столь subtilного предмета отнюдь не скорость и горячность потребны».

Выговаривать Шагин-Гирею так же, как Бринку, Прозоровский не мог, но и унять свое раздражение в общении с калгой-султаном ему тоже было трудно. Командующий выразил крайнее сожаление в связи с тем, что Шагин-Гирей не внял его совету «взять некоторое терпение» в темрюкском вопросе, и просил впредь воздерживаться от такой самостоятельности.

Прозоровский не был большим дипломатом, но на понимание важных причинно-следственных связей его хватало. После неудачи под Темрюком он озабочился тем, чтобы как можно скорее упредить негативные морально-политические последствия этого события, которыми непременно постарается воспользоваться Девлет-Гирей. Командующий дал распоряжение срочно готовить переезд Шагин-Гирея в Крым по сухопутному маршруту, огибающему Азовское море, поскольку путь через Таманский полуостров и Керченский пролив будет, как он полагал, еще долго закрыт как по погодным, так и по военно-политическим причинам. Прозоровский вежливо, но настойчиво советовал Шагин-Гирею поспешить с подготовкой к отъезду.

К предложениям, которые не совпадали с его планами, калга-султан относился с подозрением. С какой это стати русские предлагают ему круговой путь, когда есть короткий — через Тамань? Не задумали ли они отречься от него? Чтобы снять эти вопросы, Прозоровский заверил Шагин-Гирея в том, что причина выбора такого пути — сугубо техническая: сильные морозы, обилие льдин в Азовском море, опасность нападения некрасовских казаков, промысляющих прибрежным разбоем на своих лодках, и, конечно, османская оккупация Таманского полуострова. Но, возможно, самым убедительным доводом командующего явилось его обещание использовать время путешествия калги-султана для того, чтобы Девлет-Гирея «из Крыму выжить» и, тем самым обеспечив «его светлости» триумфальное шествие на Бахчисарай, «иметь удовольствие поздравить вас скоро самодержавным государем вольной татарской области».

Опасаясь новых авантур Шагин-Гирея, Прозоровский предписал Бринку поскорее организовать отъезд, «ибо все в том заключается», то есть нет сейчас более важной задачи. Если калга-султан захочет «взять другой путь», то в этом случае командующий, как писал он Бринку, снимал с себя всякую ответственность, иначе говоря — возлагал ее на подчиненного бригадира. Намерения последнего сильно беспокоили Прозоровского, подозревавшего, что Бринк готовится повторно атаковать Темрюк. Поэтому командующий требовал немедленно сообщать ему «о всех настоящих у вас делах» и особенно о любых перемещениях русских войск, с непрерывным объяснением — «для чего именно».

Насчет Бринка Прозоровский беспокоился не зря. Иван Федорович не собирался оставлять турок в роли победителей и предоставлять им возможность наглядно показать местному населению, кто именно занимает господствующие позиции на Тамани. Кроме того, Бринк, похоже, предвидел, что Прозоровский сделает из него главного виновника темрюкской неудачи и получит повод для повышения приказного тона, который будет использоваться с одной целью — лишить русские войска на Кубани инициативы и свободы маневра.

Не дожидаясь инструкций, содержание которых легко было предугадать, Бринк предпринял повторное наступление на Темрюк и 30 января 1777 г. занял его без всякого кровопролития. Морально-политическая атмосфера на Тамани изменилась моментально. Местные ногайцы открыто перешли на сторону Шагин-Гирея. На помощь ему также поспешили смешанные ногайско-черкесские отряды Батыр-Гирея и

Арслан-Гирея. Орду-агаси тут же сообщил Девлет-Гирею, что устоять перед такой силой он, тем более после падения Темрюка, не в состоянии и поэтому слагает с себя полномочия таманского наместника Порты.

Щадя самолюбие Орду-агаси, Бринк избавил его от унижительной необходимости выбрасывать белый флаг и сам обратился к нему с предложением согласиться на добровольный вывод турецких войск с Таманского полуострова. Взамен Бринк обещал «всякое вспоможение и пристойность» — скрытый намек на то, что благоразумие Орду-агаси не останется без материального вознаграждения. Предложение было с готовностью принято, и в считанные дни весь полуостров перешел под контроль Бринка.

Разумеется, все это, по политическим соображениям, публично представлялось как триумф «войск Шагин-Гирей-хана». Прозоровский торжественно и «всеискренно» поздравил калгу-султана «со всеми успехами, полученными проникательным Вашей светлости распоряжением, к славе Вашего в вечное потомство имени». Однако в письме Бринку (от 11 февраля 1777 г.) командующий все же нашел в себе силы без всяких околичностей признать, что он прекрасно осознает, кому принадлежат эти успехи на самом деле.

Прежде всего это говорило об умении Прозоровского соблюдать приличия и такт, даже превозмогая себя. В принципе же тут мы имеем дело с классическим правилом «победителей не судят». Не нужно большой догадливости, чтобы предположить, какие слова услышал бы в свой адрес Бринк, провали он несанкционированную таманскую операцию как раз в тот момент, когда к нему уже было направлено распоряжение не предпринимать никаких движений войск, а целиком сосредоточиться на организации безопасного переезда Шагин-Гирея. Бринк рискнул и выиграл. А Прозоровскому, который, по его собственному признанию, «не ожидал так скоро сего благополучного успеха», ничего не оставалось, как поздравить победителя.

Заминка перед развязкой

Теперь дорога Шагин-Гирея к бахчисарайскому престолу была в военно-политическом смысле практически свободна. Начавшийся за несколько месяцев до того кубанский поход Бринка благополучно окончился на Тамани, несмотря на то и дело возникавшие обстоятельства, которые ставили его успех под сомнение. Иван Федорович справился со своей миссией блестяще.

После освобождения Тамани идея о круглом сухопутном маршруте доставки Шагин-Гирея на Крымский полуостров отпала сама собой. Теперь можно было переправить его через Керченский пролив. Единственным препятствием оставались морские льдины, которые, впрочем, уже начали таять.

Лишние проблемы создавал сам калга-султан своей растущей уверенностью в себе, которую русские сначала поощряли, а потом уже не знали, как обуздать процесс превращения ее в самоуверенность. В ожидании благоприятной погоды для отъезда в Еникале Шагин-Гирей стал политически более активным. Резко изменившуюся обстановку он спешил обратить в свою пользу. Падение османских форпостов в результате бескровных операций уже само по себе принесло ему моральный капитал. Но помимо этого у него, как у «суверенного правителя» Кубани, появилась собственная казна (созданная и постоянно пополняемая Петербургом). Хотя за формой ее расходования Шагин-Гирей мог ни перед кем не отчитываться, подразумевалось, что значительная часть средств будет потрачена на «ласкание» ногайских и отчасти черкесских вождей.

Судя по всему, калга-султан не был скуп. Во всяком случае, за лояльность к собственной персоне он платил щедро. Трудно сказать, в какой степени в этой торжественной процедуре участвовали деньги, но факт остается фактом: 1 февраля 1777 г. все жители Таманского полуострова, а также Ачуева присягнули Шагин-Гирею, признав в нем «самодержавного нашего хана».

Русские генералы, которым поневоле приходилось вникать в политические тонкости, старались не подрывать авторитет Шагин-Гирея своей навязчивой опекой в том, что не касалось непосредственно вопросов его личной безопасности. После военных успехов на Тамани Бринку фактически было предписано уйти в тень и оттуда наблюдать за ходом событий, будучи, впрочем, готовым при необходимости вмешаться в них в любой момент. Иван Федорович, привыкший за три с лишним месяца пребывания на Кубани заниматься не только военными делами, подчинился этому распоряжению без особого энтузиазма. Он небезосновательно полагал, что на Северо-Западном Кавказе нужно следить за всем одновременно, ибо зачастую нецелесообразно разделять проблемы на военные и политические — во многих случаях они тесно взаимосвязаны. Бринк начинал тяготиться присутствием все более деятельного Шагин-Гирея и с нетерпением ждал его отъезда.

Между тем не похоже было, чтобы такое же чувство испытывал сам Шагин-Гирей, никуда пока не спешивший. Крым и манил, и пугал калгу-султана, не знавшего, как его там встретят. А на кавказском берегу он чувствовал себя комфортно, наблюдая, как быстро приносит моральные дивиденды захват таманских крепостей. Здесь, под охраной русских войск, Шагин-Гирей легко и с удовольствием вживался в роль «суверенного государя». Утверждаться в этой политической самоидентификации ему помогали присяги местного населения и ощущение всеобщей поддержки. Шагин-Гирей настолько вошел во вкус, что стал простираť свои политические притязания на территории, юридически принадлежавшие в то время Османской империи, в частности — крепость Суджук-кале, занять которую он, между прочим, тоже предполагал с помощью русских войск.

Конечно, было бы ошибкой полагать, будто Шагин-Гирей собирался оттягивать время переезда в Крым до бесконечности. Он понимал, что это неизбежно, но хотел выиграть время, чтобы упрочить свое положение на Северо-Западном Кавказе. Хотя внутрикрымская ситуация динамично развивалась в пользу Шагин-Гирея, он потребовал в качестве условия своего согласия покинуть Кубань, чтобы татарская знать и общество обратились к нему с письменной просьбой приехать в Крым для избрания ханом. На это, естественно, должно было уйти какое-то время, столь необходимое калге-султану для устройства кубанских дел.

Бринк на Кубани и Прозоровский в Крыму предпринимали все усилия для того, чтобы у Шагин-Гирея не осталось никаких причин задерживаться в Тамани. Среди крымских мурз велась большая работа, а среди населения была распространена декларация о том, «что никто из жителей сего края никаких обид от (русских — В.Д.) войск» не понесет. Девлет-Гирей подвергся планомерной моральной дискредитации в глазах подданных как за нарушение законов и дурное управление, так и за низменные человеческие пороки. («Будучи государем, не только имеет чужих жен, но и мальчиков на удовольствие свое собирает».) Тех, кто вознамерится с оружием в руках защищать его проигранное дело, предупредили, что они терпимы не будут».

Обо всей этой и другой работе подробно и регулярно оповещался Шагин-Гирей. Благодаря массовой материальной и моральной поддержке, оказанной ему, он приобрел такой авторитет, что многие представители татарской знати на Кубани и в Крыму уверовали в неизбежность овладения им бахчисарайским престолом. Еще с середины января 1777 г. у нового крымского хана стали выпрашивать теплые административные местечки.

Наконец-то настал момент, когда уже ничто (включая погодные условия) не препятствовало появлению Шагин-Гирея в Крыму, и дальнейшее его пребывание в Тамани грозило вызвать у всех подозрение. К моменту ожидаемого (27—28 февраля), но не состоявшегося прибытия Шагин-Гирея в Еникале русское командование встречалось не на шутку. Дошло до того, что сам комендант еникалинской крепости генерал Н. В. Борзов, как бы лично удостоверив открывшуюся на Азовском море навигацию, приехал к калге-султану, чтобы узнать, когда он собирается покинуть Тамань. Однако «сколько ни старался... решительного ответа получить не мог». Про-

зоровский прямо заявил калге-султану: «Теперь осталось мне ожидать решительного вашей светлости ответа».

После нескольких дней томительно-нервного ожидания командующий получил одно за другим сообщения — сначала об отбытии Шагин-Гирея из Тамани, а затем — о прибытии его 10 марта на крымский берег.

Кубанская одиссея калги-султана завершилась, а вместе с ней завершилось время, когда почти все военно-политические и организационные ресурсы России на Северо-Западном Кавказе были отвлечены на кампанию по избранию нового крымского хана.

«Размеряйте себя на том»

После отъезда Шагин-Гирея проблем на Кубани не убавилось, но отныне калга-султан перестал быть одной из них. По крайней мере для Бринка, который мог теперь целиком посвятить себя местным делам. Бригадир устал от сложного характера «его светлости», от постоянной необходимости думать о его личной безопасности и о том, как не войти в конфликт с его политической линией. Поскольку уже не нужно было держать все русские войска рядом с Шагин-Гиреем, Бринк оптимально рассредоточил их в «треугольнике» между Еей, Кубанью и Таманью с тем, чтобы держать под наблюдением тамошние общества. Факты свидетельствуют, что лишь присутствие русских войск удерживало местные племена от взаимных набегов и грабежей. Шагин-Гирей перед отъездом говорил своему брату Батыр-Гирею, что все его надежды на сохранение покоя, тишины и порядка связаны с Бринком, и просил находиться с ним в постоянном контакте.

С наступлением весны у черкесов и ногайцев оживлялась и хозяйственная деятельность, и обычная, в виде набегов, практика посягательства на ее результаты. «Шалости» одних вызывали ответные действия других. Объектами грабительских покушений были и русские полковые хозяйства, что прибавляло забот командирам. В принципе перед Бринком стояли полицейские задачи, но масштаб их никогда нельзя было предугадать — в любой момент они могли вырасти в проблему, требующую целой войсковой операции.

Едисанские и джамбулакские (джамбулукские) мурзы просили Ивана Федоровича защитить их от грабительских набегов. В меру своих возможностей он эту защиту предоставлял. Но «по обширности степи» его силы были недостаточны для решения такого рода задач. Что касается наказания черкесов, то Бринк был категорически против того, чтобы «гоняться за ворами», считая это непристойным по политическим соображениям и бесплодным, с точки зрения результата. Доказать вину людей, не пойманных с поличным, было невозможно, а застать их на месте преступления — крайне трудно. Смущало Бринка еще одно обстоятельство. Те, кто просил помощи, фактически хотели превратить наказание за набег в ответный набег с целью отмщения, зачастую непропорционально жестокого. А это выливалось в бесконечные междоусобицы, участия в которых русские власти всегда сторонились.

Перед Бринком вставали вопросы и более тонкого свойства. Житейский рационализм диктовал необходимость планомерного укрепления и расширения политической опоры в среде ногайской и черкесской знати. Для этого, по мнению Ивана Федоровича, требовались практические действия, нацеленные на морально-политическую мобилизацию и материально-престижное поощрение людей, способных «служить инструментом всех наших (российских. — В. Д.) дел».

После отъезда Шагин-Гирея Бринк ушел в эту работу чуть ли не с головой. Похоже, вся ее сложность открылась ему не сразу. Одной лишь готовности подкармливать «здешнего края чиновников, яко обыкновенно к лакомству привыкших», было явно недостаточно. Понял Бринк и то, что политика «приласкания нужного для дел (интересов России. — В. Д.) человека» и «наивящего приобретения в нем доверенно-

сти» — весьма деликатная материя, занимаясь которой нельзя ограничивать себя ролью простого казначея. В тех краях даже в вопросах банального подкупа желательны были гибкость, такт, импровизация.

Задачи Бринка усложнялись тем обстоятельством, что в сферу его материального и морального попечительства вовлекались новые политические персонажи, следившие друг за другом с ревностью и подозрением. Как ни странно, их благорасположение к России порой становилось негативным фактором, особенно когда состязание за перспективу быть «обласканным» перерастало в открытую вражду. Чтобы разобраться в этой тонкой механике, нужны были труд, время, талант. Легко понять тайное чувство гордости Бринка, сообщавшего Прозоровскому о своем «довольном сведении всех татарских оборотов (то есть о своей осведомленности в местных обычаях. — В. Д.)».

Сам Бринк, судя по одной очень показательной детали, был честным и добросовестным распорядителем в отношении государственных средств. В частности, он без всякой подсказки вызвался выделить из подотчетных ему сумм деньги на пополнение «личной» казны Шагин-Гирея, поиздержавшегося в разного рода тратах, в том числе совсем не обязательных. Бринк счел это своим служебным долгом, хотя несколько не сомневался, что и без его альтруистического жеста Петербург не оставит будущего крымского хана в нужде.

Рассредоточив свои силы по ключевым стратегическим точкам Северо-Западного Кавказа, Бринк, по сути, стремился найти адекватный ответ на совершенно обычные проявления местной социальной жизни — междоусобицы, набеги, грабежи, пленения людей и т. д. В преддверии сезонной активизации этих проявлений, связанной с наступлением теплого времени года, Бринк нуждался в воинских подкреплениях, о чем и попросил Прозоровского в рапорте от 15 марта 1777 г.

Однако командующий, посчитав, что бригадир сильно преувеличил проблему, отказал в довольно категоричной форме и сопровождал отказ упреками в неверной оценке ситуации. Не оставлено было без едкого комментария и неосторожное замечание Бринка о его «довольном сведении всех татарских оборотов». На эту фразу, которая, видимо, вызвала у Прозоровского раздражение как разновидность саморекламы, он ответил: «Потому как вы уже теперь достаточно сведомы о сем крае, то и размеряйте себя на том».

* * *

Долго «размерять себя» Ивану Федоровичу не пришлось. Осенью 1777 г. он сдал дела А. В. Суворову и, уже в чине генерал-майора, был переведен на другое место службы. Его «тулон» на этом закончился, так и не открыв блистательных горизонтов дальнейшей карьеры. Звезда его погасла, едва вспыхнув. Справедливо ли это, сказать трудно. У Истории свои понятия о справедливости. Иногда они нам кажутся странными. Тогда мы, историки, хотим их исправить, чтобы отдать должное героям, забытым скорее по недогляду, чем по заслугам.

Судьба доверила Ивану Федоровичу задачу исторического значения, и она же, по завершении миссии, «отблагодарила» его в очень своеобразной форме — обделив вниманием и современников, и потомков. Так случается, но так быть не должно. Настоящий очерк — попытка вызволить из тьмы забвения человека, который достоин света памяти.

Впрочем, автор не настолько наивен, чтобы утверждать: не окажись у Истории под рукой такой личности, как Бринк, все могло сложиться иначе. Конечно, нет. События управляли им в гораздо большей степени, чем он ими. Будь на месте Бринка другой исполнитель воли Екатерины II, русско-крымско-османский узел все равно развязался бы так, как развязался. Но поскольку участвовать в этом процессе далеко не на последних ролях выпало именно Ивану Федоровичу, было бы несправедливо воспринимать его лишь как простого статиста в сложной исторической игре.

Тамара Жирмунская

«Не готов я к свободе...»

О Владимире Корнилове

«Тамаре Жирмунской
от Владимира Корнилова

Дорогая Тамара!

Я попал в переделку. Последние две недели живу на морфии. Лежу дома, но больница строго по норме дает мне на семь уколов в день. И использованные ампулы отбирает. Все это случилось со мной быстро. Хотелось бы получить от тебя письмо, выслушать мнения. По поводу отца Меня — учиться не моли меня, не надо... Доживу каким есть безбожником. Эту тему закроем. Крепко тебя обнимаю. Твой преданный друг Володя.

15 ноября 2001.

Попробуем переслать через Люшу Чуковскую¹.

Экскурс в далекое уже прошлое...

Конец шестидесятых. Мы с Павлом (моим мужем) встречаем Новый год у друга-прозаика. Раньше он был только поэтом, достойным, малоденежным поэтом, и вдруг шевельнулся какой-то мускул в душе — и сразу удачная повесть, и смелая, и проходная, и написана вкусным языком — шедевр, можно сказать. Вот и отдельная кооперативная квартира, пусть на первом этаже, но зато в таком доме, в таком районе...

Писательские дома на «Аэропорте» — для кого-то мечта, для кого-то жупел.

Для нас, скорее, первое. Живем вчетвером в одной комнате. Пыль в глаза пустить можем — самый центр. Но не отгородиться от других членов семьи, не уединиться. И соседи. Было двадцать человек, теперь четырнадцать. Естественная убыль. В кооператив не принимают. Метраж, говорят, большой. Соответствует московской норме. «Но мы же свои деньги платим!» — «Мало ли что! Жилищная комиссия не пропустит». И подозрительный взгляд исподлобья: «Откуда у этих молокососов такие деньги?!» Не будешь же каждому объяснять, что никаких денег у нас нет. Но ради такого дела...Поднатужились бы, назанимали бы. А вдруг роман напишем? Или два? Премия получим? В тридцать лет все возможно.

Так что Новый год у друга-прозаика — это и новоселье, и сходка друзей, и наша надежда на будущее. Хозяин вполне счастлив — кажется, с него сыплются искры, как с бенгальских огней. Хозяйка — красавица, вылитая Моника Витти. Гости — разношерстные. Общий приятель — уже известный бард и серьезный ученый к тому же. Его

¹ Елена Цезаревна Чуковская, дочь Лидии Корнеевны, через которую не имевший Интернета Володя пересылал мне в Мюнхен самые важные письма.

милейшая жена, тоже ученая, на такую симпатягу и не подумаешь, что сечет в науке. Поэт. Музыкант. Художник, чей написанный в постмодернистской манере портрет хозяина висит на свежей стене и встречает вас взглядом в упор прямо от двери. А для полной коллекции типов современной культуры, безвредный пьяница, не только стихоплет, но и руководитель какой-то студии. Этот упился раньше всех, лыка не вяжет, и заботливая хозяйка уложила его на диванчик около двери...

— Пойдемте к Володе Корнилову! — говорит бард и ученый в одном лице. — Он живет в этом подъезде, на девятом этаже.

Идем вчетвером — две семейные пары. Смело звоним, несмотря на ночь. Нам открывают. Квартира такая же, но все другое: и мебель, и рисунки на стенах. Процедур знакомства не было. Видимо, считалось, что все знают друг друга... Владимир Корнилов известен мне только по стихам. Они мощные, плотные. «Досуха, до донышка / всю цикуту-страсть. / Новые Черемушки — / новая напасть. / Подошла не исподволь, / с маху, как судьба, / властная, как исповедь, / выразить себя...»

О чем шел разговор в ту новогоднюю ночь, не помню. Наверняка коснулся Синявского и Даниэля, не так давно осужденных на колонию строгого режима за публикацию на Западе своих «антисоветских» произведений под псевдонимами, да и за псевдонимы — тоже (русский выбрал еврейскую фамилию, а еврей — славянскую). Знаем, что Корнилов подписал коллективное письмо в их защиту и кое-кому это страшно не понравилось.

Ночные слова стерлись, однако мужские голоса звучат во мне. Возбужденный — Володин. Деликатно приглушенные его собеседников, один из которых мой муж. И снова Володин, теперь потупленный, если можно так выразиться, говоря не о взгляде, а о голосе, новом для меня голосе владельца новой квартиры.

Контраст двух литературных бытований был налицо. Там, внизу у коллеги, свет и шум, экстравертная радость, которая расходится кругами от накрытого стола и его хозяев. Здесь тишина, затененная лампа, которые хороши для работы, для одиноких размышлений...

Вошла Лариса Беспалова. Изящная, внешне притягательная, отстраненная от суеты. Мне было любопытно, какая у Володи жена. Я проецировала на нее все известные мне любовные стихи поэта, и выходило, что она — чудо, муза, страстно любимая женщина, чьей благосклонности пришлось ему долго добиваться. Но вот победа достигнута, они наконец вместе, и все остальное — трин-трава...

Записываю по памяти две строфы из стихотворения, которое не отпускает меня до сих пор:

Август. Лето жаркое.
Полуденный зной.
Нежная и жадная,
ты теперь со мной.
И уже спасения
нет мне — обречен.
И бела вселенная
за твоим плечом...

Уже потом, когда мы подружились семьями, я сумела оценить и гостеприимство Лары, и ее благородную простоту. Никогда не пыжилась, как иные писательские жены, не отбирала для мужа «нужных», «полезных» людей, отмечая прочих, как досадную помеху на пути к возжеленному успеху.

Очень скоро выяснилось, что наши дочери — ровесницы, всего месяц разницы. Даша была не простая девочка. Очень хорошенькая, очень способная, — иностранные языки щелкала, как кедровые орешки, — она дичилась малознакомых людей. В одно и то же время мы отдали дочек в писательский детский сад-пятидневку. Как можно было заранее предположить, обеим это не понравилось. Но наша Саша имела

в своем протестном арсенале единственное, зато верное оружие: она начинала болеть. Болеть и болеть. Пришлось забирать ее из сада и водворять дома — на радость бабушке.

Очевидно, Даша была покрепче. А родители построже. Номер с болезнями у нее не прошел. Может ли трех-четырёхлетний ребенок сказать папе-маме и воспитательнице общественного учреждения свое твердое «нет!». Оказывается, может. Даша замолчала. Надолго. Не отвечала на вопросы. Не произносила в саду ни слова. Выговаривалась только дома. И невозможно было заставить ее поменять тактику.

Володя переживал за дочь. Как-то раз привел ее к нам, очевидно, в надежде сблизить с менее принципиальной сверстницей. Ей у нас не понравилось. Может быть, наша большая комната, напичканная всевозможными предметами, напомнила ей детсадовскую игровую. Или Саша показалась вольнолюбивой Корниловой слишком ручной. Или, напротив, она позавидовала тому, что вот, тоже девочка, писательская дочка, а сидит дома, она же, бедная, должна в молчании проводить дни и ночи на пятидневке. Кто заглянет в душу ребенка, не похожего на среднестатистического детсадовца?..

Семидесятые годы наступили, как мне показалось, внезапно. И принесли с собой перемены, коснувшиеся каждой семьи, особенно если ее члены связаны с идеологией. Ведь литература и идеология — родные сестры. Идеология в стране была понятно какой — прокоммунистической. А литература? Тоже... должна быть под стать — идейной, во всяком случае. Но с нюансами. Не может же поэт-лирик дудеть в одну дуду и воспевать одну шестую часть света, где «зрелый социализм» (официальный термин) вот-вот перейдет в нечто неосоздаемое, напоминающее заглавие сказки: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Хотите называть это коммунизмом? Называйте! Мы же будем жить в тесноте не в обиде, растить детей и любить друг друга. О чем писать? Об этом и писать. Люди нас поймут. А вы, карьеристы от идеологии, нам, пожалуйста, не мешайте...

Зрелый социализм, похоже, эволюционировал, да не в ту сторону — загнивал пуще империализма. Мой муж, учившийся на Высших курсах сценаристов и режиссеров, приносил с собой запрещенную литературу: журнал «Континент», «Архипелаг Гулаг», воспоминания Надежды Мандельштам. Давали их на одну-две ночи. Читал Павел, читала я, читала моя мама, комсомолка двадцатых годов. Фанатичкой она не была. Была совестливым правдивым человеком. Рабочий стаж — 35 лет. Иногда всплескивала руками: «Как же так? А мы не знали. От нас скрывали». И тут же забота о взрослых неразумных детях: «Не говорите об этом по телефону» (с коммунального аппарата). «Оберните книгу в газетную бумагу». «Павел, не читай ее в транспорте»...

Лирическая поэзия, в диссонансе со временем, переживала расцвет. Новые громкие имена, выступления поэтов в Политехническом, в Концертном зале Чайковского, в спортивных Лужниках. На мой второй сборник стихов — «Забота» пришло много заказов, и издательство «Советский писатель» расщедрилось, дало книге двойной тираж — 20 тысяч экземпляров. Это отразилось на гонораре, в положительную сторону. Муж закончил курсы и стал активно работать в кинодокументалистике. Но денег все равно было в обрез — ведь ни он, ни я зарплаты не получали. Мамина пенсия за выслугу лет — 57 рэ.

Интересовались, как живут коллеги, например, Корниловы. Лара была переводчиком англоязычной литературы, работала редактором в издательстве, а это — верный кусок хлеба. Володя много переводил с языков народов СССР. Вышла у него и долгожданная книга стихов «Возраст». Вторая после «Пристани». Там было несколько подлинных шедевров: «Погодинка» (про собачий питомник), «Смерть Хемингуэя», «Жена Достоевского», любовный цикл. Я так полюбила «Жену Достоевского», что не могу не привести ее здесь:

Нравными, вздорными, приткими
были они испокон...
Анна Григорьевна Сниткина —
горлица — среди ворон.

Кротость — взамен своенравия.
Ангел — никак не жена —
словно сама стенография,
вся под диктовку жила.

Смирная в славе и в горести,
ровно, убого светя,
Сниткина Анна Григорьевна —
как при иконе — свеча.

Этой отваги и верности
не привилось ремесло —
больше российской словесности
так никогда не везло...

Поэзия, видимо, не вмещала всего, что бродило в его душе, во всем его одухотворенно-плотском молодом еще существе. Он начал самозабвенно писать прозу. Но напечатать ничего не удавалось. Вероятно, цензоров раздражали сами названия: «Без рук, без ног», «Девочки и дамочки». О содержании уж не говорю. Слишком все похоже на жизнь — подано обнаженно, порой грубо — это не укладывалось в прокрустово ложе «городской повести», «городского романа». Присяганием на верность догмам соцреализма и не пахло. Могло показаться, что автор, как Эйнштейн на небезызвестном фото, всем показывает язык. Но тот сначала относительность времени придумал...

Когда товарищи в начале семидесятых поручили мне составить очередной ежегодник «День поэзии», я прежде всего подумала о Володе. Предложу в ДП его полновесную подборку. Как поэт он имел высокий рейтинг. Тогда такого слова в ходу не было. Скажу проще: коллеги, за редким исключением, побаивались (резал в глаза правду-матку), но любили Владимира Корнилова...

Я долго упрашивала его отобрать стихи для сборника. Он упрямился, ничего не хотел давать. Это от оскорбленной гордости, объясняла я себе. Наконец принес в секцию поэзии и оставил на мое имя шесть или семь стихотворений. Я стала читать их еще в метро. И... проехала свою остановку. Звучит банально, но так было. Была ли я захвачена самими стихами? И да и нет! Несколько недель до того я только и делала, что вбирала в себя рифмованные и нерифмованные строки в столбик, страдая от растущего чувства неприязни ко всем стихотворцам, включая себя самое. Володя писал круче и заразительнее многих, но все его шедевры выпадали из легко проходимой «стихотворной продукции». От стихов разило болью, в которой тонули сюжеты и образы. Что же мне выбрать из этих кровью написанных, безутешных признаний, как представить их редколлегии, состоящей как минимум на треть из вышибал? А за что вышибать из будущей книги несомненного поэта, как не за такое вот «упадничество», не совместимое, согласно неписаному катехизису времени, с жизнеутверждающим мировоззрением советского человека?

Наконец, уже дома, уже ночью, я остановилась на «Останкинской башне». Все-таки символ новой Москвы, примета нашего времени. Есть чем заткнуть рты крытикам. Горечи хватало и тут, но, авось проскочит?..

Адмиралтейская игла
стихам знакома исстари,
а мне близка, а мне мила
которая у выставки.

Вокруг — панельные дома
и реже — знать кирпичная,
а надо всем она одна,
такая непривычная.
Когда темно, когда светло,
когда в тумане слепо,
и днем и ночью, как сверло,
она буравит небо.
Я на девятый влез этаж
и дверь закрыл наружу,
чтоб вечных не решать задач
и не морочить душу.
Какая, господи, тоска,
как холодно и страшно,
что вдруг до чертиков близка
Останкинская башня.
И молча распахну окно,
и млею перед нею,
как будто ближе — никого
и никого — роднее...

Бог есть! Проскочило... Обрадовался ли Володя, увидев свое детище в «братской могиле» — так называли «внешние» наши коллективные сборники? Думаю, что нет. Когда у человека принужденная голодовка по печатным изданиям, что ему одна случайная публикация? Но поблагодарил при встрече. Чуть наклонил свою буйную головушку. Такое было в редкость. Многие коллеги не скрывали своего недовольства. Не то взяла! Или (чаще) мало взяла!

В 1973 году в Политиздате вышла книга Владимира Корнилова о революционере Викторе Обнорском. Это суперидейное издательство вдруг изменило свою лобовую направленность на более изощренную, художественную. Привлекло для работы громкие имена: Окуджаву, Аксенова, Гладилина и пр. Со мной тоже вдруг заключили договор. На книгу о Ларисе Рейснер. Я собирала материал, хотела взять за образец работу Корнилова. Прочла ее с интересом. Вся она мне понравилась, начиная с заглавия: «Сказать не желаю». Произнес эти слова герой книги, а казалось, что сам автор...

Между тем Володины литературные дела шли под откос. Говорю о наружной стороне. Писал он по-прежнему много, вздохнул. Всегда показывал написанное Ларе. Она была первым читателем, редактором, критиком. Верил ей безоговорочно. А читатели, уже полюбившие поэта, наверное, удивлялись: куда он исчез со страниц печати, где его новые книги?..

В журнале, обнадежившем Володю скорой публикацией, рассыпали уже набранную повесть. Началась цепная реакция: и тут не пойдет, и там — афронт... Причем ничего открыто антисоветского в стихах и прозе не было. Не нравилась интонация. Не нравились бьющие в глаза социальные конфликты, слишком задиристые речи персонажей. Кто-то удачно сказал, что наши проверочные инстанции научились улавливать у авторов даже шорохи подсознания...

Тогда Володя решил попытать счастья на Западе...

Мой муж частенько навещал Корниловых у них дома, приносил оттуда свежие новости. Семья держалась молодцом. Лара много работала. Володя стоически переводил стихи по подстрочникам. Даша пошла в школу.

Очень скоро Корнилова лишат каторжной переводческой синекуры. Переводить-то он будет, но под чужими именами. Друзья — тогда дружба была все — поделятся с ним своей работой.

Никто из нас не присутствовал на собрании, где Владимира Корнилова исключили из Союза писателей. Нас не позвали, а если бы пришли, не пустили. Такие акции провоцировали при закрытых дверях. Шел 1978 год.

Что ему инкриминировали? Вообще-то конкретно — письмо в защиту А.Д. Сахарова, которое он подписал вместе с Л.К. Чуковской, Войновичем, Копелевым, Сергием Желудковым. Ну и многие другие подобные письма. Просто это письмо было последней каплей, но не последним письмом. Ну и, конечно, публикации на Западе. У меня нет под рукой протоколов, стенограмм, хотя все это, без сомнения, сохранилось в архиве, и можно утверждать, учитывая исторический опыт, что бездушные бумаги переживут прямых и косвенных свидетелей этой истории.

Десять лет нет в живых Володи Корнилова. Стараниями жены и друзей, не забывающая о своей выгоде, но все же осмелевшая пресса выпустила его двухтомник, книгу «Покуда над стихами плачут», было несколько подборок в журналах, передовые газеты нашли место для воспоминаний о нем, для «датских» (т.е. к датам) материалов. Мертвый лев никому не страшен. А за глубочайшую травму, нанесенную душе поэта, за укороченный его век никто, естественно, не в ответе.

Сам он был не из тех, кто сводит с врагами счеты. О главном обвинителе, не из ГБ, что было бы противно, но не обидно, — из Союза братьев-писателей, Володя написал стихи, звучащие не по-корниловски приглушенно, даже смущенно. Как будто он исключал, а не его исключали.

«Подумаешь, исключили! Ну и что?» — спрашивали наивные. А то, что это гражданская казнь. Печататься исключенному — запрещено. Упомянуть публично его имя — запрещено. Уже переведенные им стихи издательство отдаст на перевод другому, куда менее умелому, как будто скверна распространяется на все, к чему прикасалась его рука. Из библиотек изымаются его книги, из новых справочников — его фамилия. Все, что сделано им в литературе, сводится к нулю. Нет больше такого поэта, такого прозаика! Был, да весь вышел...

Из биографии можно узнать: потеряв официально признанный статус, Володя работал уборщиком снега, да и то через месяц уволили. По закону, видите ли, нельзя держать человека с высшим образованием на такой должности. Или это был просто предлог? Но больше всего задело меня стихотворение «В прачечной», на бытовую, казалось бы, тему, где нет ни гнева по адресу тех, кто унижил поэта, ни жалоб. Мужественный, в самом себе, как в мясорубке, прокручивающий обиду, Корнилов «ни в жисть» не ходил в жалобщиках.

Бросила жена? Ее
бросил сам? Сменил жилье?
...Гладили вдвоем белье
с ним в стекляшке.
Он балдел — заметил я —
от шумевшего бабья
и от вороха белья
и от глажки.
А по виду был ходок.
Но совсем не холодок —
то ли страх, то ли упрек
был во взгляде.
Может, чудилось ему
я, старик, его пойму.
Объяснить мне что к чему
будет кстати.
На подобный разговор
я его бы расколол,
прежде был и спор и скор
на знакомства.
Две рюмахи или три
пропустили — говори.
Но теперь скребет внутри
скорбь изгойства.

Несуразная судьба —
эмиграция в себя,
словно начисто тебя
съела фронда.
Вроде ты живой и весь
и душой и телом здесь,
а сдается, что исчез
с горизонта.
Почему теперь и впредь
не к чему ломать комедь.
И не стал я пить с ним — ведь
мы б не спелись.
После полусотни грамм
он, запуган и упрям,
выдохнул бы: «Пшел к ерам,
отщепенец...»
Так что про житье-бытье
мы молчали, а белье
расстилали, как бабье,
на гладилке.
Потому и обошлось
без мужских горячих слез,
без сочувствий, без угроз,
без бутылки.

Читаю стихотворение, как будто смотрю трагикомедию о двух мужчинах, загнанных в противоестественную женскую ситуацию. Действующие лица: с одной стороны, «старик» — ему примерно полста, разжалованный интеллигент, с другой, — случайный встречный, из массовки, лет на двадцать моложе, явно не добравший ни воспитания, ни образования, ведь все эти «бабье», «балдел», «рюмахи», «комедь», «пшел к ерам» — его однозначный образ, поданный через речевую характеристику. Кто кого судит? Старик — сам себя. Каким судом судит? От имени народа. У нас ведь все всегда делается от имени народа. Молодой рта не открыл, а старый уже возвел на себя поклеп. «Отщепенец» — значит «отщепился». От чего? От здорового тела нации. Не то пишет, не с тем дружит, не так, как заповедано в советском «символе веры», себя ведет. Без пяти минут «враг народа». И еще одна ассоциация: лес рубят — щепки летят...

Моя судьба сложилась так, что через пару лет и я попала в «отщепенки».

С Корниловым себя не равняю. В моем случае не было главной — «идейной» — составляющей. По семейным обстоятельствам (без кавычек) вместе с мужем и дочерью собиралась я отбыть из России в одном из двух самых популярных тогда направлений. И то и другое были уже освоены родственниками мужа. От намерения эмигрировать в начале восьмидесятых отказалась я сама, но карающий меч был уже занесен над моей головой и, если бы не заступничество и помощь друзей, прозябать бы мне до самой Перестройки без работы, без денег, на птичьих правах социально дисквалифицированной. Впрочем, моя «опупея» подробно рассказана в мемуаре об отце Александре Мене («Нам дана короткая пробежка»), и повторять ее тут нет смысла...

О Володиных мытарствах если кто и знает досконально, то подруга дней его суровых, Лариса Георгиевна. Нет, она не была похожа на жену Достоевского, разве что неколебимой верностью и удивительной в такой самостоятельной женщине привязанностью к мужу. Я на их семейных советах не присутствовала, но убеждена: каждый его рискованный шаг был предварительно одобрен Ларой. Одобряла, потому что понимала: муж, такой, какой он есть, не может поступить иначе. Да Володя с Ларой по «большим» вопросам никогда и не расходились, так что слово «одобрение», возможно, залетело сюда из истории какой-то другой четы...

Об отъезде за границу Володя и Лара, насколько я знаю, не помышляли. Дружба с Лидией Корнеевной Чуковской, общение с академиком Сахаровым и его кругом поддерживали в них это врожденное, почти на уровне инстинкта чувство: преданности родной земле, которую с какой же стати уступать «халифам на час»? Участники этой драмы вправе были бы сказать мне, что дружба и возникла на почве общности, и держалась ею. Так что трудно определить, где тут причина, а где следствие.

Как бы там ни было, позиция Корниловых была намного сильнее моей и в конечном счете повлияла на меня, заставила изменить первоначальное, с трудом давшееся мне решение об эмиграции. Кроме того, Володя и Лара действовали заодно, а у нас с Павлом назрел конфликт. Я винила в случившемся его, а он — меня. Позже Корнилов написал стихотворение «Женщина», в котором я узнала наше тогдашнее положение и себя прежнюю. В добрых традициях великой русской поэзии, «раненной женской долей» (чуть переиначенные слова Пастернака), Володя оказался на моей стороне.

Не нитка за иглой —
за ниткою игла
ползет — не оторвет себя от нитки.
Идет на лад другой старинная игра,
и нет больней трагедии и пытки.

Отчаян женский долг,
печален женский страх,

зато любовь, как прежде, бескорыстна...
И пусть не на восток
и вовсе не в санях,
но все равно летишь, как декабристка.

Не хочешь слов и слез,
поскольку с этажа
не бросилась во двор, не отравилась.
Без петли, без колес
раздавлена душа
и правит вечный бал несправедливость.

Пришел муж, сказал:

— Володю восстанавливают.

Я бросилась к пишущей машинке.

— А я как раз назвала его в списке любимых поэтов. Вот, смотри, в статье «Я своих поэтов знаю наизусть». Как удачно получилось! Теперь пусть попробуют снять его фамилию. Привыкли, черти...

— Рано радуешься. Там же многоступенчатое восстановление. Забыла, сколько тебя мучили?

— Но ведь Перестройка!

Павел кисло усмехнулся.

Компьютеров еще не было. Страницы статьи следовало подколоть скрепкой и как можно скорее везти в «Литературную газету». В отделе уже ждали ее. Обещали, что пойдет с ходу...

Через несколько дней из редакции звонок:

— Ответсекретарь просит убрать одну фамилию.

Валяю дурочку. Недоуменно спрашиваю — какую?

И, услышав, начинаю вслух возмущаться:

— Да его же восстановили! Как когда? Позавчера, вчера, сегодня. Я за ним по пятам не хожу. Да, да, информация верная. И в «Литературке» ее должны были знать давно!..

Вообще-то я, скорее, робкого десятка. Хождение по инстанциям, пусть и в пользу кого-то другого, для меня средней тяжести пытка. Но тут ходить не пришлось. Мне звонили. Я звонила. И опять мне. И опять я. Было физическое ощущение, что карабкаюсь по ступенькам. А меня — назад. А я опять лезу. Докарабкалась до главного редактора. Репутации скандалистки у меня нет. На лжи не попадалась. Да в данном случае я и не лгала. Всего-навсего перевела факт восстановления Корнилова в СП из близкого будущего в недавнее прошлое. Кто же не знает, как у нас любят волюнтерить и совершать обратные рокировки? И, конечно, помогла Перестройка, кто бы что бы о ней ни говорил...

Газета вышла в срок. Фамилия Володи в ней стояла. И это была маленькая победа справедливости над несправедливостью...

Я не веду блогов, строгая последовательность исторических и житейских событий мне не так уж важна. Есть для меня нечто важнее хронологии: это — вспышки памяти. А если одна вспышка переходит в другую, а та в третью и так далее, — разгорается зарево памяти. И все в нем живо, ярко, горячо. Обжигает через десятилетия.

Год 1988-й, июнь месяц. Корнилову — 60. Праздник у него дома. Лара рассталась. Столько света в квартире, столько воздуха — кубатура позволяет. Обилие гостей, изобилие угощений. Володя счастлив. Вернее мы все счастливы за него, а он смотрится в нас, как в зеркало, и тоже сияет, молодеет на глазах.

Сколько стихов написано им за последнее время и какие стихи! Вдохновение бьет как из брандспойта. «Чем продолжительней молчанье, / Тем удивительнее речь...»

Предтеча, наверное, прав. Но лучше бы не было таких изнуряющих молчаний, каким бы поэтическим фейерверком они ни разрешались. Поэтова психосоматика не из железа. У Володи сильно пошатнулось здоровье. Знают об этом Лара, Даша, ставшая врачом, несколько близких друзей. Юбиляр ничем не выдает своих немощей. Выдают стихи.

Обещание

Зря ты в тревоге и в горести,
словно бы вся не со мной...
Помни, достанет мне совести
не отправляться зимой.

Почва на той территории
даже кайлу тяжела,
а не могу в крематории:
там как на юге жара.

Помни, в тебе столько смелости,
сколько во всех вместе нет,
и без какой-нибудь мелочи
веришь ты мне тридцать лет.

Я обещал тебе некогда,
что не оставлю одну.
Деться от этого некуда,
сделаю, не обману.

Могут ли быть оптимистическими стихи о смерти? Если да, то это одно из них. «Надежда» называлась новая книга Корнилова, вышедшая в «Советском писателе» в 1988 году. Книги в то время планировались заранее. Поэт или прозаик, чей труд был одобрен издательством, задолго получал «позицию» для будущего издания. Надо ли пояснять, что у Володи ее не было? Дело могло бы сильно затянуться, если бы Михаил Львов, поэт военного поколения, не уступил товарищу свою позицию. Когда «дорвавшихся до пирога» «инженеров человеческих душ», всех без разбора, корят за эгоизм, самовлюбленность, отсутствие коллегиальной солидарности, я с благодарностью вспоминаю этот действительно нетипичный случай...

Как известно, Время само отбирает тех поэтов или чаще того одного, кто настроен с ним на одну волну, короткую, среднюю или длинную, — это уж как распорядится история. Не знаю, кто бы еще так «проинтуичил» все черные дыры и завихрения конца 80-х—начала 90-х, как Владимир Корнилов.

Свобода! Вот от чего кружилась голова у самых беспечных, легковверных, падких на газетные и митинговые сенсации. Или, как в перевертыше, у самых глубоко-мысленных, ничем недовольных, требовательных и к себе, и к другим. Сколько этих крайних типов в народонаселении? Статистика умалчивает... Нахлебавшись, как мало кто, всяких бед, Володя не дал завлечь себя в райские кущи иллюзий и едва ли не первый в постсоветской поэзии сказал трезвое слово о том, что пришло, что грядет и как это касается личности, в данном случае, его самого:

Не готов я к свободе —
по своей ли вине?
Ведь свободы в заводе
не бывало при мне.
(...) Океаны тут пота,
Гималаи труда!
Да она несвободы
тяжелее куда.

(...) Я ведь ждал ее тоже
столько долгих годов,
ждал до боли, до дрожи,
а пришла — не готов...

Оказывается, беда не в том, что нам дали недостаточно свободы, а в том, что и эту малую часть мы, пребывающие в рабстве у предрассудков прошлого, не можем взять.

Я перелистала последние прижизненные книги Владимира Корнилова и поехала: прирожденный лирик ставил безошибочные политические и социальные диагнозы задолго до того, как болезнь достигала точки невозврата. Причем излагал их так страстно, ясно, кратко, что, если и захочешь отмахнуться и все забыть, — не удастся. Если бы отцы нации больше верили поэзии, чем подхалимам, может быть, многих ошибок удалось бы избежать?..

Через пятнадцать лет после приведенного выше стихотворения он пишет «Муки свободы»:

...Ведь не в начальстве
и не в толпе,
скрыты несчастья
в нас и в тебе:
сможем сурово
жить не по лжи,
или готовы
снова в ножи?

«Да это же зарифмованные проповеди! — скажет кто-нибудь в сером. — А где тут поэзия? Пусть не лирическая — ироническая. Где сарказм или хотя бы юмор, где карнавальные мотивы по Бахтину? Разве перестройка не давала достаточно пищи для сарказма? Со своим ли народом он рядом живет, ваш поэт, или прибыл с Марса?»

«Со своим, со своим! — отвечаю Фоме неверующему, которому всегда охота вложить персты в смертельные раны поэта. — Вот вам образчик другого письма под той же подписью:

Обманщик, обирала, шарлатан,
едва ли понимает жалкий дьявол,
куда наш несчастный шарабан
он, радуясь и пакостя направил...»

«А это не из «Мастера и Маргариты?» — щеголяет устаревшей эрудицией имярек.

«Нет! Редкостный книголюб и автор многих книг, написанных в разных жанрах, Корнилов никогда не грешил «книжностью» в плохом смысле слова. Если «книжность» — синоним культуры, это высокий знак и в этом грех отказывать Владимиру Николаевичу. Уверена, что его книга о русской лирике «Покуда над стихами плачут», очень личная и ошарашивающая авторской эрудицией, — малая энциклопедия нашей великой поэзии, — будет востребована и в будущем. Но стихи его свободны от литературщины и питаются прежде всего собственным опытом. Острым, часто болезненным опытом много пережившего и передумавшего человека. Подобно концентрированной кислоте, такой опыт растворяет любые заимствованные элементы, которые сразу становятся корниловскими. Уникальное и завидное умение».

В стихотворении о горьком и долгом прощанье «с уходящим от тебя тобой», Корнилов выразил свое человеческое и поэтическое кредо:

Тут не обретенье, а потеря,
потому кидаешься в тоску.
Это я прочел не у Монтеня,
это я в своем нашел мозг...

Автор не назвал бы стихи «Жизнь», если бы не хотел подчеркнуть чрезвычайной важности своего признания...

Было бы величайшей несправедливостью перед памятью большого поэта сводить его огромную поэтическую работу в пору вечернего дня, милостиво замедлившего заката только к публицистике. Богата и неожиданна его палитра. Это и покаяние любящего отца-идеалиста, воспитавшего в чрезмерном доверии к печатному слову идеалистку-дочь: «В книгах люди пекут идеи, / в жизни люди куда лютей. / Книгочеи недоглядели — / и оскомины у детей». Это, не знаю, уж которое по счету объяснение в любви к спутнице сурово прожитой счастливой жизни: «Мы вместе давным-давно, / и ты всех родней и ближе, / но хочется все равно / увидеть тебя в Париже (...) Давай полетим, пока / не отменены полеты, / действительны поезда / и трезвы пока пилоты». Это и шутовское на краю слез «Где малина, там крапива...», с попыткой самоутешения, отодвинутого в самый конец, что не все сбылось, о чем когда-то мечталось: «И малина, и крапива, / и витье их веток / дух и душу укрепила / жаль, что напоследок».

Корнилов всегда писал крупно и резко, с ненаигранным напором убежденного в своей правоте человека, мужчины, гражданина. Здесь и сейчас было его заповедью. Притом стихи никогда не бывали одномерными, за их четким фасадом просматривались такие лабиринты, над нависающим потолком угадывались такие перископы, уставленные в небо, что испытанный, старый реализм начинал трещать по швам и давать сбои. Уже выйдя на финишную прямую, пережив все, в тютчевском смысле слова: «Живя, умей все пережить...», поэт пробовал себя урезонить, остепенить, что ли. Тщетная попытка!

...Мне б не стихи, а песни,
что-нибудь из старья.
...Но снова тянет в бездны
или на острия.

(«Сызнова»)

Прежде чем попробовать разгадать одно из загадочных стихотворений Володи, я должна вернуться в 1988 год. «Оттепель», «перестройка» — все это слова, слова, слова. Они горят ярким светом для современников, а для потомков меркнут, переходят в пухлые исследовательские тома, которые мало кто читает, и для большинства обычных людей через пять-шесть десятилетий испускают дух.

Осенью 88-го коллеги рекомендовали нас, нескольких поэтов, в том числе Володю и меня, — оба с «подмоченными биографиями», — в состав редколлегии сборника «День поэзии-89». Первый День поэзии вышел в середине 50-х, на гребне общественных потрясений и прозрений, и читатели, особенно молодые, восприняли его как первую ласточку наступившей после слякоти и морозов весны. Та весна, как известно, быстро свернулась. Но надежда, невзирая ни на что, осталась. И нам захотелось претворить ее через 32 года в сильную книгу, сделать наш «ДП» еще лучше, смелее, художественно раскованнее, чем ставший раритетом сборник-первенец. Дать слово забытым или отодвинутым на задний план поэтам. Пригласить для участия широко мыслящих либеральных критиков. Представить разные точки зрения на дальнейшие пути России. Не пускать на порог ксенофобию, догматизм, словоблудие. Следование великим литературным традициям не означает зажим всего нового, дерзкого по содержанию и по форме. Наоборот: классики частенько выходят из новаторов и то, что поначалу режет глаз и отторгается косным серым веществом, со временем имеет шанс попасть в школьные хрестоматии...

Три главных редактора, два составителя, несколько членов редколлегии отражали, казалось нам, не только разброс мнений, но и объективную картину современной поэзии... Кто берется, тот и везет. Как-то быстро захирели рвавшиеся к власти

«горлопаны и главари». Для чтения огромного числа текстов, черновой и белой работы осталось шестеро. И «мотором» шестерки, как справедливо заметила потом Татьяна Бек, был Владимир Корнилов.

Собирались регулярно и с энтузиазмом. Мы с Татьяной приносили уже апробированные нами стихи. У нас разногласий, как правило, не было. Начинались они на редколлегии. Спорили, шумели, старались перекричать друг друга. «Это не поэзия!» — самый веский и бездоказательный приговор. А ты попробуй, докажи, что она такое! Володя доказывал не на пальцах — на текстах. И с таким жаром, что не помню случая, чтобы стих, за который он шел на штурм, попал в корзину...

Поэзия — такое дело, что споры-разговоры частенько уводили в другие сферы. Эстетику. Философию. Религию. В то время я переживала сильнейший интерес к христианству. Читала Бердяева, Флоренского, Владимира Соловьева. Направлял меня мой духовный отец Александр Мень. Владимир Корнилов позиционировал себя как атеиста. Но к моей увлеченности относился с уважением. Бывали случаи, когда после редколлегии мы уходили в кафе ЦДЛ или сидели в холле, продолжая «разговоры не по существу». То есть такие, которые напрямую «Дня поэзии» не касались.

Как-то раз я рассказала Володе о знакомстве с отцом Александром, вспомнив, какие книги дал он мне на дом после первой же нашей беседы: свою «Сын Человеческий» (о Христе) и отца Сергия Желудкова «Почему и я — христианин». Оказалось, что Володя был знаком с опальным псковским священником, встречался с ним по чьей-то просьбе. Двумя-тремя словами он описал мне эту встречу, причем с присущей ему легкой иронией, чтобы не сказать издевкой.

На следующую редколлегию принес посвященное мне стихотворение:

Низенький, под мышкой с книгою
и в цивильное одет,
поп казался мне расстригою:
не священник — диссидент.

Где-то около Эстонии
проживал он с паствой врозь...
— Вам понятен смысл истории? —
задал горестный вопрос.

Я сказал:
— А что в ней тайного? —
спорить был всегда готов.
— Вся из наших воль составлена,
точно роза из ветров.

Все, — добавил твердым голосом, —
просто в ней, как апельсин...
В чем тогда Господень промысел? —
скромно он меня спросил.

Но отверг я Бога с вызовом
и во весь опор попер,
обезьяны с телевизором
продолжая разговор.

(«Смысл истории»)

По-моему, это бесхитростное стихотворение таит в себе много смыслов, оно не только о «смысле истории». Насколько история зависит от человеческой активности и что в ней предопределено свыше — это волнует не одних философов. «Поп-расстрига» выражает, очевидно, с болью, крайне антихристианскую точку зрения на историю: в ней правят бал слепота и разнузданность людей; Божий промысел или

забыт, или Его — для верующего человека такое даже страшно представить — вовсе не было. Чего он ждет от собеседника — опровержения? Вряд ли. Просто накопело на душе и хочется поделиться с вызывающим доверие незнакомцем... Отвергая Бога, да еще с вызовом, поэт как будто с теми, кто против идеи Создателя. Но последние две строки заставляют в этом усомниться. В самом деле: что есть мир без Кормчего? Пустая посуда, которая того гляди пойдет ко дну. Современный поэт выражает это по-современному. «Обезьяна с гранатой» — слышала от молодого водителя — в адрес женщин за рулем. «Обезьяна с телевизором» — образ свежий, но, как это типично для Корнилова, базируется на фольклоре...

Можно найти у поэта и другие религиозные мотивы.

Евангелья от Матфея,
от Марка и от Луки
читаю благоговей,
неверию вопреки.
И все-таки снова, снова
четвертым из всех задет,
поскольку мне тоже слово
начало всего и свет —

так интерпретирует поэт первый стих первой главы Евангелия от Иоанна, канонически четвертого: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Фанатики от веры тотчас опровергли бы такое переосмысление. Но что сказано, то сказано.

А вот две строфы из стихотворения «26 апреля» (о Чернобыле и опять же о перестройке):

Мудрецы и невежды
ликовали спроста
воскресенью надежды,
а отнюдь не Христа.
.....
Хоть немного стою,
промолчать не рискну:
как же дальше — к застою
или прямо к Христу?..

Меньше всего хочу я представить мятежного неуступчивого поэта, в чьей родословной не только Пастернак, но и Маяковский «со товарищи», неопитом или, еще хуже, христосиком. Не был он таким, не мог быть. Стихов о неверии у Корнилова больше, они жгутся и не допускают амбивалентных толкований. «Я последний безбожник и на этом стою» — врезал он и мне и тем, чье имя легион, кто в наше смутное время, потеряв прежние идеалы, потянулся под сень церкви.

Ни в коем случае не приписываю себе хоть какого-то духовного влияния на поэта. Единственное, чем отличилась, познакомила Володю и Лару с отцом Александром Менем. Честные чистые люди, болеющие за родину, должны знать друг друга...

Наш с Павлом вынужденный отъезд за границу расстроил Корниловых больше, чем остальных друзей. Все они знали, и о хронической болезни моего мужа, и о нашем крепком как смерть браке, давно перешедшем на четвертый десяток. Но горе их было неподдельно.

А ведь приехали с нами проститься, даже без зова, оказавшись в меньшинстве. Да что там — в меньшинстве. Больше никого и не было...

Володя исправно присылал в Германию из Москвы письма. Понимая, как не сладко нам на чужбине, как оторваны мы от всего, что любили прежде, согревал их теплом своего существа, делился новостями, рассказывал всякие байки, не слишком предназначенные для международной почты. И сделал мне подарок: написал и

напечатал в «Дружбе народов» № 12 (1999) самый глубокий и интересный отзыв на мою книгу о Библии и русской поэзии.

8 января 2002 года его не стало.

Простилась я с ним стихами.

Никогда не слышала от Корнилова ставшего затасканным в нашей среде выражения: «Моя молитва — это мои стихи». Целомудренный, он избегал таких трюизмов и очень боялся показаться сентиментальным. Но я — женщина, мне можно...

До свидания, Володя!

Иноходец

Памяти Владимира Корнилова

Был у меня друг.
Нету таких в округе.
Я не сразу, не вдруг
друга узнала в друге.
Что душой одинок, —
все друзья перемерли, —
что соленый комок
у насмешника в горле,
что без матери рос
и, во всем независим,
подпадет под гипноз
женских строчек и писем,
что живая вода —
чувство сестринства-братства,
мне открылось, когда
начинало смеркаться...
Не Урбанский, но с тем
было внешнее сходство:
не удержишь в узде
нервного иноходца.
Иноходью среди
чинных, как на параде,
шел. А ему: «Гляди,
высколим тя, дядя!»
Школили. Били в лоб,
и по глазам, и в темя,

не выделялся чтоб,
в ногу чтоб шел со всеми.
Тошно от холуев,
им бы заняться случкой...
За него Гумилев,
и Есенин, и Слуцкий.
Честь родимой земли —
личное его дело.
С двух концов подожгли —
так в нем совесть горела...
Что дожало его,
я не знаю: «имейлы»,
по само Рождество,
путались и немели.
В боль свою заточен...
Ни малейшей надежды...
«Говорить с ним о чем?»
Обо всем, как и прежде...
Лишь восьмого числа
дух из темницы вышел.
Запоздала хвала.
Думаю, он не слышал
траурных передач,
что звенели в эфире.
Сдавленный женский плач
все же созвучней лире.

Январь 2002 г.

Георгий Кубатьян

Поэзия как живопись

Дело было четверть века назад. Поздравляя ровесницу с юбилеем, Андрей Битов удивленно констатировал: «Едва ли не впервые в истории русской поэзии имя стало ёмче фамилии — БЕЛЛА». Так оно и есть. Федор, Иннокентий, Владислав — именами, даже беседуя в узком кругу стихолюбив, оперировать у нас не принято. Только Цветаева, когда в 60-е годы мы толком ее узнали, тотчас изменила традицию. «...памяти твоей / Из гроба научи, Марина», — воззвал к ней тогда Тарковский; Ахмадулина вторила: «...за Мандельштама и Марину / я отогреюсь и поем». И всякая попытка растянуть условный этот ряд обречена. Возьмем Ирину Одоевцеву. Та, «грассируя на французский манер, спросила Беллу: «А пгавда, что в Госсии говогают: "Магина, Игина и Анна"? — Тут Белла не выдержала, и мне пришлось спасти Игину Одоевцеву от ее гнева». Спору нет, Ахмадулину возмутил перечень, в середку которого поставлен элемент, явно несопоставимый с двумя другими. Но согласитесь, «Анна» здесь корбит амикошонством, «Ирина» же попросту неопознаваема; кто такая? Суть, она вовсе не в историко-литературном величии, не в заслугах.

А в чем же?

Знак ли это народной любви, популярности? Вряд ли. Цветаеву, коль скоро сравнить ее с Ахматовой, любят не больше, в смысле же «понятности» цветаевские вещи — среди самых усложненных и труднодоступных. Известность Ахма-

дулиной была несопоставима с известностью, да что уж там, истинной и доподлинной славой Евтушенко. Касаемо же доступности, то старомодная витиеватость ее новейшим образом оснащенного стиха требовала начитанности, подготовленности, вкуса.

Полагаю, Цветаева с Ахмадулиной воплотили смутное подсознательное представление о поэтической судьбе, поэтическом облике. Вспомните, как Ахмадулина читала стихи, ее самозабвенность и самоотдачу. Привыкшая к полным залам, она не разыгрывала взволнованность, а вправду была взволнована причастностью к поэзии, которая, похоже, за десятилетия профессиональной работы так и осталась для нее тайной, таинством. Эта трепетно напряженная шея... Никакая она не поэтесса — вот юношеское мое недоумение после первой увиденных ахмадулинских читок. Эвтерпа, муза лирики.

Веду к тому, что Борис Мессерер относится к героине мемуарных своих записей с юношеским отчасти недоумением — ей-богу, такого не бывает! Очарованный раз и навсегда мемуарист посейчас «увлечен ее изумительной, неповторимой интонацией, заморожен гипнотическим влиянием ее речи» и не сомневается, что читатель этому гипнозу точно так же подвержен. И ведь он прав. «Ее бесценный художественный дар» — естественная граница, разделяющая, так сказать, овов и козлиц. Если кто-то считает характеристику «бесценный» завышенной, тому не резон углубляться в жизненные перипетии сочинительницы стихов, ему безразличных или вызывающих у него раздражение. Мессерер адресует не к

читателям, интересующимся литературой вообще, поэзией в частности, каких еще немало, но непосредственно к почитателям Ахмадулиной. Почитателям, а не просто читателям. И не важно, знает он это, нет ли. Аудитория у его книги не может не быть узкой, зато настроена на зависть — и сочувственно, и дружелюбно.

Впрочем, оговоримся. Книги как таковой покамест еще нет, ее структура даже не просматривается. Журнальная публикация скомпонована без особых затей. Вначале — куски разговоров, устные воспоминания самой поэтессы, записанные на диктофон и перенесенные на бумагу, как мне показалось, очень бережно; живая речь ощутима здесь во всей прелести. С обрывами на полуслове, нестыковками, потерей нити. Читая своеобычную эту стенограмму, как не вспомнить «Онегина»: «Неправильный, небрежный лепет, / Неточный выговор речей». Тут и грамматические ошибки придутся впору, и по душе, Пушкин опять угодил в яблочко.

Прямая речь Ахмадулиной предваряет мемуарные записи Мессерера — настраивает на нужную волну, задает уместный тон. Сами же мемуарные записи хаотичны, лишены системности, разве что придерживаются, сколько и где возможно, хронологического порядка. Но не строго; бывает, автор оглядывается вспять, а случается, забегает вперед. Это недостаток? Ежели подойти к тексту педантично, то да. Правда, при педантичном то подходе раздраконить обнародованный материал ничего не стоит. Ему недостает элементарного плана, перспективы. В записях отражены приблизительно двадцать лет, однако же как отражены? Ряд эпизодов, крайне слабо связанных, а подчас и вовсе не связанных, и зияющие лакуны между ними — такова растянувшаяся на четыре журнальных номера публикация. Книги пока что, как и сказано, нет, а в наличии — только разрозненные ее фрагменты. Но, с другой стороны, нас об этом загодя предупредили подзаголовком, и предъявлять претензии глупо.

Чем богаты, тем и рады, сказали журнал с автором.

Тут и зарыта собака; чем они, собственно, богаты?

Множеством обстоятельств — образа действия, места, времени. Нет, это множество разнородных свидетельств о том и другом, пятом и десятом не дает ясной и мало-мальски цельной картины жизни — разумеется, не мира, не страны, но конкретной женщины, — зато представляет собой что-то наподобие сборника комментариев. Именно сборника, даже, пожалуй, вороха, никак не свода, что подразумевало бы академичность, упорядоченность и завершенность. Откуда им взяться посреди хаоса зарисовок, эскизов и набросков, исполненных без внятного плана?

В этой характеристике — без внятного плана — нет и намека на порицание. Серьезный на первый взгляд изъясн оборачивается внезапно достоинством. Отсутствие плана подразумевает импульсивность и непреднамеренность, а те в свой черед — изнутри рвущееся желание поделиться, выговориться. Какая уж тут академичность! И поясняют эти комментарии не стихи — Боже сохрани, мемуарист отнюдь не зарится на чужой хлеб, — а жизнь их сочинительницы. Стихи же брезжат где-то поодаль этакой фата-морганой. Вроде бы их и нет, они лишь изредка вторгаются в акварельные либо карандашные зарисовки, составляющие текст, а как им не быть! Не будь их, кого бы интересовала героиня книги? Ну, а судьба героини, происшествия, случаи, сценки с ее участием, они вместе и поврозь образуют, иной раз опосредованно, комментарий — когда к строфе, когда к циклу. Такая вот окольная дорожка ведет от повседневности (сора, как усмехнулась Ахматова) к ученому двуединству «жизнь и творчество».

Ну, для наглядности, совсем еще зеленая поэтесса спрашивает у битого судьбиной Смелякова: «Ярослав Васильевич, а вы что же, помните всех людей, которые были причастны к вашим зло-

ключениям? "Он сидел три раза. И он сказал: "Да. Показать тебе здесь?"

Там было множество писателей, в зале этом новогоднем Дома литераторов. Он говорит: "Вот этот, например, и вот этот, например, и вот тот".

Так он перечислил почти всех, кто там находился».

Приведу теперь давнишние стихи, никуда, кроме как в «Струну», боюсь ошибиться, не входившие: «О, слово точное — подонки! / Меж них такая кутерьма. / Темны их лица и подобны / одно другому. Я сама // толкаюсь в их движенье тесном, / не в силах скрыться в стороне, / как бы измазанная тестом, / их руки липнут и ко мне...» Стихи, что называется, наивные; в их основе, чувствуется по начальной строке, — злость, а то и потрясение. Не связывая напрямую случай в ЦДЛ с наивной и злой инвективой, мы вправе их соотнести. Воспоминания о людях искусства, где быт и будни не соотнесены с творчеством, — это что-то вроде механического дополнения к биографии. Ну а биография, научная или беллетризованная, — другой жанр.

Мессерер избегает обобщений и, двумя-тремя штрихами набросав абрис артиста, художника, писателя, тем и довольствуется. Занимает его не обобщение — общение; событийный ряд его мемуаров образуется мимолетными либо продолжительными беседами; действие для него сводится к перемещению в пространстве, к поездкам и встречам. Этюды, созданные им по памяти, подчас очень информативны и, как бы это сказать, энергичны, точно сию минуту срисованы с натуры.

Вот речь заходит о поэте Михаиле Луконине, в 1970-е — секретаре правления СП СССР, иными словами, чиновнике высокого полета. «Михаил Кузьмич, Миша, был простой мужик. И он так и общался с людьми. Просто и без затей...» Это с одной стороны. С другой — «первое впечатление от их дома было совершенно ошеломляющим. Мы попали внутрь золотой шкатулки. Золотыми были портьеры из парчовых индийских тканей и ламбрекены над ними. Мебель была по-

золоченная, прозрачные занавески на окнах — из тонкого золотого тюля. Обои — золотого цвета. А в проемах дверей свисали золотые колокольчики на тонких золотых нитях. Облик квартиры никак не вязался с образом хозяина, более того — они были в вопиющем противоречии». Нужна деталь, устраняющая противоречие. Мессерер извлекает ее и ставит на место без охов, ахов, ударений. «В течение всего застолья мы говорили с Михаилом Кузьмичом, с Мишей, о судьбе Володи Высоцкого». Ахмадулина долбила в одну точку: «Миша, может, можно как-то Высоцкому помочь... Может быть, все-таки примешь его в Союз писателей?» Известно, что Высоцкий болезненно переживал свой любительский статус в литературной среде. Добродушный и свой в доску Луконин это понимал. И, потчует разносолами любезных ему гостей, отмахивался простецки, без экивоков: «Только через мой труп!»

Как ни глянь, ответ убийствен. Ибо, во-первых, не оставляет надежды заступнице-просительнице, во-вторых, изящно снимает противоречие между своимским мужиком и сановным барином. Это я к тому, что написаны мемуары с умом и в литературном отношении вовсе не бесхитростны.

Среди персонажей, фигурирующих у Мессерера (включая и устные воспоминания самой Ахмадулиной), много писателей. Связи с ними героини мало-помалу выстраиваются в отдельный сюжет. Особо выделяются контакты со старшими коллегами — Сельвинским, Щипачевым, Антокольским, Пастернаком, Твардовским, Набоковым. Они разнятся и длительностью, и ролью в профессиональной судьбе поэтессы, да и тем, как отразились в ее творчестве. Для человека, далекого от, условно говоря, кулуаров — я из их числа, — не все здесь очевидно. К примеру, повлияло ли восторженное письмо Ильи Сельвинского на выбор Ахмадулиной писательской стези. «Я совершенно потрясен огромной чистотой Вашей души, которая объясняется <...> могучим, совершенно мужским дарованием,

<...> у вас дарование с чертами гениальности...» На мой-то взгляд, такие слова, как минимум, окрыляют, а вот Ахмадулина никак на них не отреагировала. Добрые чувства к себе она, понятно, ценила, но не распространяла свои признательность и симпатию на стихи. Вот отзыв ее на поэзию Щипачева: «Он был очень знаменитый, особенно такие вздоры: "Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне"»; вот на Сельвинского: «...какой-то "Умка — белый медведь" или что-то в этом роде».

Другое дело Павел Антокольский. Тут была взаимная любовь. Он приветствовал ее с восторгом, воплотившимся поздней в этокое молитвословие: «"Здравствуй, Чудо по имени Белла / Ахмадулина, птенчик орла!", ходил по редакциям и возмущался, что чудо почему-то не печатают, и подписал в качестве редактора первую ее книжку; она, восемнадцатилетняя, ответила нежной дерзостью: «Он — не старик. Он — семь чертей пригожих» и написала вдогон ему: «Ровесник мой младший и милый».

И совсем уж особь статья — Борис Пастернак и Владимир Набоков. На Пастернака она смотрела... воспользуемся тут его, пастернаковскими, словами: «Превозмогая обожанье... боготворя...» При случайной встрече ничего внятного не смогла вымолвить. В ее «Плохой весне», где герой — должно быть, альтер-эго — сокрушался: «Не гений я!», поэт возник почти как икона: «...и высоко над ним плыл Пастернак / в опрятности и простоте величья». Ну а в своем шедевре «Метель» Ахмадулина заставила грустить о нем самое природу:

Как сильно выюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.
Ручья невзрачное течение,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность перевел.
Не потому ль в красе и тайне
пространство, загрузив о нем,

той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.

Этюды, запечатлевшие встречу с Пастернаком или Набоковым, не содержат изъятий любви, зато дают уловить — отечественных исполинов Ахмадулина вот именно что боготворила; чего же боле? Написав однажды про вечное присутствие великих, она так и чувствовала: те, от Пушкина до Цветаевой, неприметно меняют атмосферу вокруг нас и наше восприятие бытия.

Следуя примеру Мессерера, я не различаю рассказов Ахмадулиной, зафиксированных им, и собственных его рассказов. Ахмадулина повторяла перед диктофоном: «Я потом описала это»; ее «описания» печатались, и Мессерер местами попросту дублирует их. В иных случаях ее рассказы, письменные и устные, вплетаются в его текст. «Приведу отрывки из ее воспоминаний, записанных мной». Обратите внимание, Мессерер исполняет функции секретаря ли, стенографиста ли, заведомо ставя себя на вторые роли.

Больше того. Проникшись ахмадулинской манерой, Мессерер непроизвольно заимствует излюбленные словечки поэтессы, на вид заурядные, да с особенной употребленные. Ну, к примеру: «Наша любовь с этими двумя собаками, она, конечно, стала сразу невероятной», «Бабушка в балахоне ходила невероятном», «Это (голос Пастернака. — Г. К.) было невероятно». В стихах: «его невероятный почерк», «войди же в дом невероятной позы бойца», «Валера был невероятно влюбчив». Или другое ахмадулинское пристрастие: «Ты совпал с этими поблекшими деревьями, с этими пустыми-пустыми местами», «И был такой счастливый случай, что они (Антокольский с Высоцким. — Г. К.) совпали». Мессерер: «В первые дни нашего совпадения с Беллой...»

Кстати, текст Мессерера перемежают не только воспоминания Ахмадулиной, но и статьи о ней Иосифа Бродского, пись-

мо Юрия Давыдова, альбомная запись Андрея Битова, стихотворное посвящение ей Льва Лосева. Все, между прочим, уместно; текст обогащается, насыщается. Вообще чего в книге вдоволь, это действующих лиц. Они заняты в эпизодических ролях, однако не сливаются в массу. Немудрено. Вот имена русские: Виктор Некрасов, Марк Шагал, Андрей Синявский, Владимир Максимов, Станислав Рихтер, Михаил Барышников, Михаил Шемякин; вот иностранные: Симона Синьоре, Микеланджело Антониони, Пьер Карден, Эжен Ионеско, Рене Герра, Милош Форман, Джек Николсон...

Однако парадокс, обилие не кажется избыточным, и среди персонажей тебе даже не хватает изрядного числа собратьев Ахмадулиной по перу. Не помешал бы кое-где и сугубо литературный разговор. И что? Негоже корить автора за то, чего нет; изволь судить о том, что тебе дали. Впрочем, объяснить ощущение нехватки просто. Воспоминания — факт, удостоверяющий: Белла Ахмадулина завершила свой путь. И поневоле ждешь итогов и некоей точки над *i*. Но ведь искусников совмещать повествование с анализом, а конкретику — с широкими выводами вовсе не тьма. Среди тех, кто, вспоминая, сосредоточивался на одном-единственном персонаже, назову разве что Н. Я. Мандельштам. И, к слову, чета Набоковых ее воспоминания высоко ценила. «В какой-то момент Набоков заговорил о Надежде Яковлевне Мандельштам. <...> Вера Евсеевна говорила о своем восхищении Надеждой Яковлевной и ее книгами».

Выскажу все-таки что-то вроде пожелания. Дополняя мемуары, хорошо бы

Борис Мессерер уделит побольше места тому, что происходило по эту сторону государственной границы. Пока что в них ощущается, так сказать, асимметрия — зарубежные встречи, впечатления перевешивают. В этом имеется резон. Ибо то, что происходило с Ахмадулиной *здесь*, отчасти не секрет, отчасти способны поведать и другие; про то же, что было *там*, едва ли расскажет кто-то, кроме Мессерера.

Сзаграницей, точнее с Америкой, в книге связана несообразность, сбивающая при чтении с панталыку. «Лев Лосев предложил Белле выступить в Дортмундском университете, где он преподавал <...> мы прилетели и вместе с Лосевым поехали в Ганновер». Увы, Дортмунд, равно и Ганновер, находятся в Германии. Лев же Лосев преподавал в элитном, как принято нынче говорить, Дартмутском колледже, расположенном в городке Ганovere, штат Нью-Гэмпшир. И еще поправка, которую нельзя не сделать: Бродский умер 28 января 1996-го, а не 97-го года.

Напоследок сызнова сделаю важный акцент. Рассказывая об Ахмадулиной, Борис Мессерер отводит себе роли второго плана, частенько берет на себя самые скромные, служебные функции — лишь бы получилось изобразить ее повывразительней. И, читая, нельзя терять из виду, что про замечательную поэтессу пишет замечательный в своем деле мастер. И что бы меня ни тронуло, что бы ни заставило задуматься, «все это живописец плавный / передо мною развернул». Я привел подходящий кусочек из стихотворения Набокова, названного им по-латыни: «*Ut pictura poesis*». Перевод этого речения вынесен в заглавие моих заметок.

Владимир Шпаков

Русский человек на rendez-vous с Европой

Европейская тема медленно, но верно утверждается в современной русской литературе. Почему нет? Мы — полноправная (хотя, возможно, не совсем полноценная) часть Европы, ее священные камни нам дороги, и ездим мы туда едва ли не чаще, чем в сопредельную Украину. Это уже не экзотика, короче, а такое же привычное место действия литературного произведения, как Москва, Питер или какой-нибудь Урюпинск. Опять же есть события мирового масштаба, которые касаются всех нас вне зависимости от гражданской принадлежности. Помните недавнее извержение исландского вулкана с труднопроизносимым названием Эйяфьятлайокудль? Увы, многим нашим соотечественникам, чьи авиарейсы отменил треклятый вулкан, пришлось выучить это наименование.

Начало романа Евгения Клюева «Translit» напрямую связано с этим вулканом. Герой вынужден ехать из Москвы в Данию, где он проживает уже четырнадцать лет, на поезде — вместо того, чтобы за пару часов туда долететь (самолеты, как вы помните, в то лето почти не летали). Причем добирается он туда кружным путем, через Финляндию и Швецию, поскольку трудности с билетами. Этот дорожный сюжет и является основой повествования. Интрига в том, что заботливой маме, проживающей в Твери, герой сказал, что едет обычным прямым маршрутом, без всякого кружения и пересадок на скандинавские паромы. А это значит, что приходится все время врать, поскольку мама не просто заботливая — она болезненно заботливая, ну, вы знаете этот тип мам, для которых седой и лысый сын — все равно мальчик, требую-

щий опеки. Она постоянно звонит на мобильный телефон, а герой добросовестно врет, понятно, из лучших побуждений, чтобы старенькая мама не переживала.

Однако сюжет в этом романе — не самое главное. Основное содержание кроется между звонками и путевыми впечатлениями, так сказать, в лирических отступлениях. Автор пренебрегает сюжетом с необыкновенной легкостью и при любой возможности ныряет в воспоминания или отпускает на волю воображение героя. В отношении структуры роман вообще производит странное впечатление. В сущности, он весь состоит из «лирических отступлений», автор совершенно не заботится о сюжетной динамике, то и дело сворачивая с торной дороги прямолинейного повествования, совершая шаги влево, вправо или вообще уходя в обратную сторону. С другой стороны, кто сказал, что главное в романе — это динамика? В конце концов, был Пруст, которого тоже мало интересовала напряженная сюжетная канва, зато размышления и воспоминания очень даже интересовали.

В воспоминаниях нашего героя живут в основном «иностранцы», то есть люди из «иных» стран, по преимуществу европейских. В частности, это норвежский приятель героя — Торульф, с которым у них немалая разница в возрасте, но при этом между ними существует тесная эмоциональная связь. Вспоминаются и другие персонажи, с которыми герой в той или иной степени был связан по жизни. Датчанка Кит, супруга героя, или Манон, Гвидо, Курт и т.п. Они имеют разные национальности, разные судьбы, их оценивают когда серьезно, когда иронично, но видно, что они очень и очень занимают автора.

Россия тоже не забыта, размышления о ней нередко возникают на страницах,

что для русского автора, пусть и хорошо знающего Европу, более чем естественно. «Кто-то писал — де Кюстин? — что у русских только названия для всего есть, а в действительности нету ничего. Он и в других местах читал об этом: у русских, дескать, слово — Бог. То есть не Бог вместо слова, а слово вместо Бога, и это кра-со-та». Размышление в основе своей, быть может, не очень новое, но похожее на истину, как минимум, провоцирующее на дальнейшую работу мысли в этом направлении. И русские, переехавшие по той или иной причине, в европейский рай (рай ли?), тоже привлекают внимание автора. Они ведут себя порой странно, например, могут из германского далека вмешиваться в коммунальную несуразицу, царящую на покинутой родине, то есть звонить в жилконтору, чтобы вызвать электрика и выручить таким образом оставшуюся в России приятельницу. А то ж! Если слово — Бог, как утверждает автор, то почему не воздействовать словом на жилконторских бюрократов, авось поможет.

Неожиданные переходы к размышлениям также характерны для этого произведения. «Мимы формируют наши основные жизненные приоритеты, которые, в свою очередь, на более поверхностном уровне, влияют на наше поведение и решения. Внешне люди могут делать одно и то же, однако ими будут двигать совершенно разные мимы... Мим определяет, как люди мыслят или принимают решения, в отличие от того, в чем они убеждены, или что ценят». Автор явно не чужд философии, хотя справедливости ради скажем, что подобными пассажами книга все-таки не перегружена, мысль внедряется в текст дозированно.

Если говорить об основных авторских приемах, то здесь превалирует прием под названием «неожиданный звонок по телефону». Любой ретро-экскурс или размышления «по поводу» могут тут же перебиться телефонным звонком, когда персонаж из воспоминаний мгновенно перемещается в трубку мобильного, так что даже не сразу улавливаешь грань перехода. Потом, конечно, понимаешь: мы живем в эпоху уже осуществившейся «мобильной революции», и нас можно достать для разговора практически в любой точке планеты. Мир стал совсем маленьким, и этим, надо сказать, многие активно пользуются, как вышеупомянутая мама героя, к примеру.

Впрочем, самым главным предметом рассмотрения является все же центральный герой, которого можно счесть русским человеком на rendez-vous с Европой. Кто он такой, россиянин, четырнадцать лет проживший в Дании и разговаривающий на датском — с немецким акцентом? Он познал и исторические, и лингвистические, и бытовые стороны старушки-Европы, но, похоже, так и не определился с выбором, не обрел четкой идентичности. «Он всегда вставал на защиту Дании, когда о Дании начинали говорить плохо, и на защиту России — когда о России». Сознание такого человека двойственно, как двойственен translit — запись не латинского шрифта латиницей (герой, что характерно, вынужден постоянно набирать русские слова на «нерусском» мобильном телефоне, тем самым являясь своего рода пленником translita). Хотя, как выясняется по ходу текста, драматизм кроется глубже, и автор для выражения сей драмы прибегает к гротеску и абсурду.

До определенного момента роман Translit воспринимается некой мозаикой из рассказов об отдельных людях, воспоминаний, размышлений и т.п. Однако этим авторский замысел не исчерпывается. Во второй половине повествования та реальность, к которой уже привык читатель, начинает мерцать, двоиться или поворачиваться совершенно неожиданными сторонами. И герой начинает мерцать и двоиться, так что уже не понимаешь: кто он такой? Где находится? С кем разговаривает? На самом деле происходят его бесконечные телефонные разговоры со всем и вся, или они — лишь плод воображения?

Такой прием можно счесть удачей автора, поскольку в противном случае роман был бы всего лишь добротным коллажем из любопытных историй и неглупых мыслей. Здесь же удалось показать зыбкость нынешней реальности, утрату идентичности современным человеком, тот ментальный и языковой хаос, что царит в душах людей эпохи глобализации. Как мы узнаем в конце, роман вообще вроде как разыгран в воображении, внутри сознания героя. Похоже, он никуда не уезжал из Твери, где сделал остановку его поезд, и где сам герой тоже сделал остановку — навсегда.

Зоя Копельман

Мистика творчества

Рада Полищук выпустила три книги еврейской прозы: «Одесские рассказы, или Путаная азбука памяти» (2005), «Семья, семейка, мишпуха» (2010) и «Лапсердак из лоскутов» (2012). Каждая книга самодостаточна, независима, но взятые вместе они составляют трилогию, единство которой неоспоримо. Их объединяет еврейское происхождение и самоопределение подавляющего большинства персонажей, соединенных тесными семейными узами, высокий эмоциональный накал происходящего и верность тона, сообщающая всему повествованию убедительность и правдивость. Как смогла эта москвичка, московский интеллигент советского периода, создать столь далекий от ее личного опыта мир? Ответа на вопрос не имею, а потому воспользуюсь наблюдением Борхеса, который подчеркнул в одной из рецензий: «Про обстановку первой части Сильвина Бульрич знает все, про обстановку второй — затрапезные кварталы Буэнос-Айреса — мало или ничего. Уверен, именно поэтому — как ни парадоксально — вторая часть удачнее первой. В первой писательница попросту допускает существование реальности... во второй — ей приходится создавать или выдумывать реальность, а в этом и состоит задача литературы».

К вымыслам Рады Полищук я и предлагаю обратиться.

Первая книга, «Одесские рассказы», озадачила выбором названия. Стоило ли напрашиваться на сопоставление с классиком? Однако по прочтении делается ясно: конкуренции нет и быть не может. Бабель — одессит, и Одесса в его рассказах — реальное пространство с объективно поверяемой топографией, где посвященным были вняты прототипы мно-

гих персонажей. Одесса Рады Полищук — это миф, сотканный из слов и немногих семейных преданий. Оттого из всех бесчисленных песен и стихов об этом несравненном городе она предлагает нам спеть именно то, что не требует его посещения: «Есть город, который я вижу во сне...» О том, что Одесса «у Черного моря», что она «в цветущих акациях город», знают все, даже те, кто в Одессе никогда не бывал.

Писание рассказывает о первом человеке, Адаме, который, будучи в Райском саду, давал имена всему сущему, а еврейский древний комментарий поясняет, что за этими именами крылось постижение природы вещей и их назначения. Рада Полищук движется в обратном направлении: ей даны имена, и отталкиваясь от них она творит сущее, каждому имени — свое, неповторимое. Она сама рассказывает об этом на первых же страницах: «Есть же в Одессе Французский бульвар, Греческая площадь, Еврейская улица, есть Молдаванка, Ланжерон, Куляльник, Аркадия, Лузановка, Лютсдорф. От этих слов в душе у меня и сейчас звучит моя главная песня, моя "Песнь песней" — в ней все: начало, любовь, скандалы, смертельные ссоры, отчаянные перемирия, непоправимость расставаний, исход». Но топонимы так и остались словами, не воссоздав реальной Одессы, полюбившейся с детства за чтением «Белеет парус одинокий...» Валентина Катаева или того же Бабеля. Потому что не Одессу пишет Рада, а людей, евреев, еврейский клан, чье бытие вросло в почву и воздух литературой созданного города. Зато другие слова — Шмулик, Додик, Исайчик, Берта Моисеевна, Ривка, Манечка, Монька, Дора... — превращаются в образы полнокровные, живые, характерные. Они цепко держатся за свои биографии и предъявляют их читателю во

всей красе, мол, вот какие мы! Ничего не скрываем, ни достойного, ни постыдного, жизнь — ее ведь еще прожить надо, и не всегда с первого раза удачно получается.

Герои книги, если верить автору, найдены в семейном фотоальбоме. Фотографии, подобные которым можно встретить во многих еврейских домах, использованы в оформлении книги и сразу настраивают на камерный лад. Но ожидание не оправдывается: в узком родственном кругу бушуют едва ли не шекспировские страсти, и образ автора, то девочки, то взрослой женщины — глядящей из-за плеча, сжимаемой в объятиях, беседующей, смеющейся и рыдающей вместе с ними, — вовлекает и читателя в перипетии чужих судеб.

Помните, как в «Театральном романе» Булгакова герой описывает мистику творчества: «Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись». Вот и у Рады Полищук: «И тянутся шлейфом какие-то неотчетливые воспоминания-видения, голоса, размытые лица, как на испорченном фотоснимке». И еще определеннее: «Откуда я все это знаю — тайна за семью замками. И ведь не просто знаю с чьих-то слов — я вижу сгустки кровавой мокроты с гнутым гвоздем посередине...». В оккупированной немцами Одессе ведут на гибель евреев, и мы читаем: «Пинхус-Лейб, Рахель, Зиновий — уже почти слились с толпой, идут налегке, взявшись за руки, как пришли. Скоро исчезнут за поворотом, и я их больше никогда не увижу. В бессмысленном каком-то порыве проталкиваюсь вперед, кто-то обгоняет меня, чуть не сбивает с ног, ломится сквозь толпу...» И уж сколько писано о еврейских расстрельных рвах, а Рада Полищук смело ступает на этот плотно пропаханный словом островок и пишет как впервые, по-своему: «Плачу и брежу куда глаза глядят, подальше от этого места, от большой еврейской могилы, где, как в коммунальной квартире после грандиозного скандала, — тишина и полный мир. На веки вечные. Лежат вповалку, в обнимку, не стыдясь ни своей, ни чужой наготы — будто одна мать родила всех. Одна нежная, добрая многострадальная еврейская мама». Истреplенные в затверженных сочетаниях слова поменя-

лись местами, и нам неожиданно открылась их первозданная суть.

Но не следует думать, что «Одесские рассказы» трагичны. Эмоциональный лад их весьма разнообразен: смех, ирония, жалость и гордость, т.е. все то, чем может человек отреагировать на бурную жизнь своих родичей, если бы прожил с ними долгие годы. Как признается в послесловии автор: «В прозе своей я ничего не делаю специально... Я не пишу специально грустную, трагическую прозу, специально эротическую или специально еврейскую. Если слышится в моих текстах то бесконечно печальная, то отчаянно веселая еврейская мелодия, это потому что мое еврейство — не дань моде, а болевая и горделивая точка моего существования, всегда, с самого детства».

Тем же ощущением проникнуты две другие книги трилогии.

«Семья, семейка, мишпуха», хоть и имеет подзаголовок «По следам молитвы деда», вовсе не обязана быть семейной сагой автора нам не дано понять, о каком дедке речь: о том, чья кровь течет в жилах Рады, или просто о старом еврее. Да это и не имеет значения, потому что самое важное в этой книге — любовь. Любовь Арона и Ширы, Фанюши и Лазаря, Нешки и Гиршеле. Любовь, которая «расцветала как дивный цветок среди разнотравья, кому на радость, кому на зависть». Видно, и здесь звучала, вдохновляя писательницу, Соломонова «Песнь Песней»: «Как между терниями лилия, так между дев моя подруга! Как меж деревьев леса яблоня, так между юношей мой друг!» И другая любовь — материнская, отцовская. Та, что внушает детям: «Не тоскуйте обо мне, я с вами буду всегда, даже когда меня здесь не будет». Чтобы не осиротели, когда родители уйдут навсегда.

И снова из глубины девятнадцатого века до вступления в текущее, двадцать первое столетие вьется летопись рода, и снова еврейское счастье, скупое и скрупулезно отмерено каждому, а несчастья мерить недосуг, ни Господу, ни людям.

И над всеми этими жизнями звучат молитвы, не цитатами из сидура, молитвенника, а из сердца идущими лирическими вариациями: «Да будет на то воля Твоя, Господь, чтобы Ты спас сегодня и каждый день меня и всех моих домочадцев, все мое, все, что в доме и в поле, от всякой беды и несчастья, от всякой горечи,

вреда и опасности, от всевозможных убытков, от всякого искушения и всякого поспрамливания, от всякого тяжкого и злого произвола, от голода, убожества и бедности...»

А коль скоро заходит повествование в нынешние годы, то, вслед за людьми, попадает в Иудейские горы, на Святую землю праотцев, оставляя другую часть семьи на отеческой земле России.

Книга «Лапсердак из лоскутов» завершает трилогию. В ней доминирует советский временной и культурный пласт, отчего сюжеты все чаще сплетают вместе жизни евреев и неевреев, а ласковое внимание писательницы одинаково льет свет добра на всех персонажей. Как собрать в единое повествование множество независимых фрагментов? Возможен роман-путешествие или рамка общей беседы, где каждый делится своей историей. Рада Полищук нашла свой прием, подсказанный вековой еврейской бедностью, плавно перетекающей в скудное в материальном отношении существование советской интеллигенции, да и большинства советских граждан. Мы же помним, как в доме бесконечно все перешивали, перелицовывали, перекрашивали. Вот и возник литературный «лапсердак из лоскутов», решительно не пригодных для реального кафтана. Ведь не думаем же мы, что и впрямь стачаем файдешин, этот «плотный китайский шелк с поперечными рубчиками», и «непригодную для шитья ветошь», и серый габардин, и «лоскут из широкого атласного галстука», черный креп и — клочок от старого лапсердака.

Однако из пестрого утиля вышло поэтическое произведение. Судите сами: «...едва забрезжит утро, они одновременно, будто сговорились заранее, распахивают двери своих халуп в дальнем углу двора, всегда погруженном в тень старого, много повидавшего на своем веку каштана. Двери, яростно скрипя несмазанными петлями, летят навстречу друг другу и с грохотом сталкиваются, производя во дворе неурочный оглушительный шум, усиленный гулким эхом, прячущимся по углам и щелям двора-колодца, шарахаются от стены к стене, от окна к окну,

залетают в форточки, проскальзывают за занавески». Кто? Двери! В форточки? Таки да! Иначе отчего все жильцы обрамляющих двор домов причащаются новому дню, который и начался-то благодаря пробуждению стариков-погодков Ивана и Янкеля.

Третья книга более прежних насыщена чудесами. Люди, давно и, казалось, навечно друг друга потерявшие, не только встречаются, как бабушка Фая и Зигфрид на послевоенной барахолке, как Элель и Леля на автобусной остановке в «знойный московский день 2010 года», но и возвращаются к совместной жизни, которая на новом витке краше прежней делается.

Легкость, с какой происходят чудеса, вызывает в памяти хасидские истории о праведниках и чудотворцах. И композиция книги — короткие заставки курсивом в начале каждого лоскута, эта находка Рады Полищук, как выясняется, восходит к хасидским традициям оформления книжек на идише. Мистика да и только! Читателя вводят в волшебный мир, заманивают чистым, улыбчивым русским языком, который, оказывается, прекрасно умеет лепить еврейские лица и интонации, потому что воистину могуч и велик. И мы не раз смахиваем слезы — то в умилении, то в печали, а то — освежительные слезинки смеха. Что ж за еврейская книжка без слез? Ведь и герои в ней плачут: «Моймойша расплакался, не глядя, что люди кругом, что стыдно плакать на кладбище не над покойником, не над скоротечностью бытия земного и таинством ухода, а над неожиданной, непознанной радостью, от которой душа зашлась в предчувствии благодатного покоя. Не после жизни, а, может быть, прямо сейчас... он плакал слезами очищения, благодарности, просветления. В первый раз так плакал, и остановиться не мог, и не стыдился своих слез».

Высшей оценки заслуживают эти три небольшие книжки, ибо дарят читателю радость — вещь, в любую эпоху и в любой стране, наиредчайшую и заслуживающую признательности.

Иерусалим, июль 2012

Ольга Глазунова

«Для славы, для пользы отечества»

Вряд ли кто-нибудь сегодня будет отрицать тот факт, что современное литературоведение переживает далеко не лучшие времена. Отход от глобальных целей, связанных с просвещением и развитием национальной культуры, и отсутствие творческого вдохновения породили кризис жанра, от которого мы долго не сможем оправиться.

Сам термин «литературоведение» совмещает в себе два слова: *литература* и *ведать*, т.е. «знать». Чем же в настоящее время отличаются знания профессиональных исследователей от представлений обычных читателей, и чего нам ждать от академической науки в будущем?

Наука — «это драма, драма идей» (А.Эйнштейн). Вот этих самых идей нам как раз сегодня и не хватает. Современные литературоведческие исследования стали напоминать бухгалтерские квартальные отчеты, в которых научный анализ подменяется цифрами, таблицами, повторяющимися друг друга диаграммами, выводы из которых часто настолько очевидны, что не требуют арифметического обоснования.

С другой стороны, для молодых исследователей иного пути просто не существует: самостоятельная творческая мысль в академических кругах уже давно не приветствуется. Казалось бы, и научных школ в истинном значении этого слова у нас практически не осталось — одни

должности, но эти «должности» действуют не менее решительно, чем при советской власти: шаг влево или вправо от сложившейся теории — научная «смерть».

Еще одна тенденция, которая обозначилась в последнее время, связана с отрицанием: и «петербургского текста» как носителя «сверхэмпирических высших смыслов» и ценностей не существует, и русская литература, возникшая гораздо позже западной, — не более чем подражание, и система советского образования никогда не дотягивала до западных стандартов, и решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне — искусная пропаганда советской идеологии.

Однако, к счастью для нас, читателей, здравый смысл отменить невозможно. В отсутствии ярких идей и трезвого взгляда на существующие проблемы в сфере академической науки, на смену профессионалам приходят исследователи-любители. И надо сказать, что зачастую их работы заслуживают самого пристального внимания.

В прошлом году страна отмечала важный юбилей — трехсотлетие со дня рождения М.В. Ломоносова. Вряд ли кто-нибудь в России и за рубежом решится опаривать его огромный вклад во все сферы российской науки, культуры и образования. Однако, как оказалось, все не так просто, и до сих пор существуют вопросы, которые требуют уточнения.

Наталья Гранцева в книге «Ломоносов — соперник Шекспира?» пишет: «Так уж повелось у нас — обзоревав и перечисляя сделанное Ломоносовым за четверть века

Наталья Гранцева. Ломоносов — соперник Шекспира? — С.-Пб.: изд-во «Журнал «Нева», 2011.

его активной деятельности, авторы уныло повторяют друг за другом более двухсот лет: драматургия Ломоносова слабее его поэзии, пьесы Ломоносова нельзя считать удачными, написанные им трагедии не заслужили внимания современников и потомков...»

Но так ли это на самом деле? Неужели в драматургии Ломоносову не удалось сказать ничего нового, задается вопросом автор книги и начинает свое расследование.

Наталья Гранцева рассказывает о ситуации, которая сложилась в российской науке того времени, об интригах при дворе и о немецких ученых, которые, как мухи на мед, слетались на необъятные просторы Российской империи с целью поправить свое благосостояние или создать себе имя в научном мире. Как многое в далеком XVIII веке, травля Ломоносова драматургами современниками не обошлась без иноземного участия. Желание поучать российских коллег никогда не составляло иностранных специалистов. «Если в научном сообществе, — пишет Н. Гранцева, — процветала германофилия, то в литературной сфере ломоносовского времени царили французские стандарты. “Модный приговор” той эпохи — от парикмахерского искусства до сценических канонов — выносился исключительно с оглядкой на Париж».

Ломоносова, который всю свою жизнь работал «для славы, для пользы отечества», подобное положение дел не устраивало. Его соперник по драматургическому цеху А.П. Сумароков — «Северный Расин», как называли его современники, — наоборот, неукоснительно следовал общепризнанным французским стандартам, описывая в своих «высокопарных и душещипательных стихах» эффектные позы, угрозы и попытки самоубийства, которые были призваны заставить неискушенного читателя расчувствоваться до слез. И что удивительно: его наследие, ни у кого не вызывает ни вопросов, ни сожалений.

Всячески открестьяваясь от академичес-

кой науки (этим, наверное, во многом объясняется и «ненаучное» название книги), Наталья Гранцева профессионально проводит анализ текстов и, сопоставляя факты, делает интересные выводы. Автор книги видит свою задачу в том, чтобы раскрыть истинный смысл и значение драматургии Ломоносова «перед лицом доброжелательного читателя и филологической науки, которая уже более двух с половиной веков смотрит на него исключительно с прокурорской точки зрения».

Пьеса «Тамира и Селим» — это не столь любимая публикой XVIII века «слезная история», а драма историческая, в которой рассказывается о поворотном для русских событии — Куликовской битве. Особо автор подчеркивает тот факт, что все события в пьесах Ломоносова «изображены в точном соответствии с историческими источниками, с данными летописей».

Каков же был смысл в создании «Тамиры и Селима», почему Ломоносов решил написать эту пьесу, что занимало его воображение? По мнению Н. Гранцевой, наиболее важной в проблематике трагедии является мысль, которая проходит через всю пьесу: «Крымские татары (херсонский полк Нарсима), находясь формально в составе войск Мамая, фактически сражались на стороне русских». Не о слезах и вздохах и даже не о несчастной любви, столь близкой сердцу читателей того времени, писал Ломоносов, а о русской истории, о становлении и развитии Российского государства, о налаживании отношений с соседями и союзниками. Следуя за рассуждениями автора книги, мы погружаемся в волнующий, полный величия и страстей мир драматургии Ломоносова.

Почему же пьесы Ломоносова не только не стали востребованными, но и на протяжении длительного времени подвергались незаслуженной критике? Этот вопрос, который возникал и возникает у читателей и почитателей таланта «русского Леонардо», рассматривается Н. Гранцевой с особым интересом. И тут есть

над чем подумать. До сих пор Ломоносова-драматурга принято оценивать исключительно как придворного деятеля, который взялся за написание пьес с одной целью — укрепить свое положение при дворе. Зная характер Михаила Васильевича и факты его биографии, в это трудно поверить, однако ни у отечественных, ни у зарубежных специалистов подобная точка зрения сомнений не вызывает.

В работах академических исследователей преобладает мысль о том, что в своих пьесах Ломоносов, как и вся русская литература XVIII века, опирался на опыт французских и немецких предшественников. Но разве это главное, когда речь идет о художественных произведениях? Даже если мы найдем и обозначим все сходные черты между пьесами Ломоносова и его западных предшественников, это вряд ли прибавит что-то существенное к нашему пониманию его творчества.

А вот параллели с Шекспиром, как показывает Гранцева, действительно заметны и могут раскрыть неизвестные до сих пор стороны драматургии Ломоносова. И это сходство тем более удивительно, что в XVIII веке не только в России, но и во Франции и Германии, с которыми она имела культурные связи, пьес Шекспира в каноническом, неискаженном и неадаптированном для широкой публики варианте еще не знали.

Двух титанов своего времени связывало многое: и уровень владения материалом, и умение создавать многоплановые развернутые, полные драматических коллизий повествования. В пьесах Ломоносова, как и у Шекспира, нет однозначности и нет повторения: они являются новаторскими и чрезвычайно актуальными, и не только для своего времени. Поэтическое повествование требует особых канон и средств изображения — и Шекспир, и Ломоносов разработали в драматургии свои законы и правила развития повествования.

Наталья Гранцева особенно остро чувствует поэзию, и именно с этих позиций

она оценивает творчество и Шекспира, и Ломоносова: «Автор трагедии «Тамира и Селим» изобразил (именно изобразил, а не описал словами, то есть дал в образах, в образах действия) печальный конец «сопостата» Мамаю». Анализируя текст, Н. Гранцева скрупулезно и последовательно проводит читателя через поэтическую мастерскую Ломоносова-драматурга.

«Тамира и Селим», по мнению Гранцевой, «гениальное произведение гениального ума». В умении соединить простое и сложное, в особо разработанной символике имен действующих персонажей, в способе датировки происходящего, в умении совмещать трагическое и комическое, а также в вопросах, которые драматург ставит перед современниками по ходу развития действия, проявляется особый взгляд на мир и способность к неординарному художественно-философскому его отражению.

Почему Мамаю предали его союзники? Почему в трагедии нет отсылок к исламу? Какое отношение к «Тамире и Селиму» имеет Гораций? Эти и многие другие вопросы поднимает в своей книге Н. Гранцева. И предлагает собственные ответы. Цель автора книги — заинтересовать читателя, расширить его кругозор, свести воедино вещи, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Например, в главе, посвященной «Зимней сказке» Шекспира, один из параграфов называется «Сицилия, Троя и Иван Грозный». И автор подробно останавливается на этом неожиданном соотношении, приводя свои гипотезы и аргументы в пользу совмещения в драматургии самых разных временных пластов и самых парадоксальных на первый взгляд явлений.

Вторая трагедия — «Демофонт», по мнению автора книги, является самым загадочным произведением Ломоносова. Сам драматург лишь однажды упомянул о завершении работы над ней в письме И.И. Шувалову, однако, как пишет Н. Гранцева, это письмо во многом напоминает зашифрованное донесение. На первый

взгляд (и именно так считают многие историки) речь в нем идет о реальном событии — спуске на воду корабля «Иоанн Златоуст». Но на деле все оказывается далеко не столь очевидным и однозначным. Каким образом «Иоанн Златоуст» оказывается связанным с «Демофонтом», читатель сможет узнать из книги Гранцевой. Необычность этой аллегории заставляет задуматься над событиями, которые сопровождали написание пьесы, позволяя увидеть трагедию Ломоносова в новом свете. Одно очевидно: ни поверхностной занимательности, ни утешения от пьес Ломоносова ждать не приходится. Все гораздо серьезнее, значительнее и глубже.

И вновь, как в «Тамире и Селиме», в «Демофонт» можно выявить соответствия творчеству Великого Барда. На этот раз двух драматургов объединяет интерес к древнегреческой тематике. Гранцева подробно исследует общие мотивы пьес Шекспира и Ломоносова.

Но, наверное, главное, что было свойственно творчеству двух драматургов, — это глубоко национальное восприятие действительности. Во всем, что делал Ломоносов, сквозит его забота об отечестве, о развитии и процветании его науки и культуры. «Вся жизнь Ломоносова, — пишет Наталья Гранцева, — все его литературные труды были посвящены одной, но пламенной страсти — утверждению самоценности российской истории и культуры, ее равновеликости европейской».

Погрузившись в историю Троянской войны, читатель получит возможность не только воспринимать события в их прямом значении, но и метафорически. Как пишет Гранцева: «В таких сложных, “сгущенных”, концентрированных текстах не бывает ничего случайного, поскольку каждое слово в них имеет заранее заданный (двойной или тройной) смысл». В изображении Ломоносовым событий и образов из древнегреческой истории просматриваются насущные проблемы России XVIII века. Только большой художник мог соединить прошлое и настоящее, создав особый поэтический шифр, чтобы представить изображаемое во всем его многообразии, дать возможность читателю распознать главное во множестве равнозначных на первый взгляд событий петровского времени.

Самая интересная загадка ждет читателя в конце книги. Кем были на самом деле герои трагедии? Кого имел в виду Ломоносов, когда говорил об «Иоанне Златоусте»? И каким образом история христианского времени могла воплотиться в пьесе о Древней Греции? Ответы на все эти вопросы содержатся в пьесе Ломоносова, но их не так просто выявить и еще труднее разрешить.

Можно соглашаться или спорить с выдвинутыми в книге гипотезами, но в любом случае читатель будет вознагражден за проявленный интерес, так как получит возможность войти в неведомый ему до сих пор мир русской трагедии XVIII века.

Андрей Турков

«Я не звезда...»

Она писала эти воспоминания смертельно больной, «располагая», как предупредили врачи, всего несколькими месяцами. Но ее незабываемая с фильма «Римские каникулы» улыбка как встречает нас на обложке, так и сопровождает на всем протяжении книги.

Невольно приходят на память слова поэта, что до самого конца из его уст будет раздаваться лишь благодарность. Если верить актрисе, ей с первых шагов на избранном поприще была уготована «полоса везения» длиною в целую жизнь.

Правда, в начале-то, в детстве и отрочестве была, по ее собственному признанию, «тяжелейшая школа» родительского разлада и развода, незаживающая рана исчезновения отца, а затем и немецкой оккупации в голландском городке Арнеме, расстрелов родственников, лишений и голода.

Впоследствии, знаменитостью, отчаянно отбиваясь от назойливого вторжения в ее личную жизнь и во все подробности биографии, Одри Хепберн негодовала: «Бывало просто стыдно читать о записках в моих туфлях, словно я ежедневно ходила в лес спасать английских летчиков, о том, как я была связной для подполья... Клянусь, я не делала ничего особенного, не больше, чем другие, а часто и много меньше».

Но были же и спрятанная под стелькой записка, за которую можно жестоко по-

платиться, и поиски летчика, и «игра в прятки» с немецким патрулем, и рука, искушенная при этом крысами!

Когда спустя десятилетие Одри Хепберн предложат главную роль в фильме об Анне Франк, авторе ставшего бестселлером дневника, еврейской девочке, прятавшейся от фашистов там же, в Голландии, актриса откажется наотрез: «невозможно окунуться еще раз в ужас», разбередить еле зажившую рану!

Но вот — тоже в нелегкие для девушки послевоенные годы — ей, несостоявшейся балерине, рядовой танцовщице из кордебалета, предлагают главную роль в готовящемся на Бродвее мюзикле, а следом — и в «Римских каникулах»... С пленительным юмором вспоминает Одри Хепберн свой первоначальный страх, отказ — и с великой благодарностью — тех, кто ее переубедил, уговорил, подбадривал, кто был рядом за кулисами и на съемочной площадке, как в ту дебютную пору, так и позже.

«То, что я сейчас есть, — результат влияния моих друзей по всему миру, каждый из них слепил свою частичку Одри Хепберн», — сказано на последних вышедших из-под пера актрисы страницах («Я больше не могу писать, совсем не могу...»). И вся книга — это и впрямь *признания в любви*, идет ли речь о «театральной маме» Одри — актрисе Кэтлин Несбитт, партнере в «Римских каникулах» Грегори Пеке («это заслуга Пека, что мне удалась роль»), взыскательнейшем режиссере этой великой картины по прозвищу «Уайлер — девяносто дублей», художнике-костюмере Юбере Живанши да и о многих других.

Одри Хепберн. Жизнь, рассказанная ею самой. Признания в любви. Перевод с английского Н. Павлищевой. — М.: изд-во «Яуза-Пресс», 2012.

Скромность замечательной актрисы не наиграна. Ее суждения об исполненных ролях отличает завидная трезвость самооценки. «Моя Наташа Ростова, застывшая на одной ноте на целый фильм» — или того хлеще: «хлопающее глазами очарование» — как припечатывает она, размышляя о недостатках постановки Кинга Видора и решительно отдавая предпочтение иной киноверсии знаменитого романа: «Позже его сняли сами русские, и как сняли!.. Я смотрела... и чуть не плакала, там было все: музыка речи, музыка чувств, музыка души...»

Дорогого стоит такое «признание в любви» — и в собственной неудаче! Честно говоря, после этого с некоторым недоверием относишься к утверждению мемуаристики, будто к концу семидесятых годов она «была несколько больна звездной болезнью».

Как в пору своего блистательного взлета она отпиралась: «Я вовсе не звезда», — так и в книге твердит с присущим ей, по собственным словам, «тихим упрямством»: «...Не считаю и не считала себя настоящей актрисой... Божественные партнеры научили меня быть приемлемой на площадке, уникальные режиссеры — делать то, что нужно, все мои замечательные кадры — результат работы гениальных операторов, гримеров, парикмахеров, осветителей...» — и все называет, называет одно имя за другим! До чего же полезно прочесть эту книгу молодым актерам! Да и только ли им?! И одним ли актерам?..

Вот Одри Хепберн — совершенно справедливо — жестко критикует многое в современном кинематографе: «Голливуд словно сошел с ума... Разве можно приучать людей к мысли о легкости и безна-

казанности убийства?.. Сейчас люди составляют любовь напоказ (в ином случае она пишет о героинях, способных «показывать не только лицо, но и тело... страсть в кадре». — А.Т.). «...Это не для меня».

Но, словно застеснявшись самой возможности выглядеть «мэтром», поучающим других, оправдывается: «Что-то я разворчалась...» — потому, мол, что болеутоляющее лекарство перестало действовать.

Какой прекрасный человек встает со всех этих страниц, считающий всю свою артистическую жизнь «лишь прелюдией событий последних пяти лет» — своей деятельности в ЮНИСЕФе, международной организации, помогающей детям. («...Тысячам детей во многих странах недостает чистой питьевой воды. Они вынуждены пить воду сточных канав, а тысячи детей в странах Африканского Рога не имеют и такой! ...Они даже в три года не могут ходить, потому что нет сил подняться на ножки. Они в десять выглядят на пять, а в пять младенцами!») Она буквально кинулась на помощь, став послом доброй воли и бесконечно странствуя по миру (Эфиопия, Судан, Эквадор, Вьетнам, Бангладеш, Гватемала, Кения, Гондурас, Сальвадор, Сомали...). «Потом даже говорили, — читаешь в издательской аннотации, — что Одри принимала чужую боль слишком близко к сердцу, что это и погубило ее, спровоцировав смертельную болезнь, — но она просто не могла жить иначе». И добавим: если о чем и жалела, то — «что поздно пришла в ЮНИСЕФ... Столько лет прошло в спокойной безмятежности...» Это ее собственные слова — и последний, выразительнейший штрих к ее портрету.

Длящиеся мгновения в фотографиях Виктора Ана

Виктор Иванович Ан — художник в том глубинном смысле этого понятия, который выражает способность человека сделать предметом искусства свою собственную жизнь и жизнь своего народа. Одна из ведущих тем, контрапунктом пронизывающих его творчество, связана с драматической судьбой советских корейцев. Он много, нередко серийно, снимает своих соплеменников, так же как и простых людей — представителей приютившего их узбекского народа, стремясь через проявления вешного мира, окружающего его героев, выразить своеобразие их душевного склада, опредметить их дух, пристраивающий пространство вокруг себя в этом ставшем родным мире. Опираясь на конкретно-национальное, Ан во многих своих работах выходит на уровень философского обобщения темы внутреннего раскрепощения человека, спонтанного, естественного поведения, при котором сквозь движения тела просвечивают порывы души.

Исток этой темы — в жизненной коллизии художника.

Еще в молодости ему, как и многим советским корейцам, взрастившим в себе способность к высочайшему уровню самоуправления и концентрации воли, приходилось ездить на заработки — в составе мобильных, дееспособных, но подпольных сельскохозяйственных бригад поднимать показатели того или иного колхоза, состоящего, как правило, из работающих по настроению, в охотку, а значит неэффективно, людей. То была несвобода осознанная, повышающая остроту чувств, — и страх, и риск, и восхитительное самочувствие достижения задуманного результата — верная, кстати, примета профессионализма.

Позже, уже «заболев» фотографией, Виктор совместил свою внутреннюю творческую потребность с упорным и настойчивым вхождением в профессию. Пытливо рассматривал работы мастеров фоторепортажа, досконально изучил все тонкости последовательной работы фотографа с изображением, добиваясь на каждом этапе движения к намеченной цели — максимальной выразительности, живости кадра.

Стоит напомнить, что, в отличие от остального, главным образом европейского, мира, советская фотография маркировалась на протяжении десятков лет исключительно как репортерская, журналистская. А ее возможная художественность выступала как своеобразная надстройка.

Вот и Виктор Ан изначально формировался как репортер. И по факту своего многолетнего сотрудничества с газетой «Коре ильбо» («Корейский ежедневник»), издающейся со времени переселения корейцев с Дальнего Востока в Алма-Ату и с 1991 г. носящей это название. И по внутреннему самочувствию фотоохотника, снимающего, а потом выискивающего из отснятого материала именно тот снимок, в котором не просто представлен фотослепок жизни, но к зрителю обращается длящееся мгновение, когда под твоим взором плоское изображение разворачивается в сюжет.

Важно и то, что Виктор Ан обладает даром особого фотографического мышления. В отличие от, скажем, живописного полотна или графического листа этапы пошагового формирования художественного образа в фотографии иные. Первоначальный снимок нередко выступает и в роли итогового результата, и эскиза, и художественного брака. Но необходимой способностью к селекции обладает далеко не каждый фотограф. Тогда как особое фотографическое чутье и человеческий талант Виктора Ивановича проявляются и в том, что он многим коллегам по творческому цеху помогает «увидеть» и отобрать действительно талантливые кадры. Те, которые внутренне разомкнуты, открыты для взаимодействия со зрителем.

Фотохудожник много экспериментирует, соотнося свое творчество с актуальными тенденциями. Одна из граней поисков — сериальная съемка. Ан — автор многочисленных серий фоторабот. Среди них «До востребования», «Между мигом и вечностью», «Деревня уходящая», «Хато», «Самарканд», «Памяти минувших дней», «Мадонны Минамата». Сериальность для него не только и не столько признак освоения современных веяний в мировом фотоискусстве. В этом проявляется его стремление расширить границы мира, который из отражаемого незаметно трансформируется в творимый, создаваемый им мир.

Иная составляющая его поисков — сознательное ограничение себя в технических возможностях, предоставляемых современной фототехникой. В последнее время Ан часто снимает или простейшей аналоговой «мыльницей», или объективом «монокль», дающем специфический эффект светотоновой и резкостной деформации изображения, или допотопной камерой начала прошлого века.

Но при всем при этом неизменно снимает и отбирает то, что подсказано сердцем и взыскательной душой настоящего художника.

Юрий ПОДПОРЕНКО

Виктор Иванович Ан

1947 — родился в г. Пскент Ташкентской области (Узбекистан).

По образованию — гидромелиоратор. Работал водителем, киномехаником, выращивал лук и арбузы, преподавал на станции юных техников.

1979 — начал заниматься художественной фотографией. Работал корреспондентом газеты «Коре ильбо» (Казахстан).

1995 — персональная выставка в г. Кобе (Япония).

1996 — персональные выставки в Сеуле и Тэгу (Корея).

1997 — персональная выставка в Алма-Ате (Казахстан), автор иллюстраций к фотоальбому «История корейцев Казахстана».

1999 — изданы фотоальбомы «До востребования», «66 лет корейскому театру».

2000 — член творческого объединения Академии художеств Узбекистана. Член Союза фотохудожников России.

2001 — выставка «Фотография — свободное творчество духа» (Виктор Ан, Виктор Вяткин, Александр Шепелин) в рамках VI Международного фестиваля современной музыки «Ильхом-XX» (Ташкент, Узбекистан); персональные выставки в гг. Токио, Кумамото (Япония).

2002 — персональная выставка «До востребования» (Ташкент, Узбекистан).

2002 — персональная выставка в гг. Токио, Кумамото (Япония).

2003 — участие в выставках Ташкентского дома фотографии «Пусть всегда будем мы», «Ах, вернисяж!», «Узбекская махалля: люди, обычаи, традиции» (Бельгия, Голландия); автор фотографий к альбому «Женщина и время. Узбекистан, XX век», цикла фотографий «Мадонны Минамата» (журнал «Асахи камера», Япония); в Японии издана книга «Депортированные коресарам» (очерки Ке Нобуко, фотографии Виктора Ана).

2003 — Гран-при II Ташкентского международного конкурса художественной фотографии «Махалля, или мир, в котором я живу».

2005–2006 — один из составителей альбома «125 лет узбекской фотографии» (Ташкент, Узбекистан).

2007 — Серебряная медаль Академии художеств Узбекистана; персональная выставка «Однажды», Ташкентский дом фотографии (Ташкент, Узбекистан).

2009 — Персональная экспозиция в рамках Московского международного художественного салона «ЦДХ-09», Международная конфедерация Союза художников (Москва, Россия).

2009–2010 — участник выставки «1989–2009: Меняющийся мир — запечатленное время. Современное фото- и видеоискусство из России, Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Германии». Проект Немецкого культурного центра имени Гете в регионе Восточная Европа — Центральная Азия.

Живет и работает в Ташкенте. Работы находятся в частных коллекциях Узбекистана, России, Южной Кореи и Японии.



Виктор Ан



Виктор Ан



Виктор Ан



Виктор Ан

ФОНД ДОСТОЕВСКОГО

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ ВОЛГИН

Вице-президент International
Dostoevsky Society,
академик РАН, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова и
Литературного института
им. А.М. Горького,
доктор филологических наук,
член Международного PEN-клуба
и Русского PEN-центра

СОВЕТ ФОНДА

Председатель Святослав Бэлза

Лев Аннинский, Белла Ахмадулина, чл.-корр. РАН Всеволод Багно, Ирина
Барметова, Андрей Битов, Евгений Бунимович, Андрей Вознесенский, Давид
Гравин, Дмитрий Достоевский, Евгений Евтушенко, Сергей Есин, Ясен
Засурский, Виталий Игнатьенко, Фазиль Искандер, архиеп. Новгородский и
Старорусский Лев, акад. РАН Дмитрий Лихачев, Юлия Морид, Юрий Полюков,
акад. РАН Николай Павленко, Борис Тарасов, Виталий Третьяков, Сингур Шмидт

Россия, 117418, Москва, ул. Новочеремушневская, 57-2-263. Тел.: 8 (495) 592-23-00. info@dostoevsky-fund.ru www.dostoevsky-fund.ru

Уважаемые коллеги!

14–18 декабря 2012 г. в Москве состоится IV Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контексте».

Пройдут пленарные, секционные заседания и круглые столы по направлениям (структура может уточняться):

- ✓ Русский язык как средство мировой коммуникации
- ✓ Поэтика художественного текста: теоретические и прикладные аспекты
- ✓ Религиозно-философские искания русской литературы
- ✓ Ф.М. Достоевский в русском и мировом сознании
- ✓ Россия – Запад – Восток в диалоге культур
- ✓ Проблемы художественного перевода
- ✓ Советская неподцензурная литература
- ✓ Россия на постсоветском пространстве: историко-культурный аспект
- ✓ Новые вызовы и современная словесность (круглый стол: писатели и исследователи)
- ✓ Секция юных исследователей

Приглашаются ученые (филологи, лингвисты, историки, философы, культурологи и т.д.), а также писатели и переводчики из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Предпочтение отдается заявкам оригинального исследовательского характера, учитывающим результаты новейших научных изысканий. Рабочие языки симпозиума – русский, английский.

Для участия необходимо **до 10 октября** прислать в печатном или электронном виде **тезисы** доклада/сообщения (до 2000 знаков) или заявить **тему выступления** на круглом столе, а также предоставить заполненную **анкету участника** (прилагается).

Заявки посылаются по адресу: symposium@dostoevsky-fund.ru.

Некоторое количество участников (в пределах установленной квоты), чьи заявки будут одобрены Оргкомитетом, может быть размещено за счёт принимающей стороны. Предусмотрены визовая поддержка, культурная программа, книжная выставка-ярмарка. По итогам форума будет издан сборник материалов. (Предоставляются также авторские экземпляры Сборника материалов по итогам симпозиума 2009 г.).

Следите за информацией на сайте www.dostoevsky-fund.ru

Тел. для справок: +7 (916) 380 47 72
+7 (915) 000 30 88

Е-mail: symposium@dostoevsky-fund.ru

Адрес: Россия, 117418, Москва, Фонд Достоевского, до востребования (для письменных сообщений)

Порядок. Приговор. Залп

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Порядок освобождает мысль».
*Евгений Богданов. Ушел и не вернулся*¹

Этот принцип оформляется у героя-повествователя, советского прозаика и журналиста, названного Глебом Елаховым, — в процессе перестановки мебели. Вселяясь в номер Дома творчества (еще не раскуроченного, то есть не распроданного по законам рынка), Глеб передвигает туда-сюда письменный стол, лежак и прочие принадлежности писательской работы, приговаривая: «Ничего лишнего!»

Неутомимость, с которой он снова и снова повторяет свой девиз, заклиная реальность открыть таящийся в ней порядок, наводит меня, читателя, на мысль, что дело куда шире и значимей расстановки мебели в гостиничном номере. Евгений Богданов вовсе не тот литератор, которому внове «правильное освещение письменного стола» и сосредоточенность в момент творчества. Как-никак, четыре с половиной десятка лет работы прозаика², полторы дюжины книг за плечами, несколько лауреатских премий, опыт. Он-то с чего о порядке тоскует?

А может, этот порядок надо понимать расширительно? Не в том смысле, что порядок надо удерживать на письменном столе, а в том, что порядок никак не удерживать в мыслях о пронесшимся над нашими головами двадцатым веке?

Из этой крови не вырваться, из этой крутны поворотов не вырुлить, из этой непредсказуемой и безумной смены режимов и ситуаций не воспарить мыслью, если не найти какой-то спасительный ход.

А что, если срифмовать эти перевороты и повороты?

Если найти сходство в слове 1917 года, похоронившем царскую власть (Февраль, потом откорректировавший его Октябрь), и слове 1993 года, похоронившем советскую власть, — так, может, какой-то порядок все-таки обнаружится, и мысль оторвется, наконец, от вязкой плоти повседневного существования, в котором черт ногу сломит?

Как прирожденный писатель, чутко вслушивающийся в ритмы бытия, Богданов прежде всего следит за тем, как черт выплясывает свои стилистические номера на наших ломоножных речах. К этим языковым подвигам у Богданова вообще особый вкус, но и сибирское детство сказывается, проведенное в семье сельских учителей под мелодии языка, влетающие через окна с улицы.

« — Кажись, надысь...»

« — Эх, милос, если бы да лезли бы. А то все манят да блазнят...»

«И вышел вон из благоухающего сивухой и чесноком пенала...»

Благоуханье зауральской тайги, во всякое время по-своему опасной и непролазной, чувствуется уже не только в контексте села Юраши (это — у Глеба, а автор

¹ Роман-газета, 2011, № 23, 24.

² Одно время трудился в редакции журнала «Дружба народов».

его, Евгений Богданов, на всю жизнь присягнул поселку Варгаши), — но в контексте страны, которая выстраивается на сибирских чащобах и пустошах.

«Итак, в шестнадцатом веке (за шестнадцать лет до воцарения Романовых) к месту, где должно встать будущему Тобольску, приплыли пятьсот казаков письменного головы Данилы Чулкова, выволокли на коренной берег свои лодейки (ударение на первом слоге) и, те лодейки растеребив, срубили из них острог, названный Лодейным. Свершилось сие с Живоначальной Троицы на Вознесенье Господне — посему были заложены церкви: Троицкая острожная и Спасская, что на Взвозе. Отсель тобольские воеводы двинули на восток дружины, прибирая к рукам дикие инородческие пространства».

Где лодейки (ударение на первом слоге), там и травник, «усекавший главы пернатой сущности», там и «блеск остья, шелковистость подпуши», и переспрос: «пакольных али мочальных?» в ответ на перечисление «квачей да полозков»... и — уже в наше перестроечное время — «на гармошке ширмы обморочно распластанный макинтош» Глеба, и «кодовый замок новейшего гаврило-поповского (так! — Л.А.) управления, болтающийся на собственных потрохах».

Ощущение такое, что порядок повседневности, прорываясь сквозь чащобу неудобобъясненности, то и дело расплывается на какой-нибудь гармошке или повисает на собственных потрохах. И не только в сибирско-уральском густолесье. Ну, например, «С кваканьем сигнальных груш лавируют авто». Это уже не глухомань, это уже столица, сияющая электрическими огнями, а все равно: все квакает, все лавирует, все крутится веретеном, «так что и не понять... где путь, а где опуток...»

В этом кругопутстве, воссозданном опытной рукой, Богданов расставляет — изредка, но продуманно — одиночные фигуры, загадочно узнаваемые ориентиры порядка в квакающем жизненном болоте.

Три примера.

Первый.

«В полутемной зале, у стойки, одиноко восседал импозантный герр — в пенсне, с торчащей из-под усов трубкой».

Не узнали? Вот вам подсказка:

«Предательство предстоит совершить в будущем. Сейчас он в зените славы, без пяти минут Нобелевский лауреат. Через двадцать лет станет коллаборационистом и обретет оглушительное бесславие...

— Герр Гамсун?! Не может быть!»

Мне не очень нравится эта подсказка. В конце концов Гамсун и отсидел, и отстрадал за свой контакт с Гитлером. Самое страшное наказание: читатели-шведы отомстили ему тем, что швыряли через забор к нему во двор собрания его сочинений. Будущие поколения, отойдя подальше от костоломки мировых войн, решат, прав или неправ был великий писатель, когда попытался смягчить оккупацию, грозившую его народу от Гитлера. И уж во всяком случае, не мы, а шведы пусть прописывают либо не прописывают Гамсуну «оглушительное бесславие».

Второй пример куда мне ближе:

«А вот Горького... жаль. Неважный поэт, великий прозаик и драматург. Сочинял драмы мечтал написать трагедию, какие писались некогда на пергаменте. И не подозревал, что давно уже, с того дня как связался с Лениным, пишет трагедию своей личности. На шагреновой коже своего дара».

Люди, читавшие итоговый роман Горького «Жизнь Клима Самгина», вряд ли согласятся с «шагреновой кожей» его дара, да и отношение к драме его жизни будет меняться в зависимости от отношения людей к драме XX века. Пока что — для обозначения некоего вывернутого порядка — «мещанин, бродяга и богоборец» Богданову годится.

Третий пример.

«Некто щупленький, с бороденкой, в стальном пенсне... Яков Свердлов, ни прибавить, ни убавить».

Оставляя эту фигуру пока что без комментариев — вернусь к ней позднее, когда попробую «прибавить и убавить» к ней что-нибудь в связи с фигурой Ленина.

А пока что, покинув эти исторические силуэты (там есть еще и хорват Оська, будущий югославский президент, но его явление пусть комментируют югославяноведы), я окунаюсь в то болото, в загадочном взаимодействии с которым представлены у Богданова эти железно-узнаваемые ориентиры.

Потому что болото живет по своим законам. Или по своему беззаконию. В зависимости от того, что считать порядком.

Эпохи рифмуются не похожестью вождей, а похожестью масс.

Новобранцы-офицеры 1917 года могут оказаться под царской присягой в составе нерасформированной части, а могут — в составе большевистского отряда имени Классовой Ненависти. Иногда это дело случая. Но если уж что случилось — то случилось. Один погоны выбрасывает, другой носит... потом все-таки снимает и хранит... потом прячет или уничтожает. Меняет внешность. Притворяется немым и беспамятным, чтобы не узнали и не поставили к стенке. А тот, кто поставит к стенке, — сам через какой-то миг Истории встанет к стенке, под пули той самой дружины, где собирался послужить или выслужиться.

Глеб Елахов ищет среди своих дедов-прадедов кого-нибудь, кто был в родстве, в свойстве или хоть в дружестве с царским окружением. И проходит сквозь симметричные петли.

В среде профессионалов сыска Азеф, символически говоря, сидит на двух стульях, но стулья непрерывно меняются местами не символически, а реально.

«Охранка, располагая агентурной сетью в революционных организациях, пребывает в уверенности, что держит оные под контролем и всегда сумеет пресечь их подрывную деятельность. РСДРП, симметрично имеющая в правоохранительных структурах своих людей, уверена, что в критической ситуации сумеет выкрутиться. И обе не подозревают, что пользуются услугами одной и той же провокатуры...»

Какой? — хочется уточнить у Богданова.

Он уточняет:

«Что до международного капитала, то у него хватало искусных шулеров, чтобы использовать в антироссийском многоходовом пасьянсе и Охранку, и РСДРП, и петербургские, охочие до первенства аристократические круги, азартно вистующие против собственного государства».

Это — круги аристократические. А как насчет кругов демократических?

Там звучат высказывания совершенно несовместимого толка, но «все одинаково эмоциональные». Вплоть до одновременных выкриков: «Ура царю-батюшке!» и «Смерть тирану!» Поверх этих лозунгов — родное:

— Караул! Ширмачи кошелек срезали!

Красный палач по имени Руф, нагрянув с обыском в подозрительный дом, видит хозяина дома с оружием в руках и, упреждая, разносит ему голову выстрелом. Хозяйка с воплем отчаяния бросается на убийцу. На нее пули не тратят — забивают до смерти прикладами и кулаками. Спасается только малый мальчик, инстинктивно спрятавшийся среди каких-то кулков и сумок.

Но вот белые воины захватывают красного Руфа в плен и казнят через повешение. В качестве палачей хомутают двух его же переметнувшихся оруженосцев. Когда Руфа подводят к виселице, один из них, сидя на перекладине, кричит напарнику:

« — А ну-кась, Вань, ковырни его ножиком, потекет из него свинец аль нет? » — Ваня ковыряет. «Ну че, текет? » — «Не-а, одна кровишша»...

Стилистически — квиты. Стыкуются народные чаяния с обеих сторон. В рифму. «У народа одна кровеносная система».

Красные и белые шарики меняются местами в зависимости от того, кто на перекладине, а кто под ней. А кто и вовсе глазееет со стороны.

«Вездесущие горожане, прослышавшие, что царь фланирует между губернаторским домом и домом Корнилова, сбежали к корниловскому подворью. Некоторые, сумев подобраться к окнам, жадно тянули шею.

Гвардейцы Матвеева оцепили двор. Но сквозь цепь то и дело кто-нибудь да просачивался; то какая-нибудь барышня, то подросток, то монашка скользнет ужом. И все нороят под окна!..

— А вон гляньте, братцы! — серчали матвеевцы. — Уже целая шайка на забор лезет!

— По одежке, кажись, приказчики! Ишь все в чесунче...»

Чесунча (с ударением на последнем слоге, но с буквой «н» перед ним) — опять-таки опознавательный знак того неуправляемого потока, в котором не отличишь, кто какого стана, а кто прохвост.

В почте, приходящей на имя заключенного в Ипатьевском доме Николая, основное место занимают послания непристойные. Нецензурщина. А читать ее охране приходится.

«Всякое утро свежеумытый комиссар вынужден по уши погружаться в грязь».

Реальная грязь, — утешил бы его Чернышевский.

Что же до чистоты, то вот богдановский эпилог к жизни Распутина:

«Малограмотного сибирского мужика убили светские господа с европейским образованием. Да и убить-то сразу, чтобы не мучился, не смогли. Одно только и умели, что трепетать ноздрями...»

Трепетные ноздри убийц рифмуются с чисто вымытыми перстами комиссара. Хорошо держит стилистическую планку писатель Евгений Богданов.

Перебрасываясь из 1917 года в 1990-е, он улавливает порядок — в рифмовке событий.

«Ситуация в стране один в один повторяет безвременье февраля семнадцатого...»

Рифмуется — прежде всего (и в конечном счете) статистическое праздношата-нье зевак, втягивающихся в противостоянье:

«...Те же развязные молодые люди на улицах, та же праздная вседозволенность и так же, по ничтожному поводу, вспыхивают потасовки, заканчивающиеся бестолковым митингом, и затеваются косноязыкие дискуссии, переходящие в потасовку».

Думаешь: нащупал порядок, логику, строй... а продираешься — сквозь «строй прохвостов».

Прохвосты вроде бы нового типа. Торгаши. Но — все то же самое. «Грязь, теснота и гвалт... Глеб присмотрелся к лицам торгующих. Совершенно новый, не встречавшийся прежде тип. Откуда вы, неизвестные гоминиды?.. Вышли из тайных пещер и схронов, ухватили суть действия и теперь остервенело утоляют жажду товарно-денежных отношений...»

Маркс явно изучен Глебом. «Отношения» — это уже призрак «порядка». Куда проблематичнее их отсутствие. Статистический окрас непредсказуемых действий.

«Люди? Говорят, как обычно, глупости. А делают кто во что горазд».

Этот окрас поддерживается беглым пробросом штрихов.

«На подступах к зданию Верховного Совета и вокруг фасада возводятся муравьиным способом баррикады...» Тащат какой-то металлолом, бочки, доски, выковыривают булыжники — излюбленное оружие пролетариата. Мало у кого хватит сил метнуть этот булыжник во врагов. Да и во врагах могут оказаться случайные люди, потому что они «ничего друг против друга в принципе не имеют»...

Много ли стоят лозунги, разводящие людей на разные стороны этих муравьиных баррикад? Если всерьез?

« — А если всерьез? Что вы понимаете под демократией?

— То же, что и все, власть народа. Так, во всяком случае, переводится это слово.

— Хорошо, спрошу так: что, по-вашему, означает демократия в применении к нашей стране?

— Да то же, что и в применении к другим странам. (Бардак она означает, чуть было не ляпнул Глеб.)»

Глеб не ляпнул — ляпнул один партиец, живоописавший этот бардак в своем заявлении о выходе из партии: «Прошу приостановить мое членство в КПСС до полного и окончательного построения коммунизма».

Замечательное ощущение свободы мысли, устремляющейся в воображаемый порядок. Чем больше свободы, тем меньше воли, — опомнившись, хватается Глеб за мысль, разработанную русскими философами-идеалистами. Так ты попробуй разграничь, найди порядок!

«— Скажи, будет край этому бардаку в верхах?

— Все кончается. Рано или поздно.

— Во-во! Одна дурь кончится и начнется новая! Ишо лучше!»

Вожди 1990-х не возвышаются монументально над общей дурью, как вожди 1917-го, они в этой родимой дури неотлично барахтаются, а их политические программы переводятся в следующий стилистический ряд:

« — Мишка с Борькой Райку не поделили... Мишка на курорт улетел, а дружки его меж собой перегрызлись, пучь затеяли...»

Картина «пуча», воссозданная Богдановым, становится в ряд с другими свидетельствами, копящимися сейчас в публицистике и беллетристике. Я не уверен, что этот художественный вклад окажется существен. Не потому, что мне не нравятся пренебрежительные и шепотные характеристики действующих лиц, которых ранее нельзя было тронуть (хотя мне это не нравится), а потому, что неясны общие перспективы страны и мира, в каком контексте те или иные свидетельства могут получить тот или иной смысл. Или не получить никакого. Если будущее России будет реализовано в новом качестве, начиная с момента крушения советской системы, — тогда этот момент надо будет и осмыслять заново, а как и в каком качестве — не угадаешь. Если же история России будет продолжена в том вечном качестве, стадии которого мы тысячу лет наблюдаем при смене эпох, династий и «пучей», то очередной кувырок на этом переменчивом пути вряд ли будет так уж долго осмысляться; скорее всего его сдадут историкам в продолжение перечней Иоаннов, среди которых «Мишка с Борькой» сохраняют прописку анекдотическую, а что до «Райки» и дележки райских яблок, то об этом рае хорошо сказал Богданов своему Глебу: «Не доискивайся до правды. Она твой ад».

Меж тем в той части, где описывается последний год жизни императора Николая и его семьи, Богданов действительно доискивается правды, похожей на ад, и, хотя об этой старой уже драме написано сейчас куда больше, чем о событиях 1990-х годов (гибель Николая представлена уже и в театре, и в кинематографе), Богданов заставляет нас осмыслить эту драму с той остротой и глубиной, которые даются лишь настоящему художественному бесстрашию.

Главное открытие — характер Николая. И рядом с ним — характер жены его, разделившей жребий мужа.

Несколько штрихов.

Император, лишившийся власти, — арестант. Никаких занятий, только то, что разрешено охраной! Чего же он просит? Дать ему возможность физического труда! Пилит дрова. Князя и графя, до него допущенные, вынуждены пилить вместе с ним, они устают, сменяются. Он продолжает пилить.

Это о чем говорит? О перековке тирана в труженика?

Он охотно общается с солдатами охраны, играет с ними в шашки, подолгу засиживается у них в караулке.

А это о чем? О перевоспитании аристократа в демократа?

А то, что любые оскорбления переносит «с бесстрастным лицом»? И особенно вежлив — с теми, кто «ниже» его положением. Или «выше» (он-то теперь — арестант): со всеми равно корректен.

Такой человеколюбец? Или притворяется?

Ни то, ни другое, ни третье. Вернее, все — вроде бы в привычной схеме. Привычная схема — «чеховский герой»? Правильно. Особенно после того, как лишившийся престола самодержец находит, наконец, время прочесть Чехова. Впервые.

Но этот «нормальный», «средний», «чеховский» герой, созданный для тихой жизни, оказывается заложником страшной судьбы, которой он не выбирал! Он не хотел власти! Он был в нее рекрутирован против воли. Ему бы отказаться от престолонаследования. Не хватило решимости. Подчинился жребию, зная, что жребий смертелен. Иов — страдающий праведник — стал для Николая знаменем его собственной доли. Его обречения. Его приговоренности.

Оставалось только, прикрывшись вежливым бесстрашием, подчиниться судьбе.

Никакой тут демонстративной «доступности» монарха, маскирующей высокомерие. Никакой демонстративной же «доступности» демократа, прикрывающей его гордыню маской простонародности. Вообще — ничего такого, что надо демонстрировать и прикрывать. Только тихая верность жуткому жребию да тихое же сбережение сил — выдержать.

Две проигранные войны: японская и германская — двумя ударами подтверждают жребий.

Надо было вовремя отречься? Попробуй определи время. Отрекся — когда дошло до края. И с тем же учтивым бесстрашием встал под залп.

Таков Николай Романов в романе Евгения Богданова.

Александра — в том же ключе переосмыслена. Не германская шпионка, прикрывающая свою враждебность протонародничаньем в распутинском духе, как привычно думают о ней потребители антимонархической беллетристики. Совершенно иначе чувствует и выстраивает образ Богданов. Не немка (хотя происхождением — немка), а воспитанная при английском престоле внучка королевы Виктории. В детстве — по темпераменту и природному жизнелюбию — «солнечный зайчик». Полюбила судьбу. Полюбила Россию. Обвенчалась с российским престолонаследником. «Погубила свое здоровье, народив ему будущих арестантов». Безропотно встала рядом с ним — под залп.

Но что за проклятье над ними? Кто обрек их на такую судьбу? Кто приговорил?

Перебирая исполнителей, чьи имена только и сохранились в отзвуках залпа, видишь, что от исполнителей мало что зависит. Кто там? Голощекин и Белобородов в Уральском совете? Яковлев, то ли спасти узника из Москвы приехавший, то ли выкарасть для законной кары? То ли по поручению Свердлова действует, то ли в послушание Свердлова? Да поди пойми еще, чего Свердлов хочет...

Яковлев, попытавшийся изъять Николая и его семью из Тобольска и не допустить переезда их в Екатеринбург, — не вполне внятная фигура в стане экзекуторов. Когда он действует по собственным соображениям, а когда по указаниям Москвы, не вдруг определишь уже потому, что указания даются устно и неофициально: никаких следов на бумаге, никаких свидетельств, никаких последующих признаний, а если что и рассказано, то нет никакой уверенности, что рассказанное правда, потому что правды участники дела или не знают, или боятся.

Даже подлинная фамилия Яковлева малоизвестна: Мячин. В романе он действует под общепринятым псевдонимом. Возможно, Богданов и тут заворожила рифма — этот Яковлев должен напоминать нам о том Яковлеве, который был видным партийным деятелем позднесоветской эпохи, а потом стал видным прорабом Перестройки. Но речь сейчас не о нем, а о Яковлеве, который пытался не пустить Николая в Екатеринбург и успел-таки уехать с места действия до того, как уральские чекисты выстроились для залпа. Так и ездил потом с места на место, пока не угодил в Соловки. Вышел. Последние четыре года проработал в НКВД и тем же НКВД расстрелян в 1938 году. Как враг народа. Реабилитирован посмертно.

В том же году расстрелян Белобородов, вынесший вместе с Голощекиным Николаю и его семье от имени Уральского совета смертный приговор. Голощекина расстреляли тремя годами позже, в 1941-м. Обоих реабилитировали. Посмертно.

В отличие от этих участников событий Яков Юровский, организовавший и исполнивший казнь, странным образом избежал аналогичного возмездия — умер своей смертью. Раскаяния в содеянном не испытал, хотя к концу жизни сомневался: «так ли нас поймут». Никакой карьеры при советской власти не сделал. Тихо съезжал по служебным лестницам. Последнее место работы — токарь на Московском почтамте.

О своем участии в расстреле царской семьи особо не распространялся, во-первых, потому, что боялся себе навредить, а во-вторых, потому, что судьба Николая тогда уже мало кого интересовала. Мемуарную страничку Юровский, впрочем, написал, — историки-архивисты скоренько прибрали ее к рукам. Речь там, впрочем, не столько о том, как расстреливали, сколько о том, как прятали трупы. Несколько десятилетий спустя пригодились. Юровского тогда уже мало кто помнил.

«Что случилось с его душой?» — мог бы спросить Богданов. Замечательный вопрос, на который нет ответа. Впрочем, кое-что можно извлечь из того, как сложились судьбы детей Юровского. Дочь, активная комсомолка, угодила в ГУЛАГ, где провела лучшие годы своей жизни. Сын, став адмиралом, мучился раскаянием за отца и в 50-е годы помогал добровольным следопытам отыскивать и опознавать трупы.

И наконец Свердлов. От него тоже ни свидетельств, ни признаний. Есть косвенное — в «Дневнике» Троцкого:

«Я прибыл в Москву с фронта после падения Екатеринбурга. Разговаривая со Свердловым, я спросил:

— А где царь?

— Конечно, — ответил он, — расстреляли.

— А где семья?

— И семья с ним.

— Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.

— Все! — ответил Свердлов. — А что?

Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.

— А кто решал? — спросил я.

— Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях».

Комментарий Троцкого:

«По существу, решение было не только целесообразным, но и необходимым...»

Троцкий — лицо, между прочим, лично заинтересованное. Рвался (и его прочили) выступить обвинителем на всенародном суде, если бы таковой состоялся. Возможно, для этого и нужно было вытащить бывшего царя в Москву (руками Яковлева). Не удалось? Ничего, нашлись дела поважнее.

Интересно, что все делается не то чтобы тайно (Троцкий о расстреле ничего не знает и узнает из приватного разговора со Свердловым), а делается все задним числом, по следам событий. И так, чтобы не возбуждать излишнего интереса.

Расстреляла царскую семью местная, уральская власть. Москва это дело прикрыла. Москве куда выгоднее было бы провести громкий процесс, а потом обменять осужденного экс-императора на каких-нибудь революционеров, сидящих в тюрьмах на Западе. Да и пропагандистский эффект извлечь. Но когда Урал своей волей (испросив на всякий случай одобрение Москвы, выраженное, разумеется, не официально, не на бумаге, а все так же — обиняками да намеками, да интонациями в разговорах) — когда уральцы самовольно расстреляли не только «подсудного» Николая, но и всю его семью (прислуга не в счет?), Москва своих не выдала, она задним числом своих прикрыла, причем тихо, чтобы дело не раздувать.

Какой-то очередной доклад заслушивают, по медицинской, что ли, части; входит секретарь, сообщает Ильичу на ухо, что из Екатеринбурга пришла телеграмма; Ильич, прервав докладчика, в двух словах сообщает собранию о казни Николая Романова и просит оратора продолжить свой медицинский доклад.

Так если никто не хочет, а все действуют вынужденно то по обстоятельствам внешним (Колчак наступает), то по обстоятельствам внутренним (Уральский совет действует), — то почему гибель Николая и его семьи наступает с такой жуткой неотвратимостью?

Что за сила ведет его к гибели, не оставляя никаких шансов на смягчение приговора? Есть ли такая несмягчающаяся сила в плясовом хороводе всеобщего помешательства?

Есть. Ненависть народа, проигравшего две войны: японскую и германскую. Ненависть к человеку, который оказался во главе бессильного государства. Дело не в том, какой он эксплуататор, дело в том, какой он верховный главнокомандующий. Не важно, хотел ли он или не хотел оказаться во главе войск (не хотел!), но он оказался. Все остальное — следствия. Проигравший такую войну должен расплатиться своей жизнью.

Что кричат случайно встреченные мужики, распознав, кого везут из Тобольска? Что царь кровушку народную попил? Нет, другое ему кричат:

— Навоевался?

Вот это и есть приговор.

И чем ближе к Уралу, тем яростнее настроенность людей, никакими комиссарами не выстроенных; и комиссары, везущие Николая из Тобольска, озабочены более всего тем, что другие комиссары по дороге нападут, отоьют Николая и устроят над ним самосуд. Ибо за другими комиссарами такая же ненавидящая масса.

На что же надеется Яковлев?

«В пути Яковлев из своего источника узнает, что в Екатеринбурге их собираются задержать. Сейчас же возвращает состав в Тюмень и из Тюмени идет на Омск — в обход Екатеринбурга. На станции Куломзино путь ему преграждают красные пулеметы, и объявляется ультиматум: или Екатеринбург, или расстрел на месте».

Красные пулеметы — это все-таки что-то профессионально-военное. Не их больше всего боится Яковлев, когда пытается перенаправить маршрут в обход Екатеринбурга. Не вышло. Народ не позволил.

В вагоне, уже поняв, что его везут в Екатеринбург, в разговоре с одним из начальников охраны, Николай заметил:

«Я бы поехал куда угодно, только не на Урал». И пояснил, что именно Урал настроен резко против него.

Все чувствовал обреченный!

Если бы Яковлев уже в Екатеринбурге не перегнал пассажирский состав № 42 с пассажирской станции на товарную, — то на пассажирской Николая растерзала бы толпа, пришедшая мстить «Николашихе» и руководимая вокзальным комиссаром. На перроне уже расчехлили пушки, и жерла трехдюймовок разворачивались в сторону прибывшего поезда... Поезд двигался конспиративно, и время его прибытия было известно очень узкому кругу людей. Откуда же взялись люди, почему платформы были запружены народом? Может, кровавая развязка была запланирована на этот день от рук безликой толпы?»

«Вокзальный комиссар» — это ведь не чекист губернского масштаба. Да и чекисты тоже не с неба падают, они чувствуют за своими плечами дыхание «безликой толпы», то есть разъяренного рабочего класса. Когда в Перми казнили младшего брата царя Михаила Романова (который никому и ничему не мешал), и это убийство прошло без последствий, — большевики Перми стали подначивать большевиков Екатеринбурга: «А вы что же своих-то не кончаете?»

Те и поняли, что можно своих кончить. Правда, на всякий случай снеслись с Москвой, прося указаний. Указания были неофициальные и неопределенные. Решили сами.

Ленин на запрос копенгагенской газеты, обеспокоенной слухами о гибели царской семьи отвечает: «Бывший царь невредим. Все слухи — только ложь капиталистической прессы», а в это время Белобородов из Екатеринбурга телеграфирует в Совнарком:

«ПЕРЕДАЙТЕ СВЕРДЛОВУ ЧТО ВСЕ СЕМЕЙСТВО ПОСТИГЛА ТА ЖЕ УЧАСТ ЧТО И ГЛАВУ ОФИЦИАЛЬНО СЕМИЯ ПОГИБНЕТ ПРИ ЕВАКУАЦИИ».

Сохраняю рабоче-крестьянскую орфографию по бумагам, которые пересказывал мне следователь Генпрокуратуры Владимир Николаевич Соловьев¹, — и возвращаюсь к роману Евгения Богданова.

Вот сцена, которая кажется мне ключевой:

«— Вопрос с Романовыми распрямлять будем радикально, — высказался Свердлов за чаепитием у Ильича. И сделал некий выразительный жест, означающий ликвидацию.

— Со всей ектенией²? — восторженно уточнил Ильич. Он сознательно употребил цитату из террориста Нечаева, к которому с юности питал слабость. В свое время на вопрос в анкете, кого же из *царствующаго Дома* надобно уничтожить, автор «Катехизиса революционера», отвечал не задумываясь: «Да всю ектению!»

— Естественно, — отвечал Свердлов. — Задание Уралсовету я уже дал.

— И совершенно правильно, валить, так всех! — воскликнул вождь. — Чтобы и духу и не было!

В это мгновение ангел смерти обнес холодом его бледный череп, вздыбил остатки сухих волос, — нижние веки отвисли, набрякли кровью.

— Ильич, что с тобой?! — встревожился верный Яков, увидев ужас в волчьей желтизне глаз своего кумира.

¹ Я расспрашивал его о результатах идентификации трупов, извлеченных из уральской земли через семь десятков лет после залпа.

² *Ектения* — перечисление в молебне царствующих особ.

— Так... чепуха, — заикаясь, недоуменно проговорил Ильич.

Внезапная, звенящая траурной медью боль придавила мозг, чтобы затем так же внезапно и отпустить, отлететь, затухая вдаль, как бубенцы проскакавшей на горизонте тройки.

Он переживет царя на пять с половиной лет, уснет с улыбкой блаженного идиота и будет уложен в стеклянный кокон.

Шелковичный червь, которому уже никогда не бывать бабочкой.

Свое он получит еще при жизни: впадет в маразм.

После смерти тело его подвергнут потрошению и регулярным купаниям в формалине. Для этой цели подберут группу благонадежных медиков, которая с годами разрастется до целого института. Мощный коллектив ученых таксидермистов будет работать на поддержание трупа в пристойном виде. А миллионы простодушных людей, выстаивающих гигантские очереди к Мавзолею, сделают некрофилами.

И наконец, поп-концерты на Красной площади, практически на костях вождя. Что это: бесовские шабаши или глумление?

Что случилось с его душой?..»

Вопрос о душе опять-таки выдает в Богданове хорошего писателя.

Сложнее с диалогом, который он сочиняет, исходя из ситуации. Что-то мне в этот диалог не слишком верится. Не потому даже, что Ленин был жесткий прагматик и чувствам ходу не давал. Даже если их испытывал. Например, чувство мести за брата, казненного в свое время за подготовку цареубийства. Но восстанавливать воображаемый диалог двух деятелей, из которых ни один не может, не хочет и не рискует говорить открыто, — это, конечно, чистый художественный эксперимент.

А вот посмертная судьба передана Богдановым куда точнее, при всей его ядовитости. Можете считать, что это «стеклянный кокон», но пустым он быть не может.

Миллионы в очереди к Мавзолею — реальность. Реальность межвоенной передышки, реальность смертельной военной поры, реальность послевоенной покаленности: в страшный век народу нужен символ единства. Николай Романов смирился с ролью антисимвола. На роль вождя сунулся было Керенский — не справился. Мог бы претендовать (и справился бы!) Троцкий. Или Тухачевский. Если бы не нашлась фигура более надежная — по спокойной стальной безжалостности.

Завершив горькое повествование о гибели последнего императора, Богданов — все по той же приверженности к исторической рифмовке — возвращается в 1993 год и добавляет что-то вроде эпилога. Десять строк про то, как по Дому советов ударили танковые орудия, сколько было расстреляно и забито (около 1400 человек), и что все это значило.

А значило это, что «к власти триумфально шествовал буржуа».

Чем это шествие чревато для продолжающейся российской истории, каков окажется его «порядок» и что будет означать «буржуа» в контексте тысячелетней драмы русской души, это, наверное, прояснится в следующую эпоху, в зависимости от состояния народа. И от усилий литературы.

Тут огромное поле, которое предстоит если не возделывать, то хотя бы перейти.

Ни шагочка на этом пути Богданов сделать не успел. Умер 19 февраля 2011 года на семьдесят первом году жизни, через два дня после того, как поставил точку в конце последней строки романа. Одного из самых значительных произведений русской прозы рубежа веков.

«Ушел и не вернулся».

Эта книга — его завещание.

Summary

DENIS GUTZKO. Beta-Male. A novel.

“Marina Nikitichna made out her son at the balcony and knitted her brows: I wish you’d see what amusing things took place here!.. Topilin knew that she understands everything. Among all people she is the one who knows best of all: Life amounts to the deeds. Or the deed – the only significant one, if it’s sufficiently firm and steady to sustain the whole life. She realized it in due time. Her buddies will never realize it”. The protagonist of the novel will realize it late. But he will and will accomplish his deed.

POETRY

Along with the poems of the well-known poets GENNADIJ RUSAKOV, LARISA MILLER and GRIGORIJ MARK, the regular authors of our magazine, we present poetical collections of STANISLAV LIVINSKIJ from Stavropol and Armenian poet GRANT ALEKSANYAN who appear at our pages for the first time.

RENAT BEKKIN. The Journey of Russians Into Islam.

The article of the scholar and man of letters Renat Bekkin is about the Russians who profess Mohammedianism.

THE CRITIQUE SECTION

“It’s ten years now since Volodya Kornilov has passed away. By the efforts of his wife and friends his two-volume edition “As Long as They Cry Over Poems” is published as well as some collections in literary magazines, the advanced newspapers found the place for memoirs about him. Dead lion is not frightful. But nobody seems to feel responsible for the deepest trauma done to the poet’s soul, for his shortened lifetime”. Both the memoir article of TAMARA GIRMUNSKAYA and the reviews of “The Book Shelf” section are focused on the hero – whether it’s a real person (Bella Akhmadulina, Audrey Hepburn, Mikhail Lomonosov) or some literary character.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2012 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 123995 ГСП-5, Москва, ул. Поварская, 52.

Телефон (многоканальный): 8-499-519-02-12. Юридическая поддержка: Congress Consulting.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 20.07.12. Подписано в печать 20.08.12. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1. Уч.-изд. л. 23. Тираж 2000 экз. Заказ 9763. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93; тел.: (496)20-685; (495)745-84-28; факс: (49638)21-682; www.oaompk.ru, e-mail: oaompk@oaompk.ru